

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1984

3

1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС	5
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Продолжение	25
РИММА КАЗАКОВА — Из монгольского дневника, стихи	108
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Мгновения. Предисловие Владимира Карпова	112
ЗУЛЬФИЯ — Ночь песен полна, стихи. Перевел с узбекского Яков Козловский	123
ФАРИЗА УНГАРСЫНОВА — Да будет труженик в чести, стихи. Перевел с казахского Владимир Пальчиков	126
НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА — Внутренний двор, повесть	128
ВИССАРИОН СИСНЁВ — Два рассказа	168
В ЭТОЙ ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ — Людмила Леплейская, А. Строгина, Нелли Тулупова (перевела с белорусского Т. Александрова), Фарида Расулева, Евгения Гай, Лариса Миллер, Людмила Шикина, Ольга Ермолаева, Зоя Велихова, Марфуга Айтхожина (перевела с казахского Т. Кузовлева), Наталья Бабицкая, Лариса Романенко, Татьяна Реброва, Марина Тарасова, Татьяна Бек, Корнелия Войткевич, Светлана Гершанова, Лидия Григорьева, стихи	180
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВИКТОР ИЛЬИН — Село мое Речное	191
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ — Сатавинский круг	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. БОЧАРОВ — В пользу глубины. Заметки о художественной правде	224

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Сергей Чупринин. Равновесие сил.	
Константин Щербаков. Хорошо ли меня слышите?..	
С. Зенкин. Судьба героя и судьба романа.	
<i>Политика и наука</i>	
В. Елисеева. Воздух тех лет...	
В. Левин. Найдена ли Атлантида?	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Н. Беккерман.—Леонид Жуховицкий. Только две недели. Повесть. ✦	
Петр Вегин.—М. М. Морозов. Стихи разных лет. ✦	
Валерий Тимофеев.—Константин Трофимов. Так закалялась сталь. ✦	
В. Шохина.—В. Вульф. От Бродвея немного в сторону. 70-е годы. Очерки о театральной жизни США, и не только о ней. ✦	
Л. Финк.—В. И. Красов. Сочинения. ✦	
Людмила Касьянова.—Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. ✦	
А. Вишневецкий.—В. И. Переведенцев. Плачу долги, даю взаймы. Актуальные проблемы демографии. ✦	
А. Панкин.—Редьярд Киплинг. От моря до моря. Перевод с английского В. Н. Кондракова. ✦	
Е. Виггенберг.—Ю. К. Малов. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социалистическом обществе. ✦	
Ю. Алексеев.—А. Т. Гагарина. Слово о сыне. Воспоминания Анны Тимофеевны Гагариной, записанные с ее слов Татьяной Копыловой. ✦	
Новомир Лимонов.—А. Дихтябрь. Степь любит мужество	261
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	271



*Генеральный секретарь ЦК КПСС
Константин Устинович ЧЕРНЕНКО*

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова участники Пленума ЦК почтили память Юрия Владимировича Андропова минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, пламенный патриот, ленинец, неутомимый борец за мир и коммунизм.

Находясь по воле партии на важнейших постах партийной и государственной работы, Юрий Владимирович Андропов отдавал все свои силы, знания и огромный жизненный опыт осуществлению политики партии, упрочению ее связей с массами, укреплению экономического и оборонного могущества Советского Союза.

Много внимания уделял Ю. В. Андропов проведению в жизнь выработанной XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС линии на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, совершенствование управления народным хозяйством, усиление ответственности кадров, организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа.

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку справедливой борьбы народов за свою свободу и независимость. Под его руководством последовательно и настойчиво осуществлялся на международной арене ленинский внешнеполитический курс нашей партии и государства — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным проискам империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ленинской внутренней и внешней политики партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. Н. А. Тихонов. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Черненко Константина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он выразил сердечную благодарность за высокое доверие, оказанное ему Центральным Комитетом партии.

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения задач коммунистического строительства в нашей стране, обеспечения преемственности в решении поставленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении ленинской внутренней и внешней политики, которую проводят Коммунистическая партия и Советское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К. У. ЧЕРНЕНКО

Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю членов Центрального Комитета за оказанную мне высокую честь — избрание Генеральным секретарем ЦК. Я полностью сознаю громадную ответственность, которая ложится на меня. Понимаю, какая важная, какая исключительно сложная предстоит работа. Заверяю Центральный Комитет, партию, что приложу все свои силы, знания, весь свой опыт, чтобы оправдать доверие, чтобы вместе с вами продолжить ту принципиальную линию нашей партии, которую последовательно и настойчиво проводил в жизнь Юрий Владимирович Андропов.

Организаторский талант, ясный творческий ум, верность ленинизму в теории и политике, острое чувство нового и способность аккумулировать живой опыт масс, непримиримость ко всему, что чуждо нашему мировоззрению и образу жизни, нашей морали, личное обаяние и скромность — все это снискало Юрию Владимировичу огромный авторитет и уважение в партии и народе.

Партия поручала ему сложные и ответственные участки работы. Особенно ярко раскрылись лучшие политические и человеческие качества Юрия Владимировича Андропова на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Он не щадил себя, стремясь всегда быть на высоте стоящих перед ним задач.

Юрий Владимирович внес весомый личный вклад в коллективную деятельность Центрального Комитета, Политбюро ЦК по разработке всесторонне взвешенного и реалистичного курса партии на современном этапе — курса на совершенствование развитого социализма. Под его руководством прошли ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС, которые стали важными вехами в жизни партии и народа. В решениях Пленумов получила дальнейшее творческое развитие и конкретизацию политическая линия XXVI съезда КПСС.

Много сил и энергии отдавал Ю. В. Андропов борьбе за обеспечение мирных условий созидательного труда советских людей, за упрочение позиций социализма на международной арене.

Юрий Владимирович хорошо понимал: источник авторитета партии в том, что свое руководящее положение, свою почетную авангардную роль она завоевала и подкрепляет самоотверженным служением народу, умением точно выразить интересы трудящихся, вооружить их верной марксистско-ленинской программой действий.

Убедительным свидетельством правильности внутренней и внешней политики КПСС, ее соответствия требованиям и духу времени является горячая всенародная поддержка этой политики. Партия твердо идет избранным путем — путем коммунистического созидания и мира.

Так было раньше. Так будет всегда!

Но все мы понимаем, товарищи, что одного желания идти этим путем мало. Нужно уметь не только поставить правильные цели, но и упорно добиваться их, преодолевая любые трудности. Нужно реалистически оценивать достигнутое, не преувеличивая, но и не преуменьшая его. Только такой подход предохраняет от ошибок в политике, от соблазна принять желаемое за действительное, позволяет отчетливо видеть, как говорил Ленин, «что именно мы «доделали» и чего не доделали...»¹.

Недолгий, до обидного недолгий, товарищи, срок суждено было Юрию Владимировичу Андропову трудиться во главе нашей партии и государства. Всем нам будет не хватать его. Он ушел из жизни в самый разгар большой и напряженной работы, направленной на то, чтобы придать мощное ускорение развитию народного хозяйства, преодолеть трудности, с которыми столкнулась страна на рубеже 70—80-х годов. Но все мы знаем, как много удалось сделать партии за это короткое время, как много нового, плодотворного получило права гражданства и утвердилось на практике. Продолжать и коллективными усилиями двигать дальше начатую под руководством Юрия Владимировича работу — лучший способ воздать должное его памяти, обеспечить преемственность в политике.

Преемственность — не отвлеченное понятие, а живое, реальное дело. И суть ее прежде всего в том, чтобы, не останавливаясь, идти вперед. Идти, опираясь на все достигнутое раньше, творчески обогащая его, концентрируя коллективную мысль, энергию коммунистов, рабочего класса, всего народа на нерешенных задачах, на ключевых проблемах настоящего и будущего. И это всех нас ко многому обязывает.

Сила нашей партии — в ее единстве, верности марксизму-ленинизму, в способности развивать и направлять творческую активность масс, сплачивать их идейно и организационно, руководствуясь испытанными ленинскими принципами и методами. Вы знаете, товарищи, какое огромное внимание уделяли в последнее время наш Центральный Комитет, Политбюро ЦК, Юрий Владимирович Андропов вопросам совершенствования работы государственного аппарата, улучшения стиля партийного руководства. Один из них — четкое разграничение функций партийных комитетов с задачами государственных и хозяйственных органов, устранение дублирования в их работе. Это крупный вопрос политического значения. И не все, говоря откровенно, отлажено тут как следует. Бывает, что работники Советов, министерств, предприятий не проявляют необходимой самостоятельности, перекалывают на партийные органы вопросы, которые должны решаться ими самими. Практика подмены хозяйственных руководителей расхолаживает кадры. Более того, она таит в себе опасность ослабления роли партийного комитета как органа политического руководства. Для партийных комитетов заниматься хозяйством — значит прежде всего заниматься людьми, ведущими хозяйство. Это надо помнить всегда.

Товарищи! Полтора месяца назад, на декабрьском Пленуме ЦК, мы дали всестороннюю оценку положения дел в области социально-экономического развития страны. В принятом постановлении особо подчеркнуто, что сейчас важно сохранить набранный темп, общий настрой на практическое решение задач, неуклонно повышать уровень партийного и государственного руководства экономикой, активнее развивать позитивные тенденции, придать им устойчивый характер. Последовательно выполнять эти установки Пленума — наша прямая обязанность.

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 417.

Весь наш опыт подтверждает: важнейшим источником силы партии всегда была, есть и будет ее связь с массами, гражданская активность миллионов трудящихся, их хозяйский подход к делам на производстве, к проблемам общественной жизни.

Долг партии коммунистов — постоянно сверять свой курс, свои решения, действия прежде всего с мыслями рабочего класса, с его громадным социально-политическим и классовым чутьем. Владимир Ильич Ленин всегда высоко ценил прямоту, жизненную обоснованность и ясность суждений рабочего человека, чутко прислушивался к его мнению, оценкам событий и людей, искал и находил в них ответы на самые злободневные вопросы.

Прислушиваться к слову, идущему из рабочей среды, с переднего края социалистического строительства, держать совет с людьми труда — это и сегодня должно быть первейшей обязанностью, главной внутренней потребностью каждого коммуниста-руководителя.

Уметь вовремя увидеть и поддержать народную инициативу, причем в самом широком смысле — от хозяйского, творческого отношения к делу на рабочем месте до активного участия в управлении государством, обществом, — в этом величайший, можно сказать, неисчерпаемый резерв нашего прогресса. Каждым крупным своим достижением наша экономика в той или иной мере обязана творческим починам трудовых коллективов, их собственным, как принято говорить, встречным планам.

Глубокое удовлетворение вызывает широкий отклик трудовых коллективов страны на призыв декабрьского Пленума — добиться сверхпланового повышения производительности труда на 1 процент и дополнительного снижения себестоимости продукции на 0,5 процента. Патриотический подъем, энергия и деловитость, с которыми трудящиеся, партийные, профсоюзные, комсомольские организации взялись за решение этой задачи, вселяют уверенность, что успех будет обеспечен.

Думаю, что следует рассмотреть вопрос о том, чтобы все средства и ресурсы, которые будут получены за счет этого, а они немалые, направить на улучшение условий труда и быта советских людей, медицинское обслуживание, строительство жилья. Это полностью отвечало бы высшей цели политики партии — всемерной заботе о благо человека.

Вообще, товарищи, нам, видимо, следует подумать о том, чтобы творческие начинания, новаторство трудящихся лучше стимулировались материально и морально.

В самой основе советского строя заложена социальная справедливость. И в этом его огромная сила. Потому столь важно, чтобы она неукоснительно соблюдалась в повседневных делах, идет ли речь о заработной плате и премиях, распределении квартир или путевок, о награждениях — словом, чтобы все делалось по справедливости, в соответствии с трудовым вкладом каждого человека в наше общее дело.

Здесь есть над чем поработать партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, хозяйственным руководителям. Многого зависит от самих трудовых коллективов. У них сейчас — большие, закрепленные в законодательном порядке права. Дело за тем, чтобы полнее их использовать.

За последнее время партия обогатилась новым опытом руководства социалистическим обществом. Мы стали лучше использовать преимущества, возможности нашего строя. К их числу, безусловно, относятся организованность и сознательность масс. Отсюда наше внимание к укреплению порядка, дисциплины.

Вопрос об организованности, о порядке — для нас ключевой, принципиальный. Насчет этого двух мнений быть не может. Всякая

разболтанность, безответственность оборачиваются для общества не только материальными издержками. Они причиняют серьезный социальный, нравственный ущерб. Это хорошо понимаем мы, коммунисты, понимают миллионы советских людей. И вполне закономерно, что поистине всенародное одобрение получили меры, принятые партией в целях повышения трудовой, производственной, плановой, государственной дисциплины, по укреплению социалистической законности.

В этой области удалось уже кое-что сделать. И все знают, как это благотворно подействовало на производственные дела, на нашу общественную жизнь, да и просто на настроение людей. Но неверно было бы полагать, что сделано уже все. Нет, товарищи, жизнь учит, что тут расслабляться никак нельзя.

Что касается основных направлений развития нашей экономики, они четко определены партией. Интенсификация, ускоренное внедрение в производство достижений науки и техники, осуществление крупных комплексных программ — все это в конечном счете должно поднять на качественно новый уровень производительные силы нашего общества.

В серьезной перестройке нуждаются система управления экономикой, весь наш хозяйственный механизм. Работа в этом плане только началась. Она включает в себя широкомасштабный экономический эксперимент по расширению прав и повышению ответственности предприятий. Идут поиски новых форм и методов хозяйствования в сфере услуг. Несомненно, они дадут много полезного, помогут нам решить стратегически важную проблему — поднять эффективность всего народного хозяйства.

Давайте, однако, спросим себя: а не получается ли так, что для иных хозяйственных руководителей ожидание результатов экспериментов служит прикрытием их пассивности, стремления работать по старинке? Конечно, обновление экономических структур — дело ответственное. Здесь не мешает соблюдать и старое мудрое правило: семь раз отмерь, один отрежь. Но это вовсе не оправдывает тех, кто вообще не желает считаться с изменившимися условиями, с новыми требованиями жизни.

Проявлять на всех уровнях больше самостоятельности, смело вести поиски, идти, если надо, на оправданный риск во имя повышения эффективности экономики, роста благосостояния народа — вот чего мы ждем от наших хозяйственных кадров.

Вы знаете, что в минувшем году ЦК КПСС и правительство разработали и приняли ряд постановлений по принципиальным вопросам развития экономики. Эти решения дали в руки партийных и хозяйственных органов определенные рычаги повышения эффективности производства, ускорения экономического развития страны.

Намеченные меры, а они имеют не только хозяйственное, но и большое политическое значение, будут претворены в жизнь лишь в том случае, если их выполнение станет главным содержанием повседневной работы каждой партийной организации, каждого работника.

Решая задачи сегодняшнего дня, мы создаем предпосылки для достижения гораздо более высоких рубежей в будущем. Может быть, о нашем завтрашнем дне, о двенадцатой пятилетке, еще рано говорить в деталях, но главные проблемы, главные направления предстоящей работы видны уже сейчас.

Новая пятилетка прежде всего должна стать началом глубоких качественных изменений в производстве, пятилеткой решающего перелома в деле интенсификации всех отраслей нашего народного хозяйства. Современная материально-техническая база и система управления должны обрести новые, более высокие качества.

Не менее важно сейчас обеспечивать все более тесную взаимосвязь экономического, социального и духовного прогресса советского

общества. Невозможно поднимать экономику на качественно новый уровень, не создавая необходимые для этого социальные и идеологические предпосылки. Равным образом невозможно решать назревшие проблемы развития социалистического сознания, не опираясь на прочный фундамент экономической и социальной политики.

Строить новый мир — это значит неустанно заботиться о формировании человека нового мира, о его идейно-нравственном росте. Именно под этим углом зрения, как известно, рассмотрел вопросы идеологической, массово-политической работы июньский Пленум ЦК. В соответствии с его установками партия будет добиваться, чтобы эта работа полностью отвечала характеру больших и сложных задач совершенствования развитого социализма.

Осмыслить эти задачи в их комплексе, наметить четкую долгосрочную стратегию их решения, показать связь наших текущих дел с коммунистической перспективой — вот что должна нам дать новая редакция партийной программы. Ее подготовке Центральный Комитет придает огромное значение.

Товарищи! Разрабатывая планы дальнейшего развития нашей страны, мы не можем не учитывать положения, складывающегося в мире. А оно сейчас, как вы знаете, сложное и напряженное. Тем большее значение приобретает в этих условиях верный курс партии и Советского государства в области внешней политики.

Борьба за дело прочного мира, свободы и независимости народов всегда была в центре внимания Юрия Владимировича Андропова. Под его руководством Политбюро ЦК и высшие органы нашей государственной власти формировали активную внешнюю политику, отвечающую этим благородным принципам. Политику, направленную на избавление человечества от угрозы мировой ядерной войны. Эта ленинская политика мира, основные черты которой на современном историческом этапе определены решениями последних съездов КПСС, отвечает коренным интересам советского народа, да, в сущности, и других народов мира. И мы решительно заявляем: от этой политики мы не отступим ни на шаг.

Совершенно ясно, товарищи, что успех дела сохранения и укрепления мира в значительной мере зависит от того, насколько велико будет влияние на мировой арене социалистических стран, насколько активны, целеустремленны и согласованны будут их действия. Наши страны кровно заинтересованы в мире. Во имя этой цели мы будем стремиться к расширению сотрудничества со всеми странами социализма. Всемерно развивая и углубляя сплоченность и сотрудничество со странами социалистического содружества — во всех сферах, включая, конечно, и такую важную сферу, как экономическая, — мы тем самым вносим большой вклад в дело мира, прогресса и безопасности народов.

Обращаясь к братским странам, мы говорим: в лице Советского Союза вы и впредь будете иметь надежного друга и верного союзника.

Одной из основ внешней политики нашей партии и Советского государства была и будет солидарность с народами, сбросившими ярмо колониальной зависимости и вступившими на путь самостоятельного развития. И особенно, конечно, с народами, которым приходится отражать атаки агрессивных сил империализма, создающего то в одном, то в другом районе мира опаснейшие очаги кровавого насилия и военных пожаров. Быть на стороне правого дела народов, выступать за устранение таких очагов — это сегодня тоже необходимое и важное направление борьбы за прочный мир на земле. Принципиальная позиция нашей партии в этих вопросах ясна, чиста и благородна, и ее мы будем придерживаться неуклонно.

Теперь об отношениях с капиталистическими странами. Великий Ленин завещал нам принцип мирного сосуществования государств с

различным общественным строем. Мы этому принципу неизменно верны. Сейчас, в век ядерного оружия и сверхточных ракет, он необходим народам, как никогда ранее. К сожалению, некоторые руководители капиталистических стран, судя по всему, не отдадут себе в этом ясного отчета. Или не хотят отдавать.

Мы хорошо видим угрозу, которую создают сегодня для человечества безрассудные, авантюристические действия агрессивных сил империализма, — и говорим об этом в полный голос, обращая на эту опасность внимание народов всей земли. Нам не требуется военное превосходство, мы не намерены диктовать другим свою волю. Но сломать достигнутое военное равновесие мы не позволим. И пусть ни у кого не остается ни малейших сомнений: мы и впредь будем заботиться о том, чтобы крепить обороноспособность нашей страны, чтобы у нас было достаточно средств, с помощью которых можно охладить горячие головы воинствующих авантюристов. Это, товарищи, очень существенная предпосылка сохранения мира.

Советский Союз как великая социалистическая держава полностью сознает свою ответственность перед народами за сохранение и укрепление мира. Мы открыты для мирного взаимовыгодного сотрудничества с государствами всех континентов. Мы за мирное решение всех спорных международных проблем путем серьезных, равноправных, конструктивных переговоров. СССР будет в полной мере взаимодействовать со всеми государствами, которые готовы практическими делами помогать уменьшению международной напряженности, создавать в мире атмосферу доверия. Иными словами — с теми, кто действительно будет вести дело не к подготовке войны, а к укреплению устоев мира. И мы считаем, что в этих же целях должны быть в полной мере использованы все имеющиеся рычаги, включая, конечно, и такой, как Организация Объединенных Наций, которая и создана была для сохранения и укрепления мира.

Товарищи, нас, советских коммунистов, искренне радует, что в борьбе за мирное будущее и прогресс человечества мы идем рука об руку с миллионами братьев по классу, с многочисленными отрядами мирового коммунистического и рабочего движения. Неизменно верные принципу пролетарского интернационализма, мы с горячей симпатией и глубоким уважением относимся к борьбе наших зарубежных товарищей за интересы и права трудящихся и видим свой долг в том, чтобы всемерно крепить связывающие нас узы.

Вот что хотелось бы сказать сегодня о линии нашей партии в международных делах. И мы уверены, что ее всей душой горячо поддерживает советский народ.

Товарищи!

Все свои достижения советские люди неразрывно связывают с деятельностью партии. Беззаветно преданная массам, партия пользуется полным доверием масс.

Только что в партийных организациях завершилась отчетно-выборная кампания. Она вновь показала высокий уровень сознательности и активности коммунистов. На руководящие посты избраны авторитетные, опытные, знающие люди.

В работе Пленума участвуют первые секретари крайкомов и обкомов партии. К вам, товарищи, хотелось бы обратиться особо. Центральный Комитет хорошо знает, как широк круг ваших обязанностей, ваших забот. Знает, как много от вас зависит в решении и наших текущих, ближайших и стратегических задач. Политбюро ЦК уверено, что вы сделаете все необходимое для обеспечения устойчивых темпов роста промышленного производства, успешного выполнения Продовольственной программы, развития трудовой активности масс, для реализации мер, направленных на подъем народного благосостояния. И тем самым — для повышения авангардной роли партии.

Любой выборный пост в нашей партии — пост ответственный. Избрание в партийный комитет надо рассматривать как своего рода кредит доверия, выданный членами партии своим товарищам. И это доверие должно быть оправдано самоотверженным трудом. Таков наказ участников прошедших собраний и конференций. Сейчас, на пороге выборов в Верховный Совет СССР, этот требовательный наказ партия передает и тем коммунистам, которые выдвинуты кандидатами в депутаты, войдут в высший орган государственной власти.

Неисчерпаемая сила советских коммунистов — в сплоченности их рядов. В полной мере эта сила раскрывается, когда, говоря словами Ленина, «мы все, члены партии, действуем как один человек»². Именно так, дружно, сплоченно действует ленинский Центральный Комитет КПСС, его руководящее ядро — Политбюро ЦК. Это позволяет принимать выверенные, всесторонне взвешенные решения, ведущие к упрочению союза рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, братской дружбы народов Союза ССР.

Подлинно партийная, деловая и творческая атмосфера, в создание которой так много сил вложил Юрий Владимирович Андропов, была и будет обязательным условием работы Центрального Комитета партии. Это — залог дальнейшего роста авторитета КПСС, успешного решения стоящих перед нами больших и сложных задач коммунистического созидания.

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 128.

Речь
члена Политбюро ЦК КПСС,
Председателя Совета Министров СССР
товарища Н. А. ТИХОНОВА

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия, наш народ, мировое коммунистическое и рабочее движение понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь Юрия Владимировича Андропова — выдающегося деятеля нашей партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм.

Короткий срок, год с небольшим, возглавлял Юрий Владимирович Центральный Комитет. Но как много за это время сделано. Следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, партия под руководством ЦК КПСС добилась уверенного продвижения страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Многогранной была деятельность Юрия Владимировича, и на ответственных постах, которые доверяла ему партия, он отдавал все свои силы и знания служению интересам народа.

У каждого из нас свежи в памяти глубокие выступления Юрия Владимировича на ноябрьском (1982 г.) и последующих Пленумах ЦК, в которых дана четкая программа реализации преимуществ социализма, решения актуальных проблем коммунистического строительства.

Он умело и энергично направлял деятельность Центрального Комитета, Политбюро по мобилизации коммунистов, всех трудящихся на ускоренное развитие экономики, совершенствование управления народным хозяйством, укрепление организованности и дисциплины.

Опираясь на коллективный опыт, чутко улавливая потребности общественного развития, Юрий Владимирович внес большой личный вклад в работу партии по усилению могущества Советского государства, повышению благосостояния советских людей.

Он настойчиво боролся за последовательную реализацию миролюбивого внешнеполитического курса партии, курса на устранение угрозы термоядерной войны, на решительный отпор агрессивным проискам империализма.

Мы все глубоко переживаем большое горе, которое постигло нашу партию, весь советский народ. Но долг коммунистов-ленинцев состоит в том, чтобы еще теснее сплотить свои ряды, крепить единство партии и народа.

Политбюро ЦК выражает твердую убежденность в том, что Пленум Центрального Комитета продемонстрирует перед всей страной, перед всем миром непреклонную волю партии твердо и последовательно идти и дальше верным ленинским курсом.

Настойчиво и целеустремленно будет проводиться линия, выработанная историческим XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК, на интенсификацию производства, повышение эффективности экономики, ускорение научно-технического прогресса, реализацию Продовольственной программы, на все более полное удовлетворение материальных и духовных потребностей советских людей.

Партия и впредь будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов нашей Родины.

КПСС и Советское государство всегда будут верны идеалам мира, дружбы и сотрудничества между народами всех стран, идеалам социального прогресса.

Дорогие товарищи!

Политбюро обсудило вопрос о Генеральном секретаре ЦК КПСС и единодушно поручило мне предложить Пленуму избрать Генеральным секретарем Центрального Комитета нашей партии товарища Черненко Константина Устиновича.

Константин Устинович прошел богатую жизненную школу. Знает он и нелегкий крестьянский труд, и солдатскую службу, и будни сельского райкома.

Многие годы он возглавлял ответственные участки партийной работы в Красноярской, Пензенской, Молдавской партийных организациях, в аппарате ЦК КПСС.

Где бы ни трудился Константин Устинович, он всегда проявлял себя как талантливый организатор масс, пламенный пропагандист марксистско-ленинских идей, непоколебимый борец за претворение в жизнь политики нашей великой партии.

Коммунистам, советским людям Константин Устинович хорошо известен как выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, верный соратник таких руководителей ленинского типа, какими были Леонид Ильич Брежнев и Юрий Владимирович Андропов.

Работая в Политбюро и Секретариате ЦК, Константин Устинович многое сделал для развития и утверждения ленинского стиля партийного и государственного руководства, для которого характерны глубокое понимание ключевых вопросов общественного развития, реалистический подход к оценке достигнутого и нерешенных проблем, высокая требовательность к кадрам и в то же время доброжелательное отношение к ним, опора на инициативу и опыт трудящихся.

Константина Устиновича отличает умение зажечь людей своей энергией, новаторским отношением к любому делу, сплотить товарищей на дружную коллективную работу.

Хотелось бы особо подчеркнуть его постоянную потребность в общении с массами, его внимание к каждой человеческой судьбе — будь то талантливый ученый или знатный металлург, солдатская мать или молодой писатель.

Константину Устиновичу принадлежит видная роль в разработке крупных теоретических проблем совершенствования развитого социалистического общества, в создании целостной концепции идеологической деятельности КПСС на длительную перспективу.

Константин Устинович принимает самое активное участие в формировании стратегических направлений нашей миролюбивой внешней политики, в деятельности КПСС по укреплению единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения.

Наши военные работники знают, как много занимается Константин Устинович вопросами укрепления обороноспособности страны, оснащения Вооруженных Сил современной техникой, идейной закалки личного состава армии и флота.

Политбюро уверено, что Константин Устинович Черненко на посту Генерального секретаря ЦК КПСС будет достойно возглавлять боевой штаб нашей партии.

Тесно сплотившись вокруг ленинского Центрального Комитета и его руководящего ядра, вооруженные ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом партии, последующими Пленумами ее Центрального Комитета, коммунисты, все советские люди с оптимизмом смотрят в будущее и полны решимости своим самоотверженным трудом обеспечить дальнейший расцвет нашей великой Родины.

**Выступление
члена Политбюро ЦК КПСС,
секретаря ЦК КПСС
товарища М. С. ГОРБАЧЕВА**

Товарищи! Мы завершаем наш внеочередной Пленум ЦК, собравшийся в ответственный момент жизни партии и народа. Пленум прошел в обстановке единства и сплоченности. На Пленуме с чувством огромной ответственности перед партией и народом решены вопросы преемственности руководства.

Пленум показал, что партия пойдет и дальше ленинским курсом, выработанным XXVI съездом КПСС, ноябрьским (1982 г.), июньским и декабрьским (1983 г.) Пленумами ЦК. С особой силой это проявилось в единодушном избрании товарища Черненко Константина Устиновича на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, в полной поддержке положений и выводов по проблемам внутренней политики и внешнеполитической деятельности партии и государства, высказанных в его выступлении на сегодняшнем Пленуме ЦК КПСС.

Позвольте от имени Политбюро выразить уверенность, что члены ЦК, все участники Пленума, возвратившись на места, в партийные организации, будут действовать в духе единства и сплоченности, высокой требовательности и ответственности, которые характеризуют настоящий Пленум Центрального Комитета партии.

Желаем вам всем успехов в работе.

Пленум объявляется закрытым.

Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагогический институт и Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. Черненко начал с ранних лет, работая по найму у кулаков. Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с руководящей работой в комсомольских, а затем в партийных органах. В 1929—1930 годах К. У. Черненко заведовал отделом пропаганды и агитации Новоселовского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 году он пошел добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил в пограничных войсках, был секретарем партийной организации пограничной заставы.

После окончания службы в армии К. У. Черненко работал в Красноярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краевого дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии.

С 1943 года К. У. Черненко учится в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б). По окончании учебы с 1945 года работает секретарем Пензенского обкома партии. В 1948 году был направлен в Молдавскую ССР и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии. Работая в этой должности, он много сил и знаний отдал экономическому и культурному строительству в республике, коммунистическому воспитанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко выдвигается на работу в аппарат ЦК КПСС, где он возглавил сектор в Отделе пропаганды, и одновременно был утвержден членом редакционной коллегии журнала «Агитатор». С 1960 года он работает начальником секретариата Президиума Верховного Совета СССР. В 1965 году К. У. Черненко утверждается заведующим общим отделом ЦК КПСС. В 1966—1971 годах он — кандидат в члены ЦК КПСС. На XXIV съезде партии (март 1971 г.) избирается членом Центрального Комитета КПСС, а в марте 1976 года на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся после XXV съезда партии, — секретарем ЦК КПСС.

С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро, а с 1978 года — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7—10-го созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. К. У. Черненко был членом советской делегации на международном Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.), участвовал в переговорах в Вене по вопросам разоружения (1979 г.).

Константин Устинович Черненко — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. На всех постах, которые

поручала ему партия, он проявил высокие организаторские способности, партийную принципиальность, преданность великому делу Ленина, идеалам коммунизма. К. У. Черненко — автор ряда научных трудов по актуальным вопросам повышения руководящей роли партии в жизни советского общества, совершенствования стиля и методов партийной и государственной работы, развития социалистической демократии. На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко выступил с докладом, в котором определены главные направления улучшения идеологической деятельности КПСС в современных условиях.

За большие заслуги перед Родиной Константин Устинович Черненко дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями Советского Союза. Он является лауреатом Ленинской премии.

К. У. Черненко награжден высшими наградами социалистических стран.

ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ленинской партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм Юрия Владимировича Андропова.

Его жизнь — образец беззаветного служения интересам партии и народа, великому делу Ленина. На всех постах, где по воле партии трудился Юрий Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, знания, огромный жизненный опыт неуклонному осуществлению политики партии, борьбе за торжество коммунистических идей. Качества крупного политического руководителя ярко проявились во всей многогранной деятельности Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и в организации партизанского движения в Карелии в годы Великой Отечественной войны, на ответственных участках партийной и дипломатической деятельности. Много труда вложил он в укрепление безопасности нашего государства.

Со всей силой выдающиеся способности и организаторский талант товарища Андропова — руководителя ленинского типа — раскрылись в его работе на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять Центральный Комитет КПСС. Но за это время партия, следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, обеспечила уверенное продвижение страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в укреплении их нерушимого единства стали ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в выступ-



Юрий Владимирович АНДРОПОВ

лениях Ю. В. Андропова была развита и конкретизирована современная стратегия партии — стратегия совершенствования зрелого социализма.

В этот период усилия партии и народа были сконцентрированы на ускорении развития экономики, на улучшении управления народным хозяйством, укреплении партийной, государственной и трудовой дисциплины, повышении ответственности кадров, на развитии творческой активности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели — росту благосостояния советских людей, усилению могущества Советского государства. Во всем этом велики заслуги Юрия Владимировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку борьбы народов за свободу и независимость.

Под его руководством ЦК КПСС и Советское государство последовательно и настойчиво осуществляли на международной арене ленинский внешнеполитический курс — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным проискам империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплывают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС. Трудящиеся Советского Союза видят в Коммунистической партии своего испытанного, коллективного вождя, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ее внутренней и внешней политики, выражающей коренные интересы народа. Ленинский курс партии непоколебим. Партия вооружена ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами ее Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно проводить линию на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, усиление организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа. Она будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов СССР, развивать социалистическую демократию, воспитывать людей в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, преданности великим идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся международной обстановке КПСС, Советское государство считают своим первейшим долгом последовательно отстаивать дело мира, проявлять выдержку и бдительность, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ — убежденный противник решения спорных международных вопросов силой. Мир без войн — наш идеал. В борьбе за прочный мир вместе с нами — братские страны социализма, коммунистические и рабочие партии, борцы за национальное и со-

циальное освобождение, широкие народные массы, выступающие за предотвращение термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твердо и неуклонно проводить в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Мы желаем жить в мире со всеми странами, активно сотрудничать с теми правительствами и организациями, кто готов честно и конструктивно работать во имя мира.

Советский народ твердо знает: партия, Центральный Комитет, его руководящее ядро непоколебимо верны ленинскому знамени, делу Великого Октября. Партия свято дорожит доверием народа и считает высшей целью своей деятельности заботу о благе и счастье советских людей. Единство партии и народа было, есть и будет источником нашей силы.

В памяти коммунистов, всех советских людей Юрий Владимирович Андропов навсегда останется как человек, беспредельно преданный учению Маркса — Энгельса — Ленина, принципиальный и скромный, близкий к людям труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчинить все интересам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают глубокую уверенность в том, что коммунисты, все советские люди с новой силой проявят свою классовую сознательность и организованность, свои высокие коллективистские качества, целеустремленным самоотверженным трудом обеспечат выполнение народнохозяйственных планов и социалистических обязательств, дальнейший расцвет нашей великой Родины.

АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ*

Роман

XXXIV

Когда спустя три четверти часа Сергей Иванович вышел из кабинета, он был так запутан этими рассуждениями о нравственном вопросе, о страхе, самозащите и преднамеренности (с вытекавшими из каждого положения последствиями), что не только не прояснил, что намеревался прояснить у адвоката по делу Арсения, не только не укрепился в сознании, что зять невиновен и что суд оправдает его, но, напротив, был (как в известной сказке) более чем у разбитого корыта. Лишь одно представлялось теперь ясным, с чем он возвращался домой (к Наташе, как он думал, хотя она обещала прийти только вечером, а до вечера надо было еще дожить, то есть занять себя чем-то), что с Арсением все гораздо сложнее, чем он предполагал по объяснениям дочери, и что ожидать надо худшего и готовиться к нему.

«Сколько же ума у этого человека, какое же надо иметь образование»,— думал Сергей Иванович, снова и снова представляя весь разговор с адвокатом, как тот красиво, без запинок говорил обо всем, и свою перед ним растерянность (как и было все и отзывалось теперь неприятным осадком). Вместо того чтобы осудить Кошелева за его красноречие, из которого нельзя было вынести ничего, кроме смутного представления о том, что не все может быть ясно простому смертному; вместо того чтобы реалистично посмотреть на происшедшее (как приходилось на войне, где даже малейшая лож оборачивалась человеческими жертвами) и дать всему соответствующую оценку,— вместо того конкретно, что надо было сделать Сергею Ивановичу, он, как и большинство обычных людей, полагающих, что чем выше вознесен человек, тем больше в нем ума и честности, не мог преодолеть в себе почтения и доверия, без которых все сейчас же рассыпалось бы для него в жизни. Он как бы подсознательно чувствовал, что возмутиться теперь и встать против того, кто мог и брался защитить на суде Арсения, было хуже, чем промолчать или похвалить его, и, выбрав второе, то есть — лучше похвалить, чем возмутиться (во всяком случае, хоть сохранится надежда), Сергей Иванович восхищался и хвалил Кошелева.

— Ты сталкивался когда-нибудь с судом? — уже вечером, продолжая думать об этом, спросил он у Старцева, зашедшего навестить его. — Это, оказывается, такое сложное дело, там действительно надо быть специалистом. Голова кругом.

— К сожалению, милый мой, везде надо быть специалистом, или по крайней мере обладать сообразительностью. Да хоть в нашем деле — это такой диапазон!

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Старцев называл теперь делом не то, что надлежало ему выполнять по службе, а другое, что входило в круг общественных поручений. Он с удовольствием сидел в президиумах, произносил речи за мир, дружбу, взаимопонимание и контакты, что было правильно, общепринято, к чему не надо было готовиться, но что, вместе с тем, приносило известность, о какой он прежде не мог мечтать. То ему поручалось выступить на митинге в защиту борющегося Вьетнама, то просили (разумеется, в составе группы) встретиться с какой-либо приехавшей из-за рубежа делегацией по линии обществ дружбы, то вдруг возникала еще и еще какая-либо необходимость в нем как в человеке «на подхвате». Он был в деятельности, был упоен возможностью проявить себя как счастьем, подаренным ему, и бежал, бежал, бежал, не глядя ни по сторонам, ни назад, ни вперед, для чего и куда бежит и какова польза обществу от его бега; он вырабатывал для себя профессию из общественной деятельности, не сознавая и не вникая в подробности того, что делал, а только входя будто в состояние душевной удовлетворенности, в каком, он видел, давно пребывали другие, и радость жизни, какую всегда прежде наблюдал в нем Сергей Иванович, была теперь особенно заметна и заразительна в нем.

— Да, ты знаешь, меня направляют в Непал,— вдруг (будто он был уже на другой лестничной площадке) проговорил Старцев, зашедший к Сергею Ивановичу сказать именно о том, что теперь волновало его.— Если меня изберут вице-президентом общества, а к этому идет,— чуть приостанавливаясь перед Сергеем Ивановичем и тут же опять принимаясь ходить, продолжил он,— то я...

— Сядь,— попросил Сергей Иванович.— Сядь, мне трудно с тобой говорить.

— Если меня изберут вице-президентом,— особенно выговаривая «вице-президентом», повторил он, приостанавливаясь и косясь на кресло, в которое предагалось сесть ему.— Собственно, а что ты меня усаживаешь? Я сегодня достаточно уже насиделся, хватит, больше не могу. Так вот, если меня изберут, а к этому идет,— в третий раз начал он,— то я непременно включу тебя в состав президиума. Тебе надо на свет, на солнце, а то ведь пропадешь. Закиснешь, пропадешь! Нет, человеку нужен простор и нужно, чтобы он чувствовал, что он приносит пользу людям.— Это было теперь коньком в рассуждениях Старцева, глубоко верившего, что нынешняя его деятельность более полезна и нужна, чем прежняя, в школе.

— Да, конечно,— подтверждал Сергей Иванович.— Но что же ее нет? Пора было уже быть ей,— тут же с беспокойством говорил он и поглядывал на дверь и на часы, ожидая Наташу.

Независимо от хода разговора со Старцевым в душе Сергея Ивановича происходила своя работа мыслей, и к общей тревоге, какую он испытывал после беседы с адвокатом, прибавлялось теперь это — ожидание дочери, которая обещала быть к ужину и даже остаться на ночь, чтобы завтра утром отсюда уже (вместе с отцом, как этого хотелось Наташе) пойти на суд, но ее все еще не было, и было неизвестно, где она и что с ней.

— Не случилось ли чего? — опять с тревогой спрашивал Сергей Иванович, оборачиваясь на дверь.

— Дело молодое, придет,— успокаивала Никитична, у которой все было готово и остывало на кухне.

С тех пор как Наташа помирилась с отцом, появление ее в доме хотя и не считалось праздником, но вызывало у всех именно настроение праздничности, словно что-то светлое с нею вместе входило в комнаты. Она будто приносила с собой тот, другой, о котором только догадывались, что он существует, мир красоты, веселья, достатка и беззаботности (мир гостиных Лусо, Дружниковых, Стоцветовых), который (от нее уже) словно отсветом ложился на пред-

меты, вещи, проникал в Никитичну, Сергея Ивановича и оживлял все. Он светился в ее улыбке, в ее всегда аккуратно уложенных волосах, открывавших уши, что особенно любил в ней Арсений (она даже будто похорошела, словно была не в горе, а в лучшей для себя поре счастья), был в ее платье, укороченном, шедшем ей, как может только идти модное к молодости, в ее драгоценностях в ушах и на пальцах, в меховой шубе и сапогах, которые она снимала в прихожей, и мягких, с восточной вязью серебряных и золотых нитей туфлях, открытых, в которых она, принеся с собой, входила к отцу. Ей нельзя было просто подать чай; ее надо было угостить чем-то таким, что было достойно ее, как понимала Никитична, и бывала всякий раз в заботах, когда ожидали Наташу. Умевшая приготовить только простое, по-старому, по-деревенски, что она обычно готовила себе, то есть вареники с картошкой и луком и с постным маслом, придававшим будто бы особый вкус им, пироги опять же с картошкой и луком (или с яйцом и рисом, которые выходили хуже, как признавалась сама же Никитична), отваренные макароны с мясом или пельмени (так называемые «ушки», на что она была мастерицей), она подолгу в первое время обдумывала, прежде чем решиться, что из этого своего меню выбрать и приготовить Наташе. И то, что выбирала (может быть, потому, что в ее приготовлениях не было мудрствований), получалось вкусно и нравилось Сергею Ивановичу и Наташе. Особенно нравились вареники с картошкой и луком, политые постным маслом. Никитична лепила их теперь почти через день, и в этот вечер у нее тоже темнели и подсыхали на листах эти вареники, в кастрюле остывала вскипяченная вода, на подоконнике в фарфоровой тарелке желтели остатки картофельной начинки, и по всей кухне пахло жареным луком, тестом, маслом и еще чем-то тем особенным, что исходит не от блюд, а навевается лишь видом хозяйки: ее дородною полнотой, готовыми услужить руками, передником, салфетками, полотенцами, общим видом кастрюль, ложек, ножей, газовой плиты, чайника и пара над ним, как выглядело теперь все на кухне у Никитичны и как выглядела она сама, раздобревшая за эти последние недели, пока жила у Сергея Ивановича.

Она не стеснялась теперь Кирилла так, как стеснялась его прежде (за свое откровенное желание пристроиться в жизни); то, что было с Кириллом, то есть его деятельность, о которой он старался не говорить с ней, она видела, являлось, в сущности, тем же — пристроиться, приловчиться, — чем было и ее стремление прижиться у Сергея Ивановича. «У вас там свое, у меня свое», — рассудительно, сама с собой, говорила она. «Войну прошел, как же, везде возьмут, везде пустят», — говорила она уже Сергею Ивановичу. Деятельность Кирилла она понимала так, будто он использовал свое положение фронтовика, и она не только не осуждала это, но, напротив, считала естественным, как поступила бы сама, окажись в его положении, и приводила своего родственника в пример Сергею Ивановичу, который казался ей квелим, не умевшим взять от жизни, что возможно и надо было брать ему.

Потому-то Никитична, выходя из кухни, так смело теперь вступала в разговор и, как хозяйка, высказывала свои, по любым вопросам жизни, суждения.

XXXV

Уже в седьмом часу пришла жена Кирилла, Лена, и вся семья Старцевых оказалась в гостях у Коростелевых.

— Мой у вас? — сейчас же спросила она, как только Сергей Иванович, ожидавший Наташу, открыл ей дверь.

— Давно уже, — ответил он.

Он помог ей снять пальто, взял из ее рук шарф, шапку, повлажневшие в тепле после мороза, и затем стоял за ее спиной, пока она снимала сапоги.

— Ты где был? — весело и с укором как будто кричала она мужу. — Я звонила тебе.

— Мы заседали на форуме. На 'форуме! — слышалось в ответ из гостиной.

Жизнерадостная, с раскрасневшимися от мороза щеками и желанием тут же приступить к делу, ради которого пришла и которое состояло в том, чтобы поддержать Наташу и Сергея Ивановича в трудную для них минуту накануне суда над Арсением (ей казалось, что и муж ее с этой же целью был теперь здесь), она спросила о Наташе и, поняв по молчаливому взгляду мужчин (и Никитичны, бывшей тут же), что они сами в недоумении, прошла к зеркалу и стала поправлять волосы. Она сделала лишь то, что необходимо и привычно было для нее, но это житейское более говорило о ее спокойствии, чем о волнении, и весело звучавший из прихожей ее голос, и взгляд, каким она одарила мужчин, были так противоположны той атмосфере: озабоченности — для Кирилла, говорившего о своих успехах; ожидания — для Сергея Ивановича, обеспокоенного предчувствием; удовлетворенности жизнью — для Никитичны, довольной собой, что все невольно почувствовали неловкость от ее появления. Она словно бы разрушила то, что было создано до нее, и продолжавший прохаживаться Кирилл морщился, поглядывая на жену. При ней он не мог говорить о своих успехах так, как говорил о них без нее, и был более всего недоволен именно этим, что лишен возможности в прежнем, как он начал, духе, то есть с преувеличением своей значимости вести разговор с Сергеем Ивановичем.

— Ты что пришла? — не выдержав, все ж спросил он у жены.

— Как, ты разве забыл? — В глазах ее, в то время как она повернулась от зеркала, было то искреннее удивление («Мы же договорились быть сегодня здесь, у Коростелевых, как же ты не помнишь?»), что слов было уже не нужно, чтобы понять это.

Она еще с минуту стояла возле зеркала, а когда закончила свой туалет, Кирилл все так же со сморщенным лицом прохаживался по комнате, а Сергей Иванович, видом своим говоривший, что ему все равно, что происходит вокруг него, продолжал сидеть на диване. Он был в том же костюме, в каком ездил к адвокату, в той же рубашке и том же галстуке с крупными синими и серыми полосами, из-под рукава пиджака выглядывал протез в перчатке, и сочетание торжественности, протеза и угрюмого лица, на что Лена сейчас же обратила внимание, словно бы остудили ее намерения. Как ни старалась она проникнуться сочувствием к Сергею Ивановичу, как ни убеждала себя, что он не повинен в развале семьи и что — просто так сложились обстоятельства, но первое впечатление, когда он, вернувшись из Мокши без руки и без жены, зашел к ним, больничные рассказы Юлии (еще до отъезда Коростелевых в деревню), из которых выходило, что на Сергее Ивановиче все же лежала вина, и свои, накладывавшиеся на эти впечатления и рассказы отношения с Кириллом, который с годами становился все нетерпимее к возражениям, вызывали в ней не то чтобы неприязнь, но какое-то скрытое чувство брезгливости к Сергею Ивановичу. На мгновение она вновь ощутила это чувство и, забыв, для чего здесь и о той своей роли покровительницы над остатком семейства Коростелевых, какую взяла на себя и которую нравилось выполнять ей, отвернулась от мужчин и направилась к Никитичне.

— Пойдем-ка лучше к тебе, — сказала она, уводя за собой родственницу по мужу и не давая ей (из женской солидарности) оглянуться на мужчин, оставшихся в гостиной. — Ну рассказывай, что тут у вас происходит, где Наташа? О господи, опять вареники! Ты

о чем думаешь? — увидев разложенные на листах те самые вареники с картошкой и луком, которые, по словам Никитичны, так любил Сергей Иванович и Наташа, воскликнула Лена, и это новое, на что переключилось ее внимание (и о чем было легче вести разговор), сейчас же заняло ее. — Нет, о чем ты думаешь, го-осподи, от одного вида их воротит. На сливочном? — спросила затем, определив по цвету и запаху остатков картофельного пюре, что Никитична поджаривала лук на топленом сливочном масле. — Терпеть не могу на постном.

— А им в охотку, — сказала Никитична.

— Воду грела?

— Вон, в кастрюле.

— Так чего же стоим, давай варить. Где у тебя фаргук?

— Да уж я сама.

— Ничего, ничего, посиди, не хуже сумею. — И Лена принялась топтаться у плиты, то есть занялась тем делом, которым, во-первых, было привычно заниматься ей и которое, во-вторых, освобождало от необходимости думать.

Пока закипала вода и опускались и варились вареники, разговор все же опять зашел о Сергее Ивановиче, Наташе и предстоявшем суде над Арсением, и Никитична, вполне осведомленная в делах коростелевской семьи, рассказала Лене все, что знала.

— Сам-то мучается, — сказала она о Сергее Ивановиче, — а Наташа — дрянь девка. Нехорошая, нехорошая, — несколько раз повторила она. — То помирится с отцом, то опять — хвост трубой, а он — человек же, можно ли так?

— Сам хорош.

— Мы все хороши, а так-то не по-людски, нет, я уже думала. Смотри кабы не переварить, — проговорила она, подойдя к плите и близоруко наклонившись над кастрюлей. — Я погляжу, а ты зови.

Лена вышла в гостиную.

— Кирилл, Сергей Иванович, — позвала она. — Ужинать, все на столе.

Щеки ее (теперь уже от плиты, от пара) были опять покрасневшими. Фаргук она держала в руках. Брезгливость ее к Сергею Ивановичу (и к мужу, к которому заодно будто испытывала она) прошла, она вновь выглядела деятельной и устремленной. Мужчин надо было успокоить, то есть накормить (что бессознательно понимала Лена), и она кроме слов, которые говорила им, кроме интонации, какую придавала голосу, чтобы расположить их, весело, всем лицом, улыбалась им.

— Кирилл, Кирилл, — более к мужу обращалась она.

С безразличием, с каким Сергей Иванович все это время сидел на диване, он встал и пошел на кухню. Вслед за ним вошел на кухню Кирилл, и Лена, суетясь и выполняя тем свой долг, ради которого была здесь, принялась усаживать мужчин. Мужу, пока подвигала ему стул и ставила перед ним тарелку, успела несколько раз укоризненно шепнуть: «Забыл, что ли, для чего пришли? Повеселей надо, ты же тоску наводишь», — и Кирилл, пересиливая себя, сначала улыбнулся, потом, когда блюдо со скользкими, окутанными паром варениками было поставлено в центре стола, весело воскликнул: «Ба-а, какая прелесть!» Потом, хитровато-весело подмигнув Никитичне, проговорил:

— А не пропустить ли нам по рюмочке под это дело, а? — Он покосился на Сергея Ивановича и опять подмигнул жене и Никитичне. — Ну как? Есть что-нибудь? — Он невольно, от одного только сознания, что выпьет и хорошо закусит теперь (что было для него важным элементом его жизненных потребностей), приходил в свое обычное состояние, когда ему казалось, что грусть есть в мире лишь потому, что люди не умеют быть веселыми. — Великолепно,

великолепно,— проговорил он, увидев в руках Никитичны графин с водкой, который она ставила на стол перед ним.

— Ну не будем вешать носа,— как только было налито в рюмки, сказал Кирилл, поднимая свою и приглашая Сергея Ивановича сделать то же. В это время в коридоре, у входных дверей, раздался звонок.— Наташа! — воскликнул он.

Хотя все ждали этого звонка, но он прозвучал так неожиданно, что все насторожились. Сергей Иванович даже как будто переменялся в лице. Он хотел было поставить рюмку и пойти открыть дверь, но Никитична опередила его.

— Да уж сидите, сама,— сказала она и своею неторопливою, крестьянскою походкой вышла из кухни.

Когда она вернулась, она была бледна.

— А где Наташа? — спросила у нее Лена.

Никитична не ответила.

— Что-нибудь случилось? Что с ней? — настороженно проговорил Сергей Иванович, еще прежде этого своего вопроса понявший по расстроенному лицу Никитичны, что предчувствие не обмануло его, что с Наташей действительно что-то произошло и надо спешить к ней. Не дожидаясь, что ответит Никитична, он поднялся и, отстраняя с дороги ее, пошел в гостиную. За ним в гостиную двинулись Кирилл, Лена и Никитична.

Они застали Наташу стоявшей возле двери, у стены, в шубе, шапке и сапогах, с которых стекали на паркет струйки таявшего снега. Она была, как потом говорила о ней Никитична, не похожа на себя — белая, как стена, с пустыми, смотревшими перед собой глазами и, казалось, даже не понимала, где она и что с ней. Как на кого-то незнакомого, взглянула на отца, подошедшего к ней, и на Кирилла, Лену, Никитичну, полукольцом окруживших ее, и не слышала, что они говорили и о чем спрашивали; лишь только резкий как будто окрик отца: «Ну раздевайся, что стоишь», — словно бы разбудил ее.

— Ты что на меня кричишь? — сказала она отцу.— Он умер, его больше нет.

— Кого? Кто? — сразу послышалось ото всех.

— Арсения,— сказала Наташа, не зная, кому ответить прежде, и глядя не на отца, не на Кирилла, а на Лену, от которой, как видно, более ожидала сочувствия.— Умер,— повторила она, повернувшись к отцу, в то время как в глазах ее уже стояли слезы.

Ей сообщили о смерти Арсения в тот момент, когда она уже собралась ехать к отцу, и она, вместо того чтобы поехать к отцу, поехала в следственный изолятор, а оттуда в морг, где было тело Арсения, и была вся теперь под впечатлением морга, той страшной картины, когда ей приоткрыли край простыни и показали его.

XXXVI

Арсений умер, не дождавшись суда, ночью, от отека легких, и никто не услышал ни его стонов, ни просьб о помощи. Но смотритель, проходивший после полуночи по коридору, видел, что в камере у него горел свет и что он сидел за столом и писал. Арсений работал над научными, как он обозначил их на титульном листе, записками, которые задуманы были еще во время болезни и которым он, судя по упорству, с каким трудился над ними, придавал особое значение. Запутавшись в понимании добра и зла под впечатлением рассуждений своего первого соседа по камере Христофорова, вернее, тех библейских истин, которые тот по своему произволу выбирал и излагал, и признав вместо прежде признававшейся им роковой силы, довлеющей над людьми, лишь бессмысленное понятие «действия», в котором будто бы одновременно заложены и добро,

и зло (выходило, что всякое вмешательство в жизнь человека в конечном итоге всегда есть только зло, и потому нельзя и не нужно вмешиваться),— теперь под влиянием нового соседа по палате, человека по-своему незаурядного и умного, стал постепенно приходить к мысли о том, что и «действие» и «роковая сила» (которыми он объяснял мир) были лишь заблуждением и что существовало иное и более ясное и точное понятие — «социальная необходимость», которой можно было объяснить все.

Социальной необходимостью, как представлялось Арсению, или — следствием этой социальной необходимости, что лишь дополняло, уточняло, но не изменяло сути, было решение его отца, школьного учителя, уехать с просветительскими целями в деревню. «Да, да, тогда это было необходимо, но чем это обернулось для нас? Началом конца, трагедией», — говорил он словами матери, которая, он помнил, упрекала отца уже после его смерти именно за то, что он увез всех в деревню. Следующей социальной необходимостью был для Иванцовых отъезд из деревни. То было движение в поисках заработка и хлеба из глубин России в Среднюю Азию, получившее название «в Ташкент за хлебом». Движение это захватило столь огромные массы, что все станции от Рузавки до Арыси были забиты крестьянскими семьями — мужиками, детьми, женщинами, бегавшими в поисках кипятка и штурмовавшими поезда, уходившие на восток, и в этой массе полуголодных, полуодетых людей, ехавших от своей земли в чужую, где им рисовалось сказочное изобилие, затерянные, как песчинка в потоке, двигались Иванцовы. «Куда? Зачем? Глупость!» — с усмешкой думал теперь Арсений, беря за исходное не голод, из-за которого тогда ехали, а глупость, которая очевидна была ему теперь, с отдаления: нельзя и смешно на чужбине искать счастья! «Не надо было трогаться из деревни, перебились бы, пережили, как другие», — тревожно и глухо вспоминал он высказывания бабушки. Социальным явлением или продуктом времени, как можно было еще сказать, были те промышленявшие по вагонам парни, которые заставили отца в страхе залезать под полку-нары. После революции и гражданской войны было столько сирот, столько безотцовщины, что неестественным, наверное, было бы, если бы подобных парней с финками и кастетами не было, и потребовался не один десяток лет, чтобы ликвидировать это явление. «Роковая сила, хм, нет, не роковая, а результат деятельности людей! — восклицал теперь Арсений. — Кем-то была впервые поправа справедливость! Была же поправа, была, и уже за ней вся эта необозримая цепь оправданных и неоправданных преступлений, о которых слышал и знаю я и о которых не слышал, не знаю, но которые есть».

Ему, хорошо разбирающемуся в смене эпох и общественных формаций, то есть тех форм насилия, которые поочередно возводились правителями и в которые при каждой смене формации заставляли верить народ как в нечто светлое, должное принести облегчение людям и вернуть им наконец справедливость и мир; и хорошо знакомому с самыми различными философскими теориями о законах развития природы и общества, в первую очередь с философией марксизма, позволившей объективнее, чем во все прошлые времена, взглянуть на общество, — ему как историку не только теперь (в тюремной больнице и после) не приходило в голову опереться на эти знания, но, напротив, он умышленно оставлял их в стороне, чтобы они не мешали. Он понимал, что опыт прошлого был важен — и для него, и для человечества; но ему казалось, что в том, как передавался поколениями этот опыт, закралась ошибка, и он хотел избежать этой ошибки; он хотел сам пройти тот путь, который прошло человечество, и добиться (чего не смогло сделать человечество) той абсолютной истины, которая, в сущности же, нужна была ему всего лишь для оправдания своей пражоты жизни.

«Ганнибал с безмерным желанием власти сжигал города и убивал людей, этот самый Ганнибал объявляется великим полководцем в истории человечества, — думал Арсений (со своей способностью мысленно перемещаться в прошлое и ставить себя не в положение тех, кто одерживал верх и представал в величии, а в положение тех, кого грабили, убивали, распинали на крестах и объявляли рабами). — Еще более великим, спасшим будто бы цивилизацию и чуть ли не всю Европу, подается Публий Корнелий Сципион Эмилиан Младший, сровнявший с землей Карфаген». И перед глазами Арсения разворачивалась известная (по описанию историка Полибия) картина, как полководец и историк, поднявшись на холм и обдуваемые средиземноморским теплым ветром, с хладнокровностью римлян (это ли не знаменательно!) наблюдали за тем, как резали, жгли, заваливали камнями метавшихся в отчаянии карфагенян, простых, не имевших отношения к политике, которых — миллионы и которые (по инертности ли, по доверчивости или какой-либо еще закономерности, хорошо известной дирижерствующим) втягивались и продолжают втягиваться в страшные своей необузданной стихийностью водовороты истории. «Кто же из людей первым преступил черту несправедливости? Ганнибал, Сципион? Не они ли? Или еще до них — кто, когда, где? Как случилось, что народы давали возможность совершаться безумию? — продолжал Арсений. — Социальная необходимость или субъективная жажда власти, насилия? — Невольно он переносил уровень своего мышления на уровень мышления людей тех времен. — Да, видимо, суть одна, какими бы словами не обозначалась». Он обращался к разным историческим эпохам, но во всех одинаково находил насилие, обман, ложь, и ему казалось, что уничтожением Карфагена как раз и были открыты ворота для вседозволенности и стало возможным стирать с лица земли города, государство, народы (как будто жизнь тех, кто у власти и в силе, это одно, а жизнь других, кто не у власти и поработщаем, это другое, и с такими можно как с муравьями — придавил сапогом, и все, нету). Всегда по-особому относившийся к древнегреческой истории и считавший образцом и примером для человечества демократию Афин, он и в ней видел теперь только некую социальную необходимость, которая затем была раздавлена и сметена новейшей деятельностью людей. Деятельность эта вызывала у Арсения усмешку, и маленькие, круглые (за толстыми стеклами очков) глаза его оживали в такие минуты раздумий, и врач, лечивший его, видел в этом признак выздоровления.

«Исторические судьбы народов и судьба каждого отдельного человека — как соотносить их, и разве это не предмет для исследования? В чем противоречие и в чем соответствие? Почему человек, получающий жизнь, должен подчинять ее воле других, и не лучших, а напротив, имеющих целью только придавить и унижить подобных себе?» — думал Арсений, соотнося свою жизнь с общей жизнью людей. Он не мог высказать этого вслух; высказанное вслух, оно выглядело бы смешным (я и человечество!), он понимал это; но еще более он понимал, что не только правомерно и нужно было соотносить свою жизнь с общей жизнью людей (не могут же цели человечества исключать удовлетворение личных запросов; для чего же тогда эти цели и для кого?), но что — потому именно люди и страдают, что не задаются этим важным вопросом и, в сущности, лишают себя возможности влиять на ход жизни. «То, что было со мной, было не в вакууме, не само по себе — от желания или нежелания родителей; так ли, иначе ли, но все было обусловлено социальной необходимостью». И он от событий исторических переходил к событиям личным и вспоминал далекий туркменский городок, известковый завод, на котором работали мать и бабушка, умершие от малярии и похороненные там же (сколько позднее ни старался Арсений найти их могилы, так и не мог, ему показали лишь предположительное место, где они могли быть похоронены,

и он только растерянно смотрел на безымянные, поросшие среднеазиатской колючкой холмики). «Что это было? Это была социальная необходимость,— рассудительно говорил он теперь.— Это было следствием того общего, что происходило со всеми и чего нельзя было избежать. Нельзя? Но почему?» Ответа не было, как не было его на десятки других подобных вопросов. К социальной необходимости он относил и годы, прожитые им у дяди в Москве, и свое второе сиротство, когда на дядю пришла с фронта похоронная, и дистрофию, после которой упало у него зрение, и ночи над книгами и диссертацией, и, наконец, Галину с ее маленьким Юрием, которого он усыновил, и с ее отчимом и родней, не понявшей и не принявшей его, Арсения, с его болезненной худобой, с его боязнью перед грубой силой и неумением постоять за себя, и теми его другими и потребностями жизни, главным из которых было — жить так, как подсказывает всякому человеку его человеческое достоинство, то есть по закону добра, справедливости и братства.

Но жить так, он видел, было нельзя. Старый Сухогрудов старался подчинить его своей силе; то же пытался сделать с ним и Дементий и даже подросток Юрий, щипавший людей только за то, что они имели иное, чем у него, настроение. «Все они — продукт времени: и Галина, и ее отчим, и ее брат, Дементий, и, очевидно, я сам — тоже продукт времени,— думал он, и его поражала эта мысль, что он тоже, выходит, социальное явление; он, со всеми этими обновленными мыслями, желанием справедливости и добра, желанием счастья и себе, и людям и стоявший уже почти на пороге этого счастья, женившись на Наташе.— Да, да, видимо, я тоже социальное явление, результат общей деятельности людей. Тогда в чем я виноват? Разве я хотел кому-нибудь зла?» — думал он.

XXXVII

Палата, в которой лежал Арсений и которая так располагала его к размышлениям, была небольшой, двухместной, с голыми стенами и белой больничной мебелью. По утрам приходил врач и, не присаживаясь, спрашивал о самочувствии. Он был скуп на слова, не улыбаясь; его дело было — лечить, и он лечил, спокойно, уверенно, как строя дом или штукатурят стену (каждый раз с тем прищуром, с каким мастеровой сначала смотрит на раствор, потом на пространство стены, которое берется отделать). Лишь однажды он позволил себе сказать: «Запустили, запустили себя, голубчик. У вас сердце с лентой, нельзя же так сидя сидеть», — что относилось к тому образу жизни, какой вел Арсений на свободе. В историю болезни он записал в тот день, что у больного сердечная недостаточность, и оставил его еще на неделю в больнице.

Малоразговорчивым был не только врач, но и санитар, приносящий еду и лекарства (словно бы в подтверждение известной шуточной истины, что для совместной работы подбираются обычно люди одного склада). «Я делаю ровно столько, сколько обязан, и большего не ждите, не будет», — говорило его угрюмое лицо, как только он появлялся в палате. У него что-то не ладилось в семье, и он переносил недовольство на больных, особенно на худого, в очках Арсения, который как раз худобой и очками не нравился ему. Арсений чувствовал это недоброжелательство, как он всегда чувствовал постороннюю силу, пытающуюся давить на него, и ему пришлось бы трудно, если бы не сосед по палате, Данилин, умевший смешно и колко (в лицах) представить врача и санитаря.

Данилин этот был человеком по-своему интересным. Он относился к тому типу людей, о которых не скажешь сразу, кто они, чем занимаются и каковы их взгляды на жизнь. То в них проступает святая наивность, — так с легкостью судят они о вещах, требующих осмысле-

ния; то вдруг прорывается начитанность, книжность, и становится очевидным, что «святая наивность» была только игрой, своего рода хитростью; то выказывают знание истории (разумеется, дилетантское при ближайшем рассмотрении), то осведомленность в точных науках из популярных по науке и технике журналов, то опять — над всем берет верх простота, с помощью которой всегда можно притвориться этаким добрячком простофилей, которого все и во всем обманывают. При определенных условиях Данилин мог бы сделать много полезного для общества; но природная одаренность его, не подержанная никем в молодости, не могла проявиться в нем теперь иначе, чем проявлялась, и Арсений с удивлением и жалостью смотрел на него. Дело же, по которому привлекался Данилин, было, как он сам говорил об этом, пустячным. Его поймали на том, что он загружал в машины больше овощей, чем выписывал в накладных. «А почему? — как бы сам себя спрашивал он. — Да потому, что, во-первых, так делают все, во-вторых, можно свалить на грузчиков: загружается сразу пять, десять машин, за всеми не уследишь, и в-третьих (что было главным его козырем), не без ведома же делалось, а с ведома, так что если потянуть за веревочку, то и министр вряд ли усидит на своем стуле, — смеясь, добавлял он. — Не потянут, не-ет. Год условно, вот все. Год». И он с каким-то будто даже озорством смотрел на свое, в сущности, уголовное дело.

— То, что я могу сказать тебе или себе, я ни за что не скажу следователю. У меня своя правда, у него своя, — иногда философски начинал он. Он любил поговорить о жизни и имел о ней свое определенное понятие, которое основывалось на том, что все только берут от нее, а отдают лишь тленом. — Трава тянет корнями соки из земли, скотина поедает траву, а мы скотину, и все возвращается в землю тленом. Так чего мы хотим? — спрашивал он. — Люди как трава, кто где пустил корни, оттуда и тянет. Не так я говорю, а, ответь мне, не так? Молчишь, а-а, то-то. — Выходило, что его вообще не за что было привлекать к суду.

Но временами на Данилина находила иная стихия, он словно бы преображался и начинал говорить о жизни так, что трудно было возразить ему.

— Мы все — продукт времени, — говорил он (то самое, что особенно действовало на Арсения). — Я могу заработать, а не дают, хочу заработать, а негде, и тогда я начинаю ловчить. Все равно, свое взять надо. Лошадь в оглоблях куда дернут, туда и пойдет, и мы в оглоблях. Нет такого, что не зависело бы от людей, от нас всех, от общей нашей деятельности, и вот что тут любопытно, что когда мы по отдельности, мы умны, а вместе — не получается. Вот в чем гвоздь! — продолжал он, будто говорил не с ученым, не с кандидатом наук, а с таким же, как сам, простым человеком, не знающим настоящего смысла жизни.

Арсений почти не вступал в разговор. Он боялся повторения того, что было у него с Христофоровым. Да и слушать было спокойнее, чем говорить; спокойнее было наблюдать за чужой жизнью, чем думать о своей, и он постепенно привык к своему разговорчивому соседу, к его суждениям, так что потом, когда пришло время, тяжело было расставаться с ним.

Данилина написали первым.

— Ну вот и прощай, — сказал он, подходя к Арсению. — Когда понимаешь что к чему, нет страха. Жили и будем жить, прощай, — повторил он, своею широкой и сильной рукой пожав худую выше локтя руку Арсения.

Арсений еще около двух недель пролежал в палате, уже в одиночестве, и как раз в эти непомерно долго тянувшиеся для него дни пришел к осознанию того, что пробудило его к деятельной жизни. Сначала он просто вспоминал Данилина, его мужицкое с крупными

чертами лица, на котором особенно выделялись тяжелые, начавшие сесть брови. Брови постоянно как будто были в работе (в соответствии с ходом разговора или ходом мыслей), то выражали вопрос, то сосредоточенность, то удивление или другие и объяснимые только в сочетании со словами и голосом оттенки настроения, которыми так щедро была натура Данилина. Арсений вспоминал сначала именно это внешнее, что было как будто грубым, но в то же время привлекательным в Данилине, но затем (как и бывает всегда, когда человек хочет понять другого) начал проникать в его суждения, в которых совсем по-иному предстал мир людских отношений. Его поражала простота (но более, видимо, необычность), с какою Данилин умел выразить свои наблюдения. Самые сложные и казавшиеся необъяснимыми явления обретали в его словах какую-то необыкновенную правдивость. «Люди как трава, кто где пустил корни, оттуда и тянет», — опять и опять повторял Арсений, изумляясь простоте того, о чем в свое время прочитал тома всевозможных исследований. Привыкший к книжному объяснению мира, он столкнулся с простым, народным объяснением его (вернее, с одним из подобных, во множестве бытующих в народе, которые, несмотря на присущий им утопизм, обычно воспринимаются как правда), и столкновение это не могло подействовать на него иначе и не пробудить в нем свои и тоже казавшиеся простыми и ясными мысли.

XXXVIII

Часами после обхода врача Арсений лежал на кровати, один, как ватой, обложенный больничной тишиной, которая вместе с запахами лекарств и видом халатов угнетающе действует на людей. Время от времени за дверь, по коридору проходил кто-то — санитар ли, врач ли, кто-либо из больных, направляющихся на процедуры, и Арсений, услышав их шаги или разговор, из которого нельзя было разобрать ни слова, только чуть поворачивал голову в сторону двери. Он был слаб, ему не хотелось подниматься, но способность думать жила в нем как будто отдельно от его худого и немощного тела. Мысли его бежали широко, вольно, захватывая разные уголки памяти; он словно бы торопился наверстать то, что за многие годы было упущено им, и именно в эти дни начал складываться у него план тех самых научных записок, к работе над которыми он приступил сразу же, как только из больницы был вновь переведен в камеру следственного изолятора.

Это была точно такая же по объему и обстановке камера, в какой он до болезни был с Христофоровым. Но только теперь он был один, и никто не мешал ему думать, то есть погружаться в тот мир спрессованных воображением и соединенных вместе эпох, философских течений, исторических судеб народов и судеб отдельных людей, частью домысленных, частью известных по источникам, в котором не то чтобы легче, но привычнее было ориентироваться Арсению, чем в окружавшей его теперешней жизни. Мир прошлого требовал лишь усилий ума, мир настоящего — практических действий, на которые он менее всего был способен; и потому он был похож на человека, ищущего потерянный предмет не там, где этот предмет был потерян (и куда не хотелось или боязно было возвращаться). «Я убил человека, и я хочу найти оправдание себе в исторических поступках сотен тысяч других людей, живших в другое время и не связанных со мной, — вдруг приходило ему это простое и разрушало прежние построения. — Я хочу обвинить человечество, законы жизни, которые складывались веками, но имею ли я право на это и что могу предложить взамен, кроме разве стремления оправдать себя?» Он прекращал писать и начинал нервно ходить по камере, хрустя пальцами по давней своей студенческой привычке, от которой Галина отучила его, и эти минуты, пока ходил, были, в сущности, теми единственными и редкими, когда

тело его получало физическую нагрузку; во все остальное время дня (и ночи, так как ложился только на рассвете и, казалось, сейчас же просыпался, едва закрывал глаза) он продолжал, склонившись над столом, работать. Он писал главу за главой, как не писал никогда прежде, и ему странно было вспоминать о своей докторской диссертации, которую как ни старался, не мог (за пять лет!) продвинуть дальше середины. Не она теперь занимала его (со всею своей вторичностью и обилием шаблонов, как сказал Кошелев, познакомившись с ней), а эта, теперешняя, о социальных явлениях жизни, причинах и следствиях, которую словно выплескивал из себя Арсений. Он спешил, спешил, будто нечто большее, чем только славу ученого, должны были принести ему эти его записки.

«Я брошу им на стол, и пусть видят, кто есть кто», — думал он, подразумевая под словом «им» то своих коллег по институту, перед которыми надо было, он чувствовал, оправдаться ему, то Галину с ее родственниками, то тех, кто допрашивал и собирался судить, то человечество, которому в воображении придавал определенные черты неприятных ему людей.

Если бы Арсений не занялся этими своими записками, то он вынужден был бы думать о том страшном, что он совершил, и о Наташе, которой он испортил жизнь и с которой надо было решать что-то; он вынужден был бы от поисков общих истин спуститься к тем конкретным делам, которых не знал и в которых надо было не рассуждать, но действовать; а действовать он не мог, потому что не мог преодолеть того чувства обиды (что все, что было с ним, было несправедливо), которое во все годы жизни мучило его и от которого он спасался теперь этой придуманной для себя работой. Он, в сущности, пытался говорить о гибельности океанских волн, не побывав в море и не испытывав их силы и противоборства с ними; но ему казалось (из-за укрытия, из-за которого он привык смотреть на мир), что он как будто сам прошел через все исторические испытания, и ему более чем очевидно было, в каких пороках погрязло человечество и что можно было принять из опыта жизни и что отвергнуть. Отвергнуть надо было, по его мнению, те наслоения (в виде законов и условностей), которыми за века плотно обросло человечество. Всякая условность или закон непременно рано или поздно вступали в противоречие с личностью, то есть с той естественной потребностью свободно проявить себя, которую испытывают все люди (он ошибался только в том, протестуя против законов и условностей, что он исходил из ложной посылки, меряя всех людей на себя, на доброе начало и совесть, тогда как законы и условности придумывались не для ущемления добрых начал, а для ограничения зла, жестокости и насилия в защиту доброты): ему хотелось свободы проявления добра (как будто он не имел подобной возможности!), но достижение цели виделось ему в отвержении законов, сковывающих будто бы личность, и он с той силою души (в худом, усыхающем теле), на какую только был способен теперь, старался доказать свою правоту. Ему неважно было, противоречило ли то, что он писал, основам марксизма, материализму и диалектике вообще, то есть пониманию необходимости тех явлений, какие происходили и происходят в обществе, а важно было, что он так думал и открывал истину; и он жил этим сознанием открытия, как если бы и в самом деле был брошен им вызов человечеству.

Но, отстраняясь от конкретных дел следствия и суда (в пользу той абсолютной истины, которую искал), от факта убийства, совершенного им, и поиска доказательств, на основании которых можно было бы ожидать оправдания на суде (само слово «оправдание» вызывало протест в нем, так как он не знал, в чем и перед кем оправдываться), он не мог не думать о Наташе; Наташа составляла для него тот особый мир неиспорченного еще пороками жизни человеческого совершенства, тот редчайший экземпляр драгоценности, на который можно бы-

ло смотреть только чистым взглядом и возле которого очищаться; и он продолжал уже мысленно, здесь, в камере, отгораживать ее от той грязи, той нравственной нечистоплотности, от которой так старательно оберегал, живя с ней. «Неужели они позовут ее на суд? — вдруг, в минуты прояснения, произносил он, с ужасом представляя, как все будет на суде, главное же, что Наташа увидит его в том, со стражей за спиной, положении, вернее, в той страшной несправедливости, от которой у него не было средств защититься. — Нет, у них хватит ума не позвать ее. Я им скажу. Им надо сказать это». Как он обычно чувствовал свою душу, болезненно сжимавшуюся от всякого постороннего прикосновения, он чувствовал теперь душу Наташи, и ему важно было сохранить в ней это, что он любил в ней. Когда он теперь думал о ней, он вспоминал не о глазах ее, улыбке или голосе, живо слышавшемся ему, не о нарядах, в которых водил ее к Лусо, в Большой театр и к Карнауховым, и где она была так хороша, что все смотрели на нее и завидовали ему, а обращался к тому бестелесному, что принято называть душой и что он старался сохранить в ней для себя, для будущей своей жизни. Самому простому и естественному — ее молодости — он придавал (с высоты своего опыта и умудренности) те черты человеческого совершенства, о которых люди только полагают, что они есть, и в то время как он, противопоставляя себя человечеству, защищал, казалось, лишь свои принципы, с еще большей силой защищал и Наташу, выдвигая ее совершенство как противоядие векам, социальным явлениям и личностям, величие которых отрицал.

XXXIX

В последний день своей жизни он, казалось, особенно хорошо поработал. Ему принесли несколько научных, по истории, книг, которые он заказывал, и бумагу, которая кончалась у него, и он, вполне удовлетворенный этим малым, что в условиях следственного изолятора представлялось богатством, сейчас же принялся отыскивать в книгах то, что было нужно ему. Он даже не обратил внимания на ироническую улыбку служителя, принесшего это богатство, и на вопрос его: «Книги-то эти?» — машинально ответил:

— Да, да, сюда, — будто служитель спросил, куда положить их.

— Видать, есть что завещать, а? — уже от двери, покосившись на бумагу (не на ту, что принес, а на исписанную, что стопой лежала на столе), сказал служитель.

— Вы что-то сказали? Да, да, спасибо, — сказал Арсений, лишь на секунду отрываясь от раскрытой перед глазами книги и тут же опять углубляясь в нее.

Ему надо было найти, что относилось к духовному состоянию общества тех эпох, и он неожиданно наткнулся на цитату (из древнегреческого поэта и драматурга Софокла, прославлявшего мощь свободного человека), с которой прежде не был знаком. Софокл восторженно восклицал: «Много на свете дивных сил, но сильнее человека — нет». «Да, сильнее человека — нет, — подтвердил Арсений. — Софокл хвалит силу, Аристотель — ум (он вспомнил и мысленно произнес известное высказывание Аристотеля о том, что выше науки есть только ум). Ум?!.. Сила?!.. А что нам доказывает история? На что человечество употребило эти свои ум и силу? Чему научилось? Рушить, притеснять, давить, да добр ли наш ум, обладает ли тем, что мы стараемся приписать ему?» Эти и еще подобные вопросы вставляли перед Арсением, и он не то чтобы не мог или не искал ответа на них, но не успевал запомнить, на что отвечать, и опять тянулся к столу и записывал уже это новое, что приходило в сознание. Оно еще менее, чем предыдущее, имело отношение к тому делу, по которому он привлекался; но ему, напротив, казалось, что он будто открыл еще одну

дверь (в воображенном коридоре жизни), которая приближала его к цели.

В камере было тепло, но Арсений чувствовал, что у него замерзают ноги, и он раньше обычного лег в постель. На душе его было спокойно, так как главное, что он хотел, было сделано им, и у него оставался еще один полный (до суда) день, когда можно было успеть многое. Он лишь неожиданно и уже перед тем, как заснуть, вспомнил (по тому сцеплению мыслей, которое всегда кажется странным), что служитель назвал его рукопись завещанием. «Что же, можно и так», — подумал он, находя свой смысл в этом слове. Потом мысли его оборвались, он не видел ни снов, ни кошмаров, которые, как об этом пишется в романах, приходят будто бы перед смертью к человеку; он не только не думал о смерти, но само предположение, что он может не встать и утро начнется без него, что без него пойдут затем дни, недели, месяцы, годы, само предположение было невозможным для него. Он думал о жизни и готовил себя к ней; и то недомогание, которое в последнее время постоянно чувствовал, казалось ему, происходило лишь от перенесенного им воспаления легких. После болезни он так привык к своей физической слабости, что было больше ее или меньше, уже не имело значения.

Проснулся он неожиданно, среди ночи, оттого, что ему трудно было дышать. «Что со мной?» — подумал он, полагая, что то, что происходило с ним, было оттого, что он неудобно лежал. Он попытался было переменить положение, но почувствовал боль в сердце и сильнее стал задыхаться. На грудь его как будто наваливали что-то, и он, стараясь освободиться от груза камней, тянул на себе рубашку слабыми, немеющими пальцами. «Да что со мной?» — снова подумал он, стараясь пересилить недомогание, полнее вдохнуть воздух и чувствуя, что не в состоянии сделать этого. Он потянулся, чтобы включить свет, и впервые тревожная мысль, что с ним что-то серьезное, ужаснула его. «Нет, — сказал он себе, — не может быть. Теперь, когда я так понимаю жизнь, когда нет больше ни препятствий, ни сомнений и я знаю, чему учить человечество, именно теперь... нет, не может быть, я просто неловко лег», — продолжал он, в то время как приступ удушья несколько отпустил его. Арсений как будто нашел то положение, в котором удобно было ему дышать, и не шевелился, боясь нарушить это положение.

Он пролежал так несколько минут, прислушиваясь к разным участкам своего тела, как будто старался найти подтверждение тому, что жив, но мысль о смерти уже не отпускала его; мысль эта искала для себя своих подтверждений, и подтверждения эти были прежде всего в том постоянном (после болезни) недомогании, которого Арсений еще вчера, казалось, не замечал, но которое теперь о многом говорило ему. Он не раз слышал о внезапных смертях от инфарктов, инсультов, но возможность приложения к себе этого, что прежде происходило с другими, на мгновение заставила замереть его. «Вот так, просто? — подумал он, хотя происходившее с ним не только не было простым, но, напротив, приносило и душевные, и физические страдания. — Так сразу? — повторил он. — Нет, это невозможно; невозможно, чтобы я со всем своим миром желаний, своими обновленными мыслями, Наташей... нет, невозможно. Невозможно, несправедливо и жестоко — со мной, сейчас, так просто?» — продолжал он, не решаясь пошевелиться, то есть нарушить в себе то установившееся состояние покоя, которое давало ему возможность дышать и думать. Как всякий солдат, идущий в бой, надеется втайне, что пуля или осколок не попадут в него (может быть, если бы не этот великий самообман, невозможны были бы и войны), Арсений не то чтобы оставлял себе надежду, что смерть обойдет его, но был убежден, что обойдет; каждой клеточкой тела он хотел этого; но в то же время ужас перед тем, что это может произойти, произойти теперь, с ним, все более охватывал

и леденил его. Надо было крикнуть, позвать на помощь, но он не смел пошевелиться; ему казалось, что если он сделает малейшее движение, в нем сейчас же что-то оборвется и он умрет; он видел свое спасение в неподвижности, в то время как ум продолжал работать и реалистическая картина своей смерти представлялась ему. Он видел гроб, себя в гробу, цветы, слезы, слышал приглушенные голоса, шаги и видел Наташу в горе, в каком, он полагал, должна была быть она; он старался проникнуть в состояние ее души, унять в ней слезы и помочь ей в ее горе; он и теперь, на своих похоронах, хотел уберечь ее от тех впечатлений, от которых постоянно оберегал ее, и так как сделать это можно было только — не умирать, он громко, как ему показалось, но беззвучно, как было на самом деле, проговорил: «Я не хочу, нет, этого не будет!» Но в то время как он произносил это, он сделал движение и опять начал задыхаться; и сильнее и судорожнее побежала в нем мысль.

«Так вот чего я боялся всю свою жизнь,— вдруг, словно остановившись, проговорил он.— Я боялся смерти и хотел жить. Я и сейчас хочу жить, хочу, чтобы все, что было со мной, было и было снова; даже плохое было, в сущности, прекрасно, потому что было жизнью». Он спешил раскаться в том, как воспринимал жизнь, и готов был все пройденное повторить сначала, все-все, лишь бы была дарована ему эта возможность. Но он чувствовал, что жизнь угасала в нем, и пытался бороться — тем единственным для него теперь средством, которое называют в народе силой духа; но тело уже не подчинялось этой силе; в последнее мгновение он еще успел увидеть склонившуюся как будто над ним Наташу (во всем том счастливом сиянии, в каком любил видеть ее) и потерял сознание. Но и в беспамятстве еще некоторое время продолжал бороться за жизнь короткими и судорожными вздохами, потом затих, и утром, когда пришли разбудить его, тело его было уже холодным. На столе покоились аккуратно сложенные стопой книги и рукопись, а сам он с выражением мучения в открытых глазах, которые уже невозможно было закрыть, и в мученической позе (головы, рук, ног, туловища) лежал на кровати.

XI

Своей неожиданной смертью Арсений, в сущности, сделал возможным то — разом решил весь узел проблем, соединявшихся на нем, — чего не смогли бы сделать ни суд, ни адвокаты, ни общественность, если бы даже не формально, как происходило на самом деле, а заинтересованно вмешались в дело. Он развязал руки всем, кто хоть как-то был связан с ним, и это особенно чувствовалось на похоронах, которые состоялись на четвертый день после его смерти. У всех присутствовавших было на лицах почти одно и то же выражение, будто они пришли в квартиру, торжественно убранную в траур Никитичной, не с чувством утраты, возникающим от сознания невосполнимости ее (и долга живых перед мертвым), а с чувством облегчения, что все до сих пор отягчавшее их теперь будет снято с них.

Кошелев, не раз втайне упрекавший себя за то, что взялся за дело Арсения, которое не только не оказалось перспективным, как рассчитывал он, но, напротив, более рядовым, чем можно было предположить это, настолько не мог сдержать своего нахлынувшего возбуждения, что, забыв, где он и для чего пришел, позволял, разговаривая со Старцевым, которого знал как общественного борца за мир, произносить слова так громко (в то время как за дверью, в большой комнате, лежал покойник), что Никитична, взявшая на себя руководство похоронами, вынуждена была несколько раз подходить к нему.

— Да, да, простите,— говорил Кошелев, оборачиваясь на пожилую женщину, которую видел впервые и роль которой на похоронах была неизвестна ему.— Извините, извините,— со своим тактом и

умением сказать вежливо добавлял он, чтобы через минуту, забывшись, вновь повторить все, за что извинился.

На журнальном столике, вынесенном сюда на время, возле которого разговаривал известный адвокат со Старцевым, лежала рукопись Арсения, принесенная Наташей вместе с другими вещами мужа из следственного изолятора. Несколько страниц из рукописи соскользнуло на пол, и Кошелев, не заметивший этого, топтался на них, разрывая, пачкая и давя их каблуками своих зимних, на искусственном меху, ботинок.

— И как вы поступили? — спросил его Старцев в середине разговора.

— Изложил в брошюре, и все, — бойко ответил Кошелев, привыкший всякое стоящее, на его взгляд, дело излагать в своих брошюрах, то есть переводить в деньги для себя.

Профессор Лусо, пришедший с доцентами Карнауховым и Мещеряковым и возвышавшийся теперь над ними бритую головой, имел еще больше оснований считать удовлетворенным себя. Во-первых, полностью уходил в небытие вопрос об аморальном поведении Арсения — разводе, женитьбе, истории с убийством приемного сына, что неприятным оттенком ложилось на коллектив и, конечно же, характеризовало самого Лусо, как он думал, полагая, что коллектив — это он со всеми своими достоинствами и недостатками, и во-вторых, сам собою теперь снимался вопрос о рукописном журнале, грозивший еще большими неприятностями для всех, как выражался теперь Лусо, понимавший, что когда виноваты все, то спросить не с кого. «Как жил скрытно, не по-человечески, так и умер не по-людски. Но вовремя, вовремя. Знал, видимо, за собой то, о чем мы только догадывались», — думал Лусо, в то время как взгляд его был направлен на маленькую, уснувшую после болезни и смерти голову Арсения, утопавшую в гробу. Головка представлялась ему маленькой еще потому, что на ней не было привычных крупных очков Арсения.

— Как все же смерть меняет человека, это ужасно, — вдруг произнес молчавший до сих пор Карнаухов, повернув свое холеное, с тонкой линией носа и такую же тонкой линией черных бакенбард лицо к Мещерякову.

— Смерть всегда ужасна, — сейчас же отреагировал Мещеряков. — Ни ему оправдаться, ни нам обвинить его, вот что такое смерть.

В темном, с разрезами по бокам costume, элегантно сидевшем на Карнаукове, в его хотя и траурном как будто — с красными и белыми полосками по темному фону — галстук и синего тона рубашке не только не чувствовалось ничего траурного, но, напротив, было даже что-то будто торжественное, официально-торжественное, на что он был приглашен. Но несмотря на эту официальную торжественность, которая требовала определенной от него корректности, — как и на вечерах у Лусо, как в театре или на приемах, устраиваемых у себя, где он любил поддержать репутацию человека прямодушного, смелого, компанейского, то есть из престолярства, как было модно теперь представлять себя, он и здесь, на похоронах, не мог удержаться от этой своей привычки подделаться, хотя бы в разговоре, под народ. То, что он сказал Мещерякову, было не тем, что он думал и чувствовал; смерть Арсения, в сущности, не трогала его; по тому количеству разговоров, большей частью дурных, которые он слышал о своем бывшем друге, по отзывам начальства, то есть Лусо, об Арсении, а начальство ясно для чего высказывает свое мнение, наконец, по тому факту, что Арсений всю осень находился под следствием, в тюрьме, где ни за что, как известно, не держат, как полагал Карнаухов (полагало большинство в институте), он, в сущности, был готов к тому, что увидел; но, зная, что народ при виде покойника непременно выражает соболезнование, он и произнес это свое «ужасно», выразив, однако, не соболезнование, а лишь свое ко всему отношение. На Мещерякова же

оглянулся потому, что, как всегда, ожидал от него возражений. Но возражений не последовало, и это удивило Карнаухова. «Странно,— решил он, подумав прежде всего не о том, что неприлично заводить спор при покойном, чем, видимо, как раз и руководствовался его всегдашний оппонент, а о том, что сказанное им не вызывало возражений.— Странно, странно,— повторил он.— Или, может быть, тоже решил вместе с нами?» И как только вопрос этот был мысленно произнесен им, на сжатых губах его появилась знакомая многим неприкрытая и должная уничтожить доцента Мещерякова улыбка, какую Карнаухов не раз, за неимением аргументов, заканчивал с ним спор.

Но Мещеряков не видел этой улыбки. Внимание его привлекли вошедшие с цветами студенты, которых он знал. Студенты держались растерянно, робко — оттого ли, что было много незнакомого народа, или оттого, что увидели декана и преподавателей; Никитична провела их к гробу, в который они положили цветы (те жиденькие, в несколько стебельков, букеты, какие только и можно было по их средствам достать в этот зимний декабрьский день), и отошли в сторону. «Будут ли вот так на наших?» — живо подумал Мещеряков, которому показалось трогательным то, что он увидел. В сознании его хотя и смутно, как что-то отдаленное, возник образ Мити Гаврилова, эскизы которого о мертвецах и гробах он видел на частной выставке в мастерской художника Ермакова. По какой связи пришло ему это воспоминание, он не знал; но совсем ясно он помнил и о том, что его заинтересовало тогда в Мите как в человеке и художнике; но чувство, какое испытал тогда и какое сохранилось в памяти как очищение от чего-то ненужного, обременительного и ложного и как пробуждение к деятельности искренней, правдивой, для народа, и не по абстрактным понятиям блага для него, по которым никогда ничего не доходило до адресата, а по тем делам, которые приносят это благо,— чувство это, шевельнувшееся при виде студентов, как и во время встречи с Митей Гавриловым, взволновало Илью Николаевича. Он как будто вдруг уличил Арсения в том (хорошем, чему тот отдавался при жизни, то есть в деятельности искренней, для блага людей), к чему сам доцент Мещеряков только стремился; и он с несвойственным ему беспокойством принялся торопливо оглядываться вокруг, словно различие (в пользу Арсения и не в пользу его, Мещерякова) было очевидным для всех и огляяло его. Не в столь строгом, как у Карнаухова, костюме и более — по общему виду, полноте и манере держаться — подходивший под категорию людей, мало заботящихся из-за своей занятости об одежде, Мещеряков благодаря стараниям жены выглядел тоже не очень траурно. Он чувствовал неуместную яркость галстука, неприличную как будто белизну высунутых из-под рукавов пиджака манжет с блестящими запонками, смущался и от этого смущения еще более невольно, чем только что, ответил Карнаухову, когда тот снова обратился к нему.

Карнаухов был на похоронах без жены; Мещеряков же, напротив, пришел на похороны Арсения с женой, Надеждой Аркадьевной, которая не могла отказать себе в удовольствии увидеть Наташу в несчастье. Считавшая ее выскочкой и не умевшая простить ей соперничества в обществе, не умевшая, в сущности, простить Наташе молодости и приберегавшая для нее ком грязи, которым хотела бросить в нее, она чувствовала, что грязь эта уже брошена в Наташу и надо было только дать почувствовать это. «Ты не находишь, что слишком тороплива нынешняя молодежь,— говорила она не отосившееся будто к Наташе, собираясь вместе с мужем на похороны и выбирая в гардеробе что надеть.— Не успеют опериться, а уже в небо. Это всегда может плохо кончиться». Она собиралась к этому выходу точно так же, как собиралась в Большой театр или на вечер к Лусо; и когда в прихожей у Иванцовых сняла с себя норковую, безумной цены шубу, даже Никитична, бывавшая по своей профессии в самых разных богатых домах, не могла не удивиться не столько наряду, сколько богатству на

этом наряде. Руки Надежды Аркадьевны были отягчены перстнями и кольцами, среди которых особенно выделялась квадратная бриллиантовая печатка, доставшаяся ей, как она уверяла всех, от матери, и надевавшаяся только в особых (как теперь!) случаях; в ушах были бриллиантовые сережки, слегка прикрывавшиеся темными волосами и темным шарфом, надетым для траура, а поверх черного платья, которое (несмотря на свой цвет) было более для театра, чем для похорон, на полной и высокой груди светилось дорогое кольцо. Заметив, что на все, что было на ней, обратили внимание (ей казалось, обратили внимание не столько на богатство, сколько на вкус, с каким она была одета), и делая вид, что она не замечает этих обращенных на нее взглядов, она поправила прическу, кольцо и, мельком полюбовавшись на свои перстни и печатку (что как раз и должно было, как ей казалось, воздействовать на Наташу и окончательно раздавить ее), мелким семенящим шагом, привлекая внимание всех, вошла в комнату.

Но обстановка похорон всегда есть обстановка похорон, а вид покойного всегда есть вид покойного, вызывающий у людей чувства грусти, тревоги и жалости (видимо, по сознанию того, что все смертны); но вид лежавшего в гробу Арсения (оттого, каким его все знали при жизни и знала Надежда Аркадьевна) — вид Арсения, исхудавшего и усохшего за время болезни и смерти, так поразил Надежду Аркадьевну, что она в ужасе и с широко открытыми глазами остановилась перед гробом. Она словно бы почувствовала размеры тех страданий, которых никогда не переживала сама, и ей стало нехорошо и больно за Арсения. «Господи, господи», — шевеля губами, но, в сущности, беззвучно, мысленно произнесла она. Глаза ее наполнились слезами. Она положила свои гвоздики рядом со скрещенными руками Арсения и, промокая платочком в уголках глаз и на щеках, чтобы не размазать наложенных красок, подошла с этими слезами и платочком к Наташе и обняла ее.

— Какое несчастье, боже мой, какое несчастье, — проговорила она, качая головой, в то время как Никитична подставляла ей стул, чтобы она могла сесть рядом с Наташей.

XII

В двенадцатом часу приехали Григорий и Лия Дружниковы, прихватившие с собой Тимонина, встретившегося им по дороге.

— Как?! — воскликнул Тимонин, всегда помнивший, что надо ему, и не помнивший о других. — Умер? Похороны? Вот так штука... Поеду, поеду, как же, — проговорил он, влезая в открытую для него дверцу «Москвича».

В сознании его сейчас же прокрутилась вся небольшая история его отношений с Наташей, с которой он искал близости.

— Так похороны что, сегодня? — переспросил он у Лии, сидевшей за рулем.

— Да, — ответила Лия. — Но мы с Гришей на минуту, только взглянуть. У нас дела, — с озабоченностью добавила она.

Дела же ее были — обычная мелочная суета, из которой, как из трясины, невозможно выбраться. В Москву приезжала французская певица Матье, и надо было достать билеты на ее концерты; и надо было достать поэтический сборник, вокруг которого вот уже вторую неделю велись оживленные споры и, достав который, Лия знала, разочаруется в нем. Но она не могла не делать того, что делали все, и жила, в сущности, теми поверхностными интересами, за которыми нельзя было разглядеть ни усилий, ни трудностей народной жизни, ни трагичности отдельных, как у Арсения и Наташи, судеб. Но Лии казалось (как, впрочем, и большинству живущих подобной поверхностной жизнью), что она живет не для себя, а для других. «Ах, я ничего не

успеваю для себя»,—говорила она, веря, что говорит правду. Она со всеми была в хороших отношениях, всех любила; любила не за то, что те были порядочными людьми, за что их можно было любить, а за добро, которое делала для них. Она знала, что Тимонин был человеком пустым, никчемным; был пустым и никчемным писателем, несмотря на славу, ходившую за ним; но еще больше знала его как любителя поволочиться за женщинами, особенно молодыми, и эта слабость его, за которую она погрозила ему пальчиком в Доме журналиста, когда встретила с Наташей и поняла его намерение, как раз и была причиной ее внимания и любви к нему. Добро, которое она делала своему отдаленному (по Лусо) родственнику, заключалось в том, что она разбивала его намерения, то есть «спасала» его от его жертв; и она так много раз спасала его, что не помнила от кого, и потому у нее не возникло теперь никаких сомнений из-за того, что везет его к Наташе.

По этому же шаблону, как она воспринимала Тимонина, она воспринимала и Наташу, для которой тоже, казалось ей, было сделано столько добра, что просто непростительно было бы теперь, когда подруга в горе, не поехать к ней и не повидать ее.

— Господи, так молода, так молода,—с той сиюминутной искренностью, на какую только и хватало ее, произносила Лия, уверенно ведя свой «Москвич» по морозной московской улице. Понятием молодости она как бы упрощала для себя Наташу и устраняла те сложности, в которых надо было еще приложить усилие, чтобы разобраться; но на усилия у Лии не было ни желания, ни времени в ее суетной столичной жизни.— Так молода, так молода,—повторяла она, покачивая головой, словно речь шла о чем-то неизлечимом.

В противоположность Мещеряковой, нарядившейся специально будто для похорон, а вернее, для Наташи, которой хотела определенным образом досадить, Лия приехала в удобном шерстяном, синее с белым, югославском костюме-тройке, в котором ходила на работу. Она передала шубу и шапку Никитичне, вышедшей встретить ее, и успев за эту минуту задержки, пока раздевались муж и Тимонин, подладиться под сейчас же ощутившуюся ею атмосферу похорон, какая была в квартире: по количеству шуб и шапок на вешалке и стульях, по количеству народа, толпившегося даже в прихожей, так что впереди, за ними, не было ничего видно, по выражению лиц этих людей и выражению лица Никитичны, сейчас же сказавшим, что в доме покойник, и тишине и тому трупному духу, какой с мороза, с улицы, был особенно ощутим,—успев именно подладиться под атмосферу похорон, которая, несмотря на то, что Лия знала, куда и для чего едет, была и неожиданна, и неприятна ей, она неторопливо, как и Мещерякова только что, направилась вслед за Никитичной в большую комнату, где в цветах стоял гроб с телом Арсения.

Слегка растерявшись от многолюдства, которого не ожидала встретить здесь, и взглядов, сразу же устремившихся на нее, как только вошла в комнату, она несколько мгновений видела перед собой лишь гроб с красно-черной шелковой отделкой, цветы и возвышавшиеся над цветами скрещенные на груди руки Арсения, за которыми внизу будто, на белом, лежала маленькая, успокоенная смертью головка, и видела сгрудившихся по одну, противоположную от нее, сторону гроба людей. Предположение, что она лишь на минуту заглянет к Наташе, выразит соболезнование и уедет, то есть без какого-либо понятия о похоронах представление, как все должно произойти (ей было привычно делать все на ходу, не основательно, для галочки, как сказали бы на производстве, что было своего рода симптомом времени), было не только неверно, не только нельзя было, уронив на подругу слезу сочувствия, сейчас же проститься и уехать, но неловко было даже подумать об этом. Все ближе подходя к гробу, в котором отчетливо проглядывало изменившееся после смерти лицо Арсения, и не столько

уже ужасаясь, как привыкая к этой новой обстановке, в какой, Лия понимала, неизбежно придется теперь быть ей, она сначала узнала Мещерякову, в перстнях и кольцах (чем та, собственно, и заставила обратить на себя внимание) сидевшую возле Наташи, потом Наташу и братьев Стоцветовых, Станислава и Александра, за ней, потом Карнаухова, Мещерякова и своего дядю Лусо, весело будто, как показалось ей, смотревшего на все перед собой. «О, да здесь все свои»,— подумала она, еще более осваиваясь и более различая лица стоявших сразу за гробом и дальше, во втором ряду и у стены, людей. Она еще раз взглянула на Лусо, на доцентов, с которыми надо было поздороваться, но неудобно было (через гроб) сделать это; затем взгляд ее вновь упал на Станислава, на Наташу и опять на Станислава, и на мгновение она даже приостановилась от той догадки, которая осенила ее. «Нет,— подумала Лия.— Это было бы слишком: не успела похоронить одного... нет, нет-нет, это было бы слишком»,— повторила она, переводя взгляд с Наташи на Арсения, к которому только теперь почувствовала жалость в связи с догадкой, то есть с тем, на что недавно еще сама наталкивала Наташу, но что теперь представлялось непозволительным. Может быть, по инстинкту самозащиты, принадлежа к определенному кругу людей, к которому принадлежал Арсений и в котором Наташа была пришлой, чужой, оказавшейся тут не по своим заслугам, а по заслугам мужа (к которому так неблагодарно готова была отплатить теперь), Лия без колебаний приняла сторону Арсения, хотя тому уже ничего не нужно было в жизни; и по этому разделению, кем был для нее Арсений, оскорбленный Наташей, доведенный ею до гроба, и кем была Наташа, не сумевшая понять, оценить и поддержать его и потому недостойная его,— вдруг решительно наклонилась над усохшим личиком Арсения и губами прикоснулась к его лбу.

Когда она отходила от гроба, что-то будто подтолкнуло ее еще раз посмотреть на Наташу, Станислава и опять на Наташу, и то подтверждение своей догадке, какое хотелось увидеть ей, она увидела настолько ясно, что у нее уже не возникало больше сомнений. Она поняла, по этому своему мимолетному взгляду, что чувства и мысли Наташи были сосредоточены не на умершем муже, куда устремлены были ее то наполнявшиеся слезами, то просыхавшие глаза, а на другом, куда направлено было ее душевное внимание, то есть на Станиславе, стоявшем за ее спиной, и на его брате Александре. Наташа не звала Стоцветовых на похороны, но они, узнав о ее несчастье, пришли и были нежны и внимательны к ней. Лия поняла это так же верно, как если бы сама была на месте Наташи. Особенно сказало ей об этом молодое, полное жизненных сил лицо Наташи. Она была более в испуге, чем в горе; была удручена не столько смертью мужа, сколько тем, что смерть эта будто оголила ее перед Станиславом и Александром. Когда она плакала, она плакала оттого, что ей жалко было себя, что так неумело распорядилась своей жизнью, тогда как возможны были другие и лучшие варианты, когда глаза ее просыхали, она вся словно бы съеживалась от мыслей, которые приходили ей о будущем. Она понимала, что нехорошо было думать о том, о чем она думала, но не могла заставить себя думать о другом, и этот душевный разлад ее, отражавшийся на лице, как раз и увидела и поняла Лия.

Обойдя гроб и подойдя к Наташе, потому что нельзя было не подойти к ней, Лия с заметной холодностью обняла ее, приложилась своей щекой к ее, затем кивком головы поздоровалась с теми, с кем было надо, и отошла в сторону. О том, чтобы сейчас же уехать с похорон, она уже не думала; ей хотелось до конца проследить за Наташей и Стоцветовыми, на которых она продолжала смотреть, не обращая внимания ни на мужа, пристроившегося к доцентам Карнаухову и Мещерякову и со скучным видом стоявшего возле них, ни на

Тимонина с его намерением относительно Наташи. На приемах Тимонин знал, как держаться с дамами; но на похоронах, было очевидно (даже ему!), нельзя было быть прежним, и он недоуменно, словно задавал себе вопрос, для чего он здесь, смотрел то на Наташу, то на гроб, то на всех вокруг себя.

XII

Лукин, приехавший на суд Арсения и узнавший о его смерти, был все утро в нерешительности, поехать ли ему на похороны, на которых, он понимал, нечего было ему делать, или пойти на Старую площадь и передать там в отдел записку о зелендужском эксперименте, то есть о целесообразности закрепления земель за семейными звеньями, которую он привез. Вопрос о закреплении земель был, очевидно, важнее; но Лукин с удивлением чувствовал, что здесь, в Москве, вопрос этот не занимал его так, как занимал в Мценске, и не только потому, что здесь не было ни деревень, ни полей, на которых он хотел навести порядок, ни тех людей, колхозных председателей и директоров совхозов, которые одним своим появлением сейчас же вызвали к жизни десятки нерешенных, и не всегда по причине бесхозяйственности, проблем, ни самой той атмосферы районных будней, в которой слова «труд», «надо», «обязательство» уже сами по себе определяли общую направленность жизни. Москва по тому поверхностному впечатлению, какое она производит на приезжающего заполненными народом универсамами, суетой машин и людей на улицах, площадях и вокзалах, словно бы вплетенных, как в венок, в Садовое кольцо,— Москва произвела на Лукина впечатление не то чтобы праздного, занятого лишь потребительством города, но отдаленного будто от самих понятий «труд» и «надо», к которым он привык. Здесь словно бы решались какие-то иные, высшие, нравственные проблемы, которые существовали отдельно, чего Лукин, разумеется, не мог постичь в силу своей деревенской озабоченности; он лишь почувствовал, что оказался будто на палубе парохода с цветами, народом и музыкой, на которую всегда так хотелось войти ему, и тот багаж жизни, с каким он прибыл в Москву, он видел, был лишним и ненужным здесь.

Впечатление это усиливалось у Лукина еще тем, что он приехал не на совещание, как в прошлый раз, когда выступал в Кремлевском Дворце съездов, что определенным образом дисциплинировало его, а для решения личных дел. В райкоме и Зине он сказал, что едет продвинуть зеленодужский эксперимент; но тем настоящим, что составляло цель его поездки и в чем он не мог обмануть себя, были — суд над Арсением и возможная, на этом суде, встреча с Галиной. И хотя встреча эта, он понимал, могла только навредить ему в его теперешней наладившейся семейной жизни, как понимал и несопоставимость того личного, с чем приехал, с общественным, что собирался решить здесь и что было делом государственным, способным, если разумно подойти к нему, изменить весь нынешний облик деревни, он не только не в силах был подавить в себе это личное, а напротив, чем ближе надвигался день встречи с Галиной, тем сильнее это личное обретало над ним власть. Он был виноват перед бывшей своей женой, и потребность искупить вину перед ней и притягивала и пугала его. «Я только объясню ей,— думал он.— В конце концов она поймет, что мы не можем быть вместе». Он не хотел повторения того, что с ним было, и не хотел терять того, что с таким трудом (и унижениями перед Зиной и дочерьми) было восстановлено, но желание повидать Галину было настолько велико, что заслоняло и прошлые и будущие опасения. Когда ему сообщили, что Арсений умер и что суда не будет, он прежде всего испытал досаду. Судьба Арсения не волновала его, он был далек от этого человека; но судьба Галины со всей ее неустро-

енностью, о чем он хорошо знал, была близка ему, и он чувствовал, что должен принять участие в ней.

«Но как? Не искать же ее, да и где?»

Он уже более получаса стоял перед окном, из которого открывался вид на Москву-реку и Замоскворечье (как и в прошлый свой приезд, он жил в гостинице «Россия», только в другом крыле ее), и думал, как ему поступить. Со Старой площадью, он понимал, можно было подождать, но с похоронами, где, по его предположению, могла быть Галина, — если не поехать на них, то все уже будет безвозвратно потеряно. «Так что же делать? — спрашивал он себя. — Встретиться на суде это одно. А что же я поеду искать ее, когда у меня свое дело?» Но в то время как он смотрел на папку с текстом записки и пояснениями к ней, лежавшую на журнальном столике; и в то время как с облегчением будто говорил себе: «Да, да, надо заняться настоящим», — это настоящее вдруг начинало тускнеть перед ним. Он невольно вспомнил о визите в райком отца и сына Сошниковых, которые, в сущности, как тогда же определил Лукин, предъявляли ультиматум; и хотя требование их можно было понять и объяснить и несправедливо было не выплачивать им заработанное, но Лукину нужен был сейчас повод, чтобы не идти на Старую площадь, то есть получить внутреннюю свободу выбора, и он думал об ультиматуме, что давало ему эту свободу.

Из гостиницы он выходил все же с намерением поехать на Старую площадь, и в руках его была папка. Но когда сел в такси, на вопрос водителя: «Куда?» — назвал адрес Наташи.

— На похороны, — затем мрачно добавил он, как будто был недоволен тем, что его заставляют ехать туда.

Точно в такой же нерешительности — идти или не идти на похороны — была Галина, приехавшая вместе с братом на суд Арсения.

Дементий, на вертолете летавший за ней в трассовый поселок и нашедший ее в таком состоянии опущенности, в каком он даже помыслить не мог, виновато отводил от нее глаза, пока добирались до Тюмени и потом до Москвы. «Да, да, ей там нечего делать. Там она пропадет», — как только он оборачивался на сестру, приходило ему в голову. Он помнил, как бригадир Мирон со свояченицей, вышедшие проводить до вертолета Галину, смотрели на нее, помнил слухи, которые доходили до Дементия и которым он по занятости и нежеланию (и неумению!) растрчивать на пустяки энергию не придавал значения. «Виталина права, — думал он. — В Москве ей будет лучше. Надо устроить ее в Москве». И в первый же день, как только прилетел, сразу же начал хлопоты по устройству Галины. Но, столкнувшись с обычными для Москвы трудностями, когда никто вроде бы не отказывает в просьбе, но и не говорит «да», и закрутившись со своими делами, то есть делами стройки, которых сколько ни решай, всегда много накапливается для столицы, он постепенно как бы переместился от цели устройства Галины к цели устройства своих дел и был возбужден, весел, был вновь в том привычном кругу жизни (круг государственных, как он говорил, забот), в котором все было понятно, разрешимо и доступно ему. Заместитель министра, принявший его, был, как показалось Дементию, доволен им и тем, как разворачивались дела на строительстве газопровода; он дал понять Дементию, что после этой его стройки, если она будет завершена в срок, а лучше — досрочно, не исключено, что его могут поставить во главе другой, еще более грандиозной, которая планировалась. В главке, куда он зашел после разговора с заместителем министра, он был встречен с еще большей теплотой и участием. На него смотрели как на героя, бывшего из окопов, с передовой, где на каждом шагу опасность и где не только делать что-либо, но просто находиться уже подвиг. Но Дементий — делал. Самодор, Харасовой, Уренгой — что-то будто магическое, должное поднять благосостояние заключалось в этих сло-

вах для москвичей, и Дементий для них был человеком оттуда, из тех трассовых поселков, где денно и ночью шел напряженный, самоотверженный труд. Москвичам, жившим в тепле и удобствах, не только доставляло удовольствие называть мужеством то, что происходило там, на Самотлоре и в Уренгое, и было, в сущности, такой же потребностью труда, как для всякого на земле человека, но было оправдывавшей их потребностью; Дементий с русой курчавившейся бородой, с обветренным и черным от мороза лицом и в свитере, в каком удобно было ему быть на стройке и в каком, несмотря на запреты и увещевания Виталины, он все же позволял себе появляться здесь, в Москве,— Дементий производил на них впечатление человека, в котором соединены были все представления о легендарных сибирских геологах и буровиках; от него словно бы веяло этой легендарностью века.

Кроме того что он урегулировал в главке все вопросы, которые надо было урегулировать, он успел связаться по телефону с Киевом и поговорить с Патоном, к которому у него было дело, и поговорить по телефону же с Ксенией о здоровье отца. Он знал из писем, что отец был болен; но знал также, что отец недомогал давно и что недомогание его было не столько физическим, сколько душевным и не представляло опасности. «Как ни жалуется, а все тянет»,— думал он об отце, и ему казалось, что и нынешней осенью с отцом происходило точно то же, что с ним происходило всегда. Но разговор с Ксенией насторожил и озадачил Дементия. Он вспомнил, каким видел отца на похоронах Юрия. «Он тогда уже был плох, как же, я помню, уже тогда был плох»,— сказал он, и среди множества дел, намеченных в этот приезд в Москве, он запланировал и поездку в Мценск, к отцу, на которую уговаривал и Галину. Ему казалось, что теперь, когда был отменен суд и высвободилось время, в самый раз было поехать в Мценск. «Когда еще я смогу?»— говорил он Галине. Известие о смерти Арсения он воспринял как облегчение, как некую справедливость, благодаря которой с него снят был ненужный и тяготивший его (на что надо было еще затрачивать время) груз.

XIII

— Ну-у, знаешь, я не понимаю тебя. То делаешь одно, то... совсем другое,— говорил в это утро Дементий, стоя перед сестрой в ее квартире у Никитских ворот. — Мы же договорились с тобой ехать к отцу, а ты собралась на похороны Арсения. Не понимаю, что тебе там делать, не понимаю.

Он прошелся по комнате и опять остановился перед Галиной. Он не только не чувствовал теперь в ней опущенности, поразившей его в трассовом поселке, но яснее, чем прежде, находил в ней ту энергию жизни, которой прежде всегда восторгался, которую считал фамильной. Он видел, что с Галиной со дня ее приезда в Москву произошло что-то, что происходит с цветком, высаженным на лето из горшка в почву; она не просто вернулась в привычные обстоятельства жизни, которые после сибирской «ссылки», как она называла свое пребывание в трассовом поселке, показались особенно дорогими, но в ней словно бы вновь пробудились все душевные потребности и побуждали ее к деятельности. Узнав от секретаря суда, что Лукин, знавшийся в списках свидетелей, был в Москве, она сейчас же поняла, что увидит его на суде; и вместе с тем как поняла это, она почувствовала, что ей как бы давался еще шанс испытать судьбу. Похудевшая за время своей «ссылки», что, впрочем, пошло только на пользу и молодило ее, она чувствовала, что была еще хороша собой. То порочное, когда ей все равно было, с кем переспать (делала же она это как в укор жизни, в которой не нашлось подходящего места ей),— она же то чтобы отделила от себя, как отделяла всякий раз, когда что-ли-

бо новое затевалось ею, но она чувствовала, будто этого порочного и не было с ней и она была чиста и готова к новой любви и жизни. Что ей было теперь до суда, до убийцы ее сына, Арсения, о котором она не хотела и не могла думать; она готовилась не к суду, а к встрече на суде с Лукиным, которому с высоты своих обновленных чувств мысленно прощала все. Она считала (по ходу своих мыслей), что он был виноват, как всякий мужчина виноват перед женщиной уже тем, что мужчина; ей нужно было ощутить, что для него она готова была пожертвовать большим, и это было как раз ее прощением. «Боже мой, я дура, дура», — говорила она себе, в то время как думала о Лукине и встрече с ним. Она была возбуждена в эти дни, и эту-то возбужденность, причину которой Дементий не мог знать, он и видел теперь на округлившемся и похорошевшем лице сестры.

— Ко всему прочему, если хочешь, это еще и глупо, — снова произнес он, продолжая разглядывать сестру и невольно начиная испытывать раздражение. Упорство Галины, которое он и прежде знал за ней, теперь казалось ему оскорбительным. — Он получил свое (что было об Арсени), и пусть его хоронят. Чужие люди, чужой дом, нет, это невысказано. Тем более отец, можно сказать, при смерти, как ты так можешь? Ответь хоть что-нибудь, ну я прошу, — понимая, что силою не добиться ничего от сестры, сказал он мягче и сдержаннее.

«Я всегда знал, что она глупа, — не столько подумал, сколько — как бы сама собою, давно и отдельно от него жило в его сознании это, что он готов был теперь произнести, глядя на сестру. — Но чтобы до такой степени?!» Он намеревался оставить ее пожить у отца, как было удобнее, проще и легче ему решить с нею, и упорство Галины путало ему карты.

— Может быть, я действительно чего-то не понимаю? — снова остановившись перед ней, спросил он.

— Да, не понимаешь. Как всегда, впрочем, — ответила Галина, не хотевшая ссориться с братом, но и не желавшая уступать ему.

Она собралась на похороны потому, что решила, что там будет Лукин. Женское чутье говорило ей об этом. Но она не могла сказать этого брату. Она чувствовала, что задуманное ею брат не одобрил бы, но как раз это, что было нехорошо с точки зрения других и брата, было важно для нее. Ей хотелось того с во его счастья, на которое она имела право; и она, много раз уступавшая это право (кому и как, не было нужды уточнять), желала теперь только одного — чтобы воспользоваться им. Хотя она оделась во все траурное, в чем была на похоронах сына (и в чем видела ее Наташа, нашедшая ее красивой и испытывавшая ревность к ней), но на лице и в глазах ее было столько жизни, столько решимости бороться за свое, что Дементий, не умевший вникнуть в ее состояние, но все более (чем внимательнее присматривался к ней) чувствующий эту направленную будто против него решимость, недоуменно спрашивал себя: «Что с ней?» Он не мог совместить ее мир, если бы даже знал о нем, со своим, в котором всегда и во всем был порядок, было с четкостью определено, что главное, чем надо заняться, и что второстепенное, лишнее и должно решаться само собой. Галине (в этой его иерархии дел) отводилось даже не второстепенное, а еще более отдаленное место; но он чувствовал, что она как будто не хотела мириться с этим отведенным ей местом и претендовала на большее, чего, разумеется, он допустить не мог.

— Знаешь, Галя, я достаточно повозился с тобой. Ты... ни себе жизни, ни другим, а у меня тысяча дел, тысяча! На мне стройка. Вот здесь, вот. — Он показал, как тяжело было ему нести груз стройки. — А ведь я могу и наплевать на все, ты пойми. Ну ладно, — затем примирительно добавил он. — Давай так: ты на похороны, раз уж так припекло, я по своим, а завтра к отцу. Ну, договорились? И все, больше не менять, все.

Хотя Галина ничего не ответила и на это, но ему казалось, что дело было решенным. Он подал пальто сестре, потом оделся сам и вместе с ней вышел на улицу. Время было около двенадцати; было то отличное, по московским стандартам, время, когда в любом направлении можно было свободно уехать на автобусе, в троллейбусе или в такси, стоявших, как он сразу же заметил, напротив кинотеатра повторного фильма. Дементий предложил поехать на такси (для ускорения дела), и спустя четверть часа они были уже возле нового кирпичного дома, из которого должны были хоронить Арсения. Похороны еще не начинались, и ничто (по безлюдью у подъезда и во дворе, на что обратил внимание Дементий) не говорило о том, что в доме покойник. Из подъезда не спеша вышел мужчина с поднятым воротником; за ним вышла пожилая женщина с коляской, которую она покачала перед собой по расчищенному от снега асфальту.

Дементий хотел было спросить у водителя, туда ли он привез их, но Галина уже вышла из машины, и он поспешил за ней, чтобы проводить до подъезда.

— Не передумала? Ну хорошо, хорошо,— поняв по взгляду, что не надо было спрашивать об этом, поправился он. — Я, видимо, уже не смогу приехать за тобой.

— И не надо, я сама, не беспокойся,— ответила Галина.

Он постоял, пока она скрылась в глубине подъезда. Он был убежден в том, что сестра совершала глупость, может быть, из упрямства. Усмехнувшись на это ее упрямство и глупость (то есть на то, что он замечал за Виталиной, тещей, сестрами тещи и приписывал всем женщинам) и мысленно проговорив: «А ведь думают, что от ума»,— вернулся к такси.

Когда он выезжал со двора, навстречу ему, во двор, въехала крытая, с трауром по бортам, машина. «За ним»,— машинально уже подумал он и углубился в свои размышления.

XLIV

В квартире Иванцовой между тем продолжалось траурное прощание. Около гроба с телом Арсения, осыпанного цветами, в той же позе, то с высохшими, то вновь полными слез глазами, мешавшими ей смотреть, сидела Наташа. Позади, за спиной, готовые всякую минуту услужить ей, стояли Станислав и Александр Стоцветовы. Возле заметного отовсюду бритой головой Лусо разговаривали Мещеряков и Карнаухов, принявшие в свою компанию Дружников. Надежда Аркадьевна, увидевшая Лию, присоединилась к ней, и обе женщины, чувствовавшие каждая свою неприязнь к Наташе: Мещерякова — давнюю, Лия — возникшую только что и в связи с тем, что увидела возле нее Стоцветовых (что и показалось оскорбительным — по тем сообщениям, по которым люди ее круга всегда заботятся о сохранности с в о е й Москвы),— обе они, без слов, как сестры, понявшие друг друга, переглядывались, наблюдая за Стоцветовыми и Наташей. Николай Николаевич Кошелев, по-прежнему толпавшийся на уроненных им листках арсеньевской рукописи и пачкавший и разрывавший их каблуками зимних ботинок, старательно доказывал теперь Старцеву, как важно было сейчас напомнить русскому народу о нравственности (утраченной будто бы, как писалось в статьях и брошюрах, которые он читал); он не думал, что повторял ту же ошибку, как и с понятием «правды», когда ему в ответ на его публикацию печатно был задан вопрос, о какой правде он ведет речь; его можно было спросить теперь, о какой потерянной нравственности он говорит и разве можно предположить, чтобы народ потерял нравственность? Но Старцев, весь поглощенный своей общественной деятельностью, из-за которой трудно было думать о другом, не мог задать Кошелеву этого вопроса.

— Конечно, обретаем, я согласен, но и теряем, теряем,— говорил он известному адвокату, видя в нем авторитет и подлаживаясь под него.

Несколько раз к ним подходил Сергей Иванович. Он не вступал в разговор, а только странно смотрел на них, как будто осуждая. Но, в сущности, он не только не осуждал их, но даже не понимал, о чем они говорили; его занимали свои (об Арсении и Наташе) вопросы, которым он старался придать определенную стройность, но которые не то чтобы не выстраивались, но не соединялись в душе с тем, как он прежде думал о дочери и ее муже. По количеству людей, которые все подходили и подходили, чтобы проститься с Арсением, и основательности, с какою, казалось Сергею Ивановичу, они держались, по тому, как эти подходившие раскланивались с Наташей, выражая соболезнование, и множеству других подробностей, которые не заметить было нельзя и которые лишь более приоткрывали жизнь Арсения, Сергей Иванович со странным чувством стыда, раскаяния и удивления открывал для себя значительность своего теперь уже умершего зятя. «Против чего я возражал? Что мне не понравилось в нем?» — спрашивал он себя, стараясь припомнить, за что в день сватовства выгнал его из дома. Все теперь, хотя Сергей Иванович и не мог как будто припомнить подробностей, представлялось мелким, пустым, не стоящим внимания. «Он занимал положение, его уважали», — продолжал он, преувеличивая то, во что не мог теперь не верить. Он и на дочь смотрел совсем иным, просветленным взглядом. Несмотря на то что Арсений лежал в гробу и все происходившее было — похороны; несмотря на очевидность того, что жизнь дочери была разрушена и на Сергея Ивановича вновь свалилось несчастье, которое надо было еще найти мужество пережить, он не испытывал того чувства утраты, какое угнетало его, когда хоронил мать и когда затем хоронил жену в Мокшах; ему жаль было не Арсения, с высохшей головкой лежавшего в гробу, а жаль было Наташу, которая, едва успев обрести, уже теряла очень важное для жизни — почет, достаток, благополучие, чего Сергей Иванович добивался трудом, то есть выслуживал, тянул лямку, дочери досталось вместе с замужеством; и он то подходил к Наташе, особенно когда замечал на ее щеках слезы, то опять останавливался возле Старцева и Кошелева, продолжавших разговаривать, или растерянно переходил из комнаты в комнату, не зная, чем заняться, куда деть себя.

Галина вошла как раз в тот момент, когда Сергей Иванович, вызванный Никитичной в коридор, советовался с ней о поминках. Того, что было приготовлено для поминок, было очевидно недостаточно; надо было докупить еще продуктов и водки, на что Никитична собиралась отрядить одну из своих помощниц, приглашенных из Дьякова, и хотела обговорить это теперь с Сергеем Ивановичем.

— Вот видите, опять кто-то. Все идут, идут,— сказала она, направляясь к двери, чтобы открыть ее для Галины.

С внутренней борьбой, что, может быть, действительно делает что-то не то, что надо, и робостью, сейчас же охватившей ее, как только переступила порог и почувствовала себя среди чужих людей в чужом доме, Галина поклоном головы поздоровалась с незнакомыми ей Никитичной, Сергеем Ивановичем и теми в коридоре, кто обернулся на нее, и, сняв пальто и шапку, тут же принятые Никитичной, оглянувшись на зеркало, затянутое черным тюлем, в которое надо было (и не для встречи с бывшим покойным мужем, так как тому было уже все равно, кто и в чем подойдет к нему, а для встречи с Лукиным) посмотретья. Она знала (по впечатлению, какое после похорон сына, когда была в трауре, производила на мужчин), что черное шло ей, что она выглядела в черном моложе и стройнее. В черном заметнее была белизна ее кожи, заметнее выделялась светлая золотистость ее волос, постриженных удлинненным полукружьем и спа-

давших на плечи. Волосы не только украшали ее лицо, но придавали ее моложавой, по теперешней худобе, фигуре впечатление торжественности и праздничности и заставляли всех оборачиваться на нее; и чтобы приглушить эту неуместную теперь праздничность, интуитивно чувствовавшуюся Галиной, она накинула на голову темный газовый шарф и, подготовленная таким образом и к тому, чтобы показаться перед гробом, и к тому, главное, чтобы предстать перед Лукиным, несомненно, как она думала, бывшим здесь, неторопливо двинулась за Никитичной, раздвигавшей ей дорогу в большую комнату, к гробу. Взгляд ее, пока она шла, скользнувший по лицам выстроившихся с одной и другой стороны коридора людей, вдруг словно наткнулся на что-то, и Галина даже приостановилась, не веря, что увидела Лукина. Лукин стоял у двери, прислонившись к косяку, и смотрел в комнату. Лица его не было видно, но то, что это был он, она поняла не столько даже по его виду — знакомому костюму, затылку над белым воротничком и тем другим приметам, которые до боли были знакомы ей, — сколько по безошибочному чувству любящей женщины. «Боже мой, я никогда и никого так не любила, как его, — подумала она, бледнея и не спуская глаз с Лукина и каждую секунду ожидая, что он повернется и увидит ее. — У меня все плывет перед глазами, что со мной?» Но с ней происходило лишь то, что бывало не раз, когда она вдруг начинала ощущать близость и возможность для себя счастья. Ей вновь казалось, что у нее столько нетронутой женской силы, тепла и ласки, которыми она могла одарить Лукина, столько готовности и желания определиться в жизни, что не оценить это было невозможно. Сосредоточенная на этом, она так старалась не упустить момент, когда Лукин повернется к ней, что не замечала, что своей взволнованностью и тем, что остановилась, привлекает внимание.

Лукин повернулся так, как поворачиваются люди, вдруг почувствовавшие за спиной опасность. Несколько мгновений он молча смотрел на нее, стараясь припомнить тот продуманный им вариант, как он хотел держаться при встрече с ней; но вариант тот не имел теперь над ним власти, он сделал шаг навстречу Галине, и все дальнейшее было уже неуправляемо. Галина прижалась к нему, обвив худыми теплыми руками его шею, и слезы, обильные и крупные, хлынули из ее глаз.

— Ну-ну, что ты, что с тобой, успокойся, — торопливо заговорил Лукин, одной рукой гладя ее вздрагивавшее от рыданий плечо, другой отыскивая за спиной, на ощупь, место, куда бы положить папку, мешавшую ему. — Ну хватит, хватит, на нас смотрят, — освободившись наконец от папки, которую кто-то услужливо взял из его руки, и невольно стараясь оторвать от себя Галину, продолжал он.

Он понимал, отчего плакала Галина. Но именно то, что он понимал, заставляло его испуганно оглядываться вокруг. Он снова и снова торопливо пытался отстранить от себя Галину, но делал это так неуверенно, робко (по тому второму чувству, готовому заглушить чувство стыда), что со стороны казалось, будто он не отстранял, а утешал и ласкал ее. «Ну хватит, хватит, на нас смотрят», — смущаясь и краснея, повторял он. Но опасения его были напрасны. Никто не только не подумал, но не мог даже предположить, чтобы на похоронах можно было плакать не о покойнике. И слезы Галины, и утешения Лукина были так естественны во всей той атмосфере похорон, и так трогательно было смотреть на них, не стеснявшихся выразить своих чувств, что даже повидавшая многое и ко многому привыкшая Никитична не выдержала и прослезилась; и сквозь слезы, растертые платочком по щекам, проговорила Сергею Ивановичу:

— Господи, как убивается, как убивается.

XLV

Ничто из задуманного Арсением не было до конца доведено им; и не потому только, что он был слаб, напуган и неприспособлен к жизни; он невольно соединял в себе тот огромный узел проблем, которые всегда накапливаются в обществе и решение которых обычно не зависит от возможностей одного человека. Но несмотря на то, что проблемы эти, оставаясь нерешенными, ложились теперь на плечи тех, кто хоронил его, — на поминках, когда вернулись из крематория, все испытывали еще большее облегчение, как если бы смерть Арсения и в самом деле освободила их от всех и всяких проблем.

В застольных речах об Арсении звучало только то хорошее, что можно было теперь безбоязненно произносить о нем; между собою же (не столько от искренности, сколько от желания не отстать от других) высказывалось мнение, что «сам виноват во всем», что «был неуживчив», «не знал, чего хотел»; и молча и всеми осуждалась Наташа.

Часть вторая

I

Суть рабства (как и свободы) ясна; но форма, в какую облачают ее одни люди для обмана других, бывает так сложна и запутанна, что не хватает иногда жизни, чтобы разобраться во всем.

Будущие исследователи этого периода жизни — конца шестидесятых, середины и конца семидесятых годов — непременно должны будут обратить внимание на одно странное как будто бы явление, когда у народов, отдаленных друг от друга на огромные расстояния, вдруг начал возникать одинаково повышенный интерес к определенному роду (и часто забытым уже) событиям. Без какой-либо видимой причины в начале шестидесятых годов на востоке неожиданно заговорили о снежном человеке, следы которого будто бы вновь обнаружены в Гималаях, и сотни людей, имевших и не имевших отношения к науке, привлекая к себе внимание, двинулись на поиски этих следов. Когда интерес к снежному человеку стал иссякать, вспомнили о загадочном чудовище, обитавшем в шотландском озере Лох-Несс, и изумленное человечество, как туристы в автобусе по указке гида, должно было повернуть взоры к этому лох-несскому феномену. Из запыленных папок истории начали извлекаться разные сомнительные (по научной обоснованности) измышления о космических дырах, поглощающих будто бы не только отдельные планеты, но и целые галактики, и что будто бы нечто похожее, только с пароходами и самолетами, происходит в наши дни в Бермудском треугольнике. Человечеству вновь кем-то услужливо преподносилась не раз уже возникавшая в веках гипотеза о неземных прищельцах; то напоминанием о японской скульптуре догу, которая по предположениям Казанцева будто бы не что иное, как слепок с космонавта-инопланетянина, то сенсационным открытием посадочных (для тех же инопланетян) площадок в пустыне Нески, то существованием некоей гигантской по своим масштабам системы подземных тоннелей под пространством Перу и Эквадора с залами, шкапами и книгами из золотых страниц (о чем с уверенностью будто бы очевидца вдруг поведал миру безвестный владелец отеля из Швейцарии Эрих фон Дэникен, объявивший себя на основании этого открытия ученым), то, наконец, внимание всех было обращено на летающие тарелки, повидавшие будто бы над городами Америки и Советского Союза как зонды иных миров и цивилизаций. Журналисты окрестили это явление, то есть интерес людей к такого рода сенсациям, религией двадцатого века, а все тот же странно расторопный фон Дэникен в оче-

редной брошюре написал по этому поводу, что будто бы «...трое венесуэльцев, пожелавших остаться неизвестными, рассказали ему (разумеется, фон Дэникеу) о встрече с жителем Ориона, сообщившим им, что на Земле под маской людей живет уже два миллиона орионцев». Человечеству преподносились загадки в виде этой самой «религии двадцатого века», чтобы развлечь его, и пока оно, то есть человечество, будет заниматься разгадыванием этих загадок, задаваясь вопросами, что, к примеру, за орионцы, с какой целью прибыли на Землю и не от них ли исходит угроза существованию, — силы, заинтересованные в этой «религии» и оплачивавшие распространение ее, успеют умножить капиталы и укрепить власть...

Теперь трудно, разумеется, поверить, чтобы ученые или просто образованные люди, знакомые с материалистическим объяснением мира, могли всерьез заняться исследованием (или проверкой, как было бы точнее, но что не меняет сути) подобных гипотез; но экспедиции, и записки этих экспедиций, и весь тот шум, какой всякий раз поднимался прессой, как только очередная сенсационная группа отправлялась на поиски или выпускался на экраны какой-либо основанный будто бы на документах фильм о пришельцах, и пр., говорят нам о том, что стрела попадала в цель и что не только у охотников поразвлекся, хотя бы и на поприще науки, но и у людей серьезных возникло желание разобраться в так называемых явлениях природы. У многих политиков и дипломатов складывалось впечатление какого-то будто наступившего благополучия, что коль скоро народы интересуются небылицами, то есть могут позволить себе подобную (в смысле растрачивания времени) роскошь, то это от пресыщенности, от всеобщего достатка и процветания. Океан людской жизни казался спокойным, и отдельные очаги напряженности — во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Южной Африке, где рвались бомбы и лилась кровь, — эти отдельные как будто очаги напряженности представлялись потухающими вулканами (как их старалась изобразить «свободная» западная пресса), которые подымят, подымят еще некоторое время, выбросят остатки своей раскаленной лавы и сами собой замрут, оставив после себя как напоминание лишь зловещие кратеры. Все будто говорило о мире, разрядке, и человечество готовилось увидеть идиллическую картину воплощенной мечты, то есть жизни без войн и насилия, и было как будто невозможно поверить, чтобы кто-то был недоволен этой мирной жизнью и хотел и готовил новые несчастья народам.

Но недовольные, вернее, ненасытные были; это были те обладатели могущественного капитала, которые готовились к новому, говоря по-современному, раунду. Им надо было закабалить народы, и план их, в сущности, был прост. По той же точно схеме, как в свое время закабалялись отдельные семьи, бравшие в долг под проценты и затем вынужденные всю жизнь отрабатывать эти проценты (в то время как долг само собой оставался за ними), закабалялись теперь народы, но с той лишь разницей, что в долг (и под еще более высокие проценты) брал правитель, растрачивал, шиковал, подкармливая свое окружение, кстати, многократно разросшееся, а когда наступал срок платить долг, правитель либо уходил в отставку, либо свертался и все возлагалось на народ, который должен был выплачивать, то есть работать не на себя, не на свое благополучие, а на государство-ростовщика. Вот так, тихо, без выстрелов, при помощи только денежных манипуляций и подкупов правителей, сенаторов и конгрессменов шел, по существу, новый захват мира и создавалось положение, когда большинство стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки оказались пожизненными должниками государства-ростовщика. Две трети человечества, целые огромные континенты, закабаленные таким образом силами капитала, должны были удваивать, утраивать его могущество; создавалась, иначе говоря, новая форма раб-

ства империалистического, и за непослушание брались наказывать теперь уже не отдельного раба, как бывало раньше, а государства и народы, устрашая их то военными, то экономическими санкциями. Даже простому наблюдателю, следившему по официальной прессе за развитием событий в те годы, не могло не показаться странным, с какой щедростью президенты Белого дома раздавали миллионные и миллиардные субсидии тем странам и тем режимам, которые беспрекословно выполняли их волю. Откуда брались эти миллиарды, проходившие через столь щедрые как будто руки президентов? Это были те самые проценты, которые взимались с народов государством-ростовщиком, и государство-ростовщик использовало их на новое закабаление. Образовывался своего рода заколдованный круг, то есть те неестественные для существования человечества условия, из которых можно было выйти, только взяв в руки оружие; и в то время как пробуждавшиеся народы все более и более начинали понимать положение и брались за оружие, чтобы восстановить свои права, это стремление людей было объявлено вне закона и в оборот было пущено выражение «рука Москвы», будто народам Советского Союза, занятым устройством своей жизни, только и было забот, чтобы возмущать человечество. К началу восьмидесятых годов дело дойдет до того, что президент Соединенных Штатов назовет СССР источником зла, оскорбив таким образом двухсотсемидесятимиллионный народ, на своих плечах вынесший всю основную тяжесть минувшей войны и освободивший мир от фашизма, народ, никогда не завозивший к себе рабов и не пользовавшийся их трудом для строительства городов и объектов, не имевший колоний и не занимавшийся международным ростовщичеством. «Рука Москвы» было не чем иным, как ширмой, за которой продолжались вынашиваться новые планы мирового господства.

II

Но в конце шестидесятых — начале семидесятых годов еще мало кто мог предположить, что вместо ожидаемой разрядки, на которую были направлены, казалось, усилия большинства государств Европы, наступит период конфронтации и что разоружению, о котором на разных уровнях шли бесконечные переговоры, будет противопоставлена политикой Белого дома, а точнее военно-промышленным капиталом, гонка вооружений и мир вновь в который уже раз будет на грани военного безумия. Но в конце шестидесятых — начале семидесятых еще не было столь очевидных симптомов помешательства, и тень от атомного гриба, готовая охватить планету, представлялась пока лишь миражом, который сразу же развеется, как только караван подойдет к цели. Руководители ведущих государств Европы и Америки еще только готовились к подписанию Заключительного Акта в Хельсинки, положения которого почти на следующий же день после подписания будут поставлены под сомнение, и так называемая свободная пресса Запада заговорит о пересмотре этого Акта, навязанного будто бы все той же «рукой Москвы»; еще только все шло к подписанию договоров ОСВ-1 и ОСВ-2, которые затем, после торжественных церемоний заключения, будут так же положены под сукно сенаторами и конгрессменами Соединенных Штатов; мир жил еще надеждами на лучшее: что Восток и Запад придут наконец к договоренности, и что все поймут, что мир лучше войны, что кровь и разрушения противоестественны человеческому разуму, и что здравый смысл, то есть реалистический подход к делу не может не восторжествовать над жестокостью, алчностью, насилием. Нет избранных народов и избранных личностей; все рождающиеся на земле имеют равные права на жизнь, на блага, предоставляемые планетой, и по этому естественному праву на равенство, если бы оно не по конституцион-

ным параграфам, а по совести было принято и выполнялось человечеством, отпала бы, наверное, одна из самых основных причин возникновения войн; но говорить о совести с могущественным капиталом, с теми, кто привык понукать народами, привык к неограниченной власти, все равно что пытаться соломенным стебельком проткнуть бетонный монолит; говорить о совести с теми, у кого на уме только господство над миром (как же устойчива на протяжении веков эта безумная мысль!), было бессмысленно, и чтобы противостоять злу, люди, живущие по совести, должны были на военные приготовления капитала, на их оружие массового уничтожения ответить созданием своего и столь же мощного, чтобы сохранить жизнь. В мире, в сущности, пока благодушное и доверчивое человечество увлеченно искало следы снежного человека, сплетало сети на лох-несское чудище, чтобы поймать и изучить его, и с удивлением обсуждало вопросы об орионцах, космических дырах и летающих тарелках, шла безудержная гонка вооружений, и миллиардные суммы, вместо того чтобы использовать на нужды людей, растрачивались на военные приготовления. Даже в самых могущественных странах Запада начали заметно обостряться экономические проблемы, происходило удорожание и ухудшение жизни; эта общая тенденция не могла не захватить и социалистические страны, и в поисках решения внутренних проблем, то есть в поисках улучшения жизни, возникали самые драматические конфликты и ситуации как в общественном, государственном плане, так и в судьбах отдельных людей, не всегда умевших правильно (и вовремя) понять и сориентироваться в происходящем. Однако казалось, что жизнь продолжала идти своим чередом, как она шла всегда,—менялись руководители, обновлялись города, деревни. Но несмотря на это обновление и преемственность, благодаря которым как раз и происходит будто бы движение жизни, среди людей разного достатка, специальностей и культуры продолжал действовать все тот же (часто не признаваемый нами) закон, по которому лишь кажется, что идущее следом поколение точно оценивает опыт отцов; оно, в сущности, во многом начинает с познания тех же истин, которые стары, как мир, но которые только через собственное «я», то есть каждый раз заново пережитые человеком, становятся движущей или сдерживающей силой в нем. Но пока приобретает этот опыт, вернее, рождается в человеке движущая или сдерживающая (духовная) сила, способная привести к истине, иссякает физическая, и надо уже передавать свое незавершенное следующему поколению.

III

Как ни великолепно была весенняя Вена со своими площадями, скверами, цветами, афишами, музыкой и толпой на улицах; как ни заманчиво было в воскресный день посидеть в каком-нибудь загородном *waldschinke*, лесном ресторане, каких множество вокруг австрийской столицы и в каких подается самое дешевое и сладкое (смородиновое) вино; как ни притягательна была вообще дипломатическая жизнь, какую жил теперь после института Борис Лукьянов,— в начале июня он получил первый свой трудовой отпуск и должен был покинуть Вену. Дома, в Москве, его ожидала жена, уехавшая (из-за беременности) почти на месяц раньше, тесть, известный генерал, вот-вот должный выйти в отставку, но продолжавший, однако, служить и занимать одну из высших в своем ведомстве должностей, теща с неисчислимым количеством двоюродных и троюродных (по сестрам) московских родственников и Роман, зачисленный слушателем Академии общественных наук и живший (с приехавшей к нему Асей) в столице.

Квартира у тестя была в центре Москвы, в старом, у Каменного моста, доме, и Борису с женой была отведена в этой квартире просторная (бывший кабинет тестя) комната, из которой видны были Москва-река, колонны дома Пашкова и Кремль со своими строениями, производившими впечатление на Бориса. С умным взглядом, унаследованным от матери, с деревенской медлительностью, в которой люди городские и бойкие, не знающие крестьянского труда, находят лишь природное тугодумие, но которая так кстати пришлась в дипломатических делах, с этой медлительностью и сознанием успеха, то есть возможности продвижения, он любил не столько жену, не столько доставшийся ему от тестя кабинет с видом на историю и будущее, сколько — общественное положение, какое, казалось Борису, он уже начал занимать сам. Он видел, что он был далек теперь от той деревенской жизни, какую жил его отец и какая, по письмам, была еще год назад у Романа со всей его застопорившейся райкомовской карьерой, и не то чтобы осуждал их, но не хотел для себя такой жизни. Несмотря на то, что среди интеллигенции становилось все более модным выдавать себя за деревенского, — Борис не только не упоминал о своем происхождении, но стеснялся его. Из наблюдений за сверстниками, с которыми в институте, а затем на работе сводила его судьба, он видел, что все давалось им легко вовсе не потому, что у них были какие-то особые способности, но потому, что были особые обстоятельства (наподобие теперешнего положения отцов), заставлявшие их держаться вместе. Как только он начинал искать с ними дружбы, перед ним сейчас же возникала стена, в которую он упирался. И чем больше он чувствовал эту стену, эту незримую цепь взаимных услуг, какую во все времена бывают связаны определенные семьи, тем с большим упорством стремился преодолеть ее. Ему казалось — по молодости ли, по тем ли студенческим разговорам, каких немало наслушался в институте, — что главным в жизни было — войти в тот общественный круг, в котором блага раздаются не за труд, как в деревне, а за другое, когда нужно лишь принадлежать к этому кругу; и он стремился попасть в него.

Одним из таких возможных ходов Борис считал знакомство с только что аккредитованным в Вене корреспондентом Сергеем Белецким. Сам по себе Белецкий был человеком средних, как заключил о нем Борис, возможностей и не представлял бы интереса, если бы не его дядя, который был влиятельным в Москве человеком и мог, разумеется, при определенном сближении, кое-что сделать для Бориса. Но чтобы сблизиться с тем Белецким, что в Москве (отпускное положение Бориса было как нельзя кстати для этого), надо было получить хоть какое-нибудь поручение от этого Белецкого. «А там звено за звено, — полагал Борис, радуясь случаю, которого нельзя было упустить, и составляя картину будущего, какую не раз уже воображал себе. — Да, именно сейчас, в молодости». И он с еще большей брезгливостью, чем обычно, смотрел на не умеющих подняться в обществе людей, смотрел теперь на тех старичков в посольстве, которые (в его представлении) точно так же сидели на своих местах до него, не продвигаясь по службе, будут сидеть и после, все за теми же столами, исполняя те же обязанности. Роль подобных старичков не подошла Борису. Он чувствовал, что в нем были силы, способные выпье поднять его. Он стремился, с одной стороны, к исполнительности, то есть к тому, чтобы о нем говорили как о человеке деловом и умном, с другой — к налаживанию связей.

Лучшим для Бориса (в достижении его цели) было теперь — дать прощальный обед друзьям, на который пригласить и Белецкого. Обед, поскольку Борис был без жены, должен был стать, в сущности, не обедом, а холостяцкой пирушкой, которые возникают обычно как бы враз, импровизированно, из ничего будто, будто из одного лишь настроения; но так как всякая импровизация хороша тогда, когда она

бывает хорошо подготовлена, о чем Борис знал, он почти за неделю до того, как созвать гостей, объехал несколько пригородных деревень, чтобы присмотреть место, где можно было бы весело и с интересом провести время. Ему хотелось хоть чем-то удивить Белецкого (как в свое время удивили самого Бориса, когда он только-только появился в Вене). Удивить же музеями, памятниками или роскошными ресторанами журналиста-международника было нельзя, и потому Борис выбрал поездку за город, в деревню, где можно было и прилично поест, и выпить хорошего вина, и, главное, увидеть во всей открытости любопытную для русских людей жизнь австрийского бюргера, в которой далеко не все было так осудительно, как по школьным представлениям думал Борис. Его поразили (в той первой поездке за город, когда его как новичка решили свозить в деревню)¹ не столько известная австрийская аккуратность, с какой были отделаны дома и постройки возле них, не столько цветники, дорожки, усыпанные песком, или виноградники, начинавшиеся почти от порога, на которые (по ухоженности) любо было смотреть, как поразила его простота общения, за которой, он знал (по настроению и заботам отца), должны были стоять не только достаток и труд, приносивший этот достаток, но прежде всего — удовлетворенность этим трудом, достатком и жизнью. Он не вникал в подробности, из чего сложилось у него тогда это впечатление, а помнил лишь о самом впечатлении, удивившем его; и ему хотелось, чтобы чувство то повторилось теперь в Белецком и оставило в нем след. «Форумы, конгрессы, конференции, политические и научные дискуссии», — думал Борис, полагая (как и большинство людей думают о журналистской деятельности), что Белецкому, должно быть, надоело изо дня в день писать об одном и том же. «Не там, а здесь настоящее, здесь», — уже в посольстве, в Вене, продолжал он вспоминать выбранную им деревню, куда он повезет друзей. В замысле его все было правильно, он был доволен собой и ждал воскресенья, когда можно будет осуществить все, и не учтено им было только одно: то, что заинтересовало и удивило его как бывшего деревенского человека, не могло так же заинтересовать и удивить Белецкого. В Борисе — как ни старался он отделить себя от деревенского прошлого, — прошлое это неистребимо жило и выдавало его.

IV

Люди богатые, никогда не знавшие бедности, обычно полагают, что людям простым, не обремененным богатством и заботами о сохранении и приумножении его для себя, живется не то чтобы легче, но они счастливы именно этим своим неведением другого и лучшего. Жизнь их, отождествляемая часто с жизнью народа, представляется многим необыкновенной и привлекательной. Но вместе с тем — как ни восхваляется она всевозможными бардами, не знавшими и не знающими нужды, она вызывает желание лишь говорить о ней, но не следовать ей. Тяга к простоте и народности — только красивый разговор, на котором и заканчивается все, тогда как тяга к знаниям, достатку и славе не разговор, а насущная потребность всякого здорового человека, пришедшего утвердить себя на земле. Но между стоящими наверху и простыми, составляющими народ, есть еще (и образовавшаяся не вчера и не только благодаря воинственной усредненности) та, считающая себя элитой, прослойка людей, которые живут уже как будто не в бедности, но еще и не в богатстве, и, с одинаковым презрением относясь и к выше и к ниже себя стоящим и почитая образцом жизни только свою (с определенными интересами, суть которых — быть причисленными к народу, но жить по-барски), люди эти как раз и определяли теперь во многом жизнь больших европейских (и не только европейских) городов. Скапливаясь большей час-

тью в столицах, они своей деятельностью, приносящей вред обществу, создают ту атмосферу благоденствия, за которой почти невозможно разглядеть истинное положение народа. Белецкий, для которого Вена была лишь звеном в цепи столиц западного мира, в которых он бывал в качестве корреспондента, не то чтобы сейчас же определил состояние жизни австрийской столицы, но, придумав себе деление на верх, низ и прослойку — разряд людей, с кем он больше всего общался, — и приложив это деление к венцам, понял, что и здесь было все так же, как было везде; и в то время как Борис лишь собирался знакомить его с австрийской действительностью, действительность эта казалась Белецкому надоевшим меню, в котором нечего было уже как будто выбрать ему.

Он знал, что во время рождественских праздников, например, здание венской оперы превращалось в ослепительный дворец для новогоднего бала, стоимость билета на который достигала почти стоимости двух «мерседесов», а стоимость бокала шампанского, соответственно, стоимости входного билета, но что, несмотря на это, те двести (или полтора ста) семей, для которых непрестижным было бы не пойти на такой бал (и которым, разумеется, престижность их была дороже, чем деньги), были на нем, ослепляя друг друга драгоценностями, туалетами, изысканностью манер. Устраиваемые когда-то австрийской короной торжества во дворцах Хофбург и Шенбрунн были, по заключению многих, ничто в сравнении с этими — в здании венской оперы — балами, тон на которых, впрочем, задавали не венцы, а так называемые деловые гости из разных стран Европы и Америки. Сюда приезжали и правитель Баварии со своей братией, и представители других западногерманских земель, представители правящих и оппозиционных партий; удостаивали иногда своим присутствием эти балы и аристократически худощавый президент Австрии Кирхшлегер, и всеобщий, как о том утверждала тогда пресса, любитель венцев Крайский, и в то время как для внешнего мира балы эти подавались как веселье, те двести (или полтора ста) семей, которые съезжались сюда и претендовали на то, чтобы управлять Европой, не только, очевидно, пили, танцевали и слушали музыку; они, как думал о них Белецкий, уславливались о совместных действиях, должных к их деньгам и власти прибавлять еще деньги и власть, то есть вырабатывали свою политику, которую затем, соответственно обругав, подавали «элите», жившей их отраженным светом. Люди «элиты» откупали менее известные залы и устраивали свои (наподобие тех, что в венской опере) торжества. Но торжества их для Белецкого уже не имели смысла, потому что на них не создавались программы будущего народов, он знал это так же верно, как и венские пригороды, изученные им в первые же недели его пребывания в австрийской столице. Он видел те же деревни, те же хлебные поля, сады и виноградники, что и Борис, но с тем лишь различием, что вся эта сельская панорама благополучия и ухоженности, так подействовавшая на Бориса, была для него лишь фоном, на котором между деревнями, соединенными паутиной дорог, замками со рвами и стенами, служившими когда-то защитой для них, и церквями под черепицей проглядывали скромные как будто на вид современные загородные виллы-дворцы, в которых, как и в зале венской оперы в рождественскую ночь, но лишь в меньшем количестве, собиралось, по предположению Белецкого, представители все тех же семей, негласно узаконивших право по своему произволу управлять народами.

В то время как почитавшая себя элитой прослойка людей, оставая в воскресный день Вену, устремлялась к многочисленным (в пригороде) ресторанам и ресторанчикам, чтобы съесть свою порцию со-сисок, выпить свой бокал пива или сладкого смородинового вина, какого непременно подадут в любом загородном valdschinke, в то время как «элита» эта, проносясь в автомобилях мимо бывших импера-

торских дворцов Хофбург и Шенбрунн, упивалась ложной значимостью, словно судьбы мира зависели уже от нее, мимо тех же дворцов и в те же часы и минуты проносились другие, в чьих руках была не воображенная, а действительная власть, и Белецкого всякий раз как будто обдавало этой страшной и безграничной властью, когда какой-нибудь удлиненный черный «мерседес» с хвостом охраны обгонял его. «Чему научилось человечество за свою драматическую историю? — спрашивал он себя, глядя с обочины на удалявшийся «мерседес». — Ничему, потому что руководствуется лишь сиюминутным интересом жизни. Люди утопают в этих сиюминутных интересах и снова и снова дают обмануть себя». С этим настроением он входил в те залы с круглыми и иной формы столами, за которыми либо шли, либо начинались, либо (с привычной уже, в очередной раз, безуспешностью) заканчивались те или иные переговоры о разоружении и разрядке, и переговоры эти представлялись Белецкому лишь продолжением тех, в Лиге наций в Женеве, бесплодных дискуссий, о которых недавно вновь напомнил миру в своей книге известный дипломат Кудасов. Белецкому казалось, особенно после чтения книги Кудасова, что западными державами посылались на переговоры все те же лорды сессии и де жувенели, которым поручалось не договариваться, а затягивать переговоры, не обсуждать вопросы по существу, а поднимать процедурные, и эти сессии и де жувенели, научившиеся с тех пор еще больше мастерству в тактике нажимов, обмана, подтасовок и проволочек, держались так, словно и в самом деле были заинтересованы в мирном урегулировании. «Они хотят вернуть нас на тот круг, на котором однажды уже было человечество, — для себя, в дневниках, которые вел, записывал Белецкий. — Им нет дела до разрядки и разоружения, они добиваются лишь односторонних выгод и преимуществ». Он замечал, что в западном мире (несмотря на видимую будто независимость государств и различие в экономических, культурных и иных интересах) все координировалось из какого-то одного определенного центра, как будто миром опять управляли некие нобили, то есть те, с мультимиллиардным состоянием, семьи, о которых люди только догадываются, что таковые есть, но о которых толком никто ничего не знает. Белецкому же как раз и хотелось найти подтверждение тому, что в мире существует только противоставляемая солидарности простых людей солидарность капитала, действующего везде одними и теми же методами, однако смешно было предположить, чтобы нобили могли допустить к себе журналиста для обнародования их планов. «Но факты, факты, которые можно собрать, систематизировать и установить затем по ним истину, откуда идет зло». Рядом с письменным столом его возвышалась картотека, составленная из рассортированных по месяцам и годам событий, которые он считал нужным вносить в нее, и картотека эта была полезной ему уже тем, что давала подручный материал для работы. Он без особых на то усилий сопоставлял (в своих корреспонденциях) самые различные и отдаленные друг от друга события, представлявшие интерес, и считался в журналистских кругах человеком с великолепной памятью. Кроме того, занятие картотеккой вызывало в нем ощущение, будто он уже держал в руках тот край шнура, потянув за который можно было раскрутить весь клубок; и он бывал в такие минуты возбужден, деятелен, высказывал то, что думал, скептически оценивая почти все, что происходило вокруг и в чем он принимал участие, словно он действительно знал и понимал больше, чем знали и понимали все остальные.

В то утро, когда Лукьянов пригласил Белецкого на прощальный обед по случаю своего отъезда (за Веной ли, в пригороде, или в самой Вене, как он добавил, чтобы не было усмотрено заданности), — Белецкий, занимавшийся все утро картотеккой, которую пополнял но-

выми фактами, был в возбужденно-скептическом настроении, когда ему трудно было управлять собой.

— От твоего пирога откусить? — насмешливо будто, как показало Борису, прозвучало в трубке. — Ну хорошо, а кто будет? — слово осознав бестактность и решив исправить ее, затем спросил журналист.

— Еще человека два-три.

— Где собираемся?

— У меня, конечно, а отсюда — подумаем.

V

Заграничная жизнь Бориса Лукьянова, как он излагал ее в письмах отцу и братьям, состояла не только из приемов, визитов и встреч, на которых, впрочем, тоже приходилось работать ему; заграничная жизнь его, в сущности, была настолько однообразной, ординарной и скучной, что, если бы он написал о ней правду, ни братья, ни отец, ни кто другой, находившийся в плену столь же ложных представлений о благах заграничной жизни, не поверили бы ему. Он писал (отцу и братьям) о богатстве и роскоши Вены, тогда как не только по недостатку средств и дороговизне всего не мог бывать в тех самых роскошных местах — ресторанах и концертных залах, — о которых писал, но вынужден был довольствоваться лишь тем, что, проходя или проезжая мимо них, смотрел на них. Он по существу вел тот ограниченный образ жизни, какой ведут большинство наших людей за рубежом, когда все развлечения состоят только лишь из походов в какой-нибудь небольшой кинозал при посольстве или жиллом городке, где по преимуществу показываются советские фильмы, и — из так называемых «посиделок», вернее, разговоров и споров за орешками и кока-колой, в которых незаметно и с пользой будто бы, как это кажется всем, убивается время. Борису, особенно в первые месяцы, когда все представлялось вновь здесь, тоже казалось, что было что-то интересное и важное на этих «посиделках», которые вскоре благодаря стараниям и склонности к этому делу его жены, Антонины, стали устраиваться и у него на квартире.

Вначале к ним приходили только сослуживцы Бориса, с кем он был на «ты» и был одних, на определенные явления жизни, взглядов. Но затем, чем больше он обживался в Вене, и расширялся круг знакомств, и обживалась Антонина с известной по Москве общительностью, тем интереснее и представительнее становилось на вечерах у Лукьяновых. Для Антонины особенно приятным было, что начали приходить к ним журналисты, аккредитованные от разных московских газет и агентств в Австрии. Она считала их людьми прогрессивными и была равнодушна к ним потому, что втайне как будто от них (и ото всех, но о чем, разумеется, все были хорошо осведомлены) пробовала сочинять рассказы. Худенькая, выглядевшая немножго моложе своих лет, то есть почти школьницей, она появлялась обычно перед гостями в модных теперь, в противоположность отошедшим коротким юбкам, джинсах фирмы «Lee» или «Wangler», что было важным, и была похожа (из-за своей короткой стрижки) более на парня, чем на молодую женщину, и лишь по невысокой, почти девичьей груди, когда поворачивалась, по перстням на пальцах, оттягивавшим руки, и сережкам в открытых мочках ушей можно было признать в ней женщину. Но была ли она действительно красива в этом обнажавшем ее наряде (как при всякой доведенной до крайности моде), или, напротив, одежда эта лишь огрубляла ее, приближая к тому равенству между мужчиной и женщиной, от которого, добившись его, многие готовы были теперь отказаться, — трудно было определить; важно было, что Антонина выглядела современной, и она довольно улыбалась всем доброжелательной улыбкой, за которой

сейчас же как будто видна была вся простота ее души. Ее жизненный интерес, казалось, сводился лишь к тому, чтобы как можно приятнее провести время. Так думали о ней почти все, кто бывал у нее, тогда как на самом деле за внешней простотой ее (как и за холодным выражением лица Бориса) скрывался, в сущности, совсем иной мир желаний и чувств, о котором она не говорила даже Борису.

Собиравшиеся у Лукьяновых (как и на других «посиделках») по различию взглядов разделялись на два противостоявших будто бы друг другу кружка, в центре одного из которых стоял Борис, в центре другого — худощавый и желчный на вид журналист-международник Николай Польшин. По московским привязанностям Польшин принадлежал к тому журналистскому кругу, который возглавляли братья Александр и Станислав Стоцветовы. Суть их взглядов, относившихся будто только к искусству (тех резких суждений, когда Александр в дело и не в дело выкрикивал: «Оставьте в покое народ, он вам не ширма, за которой можно прятать свои телеса!»), — суть эта под влиянием Станислава, втянувшегося в московскую жизнь и женившегося на Наташе, была заменена другой, столь же категоричной, но более в духе времени крайностью, когда к слову «народ» прибавлялось слово «русский» и все получало совсем иную окраску. Польшин, усвоивший лишь это прибавление, которого многие годы как будто не хватало ему, и начавший соизмерять явления жизни только в согласии с этим прибавлением, — здесь, в Вене, считал себя представителем стоцветовского направления, то есть этой новой и невесть на кого работавшей теперь крайности, значение которой Борис не мог понять. Он не был согласен с Польшиным, как Польшин не был согласен с ним; и по этому-то их противостоянию как раз и делились все приходившие к Лукьяновым провести время.

Сверстники Бориса, то есть сослуживцы его по посольству, обычно бывали на его стороне и возражали Польшину. Представители же агентств и журналисты поддерживали в большинстве своем Польшина и называли себя (в противоположность лукьяновской стороне) то прогрессистами, когда им надо было доказать, что будто бы они ломали что-то рутинное, мешавшее общему движению, то консерваторами — в том значении этого слова, что будто бы возвращали к жизни важные, национальные, как добавлялось при этом, понятия, на которых, как на столпах, всегда стоял и будет стоять русский характер. Спорившие были одинаково русскими людьми и с одинаковой как будто заинтересованностью в конечной цели — в благе для отечества и народа; но пути движения к цели, видевшиеся им, не во всем совпадали, и в этом-то, в выяснении истины (середины, которая могла бы удовлетворить всех), и состоял интерес их затяжных, из вечера в вечер, и не приводивших ни к чему споров.

В то время как мужская половина делилась на эти противоборствующие как будто стороны, что, однако, не мешало им с уважением относиться друг к другу, женская, находившаяся под влиянием Антонины, «нашей милой хозяйки», как неизменно называл ее Польшин, считавший ее своей сторонницей, имела свой и не менее основательный предмет для разговора — это была неограниченная в венских универмагах возможность выбора красивых вещей и ограниченная (в средствах) возможность приобретать их, то есть тот стеснявший их недостаток в заграничной жизни, о котором (к недоумению и недовольству мужей) всегда было интересно говорить. Женщины либо уходили на кухню, либо собирались в спальню, где Антонина показывала купленные ею новые батники и джинсы. И в то время как на ней с ее узкими бедрами батники эти и джинсы выглядели прекрасно; в то время как этот стиль продуманной небрежности, какой усвоила она еще по Москве, придавал одежде ее какое-то будто очарование: полурасстегнутый и приподнятый со спины воротничок и наспех будто завернутые к локтям манжеты, — на подругах, стре-

мившихся подражать ей (с их расплывшимися талиями), все выглядело так неженственно, грубо, что вряд ли можно было придумать что-либо еще, подобное этим lee, wrangler'am, обтягивавшим их толстые бедра, что так бы уродовало их.

Пока женщины сидели в большой комнате рядом с мужьями, уродства их не были так заметны. Они в своих батниках и джинсах словно бы растворялись в общей атмосфере тех оживленных бесед, в которых внимание обычно бывает обращено на лица, на выражение глаз, а не на наряды. Но когда вся эта в джинсах и батниках женская компания после пересудов на кухне ли, в спальне ли вдруг всей толпой появлялась в комнате, то даже привыкшие ко всему журналисты невольно опускали головы. Женщины не замечали этого и держались так, как если бы оставались украшением и выражением достатка и положения своих обремененных делами и выяснением истин мужей.

VI

Одетый как будто по-домашнему просто — в черной рубашке с засученными по локоть рукавами и светлых, с фирменной нашивкой, вельветовых джинсах — Борис ожидал друзей. Комната была уже проветрена им, на журнальный столик поставлены розетки с орешками и фужеры, как делалось все при Антонине, и в холодильнике остывали с вечера положенные туда вино, соки и воды.

Несмотря на неприятный как будто (телефонный) разговор с Белецким, Борис был в хорошем расположении духа. Все у него пока складывалось так, как и задумывалось им, и он уже мысленно представлял себя с друзьями в окруженной полями и виноградниками деревне, куда собирался повезти их и где хозяин винного подвала и ресторана у дороги, в котóром за сравнительно небольшую цену могут подать к вину жареного молочного поросенка, пообещал Борису обслужить его друзей по национальному старинному обычаю.

Первым пришел к Лукьянову Польшеев, тоже в эти дни живший холостяком, так как жена улаживала в Москве какой-то квартирный вопрос, потом явился Белецкий, с неохотой оторвавшийся от картошки, и гости, разместившись (в ожидании третьего приглашенного Борисом) вокруг журнального столика и принявшись за орешки, сейчас же начали тот разминочный, как можно было бы сказать о нем, разговор, в котором как будто не затрагивалось главное, что происходило теперь в мире и занимало общественность, но что вместе с тем влияло или накладывало свой оттенок на общую жизнь. Таким побочным событием, интересовавшим Белецкого и Польшеева, было сборище диссидентов, проходившее в Венеции, biennale, как назвала его пресса. (Следует сказать, что явлению диссидентства на Западе в то время придавали значение силы, способной будто бы разрушить спокойствие в СССР, тогда как внутри страны оно не только не представляло какой-либо силы, но было столь незначительным, что если и занимало кого, то лишь тот круг столичной интеллигенции, для которой хороша бывает только та система, которая дает блага им, и неприемлема и нехороша всякая иная.) Biennale было, по существу, очередной (известного рода) затеей, рассчитанной на усиление антисоветских настроений на Западе. И хотя, как всякая подобного рода затея, она не имела даже третьестепенного значения в ряду других международных событий, вокруг нее шла кулуарная возня, которая искаженно докатывалась и до Вены.

Николай Польшеев, бывший осведомленнее других по части кулуарных подробностей: во-первых, потому, что был, как говорили о нем, старожилом Вены и имел среди австрийских журналистов друзей, которые питали его этими подробностями, и, во-вторых, потому, что сам любил порыться в тех газетенках, во множестве выходя-

щих на Западе, на которые обычно никто не обращает внимания, но в которых как раз и помещается та бульварная информация, над чем всегда можно поострословить. Польшеев накануне вечером встретился с одним из близких ему австрийских журналистов, только что вернувшихся из Венеции, и за кружкой пива разговорился с ним. Дружески настроенный австриец с озабоченностью, какую старательно сохранял на лице, рассказал о поразившем даже его сенсационном заявлении (о необходимости будто бы спасения русского народа, того самого народа, который сам только что спас Европу и не нуждался в покровительстве), которое сделано было одним из вожаков диссидентства, правда, пока еще неофициально как будто, на некоей «тайной вечере», устроенной в честь его единомышленников. Главное содержание этого заявления, которое затем будет подхвачено реакционной западной прессой, особенно радиостанциями «Свобода» и «Свободная Европа», заключалось в том (как пересказал его австрийский журналист, назвавший фамилию вожака диссидентов), чтобы русские люди собрались вместе в центре России и покаялись перед окраинами и что будто бы только тогда снизойдет на них благодать. И обо всем этом, опять назвав фамилию вожака — человека, который за антиправительственную деятельность был выдворен из СССР, Польшеев пересказал теперь Белецкому и Борису, и, отвалившись на спинку кресла и продолжая похрустывать орешками, которые с ловкостью закидывал в рот, наблюдал за впечатлением, какое произвело его сообщение. «Ну, что вы скажете? А ведь в этом есть что-то», — светилось в его хитровато-прищуренных, довольных глазах.

Для Белецкого и Бориса было очевидно, что подобное заявление вожака диссидентов не имело и не могло иметь никакого практического смысла. Но было так же очевидно, что нацеливалось оно на пробуждение тех националистических настроений, потенциально живущих в любом народе, с помощью которых собирались теперь нарушить единство СССР. Эту-то нацеленность, обращенную прежде всего на русский народ, сейчас же уловил Борис; и в то время как он, повернувшись, смотрел на Польшеева, в сознании его по непонятному ходу мыслей прежде несовместимые, жившие отдельно явления: это, о чем только что услышал, то есть разжигание националистических страстей, что могло вызвать только ненависть и вражду, и другое, которое проявлялось в Польшееве и служило будто бы иным, благородным целям, — явления эти вдруг предстали перед Борисом в каком-то одном ряду, соединенными и подкрепляющими друг друга. «Да нет, — в первую же минуту сказал он себе, — что за ерунда!» Но обычно спокойное, неподвижное лицо его вдруг напряженно вытянулось от той душевной работы, борьбы — поверить ли в открывшееся? — которая происходила в нем. Он невольно почувствовал, что всегда так торжественно подававшаяся деятельность Польшеева по возрождению будто бы у русских людей позабытой ими любви к слову «Россия» и ко всему русскому была той почвой, на которую диссидентствующие «патриоты» собирались теперь бросить свои семена. «Нет, — еще раз сказал себе Борис, хорошо знавший, что между теми, кто был на биеннале в Венеции, и Польшеевым и людьми, стоявшими за ним, не могло быть никакой связи. — Но отчего же тогда эта кажущаяся близость? Что за надобность — готовить почву под чужие семена?» Ему как русскому человеку суета Польшеева по поднятию русского духа в русских людях всегда представлялась явлением странным. «Для чего надо искусственно поднимать то, — думал он, — что всегда было и есть в народе и что само собой, когда того требуют обстоятельства, как это случалось во времена народных бедствий, поднималось до таких высот, что преодолевало все беды?» Он выводил это из настроений отца, испытывавшего этот подъем духа, и не на словах, не в заботах о том, что лучше — кирзовые сапоги или английские непромокаемые ботинки на шипах; все, что происходило с от-

цом в жизни, определялось только теми единственными потребностями, без которых деревенский человек не мыслит себе никакого дела. Ему не нужно было насильственно возбуждать этот дух в себе, который естественно и всегда жил в нем и жил в Борисе и руководил его поступками.

«Вот так сроднился! — не сводя с Польшеева глаз, мысленно воскликнул Борис, как будто рад был этому неловкому положению, в какое, не заметив того, поставил себя всегдашний его противник. — Где же между вами граница, как ты ее проведешь теперь?» Борису казалось, что всегдашний противник его был в клетке, в которую добровольно загнал себя, и утверждал, что заключен в клетку не он, а человечество, которое было по другую (от него) сторону решеток, что невозможно и смешно было доказать.

Польшеев между тем, продолжая похрустывать орешками, выжидающе поглядывал на сидевших возле него Белецкого и Бориса. Он не только не представлял себя в каком-то неловком положении, как думал о нем Борис, а был убежден, что между ним и теми, о ком только что рассказал, не было связи, и держался так же легко и свободно, готовый ответить всякому, кто не в русле его взглядов начнет говорить с ним, как он держался всегда на лужьяновских «посиделках». Борис чувствовал, что надо было что-то сказать ему, и оглядывался на Белецкого, который тоже, обдумывая, видимо, свое, что хотел противопоставить довольному собой Польшееву, насмешливо улыбался и покачивал головой.

VII

— В мире все так взаимосвязано, что ничего нельзя рассматривать отдельно, оторванно друг от друга, — словно не начинал, а продолжал разговор Белецкий, удивив Бориса тем, что будто угадал его мысли. — Национализм никогда не был явлением стихийным, — сказал он в согласии со всегдашними своими убеждениями о нобиях и произволе, которые не во всем понятны были не столько Борису, сколько Польшееву, впервые так близко столкнувшемуся с Белецким. — Тем более сейчас, когда его стараются разжечь во всех странах.

«Да он думает точно так же, как я!» — опять мысленно воскликнул Борис и с любопытством повернулся к Польшееву, надеясь увидеть смущение или что-то еще в этом роде, но увидел лишь привычное ироническое, исполненное достоинства выражение.

Польшеев не то чтобы не допускал возможности, чтобы кучка семей, как бы ни велико было их состояние и желание сделать это, могла управлять миром, но он просто — по тому жившему в нем естественному чувству, что любая (над тобой!) власть унижает человека, — не мог признать этого. Человек, как ему казалось, волен жить так, чтобы и он сам, и все вокруг признавали в нем личность. И по этой убежденности, как волен жить человек, он принимал более за истину не реальную жизнь, а схему, то есть ту для утешения ложь, по которой для всякого будто бы в равной степени и независимо от обстоятельств открыта дверь проявить себя.

— Стараются разжечь, или он возникает как противовес определенному явлению, — весело как будто начал он. Он видел, что высказывание Белецкого было направлено против него, но не желал пока придавать этому значения.

— Чему, какому явлению? — переспросил его Белецкий, настаиваясь и стараясь понять его.

— А по-моему, у нас сейчас только одно явление, — вмешался Борис, не хотевший вступать в разговор, но почувствовавший, что самое время было произнести знаменитую, в его понимании, фразу, которую он впервые услышал в доме Кошелевых от Николая Нико-

лаевича. — Россия еще никогда не была такой русской, как теперь, — сказал он, с живостью посмотрев на Белецкого и Полынеева.

Борису казалось, что фразой этой он мог примирить их. Но Полынеев только пожал плечами. Того, что имелось (России для русских), было видно, что мало ему. Он сознавал себя представителем того общественного явления, которое, как полагал он, набирало силу, и всякое даже малейшее оскорбление в свой адрес переносил сейчас же на все то огромное, что он хотел представлять; и он либо начинал спорить с собеседником, либо отворачивался и не удаивал его ответом. По-своему восприняв теперь слова Бориса и почувствовав оскорбленным себя (особенно тем, что Борис выступал заодно с новичком Белецким против него), он сначала, прекратив хрустеть орешками, хотел было ответить им, выбирая, кому первому, Борису или Белецкому, но в ту минуту, когда готов был уже начать возражать, увидел, что Белецкий, наклонившись, расслаблял шнурки на своих модных, с завешенными каблуками, лакированных туфлях. «Что ему Россия, он слушать не хочет», — мелькнуло в сознании Полынеева. Но вместо того чтобы еще более оскорбиться, он лишь с пренебрежением, как он всегда относился к интеллигентам, умевшим красиво сказать о том, что не занимало их, принялся разглядывать Белецкого. Он вдруг как бы увидел в Белецком то скрытое стремление оправдать диссидентство при помощи разного рода путаных рассуждений (о мировых проблемах), в чем он не раз «уличал» подобного типа людей; и «уличив» таким образом и без оснований на то, а лишь по своему произволу Белецкого, он не то чтобы потерял к нему интерес, но невольно, как умел это сделать всегда, — не снисходя до разговора с ним и не удаивая вниманием даже Бориса, о котором тоже как будто изменил теперь мнение, поднялся и, доставая на ходу сигареты и зажигалку, направился на кухню, чтобы покурить возле открытой балконной двери.

Борис хотел было пойти за ним, чтобы объяснить, но Белецкий остановил его.

— Не надо, — сказал он. — Ему не на что обижаться. А что мы не умеем сопоставлять события и думать, не вина, а беда наша, — добавил он спокойным, словно давал урок, тоном. — Вы правильно сказали: Россия никогда еще не была такой русской, как теперь, и слава богу, хорошо, и не надо кричать об этом. Достоинство не в том, чтобы свое «я» выставять перед всеми. Вы кончали МИМО? — спросил он, чтобы перевести как будто разговор на другое, но, в сущности, для того, чтобы найти новые аргументы. — Вы знали Кудасова? Он выпустил книгу, — поняв по выражению лица Бориса, что фамилия профессора была известна ему, продолжил Белецкий. — На мой взгляд, она не только интересна, но и поучительна. — И он процитировал ставшие уже известными слова из этой книги Кудасова, что вообще «национальное чувство людей это самое тонкое место в устройстве общественной жизни» и что «оно — невидимый и неподозреваемый до времени пороховой погреб, подложенный под всякое государство, и при любом неосторожном действии может взорваться со страшной силой».

— Но ее, по-моему, критиковали в печати, — возразил Борис.

— Э-э, что только и кого только мы не критикуем теперь, — с усмешкой ответил ему Белецкий, словно речь шла о шалости, которую нельзя принимать всерьез.

Полынеев, докуривавший сигарету на кухне, не слышал их разговора и не прислушивался к нему. Любивший весело, в компании, провести время, он вместе с тем считал себя человеком не разговоров, а дела. Но деятельность его заключалась не в том, что он сам делал что-то значительное; значительное создавалось там, в России, в общей массе, где словно бы само собой, как снежный ком, разрасталось могущество государства, и сознание причастности к этому

кому, причастности к общим усилиям народа как раз и представлялось Польшиневу тем его делом, которым он был удовлетворен. «Россия!.. Ты сначала лапти поноси»,—мысленно бросил он теперь Белецкому, не видя его перед собой, но представляя наклоненным и расслабляющим шнурки на туфлях. Глотая дым и получая то мнимое, от воздействия табачного дыма, успокоение, какое необходимо было ему, чтобы вернуться в комнату, но возвращаясь пока лишь к тому настроению, с каким пришел в это утро к Борису, он вспомнил, что кроме биеннале и заявления на нем (о чем Польшинев уже рассказал друзьям), он собирался еще рассказать о вояже главаря диссидентов в Канаду накануне упомянутого биеннале и как главарь этот был освистан канадской общественностью. Подробности были настолько любопытны и так не в пользу главенствующего диссидента, что Польшинев, мысленно перебрав их, смял сигарету и так же решительно, как только что выходил из комнаты, прошел обратно, весь сосредоточенный уже на этом.

VII

Спустя четверть часа, когда и вторая новость, возбуждавшая воображение Польшинева, была рассказана им и, к огорчению, холодно встречена Белецким и Борисом и стало окончательно ясно, что третий, кого ожидали все, то есть сослуживец Бориса по посольству, не сможет прийти (по неожиданным домашним обстоятельствам, о которых он не стал сообщать по телефону),—небольшая компания, собранная Борисом и не имевшая пока никаких как будто планов (кроме, разумеется, задумки организатора), вышла на улицу.

— Я знаю одно великолепное местечко,— начал было Борис, подкинув в ладони ключи от закрепленной за ним посольской машины и еще выразительнее (этими ключами) говоря всем, что он хотел предложить друзьям.

— Погоди,— остановил его Белецкий. — У меня есть другое предложение.

— Какое? — спросил Польшинев, невольно настораживаясь по неостывшей еще неприязни к нему.

— Предлагаю посмотреть белых императорских лошадей. Около одиннадцати их выводят на манеж, и мы вполне успеваем. Зрелище удивительное, и, я думаю, с нашими мандатами пропустят на гостевые трибуны.

— Что касается меня, то я не охотник до подобных зрелищ,— возразил Польшинев, словно он испытывал физическую потребность противостоять Белецкому. — На лошадей достаточно предки мои насмотрелись и походили за ними, так что...

— Дело хозяйское,— прервал Белецкий, не дослушав его. — А вы, Борис? — сказал затем, обращаясь к Борису, как если бы не Борис, а он, Белецкий, руководил делом.

От него словно бы исходила власть, которой нельзя было не подчиниться, и как Борис ни противился этой власти, но когда надо было проявить решимость, терялся и не мог ничего сказать в свою защиту.

— Я? Я — как все,— краснея, оглядываясь на Польшинева и прося его этим своим взглядом уступить Белецкому и не расстраивать компании, проговорил он.

— А я пас, пас, да и дела у меня,— еще решительнее заявил Польшинев и, поклонившись, размашисто зашагал от них.

— Не жалейте,— сказал Белецкий (на недоуменный и растерянный вид Бориса). — Получите удовольствие, уверяю вас, и потом — это случай, так что идемте, идемте.

Борису ничего не оставалось как согласиться, и они пошли к центру Вены, ко дворцу Хофбург, при котором находились знамени-

тые бывшие императорские конюшни. Императоров давно не было, Австрия была республикой, управляемой президентом и премьер-министром, но императорские конюшни, то есть традиции или секрет, как было бы вернее, державшийся в строжайшей тайне бывшим императорским двором,—традиции продолжали соблюдаться с еще большей как будто строгостью, так что даже венцам лишь в редкие, специально отводившиеся на это дни удавалось полюбоваться на родовитых белых красавцев. Раньше на них разрешалось ездить только членам императорского семейства; теперь же этих белых красавцев продавали (за неимоверные, разумеется, деньги) миллионерам и миллиардерам в разные страны, что тоже держалось в тайне, и венцам, как и гостям Вены, наподобие Белецкого и Бориса, оставалось только предполагать, слушать и пересказывать всевозможные по этому поводу догадки и небылицы. Одной из таких небылиц, особенно поразивших своей неправдоподобностью Бориса, не раз в детские годы гонявшего со сверстниками в ночное колхозных лошадей и полагавшего на этом основании, что он знает лошадей, была небылица о том, что будто бы рождались эти белые красавцы ярко-рыжего цвета, но что потом, с возрастом, шерсть их словно бы выцветала и приобретала тот снежной белизны оттенок, какого не удавалось добиться ни на каком другом конезаводе мира. «Чтобы рыжий жеребенок затем стал белой лошадью?! — усомнился тогда Борис. — Какая-то ерунда». Он слышал еще несколько столь же неправдоподобных, относительно этих красавцев, историй, на которые, занятый совсем иными целями и заботами, не обращал внимания. А когда увидел, как проводили бывших императорских лошадей под аркой дворца, через дорогу, из одного помещения в другое,— кроме того, что лошади белые, ничего выдающегося не заметил в них, несмотря на ликование толпы. Шагая сейчас рядом с Белецким и слушая его неправдоподобные рассказы о белых красавцах, Борис думал о деле. Его огорчало сразу несколько обстоятельств, в каких он оказался в это утро. Белецкий, в сущности, навязал ему свою волю и руководил им; из-за Белецкого же нехорошо получилось с Полынеевым, с которым Борису не с руки было ссориться; но главное, все продуманное с холостяцким обедом (в деревне, за городом) было теперь разрушено, и надо было искать что-то новое для осуществления своего замысла.

— Да вы сколько же в Вене, что ничего не знаете о знаменитых белых лошадях! — воскликнул наконец Белецкий, приостановившись и посмотрев на Бориса (не столько с недоверием, как с удивлением).— Сколько же вы в Вене? — повторил он.

— Год.

— Э-э, непростительно, непростительно. Вам, молодому человеку. — Он посмотрел на черную рубашку и светлые вельветовые джинсы Бориса, сидевшие по-современному красиво на нем, на его прическу, говорившую о том, что он следит за модой и не лишен вкуса, на весь общий облик его, по которому в нем скорее можно было признать венца, чем советского гражданина (что, впрочем, и располагало к нему Белецкого). — Вам рано еще зарываться в бумаги.

— Нет, я кое-что слышал,— вынужден был признаться Борис. — Но... вы так интересно рассказываете.

— Интерес не в том, как я рассказываю: сам материал интересен. С этими конюшнями, между прочим, если вы не знаете,— опять начал Белецкий, как будто ответ Бориса вполне удовлетворил его,— связана ошибка нашего гениального Толстого. Помните, в «Войне и мире» есть такая сцена, когда император Александр вместе с императором Францем подъезжают на Праценских высотах к Михаилу Илларионовичу Кутузову, и Александр спрашивает фельдмаршала: «Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович?.. Ведь мы не на Царицыном Лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки». Может быть, немного и не так, цитирую по памяти,— добавил он, изви-

нясь. — А Кутузов иронически: «Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном Лугу». — И Белецкий, ссылаясь на австрийцев, которые-де обнаружили это, рассказал о том, как Толстой, любивший во всем следовать правде, неправильно будто бы изобразил императора Франца, посадив его на вороную лошадь, тогда как австрийские императоры, и это было их гордостью и престижем, ездили только на белых. — Не знал, видимо, — сказал он о Толстом. — А может, что-то хотел сказать свое этим, чего мы не можем уловить. Во всяком случае, любопытно, не правда ли?

— Как вы все помните? — удивился Борис.

— Ну, милый мой, — возразил Белецкий, переходя на «ты» с Борисом от той душевной расположенности, какую все более испытывал к нему. — Простительно не помнить Библии, но непростительно для русского человека не знать Толстого. Это величие и гордость наша, — чуть помолчав, добавил он.

Они прошли мимо монумента, воздвигнутого на одной из площадей Вены в честь советских воинов-освободителей. На гранитных плитах его были высечены наименования частей, бравших Вену, и Борис невольно, как он делал всегда, на минуту остановившись перед монументом, отыскал глазами и прочитал название части, которой в те годы командовал его тесть, молодой генерал Егоров. Хотя отец Бориса был фронтовиком, был одним из тех тружеников солдат, на ком лежала тяжесть войны, но крестьянский вид отца, его колхозные и домашние заботы, его разговоры о земле и жизни никак не связывались у Бориса с войной, подвигами и утратами, тогда как тесть в своем генеральском мундире и с целою лопатой орденских планок на груди, — тесть с его теперешней службой и разговорами был как бы постоянным живым напоминанием о тех былых сражениях, о которых Борис знал лишь по фильмам и книгам. Он не вполне понимал того чувства, какое возникло в нем, когда он подходил к монументу; ему казалось, что он только вспоминал о тесте и шутливо будто брошенной им фразе: «Для того и головы клали, чтобы вы могли свободно ходить по этим городам», на которую Борис в день отъезда сюда даже будто не обратил внимания и забыл о ней, но совсем не шуточный смысл которой как раз и заставлял его теперь задумчиво останавливаться перед монументом.

— Да, я слышал, — на желание Бориса сказать что-то и опережая это желание (как будто из боязни упустить роль ведущего в разговоре), торопливо произнес Белецкий. — Ваш родственник освобождал Вену и значитесь здесь. Мир тесен, да, да, мир тесен, — повторил он, будто этими двумя словами можно было выразить то, что было на душе Бориса. — А знаете, какое сравнение приходит мне в голову, когда я думаю о минувшей войне, — затем с живостью проговорил он, словно бы обрадовался тому, что можно было переменить тему разговора. — Миллионы людей сложили головы, и нам бы теперь собирать плоды мира. А где эти плоды? Я не вижу. Их нет. Это как в крестьянском труде, — начал он (не из желания, разумеется, угодить Борису, а потому, что на деревенском примере объемнее можно было выразить свою мысль). — И вспахал, и посеял, и сроки выдержал, а урожай неровный. Что-то, по-моему, мы не довели до конца, или, может, нам не позволили. — И он с еще большей увлеченностью, чем о белых императорских лошадях, разговор о которых, в сущности, был уже исчерпан, принялся высказывать свои давно и тщательно, как видно, продуманные суждения о послевоенном (и несправедливом, как он полагал) устройстве мира.

IX

Весенняя Вена хороша была не только своими многочисленными *valdschinke*, куда в воскресный день толпами устремлялись венцы, но, как все западные города, как Париж с его Латинским кварталом, то

есть узкими перекрытыми для транспорта улочками, где всюду развернуты прямо на тротуарах грили, кафе, ресторанчики с живописными зонтиками над столиками и посетителями за этими столиками, обсуждающими за бокалом вина, пива или коктейлем свои дела, как Прага, Будапешт или Варшава с восстановленным после войны «старо место»,— воскресная Вена была полна этих кафе и ресторанчиков на тротуарах, мимо которых проходили теперь Борис и Белецкий. Белые скатерти на столиках, еще не залитые вином и пивом, аккуратно расставленные стульчики на влажных после полива полах, и официанты в жилетах, и с бабочками, и с белыми салфетками через руку, ожидающие гостей, которых по этому времени было еще немного,— все это, зазывно кричащее как будто своей выставленностью, не то чтобы вызывало желание сейчас же сесть за столик, но создавало, во всяком случае у Бориса, впечатление достатка и основательности, которое было особенно близко ему. Его поражал этот порядок — своей, прежде всего, продуманностью; все было под рукой, было удобно и было как будто для всех и всегда; и ему нехорошо становилось от сознания того, что совсем по-иному и безалаберно будто была устроена жизнь у нас. Он брал не Мокшу; не то, как жил отец или жила Пенза; он брал Москву (что, впрочем, тоже неправомерно было сравнивать, так как в Москве он был студентом, а в Вене — сотрудником посольства и уже с иными возможностями и взглядами), и ему непонятно было, почему мы, русские люди, не смогли точно так же (разумеется, в бытовом плане) продумать и наладить у себя. «Жаль, конечно, очень жаль, что наша душевная красота,— думал он (по красоте и возвышенности целей, постоянно выдвигаемых перед народом),— не облачена в столь же красивую и удобную одежду». Но параллельно с этими грустными и даже чаще, чем эти, приходили Борису другие мысли, которые по-другому настраивали его. Он чувствовал себя как бы приобщенным ко всей этой западной, высшей по уровню, как по молодости лет и неопытности представлялось ему (представлялось тогда многим его сверстникам), жизни, и из этого ложного чувства выросло сознание своей (и столь же ложной) значимости. В модной одежде, с модной прической и гордым, спокойным, унаследованным от матери взглядом, то есть с видимым снисхождением, с каким он смотрел на все окружающее (в то время как на душе было противоположное чувство), и представительностью, выработанной еще в Мокшах, какой должен, как он считал и теперь, обладать каждый дипломат, Борис особенно чувствовал себя сейчас в своей роли. Хотя достигнутое им, деревенским парнем, было следствием советских условий жизни, но он предпочитал не помнить об этом; если он и был чему-то или кому-то обязан своим нынешним положением, как он думал, то только самому себе, своим стараниям, расторопности и сообразительности.

У Белецкого же было совсем иное, чем у Бориса, настроение. То, что чувствовал и о чем думал Борис, для него было в прошлом. Его занимали не вопросы сравнения уровней жизни, как было, к примеру, у нас и было в Вене; он знал, что такого сравнения делать нельзя уже потому, что у каждого народа по-своему складываются исторические условия жизни; его занимали вопросы несправедливого устройства западного мира, то есть те общие (глобального, исторического масштаба) вопросы, на которые люди всегда будут искать ответа. Почувствовав неосведомленность Бориса в том, что касалось достопримечательностей австрийской столицы, он еще более, когда смена была тема разговора, почувствовал в нем неосведомленность политическую, то есть искреннее неумение широко (и правильно, как это казалось Белецкому) взглянуть на явления жизни; и он не то чтобы решил сейчас же подучить Бориса, как ему надо смотреть на мир, но — из того простого желания покровительства, какое всякий раз возникало у него, когда он встречал такого же скромного, каким

представлялся ему Борис, молодого человека, принялся неторопливо и основательно излагать ему свои мысли о всевластии нобилей и бесправии на земле простого люда.

Они остановились возле одного из ресторанчиков, вынесенных прямо на тротуар, и сели за столик, как предложил Белецкий. Официант принес в бокалах пиво, и за этим пивом Белецкий говорил так увлеченно, что Борис, слушавший его, забыл даже о своем интересе к нему. Ему ново и неожиданно было все, о чем говорил Белецкий (как будто он показывал Борису швы и заплатки на прежде казавшемся ему гладком предмете). Особенно же поразила Бориса та ясность, с какою Белецкий представил ему свое толкование развития человечества. Стремление человечества, которое известно было Борису как стремление к прогрессу и демократии, имело, оказывается (по Белецкому), совсем иные цели; оказывалось (по Белецкому же), что вся история человечества есть лишь — поиск и смена форм закабаления, называемых сменой цивилизаций; как только один обман, установленный на столетие или больше, начинал открываться людям, сейчас же находились силы, которые стремились заменить этот обман другим, новым, более изощренным и тонким, заставляя работать на него науку, политику, искусство. Научные открытия прежде всего делались для целей войны, грабежей и насилия (что всегда высоко оплачивалось и оплачивается); политике предназначалась роль обелителя этих насилий, а искусству — служить политике. Для Белецкого все, что он говорил, было не столько его отношением к прошлому, как отношением к западному миру, в котором он, в сущности, жил как журналист-международник и о котором писал. По впечатлениям, какие оставлял у него этот западный мир, по расстановке сил в нем, по всесилию монополий (и партий от этих монополий, пытающихся доказать свою независимость и принадлежность к народу) и бесправию люда, которого — миллионы, по той гигантской подтасовке и фальсификации фактов, чем занимается пресса, дирижируемая и направляемая на это, занимаются кино, театры и литература, то развлекая людей сексом, чтобы отнять у них время подумать о другом, главном, то кровавыми сценами насилия, смысл которых — вседозволенность и пробуждение низменных страстей (когда люди убивают друг друга, у них еще меньше остается времени осмотреться вокруг), наконец, по той деятельности академиков и докторов наук, особенно гуманитариев, постоянно ищущих, как подправить историю, чтобы она соответствовала букве и духу времени (за что и предоставляются им блага), и по множеству других, в обилии, фактов, с которыми Белецкий (как и всякий, наверное, думающий человек) постоянно сталкивался в своей журналистской деятельности, он и выстраивал свою концепцию о несправедливом устройстве мира. Он все относил к Западу, и потому у него не возникало сомнений. Его не смущали ни резкость, ни категоричность его суждений. Но верная во многом по отношению к Западу теория его имела между тем один существенный недостаток; получалось (как излагал ее сейчас Белецкий), что она охватывала все человечество, тогда как современный мир был четко разделен на две отличавшиеся по своему социальному устройству системы — социалистическую и капиталистическую, и было очевидно, что неправомерно было с одинаковой меркой подходить к ним. Белецкому не приходило в голову обсуждать то, как жил он сам; жизнь его и его соотечественников была правильной и не подлежала обсуждению, тогда как Борису, воспитанному на ином подходе к современности и привыкшему соизмерять все именно со своей жизнью, — Борису было непривычно и странно слышать это. «Если подобная схема устройства мира верна, — думал он, чувствуя по убедительности того, как излагал ее Белецкий, что в ней действительно было что-то неопровержимое и верное, — то какой же выход у человечества? И как подходить к нашей жизни?»

Вовлеченный впервые в обсуждение подобного рода, то есть в обсуждение прежде скрытых будто от него этих вопросов общественной жизни, Борис не то чтобы чувствовал себя неподготовленным, но был так возбужден, так под влиянием Белецкого, что не мог найти, что бы возразить ему. Он только спросил (по этому замеченному им несоответствию), что — как же совместить такую теорию с тем, что мы говорим и думаем о социализме?

— Получается — выхода нет, — сказал он, широко и удивленно глядя на Белецкого.

— Нет, вы не так поняли, — возразил Белецкий, которому не раз уже, видимо, приходилось отвечать на подобный вопрос. — О нашей действительности судить будут потом, после нас и по делам нашим. А как и что, предположить не только трудно, но невозможно. Но поскольку, как я думаю, люди открыли сущность движения жизни, во всяком случае, худшее повториться не может. Социализм — это та формация, которая уже в самой своей основе предполагает добрые и справедливые между людьми отношения. Как же иначе? — произнес он в том же наступательном тоне, исключавшем возражения, и с той же убежденностью, с какой только что излагал Борису свою всеохватную «теорию» о несправедливом устройстве мира.

X

— Элементарная логика подсказывает нам, — когда вновь было принесено пиво, начал Белецкий, — что единица всегда меньше ста, тысячи и, конечно же, миллиона. Но действительность открывает другое, и миллионы людей только потому, что не грабили, не угнетали себе подобных и не накопили вследствие этого капиталов, оказываются беспомощными перед одним или кучкой правителей, которые пусть даже путем выборов, а мы знаем, как здесь выбирают, присвоили себе право повелевать. Миллион выходит на улицу с требованием работы, улучшения жизни, но один, засевший в апартаментах, один этот отдает распоряжение разогнать миллион. Сила, в сущности, оказывается бессильной. Как это объяснить? Чем? Где логика? Откуда эта власть одного и бесправие миллионов? Бесправие теперь, в обществах, в которых, казалось бы, конституционно охраняются права человека, — продолжил Белецкий.

То, что он говорил теперь, было общеизвестно; было той как будто бы пропагандой, вызывавшей улыбки, на которую никто уже не обращал внимание; но для Белецкого с его глобальным взглядом на жизнь, с его поисками истины и стремлением к справедливости, которая одна, если бы все поняли и приняли ее, могла бы к лучшему изменить мир, — для Белецкого неважно было, как думали о том, что он говорил, другие; он знал, что это есть, видел это, а главное, это подходило под его «теорию» о несправедливом устройстве мира. Мир со всей его красотой и притягательной силой, со всеми его потребностями личного, то есть потребностями труда, достатка, любви, положения и славы, с желанием хорошо одеться и вкусно поесть (и вот так, как они, посидеть за столиком, наслаждаясь весной, утром и разговором), мир этот не только не имел, как получалось по Белецкому, этой красоты и желаний, из которых, вернее, из удовлетворения которых как раз и состоит смысл человеческого существования, но все в нем было ложным, было не то и не тем, чем бы должно быть.

— Иллюзия достатка это еще не есть достаток, — сказал он. — Люди улыбаются, но это еще не значит, что они счастливы. Счастье их только в том развее (как, впрочем, и спасение), что они живут в неведении и поддаются обману.

— Но что же тогда вы оставляете людям? Ведь что-то же заставляет нас жить, чему-то мы радуемся, — снова возразил Борис.

— Борьба,— почти машинально ответил Белецкий.— Надежда и борьба, борьба и надежда. Так было, так есть и, видимо, так будет. Борьба, извечная борьба за справедливость,— добавил он, поднимая бокал с пивом и пригубляя его.

Белецкий говорил так убежденно, что Борис не мог не почувствовать, что за его словами стоит истина. Истина была в том, что народы угнетались и что история человечества действительно представляла собою историю борьбы за справедливость (понимаемую, впрочем, каждым народом и каждым человеком по-своему, как можно было бы добавить к этому). Но, признавая это элементарное, что Борис, казалось ему, знал со школьной парты, он вместе с тем не мог согласиться с утверждением Белецкого о том, что мир будто бы держится не на добре и справедливости, а на лжи и обмане и что все, что кажется прекрасным, замешено на жестокости и крови. Он не мог согласиться с этим точно так же, как не мог признать, чтобы его жизнь, жизнь его отца и матери, в которой, он хорошо помнил по детским впечатлениям своим, были не только постоянные заботы, но были и радости, жизнь Антонины, готовящейся стать матерью, чтобы все это, составлявшее свой особый для Бориса мир, было наполнено обманом и ложью. Он не мог признать, чтобы это удобство всего, которое так поразило его в Вене, когда он в первый раз прошел по ее улицам, обилие витрин, магазинов и товаров в них и отсутствие толпы покупателей, чему он давал свое, неверное и преувеличенное, толкование, ухоженность деревьев, полей, виноградников, наконец, бесконечное количество больших и малых *valdschinke*, в которых всегда можно прилично поесть, и в о с к р е с н ы х, развернутых прямо на тротуарах ресторанчиков, подобных этому, в каком он с Белецким сидел теперь, чтобы все это, производившее на него впечатление (как и желание карьеры, положения и славы, на что устремлены были усилия Бориса), было обманом, которому смешно и глупо радоваться, но против которого надо протестовать. Он, в сущности, не мог отказаться от удовольствий и радостей, какие молодость и жизнь предоставляли ему, и воспринимать мир и людей иначе, чем он воспринимал их. «Разве вокруг меня ложь? — думал он, не столько спрашивая, сколько отвечая себе этим вопросом на свои сомнения.— Или они, пришедшие отдохнуть,— повернувшись на австрийскую семью, устраивавшуюся за соседним столиком, продолжал он,— что ж, и они — обмануты и не знают, чему довольны?»

Семейство, на которое смотрел Борис, устраивавшееся за соседним столиком, было типичное, со средним достатком, благообразное австрийское семейство, в котором прежний, традиционный уклад и новый были так удачно соединены (более отдававший стариной, чем новым, что сейчас же почувствовал Борис), что, казалось, технический прогресс, убивающий будто бы все человеческое в человеке, на который так любят сослаться у нас, как только речь заходит о трудностях жизни, не только не разрушил, но, напротив, укрепил в этом семействе все благородное и нравственное, что издавна было в нем. Благородным и нравственным этим, то есть традиционным, на что Борис обратил теперь внимание, было — не одежда, не то внешнее, что отличает австрийца или немца по его узкополой с пером шляпе, шортам и сандалиям, как они позволяют себе ходить с наступлением теплых дней; не костюмы мальчиков или девочек, напоминающие, по известным картинам, барчуков конца прошлого—начала нынешнего столетий (к которым у нас выработалось свое отношение), и не изящная простота женских нарядов — нет, Бориса привлекло не это внешнее, что, впрочем, тоже по-своему говорило об уровне жизни, а другое, что было как бы сутью традиции, то есть возможностью приобщаться и приобщать детей к определенной культуре и вкусу жизни.

— Любуется? — спросил Белецкий, перехватив взгляд Бориса и тоже на мгновение обернувшись на австрийское семейство.— Умеют

устроить себе жизнь, ничего не скажешь, Европа, куда ни кинь, традиции на все сто восемьдесят колен.— Он произнес цифру «сто восемьдесят» потому только, что она была из любимого им образного выражения, которое он применял к политическим деятелям, вдруг начинавшим менять свои убеждения на все сто восемьдесят градусов.— Да,— спохватившись, затем проговорил он.— О лошадях-то мы совсем забыли! — Он посмотрел на часы.— К началу, конечно, опоздали, но, может, посмотрим конец? Хоть что-то да посмотрим, эй, garçon! — крикнул он, приглашая официанта подать счет.

Белецкий, всегда трудно сходившийся с новыми людьми, был доволен тем, как прошел для него день. Борис показался ему интересным и умным молодым человеком, что было своего рода для теперешней молодежи редкостью. «Но зелен, зелен»,— уже дома с улыбкой подумал он о Борисе. Он не заметил в Борисе того, что настораживало в других, кто через него пытался наладить отношения с его влиятельным в Москве родственником; напротив, в Борисе он увидел только непосредственность, которая всегда привлекала его в людях. «Мы доискивались до всего сами и через свои ошибки,— было тем подсознательным, что руководило Белецким, когда он внушал Борису свои взгляды на жизнь,— так пусть хоть они сразу идут дальше, а не топчутся на месте, где до них успели уже все основательно затоптать». Он был искренен с Борисом, говорил с увлечением, как всякий, долго и в одиночестве обдумывавший жизнь, и увлеченность его невольно передавалась Борису и захватывала его. Для Бориса точно так же день прошел незаметно, он был возбужден, доволен и весел и только дома вспомнил, что не поговорил с Белецким о его дяде. «Как же я забыл?» — подумал он с неприятным осадком, словно отказался от того, что могло легко и к лучшему переменить его жизнь. Досада была так велика, что, принявшись уже укладывать чемодан в дорогу (он вылетал в Москву на другой день утром), долго еще не мог успокоиться и простить себе своей увлеченности. «Было так возможно, он был так расположен»,— морщась, говорил себе Борис и не предполагал, что еще важнее, чем то, что хотел получить от Белецкого, был для него разговор с ним.

XI

Павел Лукьянов, находившийся как раз у истоков той жизни, о которой все так пекутся, чтобы наладить ее (налаживая тем временем пока лишь свою), был постоянно занят теми же полевыми работами, какими он был занят всегда, сколько помнил себя, и точно так же, как неизменными оставались луга и пашни, на которые он выезжал на тракторах и комбайнах, неизменной, в трудах и заботах, представлялась ему и его деревенская жизнь. Может быть, потому, что семья уже не прибавлялась, а, напротив, уменьшалась, потому что дети, уезжавшие в город учиться, не хотели возвращаться домой и не было потребности что-либо пристраивать к избе и расширять ее, а может, просто по тому естественному чувству старости, которое возникает у всякого человека и выражается в том, что человек начинает думать, сколько еще ему остается пожить и нужно ли на этот срок затевать требующее больших усилий дело, Павел не думал о переменах и не ждал их; мечты его, когда он сочинял письмо в правительство, предлагая восстановить нарушенную будто, как ему казалось, основу крестьянского труда и жизни,— мечты те, как и письмо, были давно забыты и не волновали его; почувствовав (в тот год, когда прокатилась волна обновления по селам), что жизнь будто вошла в свои берега и стабилизировалась, он так привык выполнять то, что от него требовалось, так привык, что над ним всегда есть бригадир Илья, который скажет, когда пахать, сеять, косить или убирать хлеб, и к обязательствам, кото-

рые надо брать, чтобы выполнить работу по сенокосу или закладке силоса, что у него постепенно отпала необходимость думать о деле.

Он, как и прежде, выезжал в поле со своим напарником Степаном Шеиным, с которым не то чтобы не о чем было поговорить, но за годы было переговорено столько, что будто и не оставалось не затронутого ими. У Степана была точно та же проблема с детьми, что и у Павла; и точно так же, как и Павел, он большей частью молча переживал это, по выражению Ильи, бедствие. «Мы уйдем, кто заменит нас? Земля, как и всякая живность на ней, плодородит только тогда, когда к ней прикладываются душа, руки, ум и знания — не столько те, что приобретаются в вузах, сколько те, что передаются от старших детям», — так было от века во всякой хлеборобской семье, и что теперь, как с болью замечали люди, разрывалось и теряло связь. В сознании Павла и Степана, разумеется, не было так ясно определено это явление; они, в сущности, лишь пожинали плоды на той ниве, которую старательно возвращали сами, готовя детей к иной, чем у них, жизни; но это желание вывести детей «в люди» и радость, что усилия как будто не пропали даром — хоть Борис, хоть Роман, которыми нельзя было не гордиться, как было у Павла, — не могли заглушить того, что теперь тревожило старых механизаторов. То, что прежде не замечалось ими, было естественным, было состоянием их жизни (и что так растроганно подействовало на Сергея Ивановича, после Москвы вдруг оказавшегося в Мокше), — как нечто уходящее, с чем предстояло расстаться и что привлекало их не по внешней красоте, привычной для деревенского человека, а по другим, нравственным, коренным, глубинным и не всегда поддающимся объяснению связям, вдруг заставляло останавливаться посреди поля Степана или Павла и подолгу вглядываться в знакомые очертания деревни.

Деревня была все та же. Все те же с плетнями, огородами и сараями стояли избы вдоль изогнувшейся вопросом проселочной дороги, и тот же был над всеми Илья, хорошо знавший, как определить спелость трав, и так же хорошо знавший, как поладить с начальством. Он был одним из тех умевших будто законсервироваться мужиков, которые, раз определив для себя круг забот и освоившись с ними, не то чтобы не могут, но не хотят выходить за круг этих означенных забот. «Ничто его не берет, — думал о нем Павел. — Сколько ни вали, все тянет». Но Павел ошибался. Как и на все, что было вокруг, время накладывало отпечаток и на бригадира Илью. В нем уже не было той прежней живости, с какою он, бывало, брался за дело. Он менялся и старел точно так же, как меняются и стареют дома, деревья, скот, люди и как изменялся и старел сам Павел; но старение это, потому что оно протекало медленно и на глазах, было незаметно Павлу, как незаметным оставалось для него и то общее старение деревни, которое неизъяснимо и болезненно волновало его. Он не просто видел знакомые избы, когда с поля, поверх овсов, смотрел на них, но как бы чувствовал за ними тот огромный опыт своей и колхозной жизни, с которой были связаны все его дела и мысли; то самоутверждение бескорыстием, добротой, готовностью пожертвовать собой ради общего, из чего складывалась жизнь Павла, — все было для него там, за овсами, и он невольно начинал чувствовать себя не в конкретном времени и деле, в котором жил, а в историческом пространстве, в котором лежал весь вековой (и в будущее!) путь русского крестьянства. Он был как будто в ответе за то, что минуло, что должно прийти на смену, и никогда прежде не стоявший перед ним вопрос, для чего живет человек, теперь все чаще приходил и беспокоил его.

— Что дипломат-то твой, пишет? — иногда среди поля неожиданно спрашивал его Степан Шеин.

— Пишет, что ему, — отвечал Павел, и в ответе его не то чтобы не было радости, но не было волнения, с каким он прежде говорил о сыне.

Он видел, что, несмотря на то, что дети уезжали из дому, тревог не только не убавлялось, но, напротив, становилось как будто все больше и больше. То ему или Екатерине начинало казаться, что что-то неладно с Романом (по его редким, случайным письмам), и надо было думать о нем. То беспокойство возникало о Борисе, от которого тоже долго не приходило вестей. Но больше всего хлопот доставляли Александр и Валентина. Александр, не попавший в институт, служил в армии, на границе, и за него как будто нечего было опасаться; но он писал, что после службы намерен остаться там, где служил, и Екатерина не находила себе места после таких писем. Валентина, тоже не сумевшая поступить в институт, но тут же сумевшая выйти замуж, жила сначала в Пензе, затем вместе с мужем уехала на строительство ГЭС в Сибирь; она ждала уже второго ребенка, и нельзя было не думать и не волноваться за нее. В довершение ко всему в Мокше закрыли школу, и Петра с Танею, еще учившихся в школе, пришлось поселить в Сосняках, у родственников, где они, в сущности, были без присмотра, и неизвестно было еще, что могло вырасти из них.

— Пишет, а что ему. Теперь все пишут,— уже много спустя после того, как было упомянуто о Борисе, вдруг произносил Павел, заставляя Степана молчаливо и вопросительно обернуться на него.

ХИ

Весной 1972 года у Павла возникла необходимость поехать в Москву.

Вызвано это было двумя обстоятельствами: ссорю Романа с женой, о чем написала Ася, просившая приехать и рассудить их, и застарелой болезнью ног Павла. У него опухали колени, и вся надежда на выздоровление возлагалась теперь на Сергея Ивановича как на родственника-москвича, который все может. Кроме того, от Бориса было получено известие, что он в мае приезжает в отпуск, и свою поездку в Москву Павел решил приурочить как раз к этому времени, между посевной и сенокосом, как было удобно и ему, и колхозу.

Дни накануне отъезда, как и должно, прошли в хлопотах. Надо было собрать все в дорогу (одних только подарков для всех!), подновить и покрасить ограду на могиле Юлии (на случай, если Сергей Иванович спросит); надо было помочь Екатерине в том мужском, по дому, деле, в котором Павел всегда помогал ей, и поговорить и записать, что привезти ей из Москвы, привезти детям, соседкам, сбежавшимся нагрузить его своими просьбами, так что когда на Казанском вокзале столицы он вышел на перрон, он продолжал еще (особенно в первые минуты встречи) жить той суетой сборов, наказов, наставлений и просьб, большую половину которых, даже если бы он на месяц остался в Москве, было невозможно выполнить.

— Ну, здравствуйте,— проговорил он, опустив к ногам чемодан, мешок и корзину и выбирая, с кем обняться прежде — с невесткой ли и внуками, которых та, обхватив, не отпускала от себя, с Романом ли, строго, без радости смотрившим на отца, или с Сергеем Ивановичем, который, несмотря на ранний час и на то, что не обязательно было ему приезжать на вокзал (Роман позвонил, что сам встретит), все же приехал и стоял теперь позади племянника и весело и приветливо улыбался.—Ну-ка, ну-ка,— присев на корточки перед внуками, позвал их. Он дал мальчикам по конфетке, которые достал из кармана, и, подняв затем ребят на руки, опять посмотрел на сына, невестку и Сергея Ивановича.

Первой подошла к нему Ася и с грустными и влажными от подступавших слез глазами поцеловала свекра. Потом подошел Роман и тоже молча поцеловал отца. Руки Павла были заняты, и он, как и невестке, успел только подставить щеку сыну.

— Такой же, а? Рад, рад,— разведя протез и руку и готовясь обнять Павла, проговорил Сергей Иванович, как только настала его очередь подойти к шурину.

Павел уже опустил внуков, и руки его были свободны. Он тоже шагнул навстречу к Сергею Ивановичу, и они по взаимной, видимо, искренности обнялись и остановились, держа за плечи друг друга.

— Нет,— возразил Павел, не умевший сказать неправды.— Сдал, сдал, не тот уже,— что, впрочем,— понятно было без слов, по одному лишь виду его, в то время как Сергей Иванович, стоявший перед ним, казалось, не только не постарел за эти годы, пока они не виделись, но, напротив, выглядел как будто здоровее, моложе, крепче; выглядел тем, для своих лет, полным сил мужчиной, на которых приятно бывает смотреть со стороны и о которых всегда думают, что это у них от их спокойной, с достатком и без суеты жизни.— Ну а как ты? Как здоровье? — машинально уже продолжил он.

— Ничего, пока, как говорится, слава богу,— все еще не отпуская плеч шурина, весело подтвердил Сергей Иванович.

Они как бы поменялись ролями с того памятного (тоже майского и тоже после дождя) утра, когда Павел встречал Сергея Ивановича в Каменке. Тогда Сергей Иванович выглядел уставшим и нуждался в сочувствии, что было сейчас же заметно по всему его виду, главное, по одежде — мятому плащу из болоньи, в котором он был; теперь же так выглядел Павел, похудевший, ссутуленный, словно придавленный чем-то; и мешковатый, на два размера больше костюм его, прилично смотрившийся в деревне, только усиливал это впечатление усталости и растерянности перед жизнью. «Вот видишь, и по мне прокатилось», — как что-то извинительное было на лице Павла. Он не то чтобы не хотел, но не считал нужным скрывать те трудности, какие переживал теперь и какие были — не от лени или нерадивости, чего надо было бы стесняться, а от обстоятельств, в которых может оказаться любая семья. Неловко же было ему только за то, что выбор пал на его семью, и эта-то неловкость стесняла и сковывала его. Он был будто виноват в чем-то перед Сергеем Ивановичем, будто проиграл ему в давнем и важном споре и приехал объявить об этом, тогда как Сергей Иванович с веселой улыбкой на губах, открытым и ясным взглядом и всем полным, холеным, выглядевшим молодожаво лицом, напротив, казался победителем в этом споре и готов был со снисходительностью простить вину шурина. «Ну так кто был прав?» — было в его глазах, в то время как он смотрел на Павла. Ему как будто доставляло удовольствие сознавать, что в соперничестве, кто лучше устроит жизнь — деревенскую Павел или городскую Сергей Иванович, в котором еще недавно чаша весов склонялась как будто на сторону шурина, верх оказался все же за самим Сергеем Ивановичем; к общему хорошему настроению его прибавлялось еще и это чувство торжества над соперником, и Сергей Иванович только не знал, как было ему выразить это свое чувство.

— Рад, рад,— снова проговорил он, не отпуская плеч Павла и принимаясь вторично обнимать его.

— Я думаю, нам надо поторопиться,— сказал Роман, желая прервать ненужный, на который он морщился, разговор между стариками.— Здесь всегда такие очереди на такси.— И он двинулся к чемодану, мешку и корзине, примериваясь, что приличнее взять и понести ему.

Павел, заметив это, сказал сыну:

— Возьми чемодан, а это я сам.— И с усилием, которого не хотелось выказывать ему, поднял на плечо мешок и корзину, связанные веревкой, и валко, как по пахоте, пошел за сыном.

Сергей Иванович хотел было помочь шурина, но тот отказался; нести мешок и корзину так, как нес он, было удобнее, да и нельзя было отстать от Романа, быстро, без оглядки шедшего в середине

толпы. В конце перрона толпа раздваивалась, одни спускались в метро, другие направлялись в обход здания, к площади, где была стоянка такси. Павел на минуту замешкался и, потеряв сына из виду, обернулся на Сергея Ивановича. «Куда?» — не столько даже глазами, сколько растерянным выражением лица спросил он. Сергей Иванович молчаливо, кивком указал направление. Он тоже был занят — нес на руках одного из сыновей Аси, и был доволен, что и для него нашлось дело.

Возле стоянки такси была уже длинная очередь. Она подвигалась быстро, и Роман по ходу очереди передвигал вещи. Сергей Иванович разговаривал с Павлом, и возле них терпеливо, обхватив, как и на перроне, перед собой детей, стояла Ася. Она была в простеньком выцветшем весеннем пальто и в косынке; была одета с той, по ее средствам, скромностью, на которую Сергей Иванович, привыкший к нарядам Наташи, особенно тем, что были привезены ею из-за границы (выйдя за Станислава, она около года жила с ним в Индии, где он заканчивал свои геологические исследования), и привыкший по этим Наташиным нарядам и достатку измерять благополучие общества, — Сергей Иванович поминутно оглядывался на нее. Он не знал о ее взаимоотношениях с мужем и что шурин приехал мирить их, но видел, что будто что-то тяготило ее, что-то напоминавшее положение Наташи, когда та была за Арсением. Он чувствовал настроение Аси и видел, что был как бы не к месту со своим счастливым состоянием души, и непривычно для себя суетился, то кидаясь помочь Роману передвигать вещи, то прервав на полуслове себя или не дослушав Павла, поворачивался к мальчикам и заигрывающе подмигивал им.

XIII

Окончательно убедившись, что он лишний (в кругу забот, в которых пребывали Павел, Роман и Ася), Сергей Иванович, сославшись на занятость, поехал с вокзала домой. О шурине у него осталось впечатление, что тот был точно в том же затруднении, в каком в свое время был сам Сергей Иванович и в каком не то чтобы сложно, но невозможно было помочь (как невозможно было, он хорошо помнил, ничего поделаться с Наташей, пока все не уладилось с нею самой). Но в то время как Сергей Иванович думал об этом и ему жалко было шурина и хотелось что-то доброе сделать для него — поддержать советом или расположением, как по отношению к нему поступил шурин в Мокше, — другое чувство, что «ага, и тебя прихватило», то есть то сознание торжества в соперничестве, о котором Павел не догадывался, это сознание торжества, неожиданно и нехорошо, неприятно возникшее на вокзале, продолжало занимать его. «А ведь я завидовал ему, как завидовал!» — думал он, вспоминая лето, когда гостил у Павла. Хотя с тех пор прошло шесть лет и было пережито немало событий, но впечатления о деревенской жизни Павла с его большой и дружной семьей, которой нельзя было не восхищаться, были так живы в памяти, что он не мог поверить, чтобы из того основательного и слаженного, что он видел у Павла в деревне, не осталось теперь ничего. «В чем же тогда смысл жизни и по какому такому естественному закону развития человечества все это происходит?» — продолжал он уже дома рассуждать о шурине. Он сел было за свою очередную статью о патриотизме и массовости, которые охотно, как ветерану, заказывали ему, но мысли перебивались, работа не шла, и он опять и опять, морщась, возвращался к проблемам шурина, о которых тот успел рассказать ему, словно не шурина, а самому Сергею Ивановичу предстояло решать их.

«Однако чего тут думать? — рассудительно вдруг остановившись он себя. — Надо переждать, и все. (Словно пример собственной жизни был приложим ко всем.) Ведь еще древние говорили, что все вове-

мя приходит к тому, кто умеет ждать». О себе же он думал, что был терпелив, умел ждать и что потому жизнь не только восстановилась для него после утрат, когда, казалось, осколки хрустальной вазы уже невозможно было собрать, но будто вышел на новый круг жизни и переживал вторую, по душевному подъему, зрелость.

Он жил все в той же квартире неподалеку от площади Восстания, но только вместо покойных матери и Юлии, когда-то хозяйничавших в доме, и вместо Наташи, создававшей атмосферу молодости, суеты и веселья вокруг себя (особенно когда была еще студенткой), квартира заполнена была Никитичной, которая, впрочем, одна умела заменить говорливую Наташу своей привычкой порассуждать много и обо всем. Никитична создавала впечатление все той же деловой суеты (в то время как истинная деятельность, приносящая доход ей, всячески скрывалась от Сергея Ивановича), за которую нельзя было как будто не быть благодарным ей. Свой дом в Дьякове она сдавала внаем, что тоже служило для нее источником дохода. Она жила теперь, как говорила о себе, в таком удобстве, в каком никогда не жила прежде, и, не верившая в бога, а верившая только в себя и добро, на которое откликаются люди (она понимала добро как умение хорошо и вовремя услужить), по вечерам иногда, закрывшись в своей комнате, доставала образок и молилась на него, молилась искренне, самозабвенно о том, чтобы никто не отнял у нее ее счастье. С Сергеем Ивановичем у нее постепенно установились отношения, какие бывают у матери с переростком сыном, не умеющим обслужить себя. «Он же дитя,— говорила она, организуя вокруг Сергея Ивановича это выгодное ей мнение.— Фронт прошел,— добавляла она,— а в житейском, на каждый день, ну ровно как из пеленок». Ей важно было представить все так, будто она осталась в доме Сергея Ивановича не потому, что это хорошо и удобно было ей, а лишь из чувства жалости и доброты к уважаемому, как отзывался о нем Кирилл, человеку, которого грех было оставить одного. «Да и дочь — взяла и укатила в заграницу». Что тоже было своего рода оправданием для Никитичны, и Сергей Иванович в той растерянности, в какой был тогда, не только не возражал, чтобы родственница Кирилла жила в его доме, но даже просил ее об этом, говоря, что не может без нее. Он привыкал к тому, что не надо было заботиться по дому; что бы он ни делал, куда бы ни уходил и во сколько бы ни возвращался, он знал, что всегда будет накормлен, что в шифоньере всегда найдутся для него чистая рубашка, галстук, носки, белье, что все будет наглажено, вымыто, убрано и что никто не упрекнет его за то, что он сядет за письменный стол (как не раз, бывало, упрекали мать или Юлия, когда были еще живы), напротив, отнесутся с пониманием и на цыпочках будут проходить мимо него. Он не сразу принял новое замужество Наташи, особенно когда она с мужем уехала в Индию; единственным спасением от одиночества и тоскливых дум оказались для него тогда мемуары, и переживавшая им теперь вторая (по душевному подъему) зрелость была связана не столько с Никитичной, создававшей уют, сколько с мемуарами, принесшими успех, и с возвращением из-за границы (как раз к выходу мемуаров и успеху) Наташи и Станислава, с которыми Сергей Иванович уже на другой как будто основе, чем прежде, начал сближаться и через которых вошел в тот слой так называемой интеллектуальной московской жизни, где все показалось вновь и значительным и важным ему.

У Наташи по вечерам часто теперь собирались гости — друзья Станислава и Александра, прежде собиравшиеся в просторной квартире Стопцетовых.

Сергей Иванович неожиданно для него, потому что нельзя же было подать отца Наташи в невыгодном свете, был представлен этой интеллектуальной публике как писатель, и была показана при этом вышедшая в серии мемуарной литературы его книга фронтовых воспоминаний и, разумеется, перечислены рецензии на нее, и звание пи-

сателя затем так прочно закрепилось за ним, что не только все, но и сам Сергей Иванович начал верить, что он — писатель, и старался соответственно, то есть копируя этих же интеллектуалов, держаться в разговорах и общении с ними; и тем легче ему было делать это, чем больше заказывали статей, которые он, приловчившись, сочинял по шаблону, выработанному им; искренне принимая деятельность свою за необходимую людям, он на самом деле (по меткому выражению одного из представителей этого же слоя) перепахивал песок, на котором никогда и ничего не росло и не может вырасти. Увлекавшая его теперь деятельность, во-первых, приносила доход, признание и, во-вторых, делала его человеком постоянно занятым и потому удовлетворенным собой. Ему казалось, что он нашел то, что, выйдя в отставку, долго и мучительно искал, не видя, к чему применить силы, и суетясь (как он сам однажды сказал об этом шурина). Он не замечал, что своей деятельностью напоминал Кирилла Старцева, которого еще недавно осуждал, находя, что тот занимался лишь переливанием из пустого в порожнее («А ведь и у него было конкретное дело — школа!»), и чувствовал себя более при настоящем деле, чем Кирилл.

Однажды усвоив, от дочери и зятя, что в одежде всегда должна присутствовать изюминка, на которую бы обращали внимание, он стал придерживаться этого правила, и всякий раз, собираясь в гости к Наташе, тщательно подбирал галстук и рубашку к тону костюма. Но вскоре начал замечать, что главной изюминкой у него был протез, на который он надевал белую перчатку. Все считали, что ему на войне оторвало руку, и он выглядел не просто пострадавшим (за народ!), но почти героем.

XIV

Жизненные вопросы, все это время занимавшие Сергея Ивановича, были точно те же, какие занимали Наташу и ее мужа.

Станислав после публикации своей научной работы (в соавторстве, не принесшем, однако, желаемой известности ему) и после того, как зарубежные дела его были завершены, получил должность в одном из научно-исследовательских институтов и обосновался в Москве. Но должность эта не могла удовлетворить его. Еще в студенческие годы поставив целью главенствовать во всем, он не в силах был примириться с ролью ученого, выполняющего чужую волю; ему не к лицу было быть клерком или статистом, как он иронически стал называть себя, и так как в научном мире, он видел, было почти невозможно выдвинуться, и не потому, как он полагал, что у него не было способностей, но просто все места были прочно заняты до него, он начал искать иную возможность утвердить себя. «Может быть, попробовать в литературе», — подумал он, к чему давно испытывал склонность. Не оставляя основной работы в институте, он написал несколько критических статей, которые были опубликованы. Потом опубликовал еще. Его заметили, о нем заговорили. Начитанность, особенно в области истории и философии, позволяла ему легко, с преимуществом перед менее начитанными переходить от одного, в литературных вопросах, предмета разговора к другому, что для геолога, в общем-то, было неожиданным. В тонком заграничном белье, какое он только и мог носить, как он говорил об этом Наташе, в заграничных, которые теперь все более и более приберегал, костюмах, рубашках и галстуках, в каких появлялся перед гостями, и со словечками и фразами из английского или французского, какими щегольски пересыпал свою речь, находя иностранным выражениям всегда то, в общем разговоре, место, где они более всего могли прозвучать, он уже одним этим внешним как бы являл собой пример изящества и вкуса. «Такой человек не может не обладать способностью ценить и понимать прекрасное», — думали о нем. «Да, кое-что успел повидать, знаю, так что не советую

спорить со мной», — было постоянно словно оттиснуто на его холодном лице. Он выработывал в себе не вкус к прекрасному, а вкус к той психологической игре воздействия (на людей, считавшихся его друзьями и выполнявших роль подручных при нем), которую, он чувствовал, был способен вести. Он, как азартный картежник, молча мечущий банк, чем яснее видел свой выигрыш, то есть чем большее удавалось ему произвести впечатление на коллег, тем сильнее испытывал желание продолжить игру и закрепить за собой право на первенство. «Кто этот критик, откуда, из геологов? Все мы откуда-то приходим в литературу», — говорили о нем, этими «откуда-то» и «приходим» окончательно рассеивая сомнения, нет-нет да возникавшие вокруг его имени.

Одни друзья его, находившие, что он стал изменяться к худшему после того, как обосновался в Москве, отдалялись от него и забывали о нем; другие, прежде лишь отдаленно знавшие его, но теперь постоянно соприкасавшиеся с ним и один к одному по образу мыслей похожие на него (эти люди всегда по образу мыслей на кого-то похожи; большей частью на преуспевающих), напротив, находили эти же перемены в Станиславе естественными и к лучшему и примыкали, вернее, липли к нему. К первым, кто осуждал, относились друзья-геологи, среди которых были Георгий и Лия Дружниковы, окончательно (и скорее из-за Наташи) разорвавшие с ним; ко вторым, кто восхищался, относились прежние знакомые Александра, среди которых были и совсем молодые, начинающие литераторы, наподобие Матвея Кошелева, получившего диплом журналиста. Но для Наташи, видевшей (по своей почти болезненной влюбленности в мужа) только одно хорошее в нем и поддерживавшей его во всех его начинаниях, — для нее не существовало даже самого этого понятия «измениться», она изменялась точно так же во взглядах, как изменялся ее Станислав, и потому не только не замечала этих перемен, но ей странным показалось бы, если бы ей сказали, что она живет сейчас не так, как она жила прежде; нет, она всегда жила так, и она рождена была для этой жизни, которая так счастливо (и во всем) окружала ее.

Людей, сближавшихся около Станислава и Наташи, привлекала идея так называемого возрождения русского национального духа. Разобравшись в направлениях западничества и почвенничества, он не стал примыкать ни к кружку доцента Карнаухова, переместившемуся почти целиком теперь в гостиную Ольги Дорогомиловой (и где, несмотря на русский как будто дух, можно было встретить зарубежных дипломатов и журналистов), ни к кружку брата, в котором главенствовал Князев и где было больше политики, чем литературы, ни к тем иным во множестве возникавшим тогда по Москве кружкам и группам, которые, впрочем, с той же стремительностью исчезали и растворялись, как и появлялись на свет; ему хотелось, чтобы примыкали к нему, и он постепенно выработал свой, в общем течении почвенничества, взгляд на историю развития литературы. Поскольку, как рассудил он, большинство прежних русских писателей было из дворян, то и литературу, созданную ими, надо считать дворянской и образы маниловых, чичиковых и обломовых ничего общего не имеют с русским народом. «С какой стати мы должны признавать обломовщину как черту нашего национального характера? — говорил Станислав. — И Штольц, и Обломов — оба помещики, а помещик — это человек, помещенный на землю, пришлый, не от корня». Он не отрицал классику; но он проводил резкую разграничительную черту между литературой дворянской и литературой сегодняшней, творившейся людьми из народа, и по его теории выходило, что истинная литература о русском мужике начала появляться только теперь и что от нее-то именно и надо вести отсчет настоящим ценностям. И хотя с этой своей теорией он держался как будто особняком, но он настолько был приемлем и Карнаухову и Князеву, их групповым целям, что они постоянно теперь цитировали его.

Блестящим обществом блестящих молодых людей называли иногда собиравшихся у старшего Стоцветова, где тон задавался не хозяйкой дома, как у Дорогомилиных, Дружниковых или Мещеряковых, а хозяином, то есть главой дома (и направления, как добавлялось при этом), и как ни казался чужеродным, особенно в первое время, Сергей Иванович среди этой блестящей молодежи, как ни был неравнозначен опыт их жизни с опытом жизни его, к нему сложилось то уважительное отношение, по которому отставной полковник признавался не то чтобы ведущим, но каким-то будто негласным и почетным старшиной. С протезом в белой перчатке вместо руки он был постоянно в центре внимания. Происходило же это, может быть, не столько потому, что Сергей Иванович приходился тестем знаменитому теперь Станиславу, сколько потому, что никому не мешал, ни с кем не соперничал и высказывал те же взгляды на литературу и жизнь, что и все, и в то же время был как бы связующим звеном между прошлым и настоящим, был из прошлого, того лучшего прошлого, как говорили о нем, без которого (несмотря на весь теперешний нигилизм некоторой части молодежи) жизнь не была бы для них полной. Он воспринимался как щит, за которым надежно было укрыться, и ему позволялось многое из того, что не позволялось другим. Публикации его неизменно объявлялись значительными, хотя каждому было очевидно, что ничего значительного в них не было; но — чего не простишь человеку, если он свой и если с той же похвалой отзывается о твоих публикациях! «За плечами жизнь, и какая, а не зачерствел, — как бы между прочим замечал Станислав, зная, что затем все будут повторять это. — Старость физическая и старость души — вещи разные, и если хотите, он иногда даже моложе нас в восприятии современной жизни». И это особенно приятно было слышать Наташе. В минуты, когда она осталась наедине с отцом, она говорила ему:

— Какой ты у меня молодец. Я восхищаюсь тобой. — И притрагивалась накрашенными губами к его щеке, но так, чтобы не оставить следа.

О матери она почти не вспоминала, как не вспоминал о ней и Сергей Иванович, весь захваченный этой новой для него жизнью и спешивший, спешивший как можно больше взять от нее. Он не думал о прошлом, как не думал о памятнике Победы, которого все еще не было в Москве и о необходимости которого он в свое время написал в Верховный Совет. Когда он недавно хотел показать Станиславу ответ Георгадзе, полученный тогда, он, к удивлению своему, не смог найти этот ответ среди вырезок и рукописных страниц, наполнявших теперь ящички его письменного стола.

XV

Смяв и выбросив еще несколько страниц с неудачным началом, Сергей Иванович наконец, отложив все, поднялся из-за стола.

У Никитичны, на кухне, были гости — подруги из Дьякова, приехавшие навестить ее. Сергей Иванович удивленно поднял брови на странное в его квартире веселье, которого не должно было как будто бы быть; но вспомнив, что к Никитичне и прежде приходили подруги, не стал прислушиваться; его занимал шурин, и мысли опять закрутились вокруг него. В привычную умиротворенность Сергея Ивановича словно бы, как заноза, вклинилось (вместе с приездом Павла) то прошлое, в котором не все еще было зачеркнуто, и это-то незачеркнутое время, когда у него были совсем иные, чем сейчас, взгляды на жизнь и назначение человека в ней, как раз и заставляло теперь оглянуться вокруг. На него словно бы навалилась вся знакомая ему простая и понятная жизнь деревенских людей, соединившаяся в сознании с общей жизнью народа; и хотя он как будто никогда не отделял себя от этой простой жизни и все, что делал, было для народа, но та необя-

зательность его сегодняшней жизни, которую он старался не замечать, теперь, с появлением Павла, стала открываться ему. «Но в чем же мне упрекать себя? — вместе с тем говорил себе Сергей Иванович, останавливаясь и протягивая перед собой руку. — Каждый живет, как может, на что способен. И по труду!» Он чувствовал, что рассуждения о народе, как лучше ему жить, которые почти ежедневно велись между завсегдатаями зятя и дочери и в которых Сергей Иванович с горячностью и на равных принимал участие, были не только неприложимы к жизни и заботам Павла, но были будто насмешкой, которую неприятно и стыдно было сознавать теперь Сергею Ивановичу. «Историческая роль, характер, нравственность, — перечислял он, что в рассуждениях тех выставлялось как главное, от чего зависело благополучие. — А ему надо примирить невестку с сыном, подлечить ноги и бог знает чего понакупить в Москве, чтобы было с чем вернуться в деревню. Ему надо и дом содержать, и колхоз, и себя, а мы ему — историческая роль, характер, нравственность», — продолжал Сергей Иванович, то останавливаясь возле стола и стуча пальцами по нему, то опять начиная прохаживаться вдоль дивана и кресел. Он не столько даже думал о шурине, сколько мучился тем, что не знал, куда деться с этими своими мыслями о нем. Пойти в редакцию было не с чем; к зятю и дочери — неловко тем, что было еще рано и нечего было делать у них; к Кириллу Старцеву, у которого всегда находил понимание, тоже, чувствовал, было неудобно. «Что я ему скажу? Что приехал шурин и что я не знаю, как помочь ему?» — думал он. И впервые увидел, что несмотря на обилие знакомых, несмотря на то, что он будто бы более, чем когда-либо, был теперь окружен друзьями, но пойти было не к кому и не с кем было откровенно, по душам поговорить.

«Народ, народ... но вот он, народ, — говорил себе Сергей Иванович, — и что мы можем дать ему?»

Он не слышал, как разошлись гости Никитичны, пившие на кухне чай, и как ушла Никитична, заглянувшая было к нему, но не посмевшая побеспокоить его. У нее были свои заботы, которые не на кого было переложить, и Сергея Ивановича из раздумий вывел звонок Кирилла Старцева.

Кирилл в этот день давал приятельский обед нужному человеку, издателю, как уточнил он, и хотел, чтобы для компании был на обеде и Сергей Иванович.

— Если не занят, приезжай, — попросил он и назвал час и клуб (на улице Горького), где давал этот приятельский обед.

— Хорошо, буду, — согласился Сергей Иванович и подумал, что как раз и поговорит с ним насчет устройства врачебной консультации для приехавшего из деревни шурин.

Приятельские обеды, дававшиеся для обсуждения дел, были так естественны среди определенного круга, к которому принадлежали теперь Сергей Иванович и Кирилл Старцев, что более неприличным было бы уклониться и не дать такой обед нужному человеку, чем дать его, и потому ничто в действиях Кирилла не смутило и не насторожило Сергея Ивановича. Кирилл, как и Коростелев, тоже решил издать книгу фронтových воспоминаний, и хотя ни одной страницы пока еще не было написано им, и неизвестно было, сумеет ли он вообще написать что-либо, но ему уже теперь хотелось заручиться необходимой дружеской поддержкой, которая позволила бы ему с уверенностью сесть за работу. Не скупясь, он заказал все, что только можно было заказать на подобный обед, и к приходу Сергея Ивановича и издателя, назвавшегося Петром Ильичом, стол был сервирован, официант предупрежден, что получит за услуги, если постарается, и сам Кирилл был уже в фойе и ждал гостей. Как только все собрались, предупрежденный официант с белой салфеткой через руку и с профессиональной, на испитом лице, улыбкой, говорившей, что чаевыми не удивить его и что он вообще работает не за чаевые, провел всех

в глубину зала. Из обернутого салфеткой горлышка бутылки был налит в рюмки коньяк; было сказано обычное: «Ну, будем», и обед начался. Он проходил как будто бы весело и быстро, но ни чрезмерная оживленность Кирилла, естественная в его положении, ни издатель, оказавшийся знакомым Сергею Ивановичу (встречались где-то в издательских коридорах), ни обилие и разнообразие кушаний, подававшихся каждый раз по знаку Кирилла, прищелкивавшего пальцами поднятой руки, ни разговор о проблемах войны и мира, затеянный Кириллом и выгодно оттенявший его как знатока вопроса, не произвели впечатления на Сергея Ивановича. С первых же почти минут, как только он поднялся в зал, наполненный людьми, и увидел роспись на стенах под старину, чеканку, подсвеченную красным, скрытым за щитками светом, увидел люстры, от которых, как от свечей, растекался слабый миньонный свет, располагавший к откровенности, ему пришла неожиданная и захватившая его мысль привести сюда шурина. «Надо же показать ему Москву», — подумал он (в противоположность тому, что он мог показать ему дома); и мысль эта так увлекла его, что когда Кирилл или издатель обращались к нему, он только учтиво, как он умел теперь, улыбался им.

В середине обеда, когда Кирилл и издатель довольно уже захмелели и разговор их все больше и больше смецался к цели, из-за чего, собственно, и давался обед, в зале, куда смотрел Сергей Иванович, произошло событие, которое сейчас же привлекло его внимание. К молодой чете, появившейся у входа с пятилетней девочкой, которую мать вела за руку, сразу от нескольких столиков поднялись люди, приветствуя и приглашая к себе. Произошло движение среди большинства сидевших, по которому было очевидно, что вошедшие были известны здесь.

«Такое почтение», — подумал Сергей Иванович, скользнув взглядом прежде всего на девочку в белом платье с бантом, державшуюся за мать.

Вошедшие были — Анна и Митя Гавриловы с дочерью Наташей, но Сергей Иванович не сразу узнал их. Вначале он лишь почувствовал, что что-то будто знакомое было в их лицах, но общее оживление вокруг было так велико, что само по себе уже вызывало интерес. «Видимо, какое-то у них событие и они пришли отметить его», — решил Сергей Иванович, предположив по общему виду, что они либо артисты, либо музыканты, либо художники. — Ну конечно же, художники», — окончательно решил он, поняв по тем отдельным словам, которые долетали до него, кто были эти люди.

В выставочном зале на улице Горького была в этот день открыта выставка картин молодых художников. И хотя неизвестно было еще, как будет оценена выставка посетителями и прессой, но по интересу, какой сразу же после открытия был проявлен к полотну Гаврилова, было очевидно, кого ожидал успех. Выставочный зал располагался неподалеку от клуба, и было естественно, что они с выставки пришли сюда отметить событие и поздравляли и жали теперь руку Гаврилову.

— Гаврилов, Дмитрий, Митя! — кричали ему, и Сергей Иванович, которому фамилия эта была более чем известна (не было статьи, в которой он не упомянул бы о подвиге старшины Гаврилова, отца Мити), с удивлением поворачивал голову то на тех, кто окликал Митю, то на самого Митю, которого помнил по пензенской встрече.

XVI

Не думая о том, что может выйти из этого, и как бы мимоходом бросив Кириллу и издателю: «Я сейчас, минуточку», Сергей Иванович встал и направился к Мите.

В то время как он подходил к Мите, он увидел суетившихся возле него знакомых (по дорогомиллинской гостиной) людей, которые заста-

вили его остановиться. Первой он узнал среди них Ольгу с ее распущенными по спине и плечам волосами и заостренным, в рамке этих волос, личиком, с зауженной книзу юбкой, обтянувшей будто до оголенности ей бедра, и то неприятное и забытое, как он был принят ею и ее мужем, бывшим лейтенантом-фронтовиком Семеном Дорогомилиным, в Пензе, сейчас же всплыло в сознании Сергея Ивановича.

«Как! — мысленно воскликнул он. — Они опять с ним?»

Не зная Митиных отношений с **этими** людьми и его теперешнего положения в обществе, а видя в нем **только** сына геройски погибшего старшины, видя, что его надо сейчас же, сию минуту защитить от дурных влияний, от которых он чувствовал себя как будто обязанным защитить его, Сергей Иванович вместе с тем продолжал лишь молча стоять и смотреть на Ольгу, Анну и Геннадия Тимонина. Тимонин был все тем же без возраста человеком с длинными волосами и низко подбритыми висками, создававшими впечатление бакенбард, и с теми же в манжетах его белой рубашки серебряными запонками с камнями, которые живо напомнили Сергею Ивановичу скошенный луг, стог сена, Степана Шеина на вершине стога и Павла внизу, разговаривавшего с корреспондентом. То, что происходило на лугу, то есть крестьянская жизнь Степана и Павла, как все теперь воспринималось Сергеем Ивановичем, было не нужно Тимонину; он приехал на покос только из необходимости хоть как-то пристегнуть себя к общей народной жизни, чтобы иметь возможность жить, как он хотел, и это-то ложное, вполне понятное Сергеем Ивановичем еще там, на лугу, в Мокше, было еще очевиднее теперь. «Он и здесь хочет к чему-то пристегнуть себя, иначе — зачем он здесь?» — промелькнуло в голове Сергея Ивановича. Он и на Анну посмотрел уже не как на жену Мити, а как на женщину, в чем-то порочном, как запомнилось тогда, связанную с Митей, да и на самого Митю — не как на сына погибшего старшины, а как на человека, не способного ни на что самостоятельное и не нашедшего ничего лучше, чем появиться здесь, в Москве, все в той же своей компании. Рисунки с изображением мертвых лиц, могил, гробов и кладбищенских пустырей, библейское «не убий» и еще что-то, связанное с этим «не убий», бессмысленное и отдаленное от жизни (и, несомненно, навязанное этими крутившимися возле него людьми, как думал Сергей Иванович), — все это было теперь объединено, и он почувствовал, что ему не для чего и не с чем подходить к Мите. «А ведь я наставлял его тогда, — подумал Сергей Иванович, выделив из общего потока воспоминаний тот свой разговор с Митей, после которого разочарованно говорил себе: «Старый дурак, битый час распинался — перед кем?» — Да, да, я наставлял его», — повторил он, краснея гладким, упитанным лицом и шеей (от сознания своей ошибки, что прежде должен был подумать, чем по глупому восторгу вставить и идти к Мите).

Вокруг Мити суетились два официанта, сдвигали столы, стряхивали скатерти и заново расставляли приборы, Анна с Ольгой занялись маленькой Наташей, капризно просившей что-то, и в этой сутолоке, шуме и занятости Сергей Иванович увидел, что можно было незаметно уйти, чтобы еще понаблюдать за Митей (все-таки это был сын геройски погибшего старшины, и по фронтовой памяти, Сергей Иванович чувствовал, нельзя было в о т т а к оставить его).

— Ну, поговорил? — спросил Кирилл, отрываясь от своего разговора и весело и пьяно (не столько от коньяка, сколько от успешного как будто для него решения дела) глядя на Сергея Ивановича.

— С кем?

— Не знаю с кем, к кому ходил.

— А-а... Нет.

— Что так?

— Это молодые художники,— сказал издатель, вступая в разговор и тоже весело и пьяно поглядывая то на Кирилла, то на Сергея Ивановича, который хотя и не нравился издателю, но с которым, он понимал, нельзя было не считаться.— У них выставка тут,— как человек осведомленный, добавил издатель.— Не знаю, как насчет сенсаций,— почувствовав заинтересованность Кирилла и особенно Сергея Ивановича, с охотой продолжил он,— но, как мне говорили, кое-что любопытное будет на ней. С одной стороны, «Косарь».— И он усмехнулся той нехорошей усмешкой, по которой сейчас же было видно, как он относился к подобной теме в живописи и литературе, в искусстве вообще (и что заметил и на что поморщился Сергей Иванович, придерживавшийся иных убеждений).— А с другой, полотна в новейшей западной манере. В самой новейшей.— И слова эти он опять сопроводил той же, говорившей о его неприятии, усмешкой. Но что он признавал в искусстве, было неясно.

Разговор был прерван поданным кофе, и после кофе Сергей Иванович, Кирилл и издатель сейчас же поднялись и пошли к выходу.

— Вы знаете, что самое любопытное,— со знакомой уже усмешкой сказал издатель, когда проходили мимо сдвинутых столов, за которыми шумно, с тостами, обедала компания Мити.— Эти молодые люди полагают, что они схватили бога за бороду. Пройдет время, борода в руках, а божьего лика — тью-тью — след простыл.

— В смысле признания? — Кириллу приятно и вновь было сознавать себя причастным к литературе.

— Разумеется.

— Как с ветряными мельницами. Писали многие, а остался Сервантес.

— Вот именно! — подтвердил издатель.

Но Сергей Иванович давно уже прислушивался к разговору, доносившемуся от Митиной компании, в котором то и дело (и в положительном плане) упоминалась картина «Косарь». Картина, как он понял, принадлежала Мите Гаврилову, и это только усиливало у Сергея Ивановича интерес к ней. Как ни был он неприязненно настроен к тем, кто окружал Митю, да и к самому Мите — уже по инерции, как бывает в таких случаях, он несколько раз останавливался и смотрел на Митю.

— Может, на выставку заглянем,— предложил он, когда вышли из клуба.

— Дела,— тут же возразил издатель.

— И у меня,— поддержал его Кирилл.

— Ну, а я все-таки попробую приобщиться,— сказал Сергей Иванович.

По состоянию души и по ходу мыслей, которые одолевали его, он еще более теперь, чем во время обеда, чувствовал себя отдаленным от издателя и Кирилла и, сдержанно простившись с ними, зашагал по направлению к выставке, куда указал издатель.

XVII

Несмотря на то, что время было рабочее, и несмотря на привычное уже как будто, как утверждалось многими, равнодушие москвичей ко всякого рода большим и малым выставкам, которые каждую неделю открываются по Москве, у входа было столько народу, что лишь спустя почти три четверти часа Сергей Иванович смог попасть в зал.

Он никогда прежде не бывал в этом зале и, войдя в него, осмотрелся. Зал был небольшой, стены его и перегородки были так густо, в несколько рядов, увешаны картинами, подсвеченными сверху и снизу искусственным дневным светом, что нельзя было не почувствовать красоты и наполненности зала. От стенда к стенду переходили люди, переговариваясь, и выставка, казалось, гудела тихим несмол-

каемым гулом, к которому надо было еще привыкнуть, чтобы не замечать его. Но после клубной атмосферы, запахов еды, вин и табачного дыма Сергей Иванович почувствовал себя здесь словно на поляне после загазованной улицы. Прямо перед ним открывались полотна с индустриальным пейзажем. Они были расположены таким образом, будто являлись гвоздем выставки, и нельзя было пройти, не взглянув на них; но возле них никто не задерживался.

Не вдаваясь в подробности, как не вдаются в них все обычные посетители выставок, почему им неинтересно у одних и интересно у других картин, Сергей Иванович, увлекаемый общим движением и чувствовавший, что движение это вернее всякого гида приведет к цели, вместе со всеми двинулся по залу.

Он отыскивал глазами картину «Косарь» и почувствовал, что у цели, по тесноте, в какой вдруг оказался. Картина была прикреплена к стене так низко, что нужно было непременно пробиться в первый ряд, который был постоянно занят. Одни, как замороженные, стояли перед полотном и не хотели уступать место; другие, устремлявшиеся сюда потому, что сюда устремлялись все, так проворно работали локтями, что Сергей Иванович, оказавшийся было у картины, тут же был оттиснут от нее. «Да что же в ней? — говорили одни, с разочарованием отходившие. — Небритый мужик с косой. Каждый волосок выписан, мастерство, а для чего и во имя чего?» «Выполнено, конечно, блестяще, но как нас изображают, какими, главное, какими!» — говорили другие. «Нет, что ни говори, величие души», — говорили третьи, и Сергей Иванович, так как он все еще не мог пробраться к картине, невольно поворачивался на говоривших и прислушивался к их мнению. Когда же наконец, применив обходной фланговый маневр, как он потом говорил об этом, оказался в первом ряду перед картиной, был настолько поражен тем, что увидел, что его уже невозможно было ни оттолкнуть, ни сдвинуть от нее.

Картина была проста. Верхнюю (и большую) половину ее составляло небо с белыми и редкими по нему облаками, ниже были изображены поле, березовый лес с подлеском, и на фоне этого поля, леса и неба крупным планом была выписана фигура косаря. Ног его не было видно; видны были только руки, державшие на плече косу, плечи и голова в старой фуражке, козырек которой слегка затенял усталое, загорелое, небритое лицо косаря. Было непонятно, шел ли косарь с покоса или на покос; но художника, как видно, занимало не это конкретное, что многие искали и хотели увидеть в картине. Он хотел и изобразил высокую и вечную красоту земли — человека. Косарь был горд тем, что был крестьянином и работал на земле, кормившей его и дававшей ему нравственные силы, и он как бы приглашал всех в соучастники своего труда; но вылинявшей и потертой рубашкой своей, потертым пиджаком и столь же старой и повидавшей виды фуражкой на седой голове, небритыми щеками и морщинистыми, прежде времени износившимися руками со вздутыми венами, выписанными с такой реалистичностью, что будто чувствуешь, как течет в этих венах почерневая кровь, он в то же время оставлял впечатление будто несправедливости жизни к нему. Он будто бы говорил всем: «Да, да, смотрите», — и все, казалось, не столько всматривались, сколько вслушивались в эти его слова; он заставлял задуматься не тем очевидным для всех драматизмом распятий, запечатленных многими художниками прошлого, а другим, глубинным, не для всех ясным смыслом.

Одни между тем, так и не поняв, что взволновало и растрогало их, отходили от картины, но остававшиеся с увлечением продолжали говорить и спорить о ней.

Те, кто возмущенно восклицал: «Какими нас изображают!» — были правы потому, что их оскорбляло, что косарь небрит, плохо

одет и отдает какой-то будто дремучестью, тогда как нынешний деревенский человек и одет по-другому, и образован, и ничего от той дремучести в нем и в помине нет; другие, кто обращал внимание на величие и красоту души, упуская внешние детали одежды («Разве в наглаженном костюме и галстукe работают в поле?» — было их возражением), были точно так же правы и находили подтверждение. Но правда тех и других, в сущности, была полуправдой, и лишь немногим, среди которых был и Сергей Иванович, удавалось постичь истинный смысл картины; и эти немногие молчали и, вглядываясь в Митино полотно, прислушивались более к своим, возникавшим в душе чувствам.

Сергей Иванович сейчас же подумал о Павле. Ходом утренних размышлений о шурине и встречей с Митей он был подготовлен к восприятию этой картины. Он обратил внимание не на величие души и не на одежду косаря, а сразу же — словно прикоснулся к самой сердцевине жизни, в которой соединены были, он знал, все острейшие и трудноразрешимые вопросы времени. Свои метания и спокойная основательность шурина, восхитившая Сергея Ивановича шесть лет назад в Мокше, нынешнее свое благополучие и неблагополучие Павла, которое Сергей Иванович (для облегчения, разумеется) старательно переносил в пространственную категорию общей жизни, — все это, казалось ему, было в Митиной картине, перед которой он стоял с широко раскрытыми глазами. «А мы ему: историческая роль, характер, нравственность», — вспомнил он, как думал утром о Павле. Все разговоры о народе в гостинной зятя были ничем в сравнении с этим, что он понимал сейчас. «И ему, наверное, надо подлечить ноги, — подумал он о косаре. — А на нем семья, дом, колхоз и еще — тысяча забот. Но как изображен, как изображен!»

Но Мити рядом не было, а была только картина, на которую чем дольше смотрел Сергей Иванович, тем она сильнее действовала на него; и тем сильнее росло желание вернуться к Мите и поговорить с ним.

XVIII

В то время как Сергей Иванович все больше и больше сознавал необходимость пойти к Мите, еще обедавшему в клубе, и не мог оторваться от картины, он заметил, что вокруг стало как будто свободнее, что люди словно бы расступались перед кем-то, кто подходил к картине. «Перед кем это?» — подумал Сергей Иванович, подчиняясь движению толпы, и оглянулся на подходивших; и хотя сразу же узнал дочь Наташу, узнал Станислава, его брата Александра с поэтом Князевым, которого не понимал и недолюбливал, узнал сестру Станислава с мужем и других, составлявших как бы свиту зятя и дочери, но инстинкт толпы продолжал действовать на Сергея Ивановича, и он пытался, теснился, словно и в самом деле надо было посторо-ниться перед каким-то очень важным лицом.

Войдя в освободившееся для него пространство перед картиной, Станислав остановился в той свободной как будто позе, по которой, однако, было очевидно, что он хотел сказать всем. «Думаете удивить меня этим? — было на его иронически спокойном, как он любил теперь держаться на людях, лице. — Посмотрим, посмотрим». Он был в светло-сером английском костюме, безукоризненно сидевшем на нем, светлой рубашке и тонком, изящно повязанном галстукe, на пальцах чуть приподнятой и застывшей в этой приподнятости руки светились два крупных, работы кхмерских мастеров, перстня — золотой и серебряный, — которые придавали ему еще большую как будто значимость.

— Автор, автор! — раздавалось по толпе, так как люди всегда хо-

тят видеть в авторе что-то необычное и сейчас же разочаровались бы, если бы им показали на обыкновенного человека.

Внимание всех было теперь более обращено на Станислава, чем на картину. От него как будто ждали чего-то, и он чувствовал это; но еще яснее он чувствовал, чего от него ждали друзья, пришедшие с ним. Смысл его появления здесь, он знал, заключался в том, чтобы, сообразуясь со своей «теорией» развития литературы, переносившейся им в последнее время на все искусство, то есть сообразуясь со своим отрицанием так называемых дворянских, в литературе и искусстве, тенденций, когда русскому народу приписывались совершенно несвойственные ему и, в сущности, привнесенные, чужеродные черты барства (как было, например, с обломовщиной), дать оценку Митиному полотну и, соответственно, конечно, всему этому направлению.

Но вместе с тем, что он знал, что должен дать свою, как ждали от него, оценку, и дорожил независимостью, как любил сказать о себе (и как, с его слов, говорили о нем другие, кому удобно или выгодно было говорить это), он чувствовал, что сделать этого было нельзя, ему невозможно было не быть в русле так называемого общественного мнения — почвенничества, — в рамках которого он только и мог быть свободным. Рамки же эти были узки, то есть настолько узки, что несмотря на изворотливость, с какою Станислав умел защитить свои позиции, он все же вынужден был повторяться и в статьях, и в выступлениях и был недоволен этим. Кроме того, он чувствовал, что в общем направлении почвенничества действовали какие-то силы, которыми и в этих рамках казалось просторно и которые (разными и утонченными методами) навязывали свою волю. Кто и что было этой силой, Станислав не знал; но он чувствовал ее действие, ее предупредительные (в отношении его) сигналы и все более и более начинал побаиваться ее.

Принцип, как он вывел из своих наблюдений, состоял из двух главных слагаемых. Во-первых, поддерживались только те писатели, которые вторили, то есть признавали над собой ведущих и не проявляя индивидуальность (что и требовалось ведущим), и, во-вторых, те, кто под видом реалистического письма изображал не то чтобы далеко не лучшие черты характера русского народа, но выискивал в нем такую дремучесть (будто у русской литературы никогда не было иной задачи, чем самоуничтожение и разоблачение перед миром!), что даже самые рьяные приверженцы и поклонники старины бывали оскорблены в своих чувствах. «Это уж слишком», — говорили они. «Именно, как же мы еще живем, если так нравственно ничтожны», — удивлялся с ними Станислав. И если первое положение было понятно — каждый знай чин и место! — то второе, когда чем дремучее, тем лучше, оставалось неясным; в изображении дремучести были какие-то свои приемлемые и неприемлемые условия; и эти условия, без учета которых, он понимал, нельзя было ему высказать свое мнение о Митиной картине, которого ждали от него, как раз и останавливали и смущали Станислава.

Мнение искусствоведа Куркина, которое было известно ему, было не в счет, потому что оно было мнением западника. Куркин, несмотря на принятую им манеру выражаться туманно и еще более туманно писать, что провозглашалось гениальностью теми, кому хотелось видеть в этом гениальность, в отношении Митиной картины высказался настолько определенно, что ни у кого не было сомнения, что он отрицал ее. Митя, не принятый им еще шесть лет назад и с насмешкою названный Христом из Терентьевки, остался для Куркина точно тем же не понимающим искусства (того, видимо, которое понимал сам Куркин) художником, который при всем старании и даже таланте, чего он не отрицал, умеет попадать (по пословице) паль-

цем в небо. Именно «пальцем в небо», было с каким-то будто даже наслаждением произнесено Куркиным теперь в отношении Митиного «Косаря», не соизволившим хоть как-то пояснить свою реплику (он, видимо, считал себя полководцем в искусстве и выдавал свои высказывания за аксиомы, не требующие доказательств). «Что ж, он мог позволить себе это,— подумал Станислав.— Отрицать всегда легче, чем утверждать, а главное, всегда найдутся сторонники, потому что всегда есть недовольные. А ты попробуй принять, да так, чтобы с тобой потом согласились все»,— продолжил он, в то время как на худом, молодежавом лице, как тень, вспыхнула и застыла усмешка, относившаяся будто к картине, на которую он смотрел. Картина нравилась ему, и он чувствовал, что по реалистичности письма и благородству, с каким художник изобразил деревенского человека, ее вполне можно было принять; но упрек, прочитывавшийся в ней (что, несомненно, выражало взгляды самого художника), настораживал Станислава.

«Побьют парня по рукам, побьют, а он талантлив»,— заключил он о незнакомом ему Мите Гаврилове.

Младший из Стоцветовых, Александр, все еще продолжавший работать над книгой о военнопленных и не знавший (от воздействия идей Князева), чем и как завершить ее, был настолько поражен картиной, что несмотря на то, что Князев, подталкивая его, говорил: «Видишь, вот он, упрек, видишь»,— не слышал, что говорилось ему; он боялся оторвать от картины взгляда, чтобы не потерять этой новой ясности. Его поразила целостность, с какою была представлена на полотне жизнь, и он с открытым ртом, делавшим его лицо глупым, смотрел на Митиного косаря.

— Музыка, ну что вы хотите, музыка! — не связанный никакими (и ни перед кем) обязательствами и по-своему видевший и понимавший мир, сказал Николай Эдуардович, композитор и муж Анны.

Но так как он ни к кому не обращался, никто даже не оглянулся на его слова; лишь Анна, всегда, как ей казалось, понимавшая мужа и гордившаяся им, лишь она, обеими руками державшаяся за мужа, ласково подняла на него глаза. «Да, да,— было в ее взгляде,— ты прав, это музыка».

XIX

Наташа, привыкшая обращать внимание лишь на то, что было вокруг нее, главным образом на женщин, как те были одеты, и смотревшая теперь не на картину, а на толпу, вдруг увидела среди толпы отца, стесненно стоявшего между какими-то молодыми людьми.

— Папа! — с изумлением воскликнула она, шагнув к нему, и этим возгласом и движением как бы разрушая атмосферу неловкости вокруг Станислава.— Ты здесь? Идем к нам.— И она с непринужденностью, будто была не на выставке, а дома, взяла отца за руку и потянула из толпы.— Стасик, Стасик, посмотри, кто здесь,— сказала она, подойдя вместе с отцом к мужу.

— А-а, Сергей Иванович,— произнес Станислав, оборачиваясь к отцу Наташи.— Похвально,— удивляясь тому, что тесть прежде них оказался здесь, добавил Станислав.

Затем он произнес еще несколько фраз, какие обычно произносятся в подобных случаях, спросил о Павле Лукьянове, который, он знал, должен был в это утро приехать из деревни, и во время этого разговора заметил, что взгляды всех обращены на Сергея Ивановича. В белой перчатке на протезе, седой, стройный еще старик, живущий в немалом, как было видно по нему, достатке, Сергей Иванович невольно притягивал внимание. «А не спросить ли его о картине?» — подумал Станислав, сейчас же с облегчением почувствовав, что оцен-

ку Митиного полотна со своих плеч можно переложить на плечи тестя.

— Вы уже успели рассмотреть картину,— как будто между прочим, но в то же время с явным намерением еще сильнее приковать внимание всех к Сергею Ивановичу, проговорил Станислав, обращаясь к тестю.— Ну, как на ваш взгляд? — спросил он.— Что скажете?

— Что я скажу?

— Да.

— Ну что я скажу? — переспросил Сергей Иванович, посмотрев на Митиного косаря, потом на Станислава с компанией и опять на косаря.

У него было что сказать о картине. Но в то время как он готов был уже произнести, что на самом деле думал о ней, по передавшемуся ему настроению зятя почувствовал, что нельзя было делать этого. «Упрек жизни,— подумал он.— Но в чем же упрекать жизнь? Правомерно ли вообще это и приложимо ли к сегодняшнему дню?» Ему показалось, что если он произнесет сейчас правду, то подставит Митю под удар (чего, разумеется, ему не хотелось делать и чего он потом никогда бы не простил себе); вместе с тем зять с дочерью смотрели на него, и он вдруг решительно заключил:

— История.

— Вот как! — воскликнул Станислав, не ожидавший такого ответа и сейчас же почувствовавший, несмотря на всю расплывчатость формулировки, что было что-то очень нужное и точное в ней.

— Нет, позвольте,— возразил Князев, которому не терпелось вступить в спор с Сергеем Ивановичем.— Вы говорите, история. Но разве художник, берущийся за историческую тему, не выражает современности? — Ему хотелось притянуть на свою сторону Александра, и он посмотрел на него.

Но Александр настолько был занят открывшейся ему истиной, что не слышал ни оценки Сергея Ивановича, ни восклицания брата, ни возражений Князева, стремившегося навязать свое мнение. То время, когда Александр раздраженно выкрикивал (на всякие подобного рода разговоры): «Народ вам не ширма, которую можно передвигать по своему усмотрению, чтобы прикрыть свой телеса, не трогайте народ!» — когда, наполненный этим открытым и воинственным максимализмом, умел «только оскандалиться в обществе», как говорили о нем,— то ушедшее, о котором он мог лишь вспоминать, живо и со всех сторон обступило его теперь. Он готов был вновь крикнуть: «Не трожьте народ!» — но только напряженно смотрел на косаря на полотне и машинально, как от чего-то мешавшего ему, отстранялся от руки Князева, пытавшегося расшевелить его.

— Я бы сказал больше,— вместе с тем продолжал Князев, оставив Александра и стараясь втянуть других в разговор, но в то же время обращаясь к Сергею Ивановичу.— Объективность, с какою, как уверяют нас, подается история, всегда есть только субъективное и предвзятое мнение современников. История это одно, а взгляд на историю это совсем другое.

— Вы что имеете в виду? — спросил его Сергей Иванович, знавший о настороженном отношении к нему Станислава и дочери и сам соответственно относившийся к Князеву.— Кто же сейчас косит косой, извините, если это не история?

— Но при чем здесь коса? — сказал Князев.

— Нет, извините, как это при чем? — живо перебил его Сергей Иванович, всегда чувствовавший себя сильнее, когда речь заходила о конкретном, и невольно старавшийся теперь перевести разговор в нужное для себя русло.— Я был в деревне и видел, как сейчас косят! Современность это совсем другое,— продолжил он, вдохновляясь и перенося свое поверхностное впечатление о сенокосе на общую деревенскую жизнь Павла.— Вы живете старыми понятиями о дерев-

не,— наконец сказал он Князеву, вполне убежденный в том, что изложил лишь общеизвестную правду, о которой бессмысленно и не должно спорить.

— Да о чем шум, и так видно, что дооктябрьский мужик,— подержал кто-то из толпы Сергея Ивановича.

— Или послевоенный,— добавил кто-то,— тоже — не сахар было.

— Привыкли малевать небритыми и в шмотье, вот и малют.

— На что талант тратят!

— Но позвольте, позвольте,— стараясь заглушить всех своим голосом, суетясь и обращаясь на всех, выкрикивал Князев.

Его не слушали, каждый торопился высказать свое мнение, и тем, кто не был в центре круга, казалось, что там происходит что-то наподобие скандала, на который надо протиснуться и посмотреть. Возле Сергея Ивановича, Князева, Станислава с Наташей, Николая Эдуардовича и Анны образовалась давка, и всем было не до Митиноного полотна. Послышались возмущения, просьбы прекратить безобразие в общественном месте, и от входной двери и столика с раскрытой для отзывов книгой спешили администраторши, чтобы унять и вывести спорщиков.

Станиславу не хотелось объясняться с администраторшами, и он решительно выдвинулся вперед и приподнял руку.

— Все правы, все! — успокаивающе произнес он. — Каждый по своему видит мир, и каждый прав. Ну Иваныч, ну Иваныч! — Он покачал головой на тестя, что можно было принять и как одобрение и как осуждение. — Пойдем дальше? — затем весело и непринужденно сказал он, обратившись к Наташе, Анне с мужем и брату Александру.

— А ты, пап, с нами? — обернувшись к отцу, спросила Наташа.

— Нет, я должен домой, Павел придет, надо принять, я обещал. Может, и ты подойдешь, дядя ведь, родной.

— Ты уж сам, пап, сам,— как бы извиняясь, сказала она, беря за руку мужа, и вся блестящая компания молодых людей, раздвигая перед собой толпу, направилась к выходу.

XX

Павел, приехавший в Москву с твердым намерением уладить все между невесткой и сыном, после первого же разговора с ними понял, что дело это было безнадежно и что он зря только потратит время, уговаривая их. Как во всяком крестьянском деле, где самообман всегда оборачивается бесплодием (землю обмануть нельзя, обмануть можно только себя), Павел прежде всего увидел, что было бессмысленно склеивать черепки. Он почувствовал это еще на вокзале, как только взглянул на невестку и сына, и почувствовал затем в машине, когда ехали на край Москвы, где Ася снимала комнату, и еще явственнее, когда его посадили за стол, чтобы угостить и накормить с дороги. Роман в модном, с двумя разрезами костюме, модной, типа сафари рубашке без галстука, молодившей его, только чуть посидел за столом, чтобы уважить отца, и, не притронувшись ни к чему и сказав, что позвонит, как освободится («Лекции, лекции, сам понимаешь!»), извинился и вышел. Ася, закрыв за ним дверь, расплакалась и долго не могла успокоиться.

— Не знаю, чего не хватает, такие дети,— говорила она.

Было видно, что она преодолевала стеснение, ей трудно было говорить об этом со свекром; но жизнь, казалось ей, была настолько невыносима и боль так сильна, что было не до стеснения.

— А ведь как жили, как было все хорошо.— И она, успокоившись наконец, пересказала свекру все, что представлялось ей важным в ее размолвке с мужем.

Павел сидел перед ней на стуле и держал на коленях внуков. Выслушав ее, он не мог ничего сказать. Возмущаться и кричать на сына, которого не было здесь, было бессмысленно, да и криком, он понимал, нельзя было ничего поправить; только что радостно зеленевшее поле жизни было теперь словно побито градом, и он мысленно стоял перед этим оспенно-исчерненным полем, с которого уже ничего нельзя было получить. Спина Павла была сторблена, и все лицо его было так сосредоточенно-мрачно, будто он только что либо похоронил кого-то, либо готовился к этому неотвратимому и горестному событию. «Вот она, трещина, которая дала знать себя,— подумал он о сыне.— Своего ума нет, чужой не вложишь, но подлость откуда? Откуда подлость?» Он не мог обвинить невестку, которая, он знал, была доброй и домовитой женщиной; но если бы даже она и была повинна в чем-то, то все равно, по убеждениям Павла, ничто не снималось с Романа как с главы семьи. «Выбрал, так живи, или надо было смотреть раньше»,— продолжал думать он. В сознании его не укладывалось, как можно было словами «люблю», «не люблю», «ошибся» и тому подобными оправдать разрушение семьи (какой бы ни была причина), и побитое градом поле более, чем что-либо, отражало теперь его настроение и мысли. «Люблю, не люблю, а ты скажи, где твоя совесть, где отцовский долг?»— говорил он, в то время как смотрел на внуков, тихо сидевших у него на коленях.

Из рассказа невестки ему было ясно, что у сына появилась другая, москвичка, и в этом, по словам невестки, состояло все дело. Но дело, как оно потом открылось Павлу, заключалось не только в этом, что «другая» и «москвичка»; все было сложнее и имело иную, свою подоплеку. Не добившись в совхозе, на целине, тех целей, какие Роман ставил перед собой, и приехав в Москву подучиться (после чего опять надо было возвращаться на прежнее место), он обнаружил, что жизнь в столице совсем иная, чем жизнь в совхозе, на целине; перед ним возник пример брата Бориса, женившегося на дочери известного генерала, то есть (по мнению Романа) так выгодно, что вместе с женой сразу получил достаток и положение, и этот-то пример и волновал и подвигал его на определенные действия. Ему казалось, что он не хуже Бориса и мог получить не меньше, а больше брата, и надо было для этого только развестись с Асей; и хотя на примете у Романа еще не было той, о которой он думал, а была только машинистка, к которой ходил ночевать (и которую Ася как раз и считала соперницей), но это не смущало его, и он последовательно приводил пока в исполнение первую половину своего широко задуманного плана жизни. Он надеялся на Бориса, у которого, как думал, был настолько широкий круг знакомых по Москве, что через него нетрудно будет подобрать нужную невесту; и накануне приезда брата из Вены он был особенно раздражителен с Асей и не желал видеть ее.

Старый Лукьянов не знал его плана, но чувствовал, что что-то несравненно большее, чем только «люблю», «не люблю» скрывалось за семейной неурядицей сына, что-то из того недоступного для его деревенского ума, что, он видел, происходило со многими в городе и в деревне и чего нельзя было остановить. «Вышел, так сказать, в люди»,— думал он о сыне.

Ссадив с колен внуков, он ходил по комнате, ожидая звонка от сына и готовясь к разговору с ним, Ася, извинившись, что ей надо приготовить обед, ушла на кухню, откуда то и дело появлялась то с недочищенной картошкой в руках, то с полотенцем, которым вытирала посуду, то с шумовкой, которой снимала накипь с бульона; ей хотелось еще и еще добавить к тому, о чем она только что рассказывала свекру, и Павел с середины комнаты, останавливаясь, смотрел на нее. Он теперь не столько слушал, сколько вглядывался во всю ту бедность, в какой жила невестка. Когда он только еще готовился к поездке в Москву, Екатерина говорила ему: «Ты уж присмотришься по-

внимательнее, как там у них, может, нуждаются, оттого и ссоры, а если внуков взять у них, так возьми, присмотрим, не отсохнут руки», — и как ни казались там, в Мокшах, пустыми эти слова жены, но, чем дальше теперь он всматривался в невестку, в ситцевом платице и в фартуке появляющуюся в дверях кухни, чем дальше смотрел на обстановку комнаты (мебель была хозяйской, и за пользование ею, чего Павел не знал, Ася вынуждена была доплачивать) и на внуков, игравших пустыми катушками на полочке, тем яснее становилось ему, что Екатерина была права и что было бы лучше ей самой приехать сюда, потому что женский ум более приспособлен для улаживания подобных дел.

— Сколько Роман получает? — спросил Павел, когда в открытых дверях кухни в очередной раз появилась невестка.

— Стипендия, сколько им платят, а что приносит, так их бы прокормить, — она кивнула на ползавших по половику мальчиков.

— На что же вы живете?

— Уроки даю, — сейчас же нашлась Ася, хотя она только еще собиралась давать уроки (да и не просто было найти, кому давать их), а жила на деньги, присылавшиеся ей родителями из Каменки. Она писала им, что муж учится, что в Москве трудно жить, и просила помочь; но ей не хотелось в глазах свекра выглядеть нахлебницей, и она добавила: — Я бы пошла работать в школу хоть завтра, пожалуйста, у меня диплом, ну а куда их деть? — Она опять кивнула на мальчиков. — Квартира не моя, прописки нет, а без прописки ни в какой садик не примут, просто заколдованный круг, — сказала она.

Она снова ушла на кухню, к плите и кастрюле, в которой кипело и за которой надо было следить, и Павел, потоптавшись еще некоторое время в комнате, тоже пошел к ней на кухню. Кухня была маленькая, была из тех, в шесть с половиной квадратных метров, каких множество тогда было понастроено по Москве (и каких давно уже не строят, отказавшись от этой бессмысленной и не нужной экономии), и Павел, привыкший к простору деревенской жизни, сейчас же ощутил всю тесноту и неудобство такой кухни. «Как будто не для себя делают», — подумал он, протискиваясь между столом и холодильником к окну, откуда удобнее было наблюдать за невесткой и разговаривать с ней. От окна он еще оглядел кухню со сгрудившейся в ней мебелью — полкой на стене, тумбочкой, шкафом, столом и табуретками, и внимание его вновь переключилось на Асю. Она стояла к нему спиной, наклонившись над кастрюлей, из которой шел пар, и он невольно, по той лишь традиции, по какой раньше в деревнях выбирали жен, примеривая их к трудностям жизни, посмотрел на невестку, на ее молодую, красивую и сильную спину, на ее зад («Родить и родить еще!»), на крепкие и гладкие (под ситцевым платьем) бедра и ноги; он посмотрел на нее так, как когда-то смотрел на Екатерину, которая чем больше рожала детей, тем становилась как будто стройнее и краше, и не было ей износу. Она была и помощницей, и опорой в доме; и была украшением, что по-своему понимал Павел, и его поразило теперь сходство невестки с Екатериной, той, какой та была в молодости. «И такую женщину со двора?!» — подумал он, продолжая смотреть на невестку; и хотя в этом взгляде его не было как будто ничего нехорошего (с точки зрения, разумеется, самого Павла), но Ася вдруг, словно ей передались его мысли, подняла глаза и посмотрела на свекра.

— Вы что? — спросила она, торопливо оглядев свои руки, себя и вокруг себя.

— Тесно у вас, — проговорил Павел; то, о чем думал, не положено было знать ей.

— Да уж куда теснее, а что делать? Хоть такая бы, да своя.

В комнате в это время зазвонил телефон, и старший из сыновей Аси, появившись в дверях кухни, закричал:

- Мам, мам!
- Он,— сказала Ася, не глядя на свекра и вся как бы съеживаясь от упоминания о муже.

XXI

Чтобы не утруждать отца хождениями по Москве, Роман приехал за ним на такси из центра и, позвонив с улицы, из телефона-автомата и встретив затем у подъезда, повез в тот исторический, как он называл это заведение, ресторан «Славянский базар», в который он ходил не потому, что там хорошо обслуживали и была приличная кухня, а потому, что в названии его было слово «славянский», что олицетворяло возрождавшийся будто славянский дух среди определенного круга московской интеллигенции, к которому Роман, не имевший понятия, кто в этом кругу и для каких целей, усиленно пытался причислить себя. Он, в сущности, был заглатывающей червяка на крючке рыбой и не понимал, что иллюзорной была эта его теперешняя полупраздная жизнь (с желанием достичь блага за счет новой женитьбы), а не та, что была у него в совхозе, на целине, в которой надо было трудиться не покладая рук, чтобы достичь чего-то. Ему казалось, что только теперь он начал сознать, что есть Россия и есть он, русский человек, хозяин в ней. «Ну, хозяин, а что дальше? Работать? Вести хозяйство?» С годами, когда он вновь столкнется с настоящими проблемами жизни, все это ложное и наносное будет отброшено им и он придет к другому, глубинному пониманию предназначения и судьбы России и русского народа в ней; но он настолько сейчас заражен этой услужливо подбрасывавшейся болезнью, так просветлен идеей возрождения духа, что ему казалось, что и у отца нет большей заботы, чем только витать в облаках этих бессмысленных и не приложимых ни к чему рассуждений. Он хотел видеть в отце единомышленника своего нового понимания жизни, и ему было весело от того, как он в блеске этих новых идей (и в ресторане «Славянский базар») предстанет перед отцом и покажет себя.

— Обрати внимание,— сказал он, приостановившись перед входной дверью и указав на вывеску над ней. Он неторопливо и со значением, какое придавал слову «славянский», прочитал вывеску и сказав: — Ну, проходи,— подтолкнул отца вперед себя к двери.

Павла, который был в Москве только на известных в шестьдесят шестом году торжествах по случаю объявления Дня работников сельского хозяйства и затем на свадьбе Бориса, на которую приезжал вместе с Екатериной (только и видели они тогда вокзал да генеральскую квартиру с празднично накрытым столом посреди гостиной),— Павла со всей его устоявшейся жизнью, в которой все имело смысл и приносило пользу, с его заботами по дому и бригаде, где, он знал, без него пришлось бы трудно Илье и колхозу, и с его нуждой подлечить ноги, отказывавшие ему, и впечатлением от встречи и разговора с невесткой, все происходившее теперь только удивляло. Он не понимал, для чего сын привез его в ресторан. Для того разговора, какой Павел собирался вести с сыном, нужна была не ресторанная обстановка, а что-то попроще, что соответствовало бы настроению. Он чувствовал себя как бы зажатым обступившей со всех сторон московской жизнью, которая была настолько отлична от деревенской, что он успевал только оглядываться и поражаться многолюдью.

Многолюдно, казалось ему, было везде, особенно на этой известной своей толчеею улице, по которой народ, в большинстве приезжий, шел в ГУМ и шел из ГУМа в «Детский мир»; направо и налево по ней видны были кафе и витрины магазинов, возле которых тоже суетился народ. Когда-то шесть лет назад, когда Павел вместе с Сергеем Ивановичем (после торжеств в Кремлевском Дворце съездов)

отправился покупать подарки и нужные для дома вещи, он проходил по этой улице; но он не помнил теперь, что был на ней, и, посмотрев еще раз вдоль нее, прежде чем войти в ресторан, почувствовал, что будто попал в какой-то еще один центр Москвы, который если и не был так известен, как Красная площадь, то чем-то все же был знаменит и привлекал людей. Это чувство новизны и значительности еще более усилилось у Павла, как только он, войдя с сыном в распахнутую старинную, с массивными медными ручками дверь, увидел ковровую дорожку, взбегавшую по мраморным ступеням лестницы, розовую и белую, под мрамор, отделку стен и витиеватые, по этой отделке, бра, которые были включены и напоминали зажженные свечи, и увидел швейцара в лампасах и фуражке с желтым околышем. У швейцара были пышные седые усы и такие же пышные и седые, расчесанные врасхлест бакенбарды, расширявшие его лицо, и он более напоминал не швейцара, а старого, из прошлых времен, генерала на выходе; но в нем было не столько русского, сколько лакейского. Роман опять, приостановившись и подтолкнув отца, восторженно указал ему на него: «Каков, а?!»

В большом круглом зале их посадили за столик, за которым, как потом выяснилось, Роман иногда любил посидеть с друзьями.

— Ты нам не подавай это,—сейчас же сказал он официанту, как только тот положил перед ним и отцом меню в фирменных тисненых корочках.— Ты лучше предложи нам, что на закуску, что из горячего, и вообще. Блинчики с икрой, черной смотри, черной, и чтобы сливочным маслом политые.

— Будет.

— Грибы в соусе, квас, вырезку с картофелем фри. Первое будем? — обратился он к отцу.— Солянку по половинке и, разумеется, водочки.— И Роман удовлетворенно и весело потер руки. «Ну как, видишь?» — было в его глазах, когда после этого разговора с официантом он повернулся к отцу.— Вот и так живут люди,—сказал затем, когда официант с записной книжкой в руках и салфеткой через руки и с кошельком, отдававшим ему карман, отошел от них.

Павел не знал, что ответить сыну. Было ли действительно хорошо, что «и так вот живут люди», или было осудительно и плохо, он не мог сказать; он видел только, что это была жизнь с какими-то своими интересами, которых он (со своим нерасторопным умом) постичь не мог; и он только с изумлением, как на многолюдье на улице, оглядываясь на ряды столиков — вдоль стены, по центру и у мозаичной клумбы,— где всюду курили, разговаривали, пили и ели хорошо одетые и сытые люди. Привыкший к тому, что надо разобратся, прежде чем отвергать что-либо, как того требовало от него его хлеборобское дело, он старался отыскать в памяти, с чем схоже было это, на что он смотрел. По обилию еды и множеству солидного, в галстуках и костюмах, народа, обстановка в ресторане напоминала ему прием в Кремлевском Дворце съездов, где он стоял за одним столиком с Терентием Мальцевым, Лукиным и работником министерства с женой; но на приеме, он помнил, было как-то все определено, оправданно и понятно, и у него было то ощущение целостности жизни, будто усилия всех были соединены и направлены на одно; но как он ни старался это же почувствовать теперь, он видел лишь, что окружавшее его было чуждо и враждебно ему.

— Если ты думаешь, что все это просто, то это не так,—видя, что отец молчит, и по-своему воспринимая его молчание, проговорил Роман.— На все это требуется вот что.— И он пошелестел пальцами над столом, показывая, что именно было нужно для этого.— Мы глупы, ломим горб, а имеют другие. А ведь есть тысячи способов устроиться в жизни и получить достаток, но нас не учили этому. Нас веками держали в деревнях, на задворках, в сущности, и мы понятия не имели, что есть что-то иное, чем труд на земле, что приносило бы

хлеб насущный. Я не могу тебе сказать всего, что чувствую и понимаю,— добавил Роман, глядя ясными, как у человека убежденного, и веселыми глазами на отца, сидевшего перед ним со смущенным, робким, растерянным видом.— Но я уже не тот, кого можно водить вокруг пальца. И не только я, нас много, и это необратимо. Да, да, пожалуйста,— сказал он официанту, принесшему квас, блинчики с икрой и водку.

XXII

Все на столе было красиво и было вкусно; в свете люстр сверкала хрусталь и переливались ножи и вилки, лежавшие по обе стороны прибора перед Павлом; но даже водка, которой он хотя и редко, по праздникам и из стаканов, как было сперва по бедности, а потом по привычке, позволял себе побаловаться, не пошла ему. Он выпил с усилием (эту первую рюмку) и, отломив кусочек хлеба, понюхал и пожевал его. Он не захмелел, хотя и выпил на голодный желудок, а почувствовал только, как голова его словно налилась чем-то тяжелым, мешавшим ему смотреть и говорить. В нем поднималась обида, которую он давно будто носил в себе, и с этой минуты и до конца обеда, когда Роман вывел его, шатающегося, из ресторана и, прислонив к стенке, отошел поймать такси, уже не слышал и не воспринимал того, о чем говорил ему сын; из всего разговора, в котором ведущим был Роман со своим по-мужски окрепшим молодым голосом, своим умением на все мгновенно найти ответ, чтобы осадить отца, своим «просветленным» видением мира и новыми целями жизни, о которых, разумеется, не сказал отцу,— из этого разговора (в одни ворота, как было бы по-современному сказать о нем) запомнилось Павлу только, что сын и слышать не хотел, чтобы вернуться к жене.

— Она мне не пара,— говорил он.

— Как это не пара, а дети?

— Дети, дети, я же не бросаю их,— сказал Роман. И затем он еще несколько раз повторял эту фразу, в то время как было очевидно, что он бросал их.

— А что я скажу матери? — спросил Павел, пытаясь этим известить сына.

— Вам давно следует запомнить, что у меня своя жизнь и я волен сам распорядиться ею.

«Своя... Но что же это за жизнь?» — думал Павел, проснувшись на следующий день утром в комнате невестки, куда сын из ресторана привез его.

С тяжелой похмельной головой он сидел на диване, свесив к полу босые, в кальсонах, ноги, и смотрел перед собой на половик и ножки стола, возле которых разбросаны были пустые катушки. Ими только что играли дети, и невестка не успела еще прибрать их. Она на кухне кормила сыновей, и оттуда слышен был ее голос и голоса мальчиков, капризничавших и не хотевших есть кашу. Ася строжила над ними, грозилась поставить в угол, и Павлу (по его многодетной семье) было так знакомо это, что он невольно, как ни тяжело было у него на душе, с улыбкой взглянул на приоткрытую дверь в кухню. Жизнь, как он привык воспринимать ее, состояла для него не из общих, сколь бы ни были они красивы, суждений о ней, а из таких вот простых (в кругу семьи и между людьми) отношений, от которых, насколько они естественны и наполнены добротой, всегда зависело и будет зависеть нравственное состояние общества; жизнь для него как раз и заключалась в том, чтобы все вокруг было обласкано, накормлено и обогрето той человеческой теплотой, которой, сколько Павел ни растрачивал ее на детей, и прежде всего на Романа, первенца, росшего слабым и болезненным, не только не убывало,

но, напротив, в удвоенном, утроенном будто количестве возвращалось к нему. Для него было не правилом, не долгом, а потребностью жизни — помочь ближнему; но этой-то потребности, он видел, не было у Романа. «Как же он не понимает, — спрашивал себя Павел, морщась при одном только упоминании об этом некоем праве для себя (праве бросать детей, как звучало оно для Павла), о котором говорил ему в ресторане сын. — У него, видите ли, своя жизнь, а у них? — Он подумал о внуках, которых держал вчера на коленях и голоса которых так ясно доносились из кухни. — Чья у них, хотел бы я знать?» В его поседевшей голове никак не укладывалось, что по какому-то придуманному для себя праву распоряжаться собой можно бросать жену, детей и быть веселым и предаваться развлечениям. «Какое же это право? — думал он. — Снять бы штаны да высечь, вот и все право. Но как же я все-таки напился? — вместе с тем перебивал он себя другой мучившей его мыслью. — Водка у них тут крепче, что ли? Нехорошо, нехорошо».

Во все это утро и особенно за завтраком невестка как могла выказывала свое недовольство свекром, и Павел, чувствовавший это и понимавший ее и вполне соглашавшийся в душе с нею, что нельзя, неприлично было так до беспамятства напиться ему (как он не позволял себе в Мокшах, стыдясь перед Екатериной и детьми), сразу же после завтрака, сказав, что идет по делам, оделся и вышел на улицу. Он поехал к Сергею Ивановичу, у которого обещал быть вчера и не смог и в разговоре с которым надеялся теперь прояснить многое из того, с чем столкнулся, посмотрев на жизнь невестки и сына. Сергей Иванович был для него, как и всегда, не просто зятем, но отставным полковником и москвичом, то есть человеком, умевшим разобрататься во всем. «Юлию потерял, а смотри, выправился, — приятно подумал он, вспомнив, каким увидел вчера на вокзале зятя. — А ведь тоже вот в Москве живет», — заключил он, и ему пришла в голову та простая мысль, что так же, видимо, как и в деревне, не все живут одинаковой жизнью — одни работают, стараются на общество, другие высматривают, откуда можно побольше взять для себя, — не одинаково живут и в Москве, что Сергей Иванович живет одной, а Роман другой жизнью, и что та, какой живет Сергей Иванович, близка и понятна Павлу, а какой Роман, была не то чтобы непонятна, но не укладывалась в сознании. «А слов-то, слов понапридумывали, чтобы оправдать себя», — продолжал он, припоминая, как на все возражения его против подобной праздности Роман вчера отвечал ему.

Чтобы попасть к Сергею Ивановичу, Павлу надо было проехать почти всю Москву, и только спустя два часа он добрался наконец до нужного, неподалеку от площади Восстания, места. День был солнечный и по-весеннему теплый, один из тех редких для мая московских дней, когда ни старому, ни малому не хочется сидеть дома, все высыпает на улицы, и оттого всюду на тротуарах, в скверах, на площадях видны толпы народа. «Люду-то, люду», — думал Павел, обращая внимание на эти толпы и прикидывая (по своим провинциальным понятиям), сколько же надо всего, чтобы прокормить этот люд. Для бригадира Ильи часто бывало проблемой даже в разгар уборки накормить механизаторов, работавших в поле; то не было чем, то не было поварихи, которую, впрочем, могла бы заменить любая в колхозе женщина, то не находилось транспорта подвезти котел или воду на стан; а каково, думал он, должно быть этим, кому здесь, подобно мокшинскому бригадиру, поручено заниматься обеспечением. «Вот она где, Ока и Волга народной жизни, — думал он. — А мы там у себя канителемся, хотим чего-то. Вот она...» Но тут опять приходил ему в голову Роман со своим правом распоряжаться собой (правом бросать жену и детей, как неизменно продолжало звучать для Павла), и что-то уже враждебное и чуждое представлялось ему в этом мно-

голюдь, которое во все время пути к Сергею Ивановичу сопровождало его.

У подъезда Павел на минуту остановился.

В помятом пиджаке и брюках, в клетчатой рубашке, купленной Екатериной специально для его поездки в Москву и казавшейся там, в Мокшах, красивой и модной («На люди едешь, как же», — говорила Екатерина), и с двумя баночками соленых грибов, завернутых в пакет и газету, которые Павел, как гостинец, нес зятю (и о которых Екатерина сказала, что своего, домашнего посла, каких нет в Москве), он, в сущности, был похож на того косаря с картины Мити, на которого толпами шли посмотреть люди и вокруг изображения которого от открытия и до закрытия выставки не умолкали споры. Но в то время как вокруг того, нарисованного, шумели страсти, вокруг этого, живого, со всей его жизненной судьбой, радостями и огорчениями, со всеми его нуждами, болезнью, потребностью добра, справедливости и удовлетворения, не только не было никаких страстей и споров, но на него никто не обращал внимания; идет себе и идет по улице пожилой деревенский человек по каким-то своим делам, которые беспокоят его, и вокруг него еще тысячи подобных, тоже занятых делами, идут навстречу и обгоняют его.

«Да, этаж-то какой?» — подумал Павел, остановившись теперь уже перед лифтом и развернув замусоленный тетрадный листок с адресом зятя.

XXIII

Хотя в кругу, в котором оказался Сергей Иванович (как и Наташа, и зять Станислав, и однополчанин Кирилл, вошедший во вкус общественной деятельности, и Дорогомилин, живший теперь интересами своей жены, Ольги), более ценилось умение со значением сказать, чем сделать что-либо полезное для общества, и хотя в соответствии именно с этими привязанностями и образом мыслей в распорядке дня отставного полковника и писателя, как его называли теперь, в его потребностях и привычках появилось то барское, что когда-то осуждалось им, а теперь нравилось и именовалось умением жить (и к чему как раз и стремился Роман, строивший план новой женитьбы), но общая атмосфера, установившаяся благодаря Никитичне в доме, не только не напоминала об этом барстве, но, напротив, у всякого заходившего сюда вызвала впечатление, будто все здесь наполнено трудовой жизнью, какую живут миллионы простых семей и какую прежде, не замечая того, жил здесь с Юлией и дочерью Сергей Иванович. Впечатление это складывалось не только из убранства комнат, в которых все было — по вкусу и пониманию Никитичны, никогда прежде не имевшей того, чем она распоряжалась теперь, не только из ее по-старушечьи широких и длинных юбок и фартуков, в каких она и убиралась, и варила, и садилась за праздничный стол, несмотря на возражения Наташи, и не только из разговоров, какие вела с Сергеем Ивановичем, удивляя его своими неожиданными по простоте и наивности суждениями обо всем, какие приносила из очередей и после общения с подругами из Дьякова; оно складывалось из того неистребимого как будто духа простонародья, который Никитична вносила во все и который, несмотря на очевидную противоположность Сергею Ивановичу, нравился ему. Эту-то понятную Павлу атмосферу жизни, знакомую по своей семье и дому, он и почувствовал сразу же, как только Никитична, открывшая ему дверь и увидевшая его, развея руками, проговорила:

— А мы думали, уж и не придешь. — Она приняла от Павла сверток. — Сюда, сюда, я шумну сейчас... пишет!

— Ну-ну наконец! — выступая вперед и, как и Никитична, разводя протез и руку (он давно уже не замечал, что перенимал у нес

многое, прежде не свойственное ему), воскликнул Сергей Иванович, только что сидевший за письменным столом, погруженный в очередную статью, с трудом на этот раз дававшуюся ему, и искренне обрадовавшийся появлению шурина. Теперь была причина отключиться от творческих мук, и он с улыбкой удовлетворения на лице подошел к Павлу и обнял его. — Сдал, а? Сда-ал, — сказал он, отстраняясь на вытянутую руку от Павла и опять приближаясь к нему и обнимая его.

Он почувствовал не то чтобы худобу шурина, но ту какую-то будто обмяклость его тела, которая более, чем что-либо, сказала ему, как устал его деревенский родственник; но сам Сергей Иванович настолько чувствовал себя здоровым — и физически, и душевно, — что как ни старался, не мог проникнуться состоянием Павла и говорил с ним с той бодростью, будто речь шла не о здоровье, а о пустячке, о котором нечего тревожиться.

— Как твои ноги? Ты знаешь, хотя и с трудом, но все-таки я кое-что приготовил для тебя, — в той манере необязательности, в какой привычно было ему разговаривать теперь, продолжил он, все еще оглядывая Павла.

Хотя Сергей Иванович не успел ничего сказать Кириллу о просьбе шурина, но по тому ходу мыслей, по которому людям иногда начинает казаться, что ими уже осуществлено, что задумывалось, он держался так, словно все давно и наилучшим образом было улажено и дело оставалось теперь только за Павлом.

— Лечиться так уж лечиться! — Он предупредительно поднял палец. — Да проходи же, проходи, садись. — И он стал суетливо усаживать шурина в кресло перед письменным столом, в котором, ему казалось, удобнее всего будет устроиться шурина.

Никитична, с умилением, пока они обнимались, смотревшая на них — она всегда бывала равнодушна к подобным встречам, — радостно прослезилась и ушла на кухню. Хотя ей не было сказано накрывать стол, но для нее это разумелось само собой, тем более что родственник Сергея Ивановича (тем, что был из деревни) вызывал в ней особое, словно был больше родственником ей, чем Сергею Ивановичу, волнение. «Из простых», — думала она, объединяя в этом слове все, что было ее жизнью и состояло из усилий достать, заработать и принести в дом. Она вообще делила людей на тех, кому все само шло в руки, как было, она видела, с Сергеем Ивановичем, у которого только и дел что посидеть за столом, но которому за эти его «сидения» отовсюду переводились деньги (звезда над ним, полагала она), и тех, кому доставалось трудом, как ей, несшей свой, как она думала, крест, который, впрочем, Никитична несла теперь с удовольствием, пристроившись в доме Сергея Ивановича. И в соответствии с этим разделением на везучих и невезучих и в согласии с родившим ее с Павлом чувством, возникшим при первой встрече с ним, она несколько раз выходила из кухни, чтобы посмотреть на мужчин. Она не прислушивалась, о чем они говорили, ей важно было, что они говорили, и, видя по их расслабленным лицам, что разговор шел душевный, удовлетворенно опять удалялась к себе. «Рады-то; господи, чего люди делают? — подумала она, вспомнив, как одно время Кирилл с женой осуждали ее за приносившие ей достаток дела. — Чего делают?»

В холодильнике у нее лежал со вчерашнего еще вечера приготовленный куриный фарш для котлет, и она не могла решиться, накормить ли гостя куриными котлетами, которые так нравились Наташе и считались праздничным в доме блюдом, или зажарить мясо в духовке, что тоже, как ей казалось, она умела приготовить (и что более «шло под столичную», как однажды заметил ей Станислав). «Столичная» была уже на столе, на столе были рубли-

новые, из хрусталя, рюмки и мельхиоровые ножи и вилки, которые хороши были, пока не употреблялись, и сейчас же темнели, как только пускались в дело, за что Никитична не любила их, и на столе были салат и закуски, красиво, по мнению хозяйки, смотревшиеся на блюдах, а решения, что из горячего подать, все не приходило, и это неприятно волновало Никитичну. В конце концов подумав, что неплохо будет, если приготовить и то, и другое: «Выпьют, так только подкладывай, все сметут»,— она вынула из холодильника и мясо и куриный фарш и принялась за дело.

В гостинной между тем мужчины вели обычный при встречах разговор (душевный, как это казалось Никитичне), в котором не то чтобы не было понимания между Сергеем Ивановичем и Павлом, но так чувствовалось различие их жизненных интересов, что как ни старались они, не могли преодолеть этого различия. Сергей Иванович все еще был под впечатлением вчерашней встречи с Митей и его картиной, которую видел на выставке, и размышления по поводу косаря на полотне, размышления о жизни, волновавшие накануне, переносил на Павла и был возбужден этим новым будто бы отношением к нему. Ему непременно и теперь же хотелось что-то хорошее сделать для шурина, и он чувствовал себя готовым к этому; но как ни велико было у него желание помочь Павлу, желание это утопало в общих рассуждениях о народе и народной жизни, которые были верны и вполне приложимы к Митиному косарю, но ничего не давали и не могли дать Павлу, приехавшему подлечить ноги и восстановить согласие в семье сына. Павлу было не до общих рассуждений; ему нужно было поговорить о своем с крестьянской основательностью, с какой он привык обсуждать всякое затруднительное дело, но едва лишь он начинал говорить об этом своем, как возбужденный Сергей Иванович перебивал его возгласом: «Да, но луга у вас, луга, ах, какие у вас луга» — и пускался в воспоминания, не имевшие отношения к заботам Павла, или: «Да, да, ну как же. Нет, если и осталось еще что-то святого на Руси, так только у вас, там, в деревне»,— и улыбался всем своим довольным и сытым лицом. Он был в вельветовых брюках, в майке и вельветовом пиджаке, напомиавшем более не пиджак, а пижаму того старинного покроя с шалевым в крупную клетку атласным воротником и накладными из крученых шелковых шнуров петлями, в каких позволяют себе теперь ходить люди, которым либо некуда деть деньги, либо они хотят приобщиться к быту прежних вельможных особ. Сергей Иванович, разумеется, был далек, как он думал, от желания приобщиться к быту прежних вельможных особ, но так, он видел, одевался дома Станислав, Наташа одобряла это и называла вкусом к жизни, и этого было вполне достаточно для Сергея Ивановича. Уютно устроившись в своем мягком и глубоком кресле, он весь как бы пребывал теперь в блаженстве, отдыхая и наслаждаясь своим остроумием и достатком.

XXIV

— Так что хоть они говорят? — наконец спросил Сергей Иванович, когда Павел заговорил о сыне с невесткой и когда неловко было уже на что-либо другое перевести разговор.— Должна быть причина, я полагаю.

— Какая причина! — возразил Павел, ворочавшийся в кресле, в котором (без привычки) неудобно было сидеть ему. Он старался выдвинуться на край сиденья, но его тянуло назад, к спинке, и он опять оказывался в полулежачем положении перед Сергеем Ивановичем.— Причины-то, собственно, нет, вот в чем все дело.

— Да-а,— философски заметил Сергей Иванович. Он любил теперь философски посмотреть на мир. При философском взгляде все было объяснимым и со всем можно было найти примирение.— Вырастить легко, да не легко до ума довести,— проговорил он, словно первым высказывал эту мысль.— У меня, правда, одна,— добавил он, поймав взгляд Павла и почувствовав по этому взгляду, что не ему, вырастившему одну дочь, учить шурина в этом вопросе.— Но я тебя понимаю. Я всегда, между прочим, говорил,— начал он, чтобы придать вес тому, что собирался произнести,— не на кого нам пальцем показывать, мы сами виноваты во всем, да-да, и это не слова, ты меня знаешь, я не люблю красноречия. Был уклад жизни, когда сын шел по отцу, дочь по матери. Сломали, отбросили, а что предложили взамен? А ничего. Настежь раскрытые во все стороны двери — в какие душа пожелает, в такие и входит. А в какие, тут и взрослому-то не всегда легко сориентироваться.

— Ты верно заметил,— согласился Павел.— Не отпусти я тогда их в этот их Кустанай, были бы на виду, перед глазами, и жили, как все люди. Как ты с Юлией или, к примеру, взять меня, да мало ли кого еще можно взять, а ведь нас никто не учил.

— Нас?! Э-э, мы из другого материала, не с поточной, как говорится, линии. Мы прежде всего совесть знали и порядочность. Надо было взять мать из деревни, поехал и взял,— сказал он, хотя это не относилось к разговору.— А вообще-то,— добродушно добавил Сергей Иванович,— истина не в нас. Истина всегда выше нас.— Это было любимым выражением Станислава, но Сергей Иванович подал это выражение как свое и внимательно посмотрел на Павла.— Да,— затем сказал он,— тебе непременно следует познакомиться с моим зятем, добрейший и прекраснейший человек.— Сергей Иванович произнес это так, словно все зависело от Павла, пожелает или не пожелает он познакомиться со Станиславом.— Афористичен.

— Как ты говоришь? — переспросил Павел.

— Умен, говорю, как черт.

— А-а,— понимающе протянул Павел.— Умному человеку, куда ни придет, везде дом родной, а неумному и в родном доме чужбина. А забери-ка я внуков да и в деревню, и вся недолга, а тут пусть сами разбираются.— И он облегченно вздохнул, высказав это.

Упоминание о внуках вызвало на лице его улыбку. Он оглянулся на дверь, которая вела в коридор и на кухню и откуда просачивался в комнату запах жарившегося в духовке мяса, начиненного морковью и луком, запах сметанного соуса, грибов и чего-то еще вкусного, чем собиралась угостить его Никитична (и что было так знакомо Павлу по предпраздничным хлопотам жены у плиты), посмотрел на книжный шкаф, диван, письменный стол и гардины на окне, свисавшие к поблескивавшему лаком паркетному полу, и вновь, в который раз, пока сидел здесь, подумал, что вот с кого бы Роману брать пример.

— Борис приезжает,— начал было Павел.

— О, Борис, ну как же, Борис твой пошел,— сейчас же подхватил Сергей Иванович, знавший, впрочем, о Борисе только, что тот был дипломатом и был в Вене, и знавший еще, что уже по одному этому, что дипломат и в Вене, многое в обществе станет доступным ему.

— Пошел-то пошел, да в примаки,— сказал Павел. Он не мог простить этого сыну и неприятно поморщился, подумав, что надо будет ехать к Борису и встречаться там со сватом и сватьей.

— Ну привередлив ты, я смотрю. Если так воспринимать все, то и жить будет невозможно. Все не нравится, все.

— Мужчины, мужчины! — слышался в это время голос Никитичны из кухни, и через минуту она сама уже стояла в дверях, раскрасневшаяся и довольная тем, что успела все и хорошо пригото-

вить.— Мужчины,— повторила она это новое, в сущности, для нее слово, усвоенное в очередях, где отовсюду только и раздаются «мужчина», «женщина», будто в русском языке никогда не было иных слов обращения; но Никитичне казалось, что так было культурнее, и она, произнеся еще раз: — Мужчины! — пригласила Сергея Ивановича и Павла к столу.

— Что ж, пойдем, раз зовут,— сказал Сергей Иванович и принялся, упираясь рукой о подлокотник, подниматься из кресла.— Наташа придет, не знаешь, не звонила? — спросил он у Никитичны, хотя весь день сегодня не выходил из дому и знал, что никакого звонка от дочери не было. Но он как будто забыл об этом и невольно, не желая того, выказывал Павлу еще одну эту сторону своей в спокойствии и достатке жизни, когда мог позволить себе не помнить о том, о чем обязана, как он давал понять это, помнить обслуживавшая его Никитична.

— Нет,— ответила от дверей она.

— Ну так позвонит. Ты имей в виду, я пригласил ее, и с мужем,— добавил он.— Ты же должен побыть в обществе,— сказал он Павлу.— Вернешься к себе, а рассказать о чем? Не-ет, тебя непременно надо познакомить со Станиславом (назвал он наконец имя зятя). Я сейчас покажу тебе его книгу, а заодно и свою.— И он, вместо того, чтобы идти на кухню, направился к книжному шкафу.

Но голос Никитичны остановил его.

— Мужчины,— опять произнесла она, и Сергей Иванович, привлекаемый запахами еды и уютным видом Никитичны, удивленно сперва оглянулся на нее, затем взял Павла под руку и, приговаривая: «Что же делать, надо подчиниться», пошел с ним на кухню.

— Нн-ну! — разводя в стороны руку с протезом в белой перчатке и другую, здоровую и сильную, воскликнул он, как только увидел накрытый Никитичной стол, на котором привлекательным было все — от рюмок, ножей и вилок до салатниц, и розеток с маслинами, и огромного блюда с дымившейся еще как будто телятиной на нем, только что вынутой из духовки.— Пир! Ну угодила, ну спасибо,— сказал он Никитичне и, предложив Павлу стул, сел напротив него.— Ты знаешь, а я ведь помню, как ты всегда говорил: что ни идет, все к лучшему. Есть, есть в этих словах некая такая глубина.— И он, разливая по рюмкам водку и подкладывая в свою тарелку и в тарелку Павла закуски, выбор которых был — глаза разбегались, неторопливо и с удовольствием принялся развивать эту вековую, как он назвал ее, мудрость, всегда прежде исповедовавшуюся шурином, но вполне приемлемую теперь и для Сергея Ивановича, в жизни которого — что ни происходило, все было к лучшему. Павел не возражал Сергею Ивановичу, и накрытый Никитичною стол не удивлял его; темное лицо его (в противоположность розовому и веселому лицу Сергея Ивановича) выражало такую глубокую озабоченность, что Сергей Иванович, весь живший, казалось, лишь в мире своих радостей, вынужден был с беспокойством спросить:

— Да ты не болен ли уж?

— Нет,— возразил Павел.

— Ну так и не переживай, разберутся. Уверяю тебя, разберутся, мне-то уж поверь.

XXV

Прилетевший из Вены и приехавший из аэропорта домой на машине, посланной за ним тестем-генералом, Борис был встречен в семье как самый желанный и дорогой всем человек.

Когда после первых минут объятий, поцелуев, восклицаний и расспросов о том, как долетел, как Вена и т. п., обласканный тестем и тещей, не чаявшей, как она говорила, в нем души («Дипломат, дип-

ломат»,— повторяла она, обращаясь ко всем), и обласканный беременной и почти не выходившей никуда из дому женой, Борис оказался за столом, он почувствовал (по тому обществу, которое было собрано для него), что будто не покидал Вены. В честь его приезда давался званый обед, и на него приглашены были двое военных, друзей и сослуживцев тестя, и по настоянию тещи два дипломата из Министерства иностранных дел, так что у Бориса была возможность и послушать и показать себя перед всеми. Военные — они были генералами, были в регалиях, от которых рябило в глазах Бориса,— только что побывавшие в поездке по войскам, завели разговор об этой поездке и, обсуждая подробности ее, высказывали те свои суждения, по которым нетрудно было догадаться, что беспокоило генералов.

Дипломаты говорили о разрядке, достигнутой наконец (благодаря усилиям советской дипломатии) в Европе, и им казалось, что достигнутое так прочно теперь вошло в сознание европейцев, что трудно будет кому-либо сломать это.

— Выгоды от разрядки настолько очевидны для всех,— говорил один из дипломатов,— что надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Сломать разрядку — это все равно что ни с того ни с сего поджечь свой собственный дом. Но для этого надо прежде сойти с ума.— Он верил в добрые намерения людей и призывал верить в это других и строить на этой основе дипломатию; но он забывал только, что, кроме добрых намерений, какие всегда были и будут у простых людей, есть еще намерения, диктуемые желанием наживы и власти, и что человечество не раз страдало от этих других намерений.

— А не кажется ли вам, что нынешнее затишье — это затишье перед бурей? — заметил другой дипломат, что был постарше и больше слушал, чем говорил. Он придерживался иного мнения и полагал, что Запад (в представленных теперь правительствах) способен на любое коварство и что надо быть начеку и смотреть не только на то, что происходит на открытой сцене; еще есть закулисные приготовления, и о них нельзя забывать.— Вы посмотрите, как растут атомные арсеналы,— настораживая всех, заключил он.

Но оттого, что подвергать сомнению достигнутое в области разрядки было непопулярным, дипломату возразили, и мнение его осталось бы в забвении, если бы не Борис, вдруг (по своей молодости и наивности) взявшийся поддержать его.

— Может быть, слова мои прозвучат как слова лейтенанта из окопа,— сказал он, вступая в разговор,— но у нас там тоже такое ощущение, что за кулисами что-то происходит.— Он вспомнил разговор с Белецким, но не решился пересказать его.— Мы там, в сущности, на переднем крае.

— Ты вчера был просто великолепен,— сказала ему на другой день утром Антонина, во время званого обеда сидевшая рядом с матерью и наблюдавшая за ним.— Я гордилась тобой. И мама,— добавила она, что казалось ей важным для Бориса.

— Не так уж и великолепен,— возразил Борис, хотя ему приятен был комплимент жены.

Но приятней было ему воспоминание, как дипломат, которого он поддержал, излагал, после застолья подойдя к нему, свой во многом отличный от общего взгляд на нынешнюю международную обстановку. Дипломат пригласил затем Бориса зайти в министерство, чтобы продолжить, как он, улыбнувшись, заметил, «наш разговор», и для Бориса это было той неожиданной, вдруг будто открывшейся возможностью к повышению, о которой он всегда мечтал. «Вот так-то вот»,— отходя от жены к окну, мысленно проговорил он теперь. Он вспомнил еще, как вслед за дипломатом к нему подошли военные и говорили с ним так, словно он был не третьим там, у себя в посольстве, секретарем, о каких говорят — кто куда пошлет, не младшим лейтенантом по отно-

пению к генералам, имевшим положение и власть, а равным или приблизительно равным с ними и по-своему влиятельным (в своей области) человеком.

— А ты знаешь,— задумчиво проговорил он, уже от окна повернувшись к Антонине, стоявшей посреди комнаты. Она была не в джинсах, как привычно было видеть ее Борису, а в платье, которое должно было скрыть ее беременность; но беременность ее уже ничем невозможно было скрыть.— Какие интересные и значительные люди были вчера,— будто опровергая, что только что думал об этих людях или думала о них Антонина, сказал он, продолжая размышлять о вчерашних событиях.

Он как будто вплотную прикоснулся к тем сферам государственной жизни, о которых имел представление, что сферы эти существуют и что действуют в них необыкновенные, недостижимые по уровню знаний и интеллекту люди; но люди эти были так обыкновенно просты, доброжелательны и приятны и открытие это так возбуждающе-радостно действовало теперь на Бориса («Да, да, не боги горшки обжигают»,— повторял он это известное, что отражало суть его размышлений), будто он был уже приобщен к тем сферам, в которых предстояло ему блестяще, как он надеялся, проявить себя. Он чувствовал в себе ум, силу, энергию, как бегун, вышедший на стартовую дистанцию; и так как до сигнального выстрела было еще время примериться и осмотреться, Борис не без гордости оглянулся на то свое прошлое, которое было — жизнью его в деревне, было — теми корнями, которые, дав ему энергию, ум и силу, помогли выбраться сюда. Жизнь отца, как и сестер и братьев, разъехавшихся по стране и писавших ему, как и московская (студенческая) жизнь Романа и своих, по институту, друзей, из которых первым был и оставался Матвей Кошелев, определившийся в журналисты-международники, но пока не выезжавший еще за границу,— все это было таким далеким сейчас от Бориса. Он тряхнул головой, сбрасывая будто что-то, и подошел к жене.

Но он не мог сказать ей, что в эти минуты так радостно волновало его; он понимал, что нельзя было делать этого и что никакой фразой (наподобие: плох тот солдат, который не мечтает стать маршалом) не сможет оправдаться за эти свои мысли перед женой.

— Что говорят врачи? — спросил он, бросив взгляд на ее живот и сейчас же посмотрев в глаза ей.— Скоро?

— Ждешь?

— Да.

— Мама сказала, завтрак готов,— вместо того чтобы продолжить разговор о беременности, уклончиво ответила Антонина.— Ты знаешь, у нас не принято опаздывать.— И в то время как она произносила это строгое, что должно было вразумить мужа, глаза, устремленные на него, говорили другое, что она любит его. «Да, да,— говорили ему ее глаза,— ты не должен сомневаться».

— Опаздывать всегда дурно,— улыбнувшись, заметил Борис и, продолжая удерживать ее за плечи возле себя, направился с ней в столовую, где все уже были в сборе и ждали их.

XXVI

За завтраком внимание всех опять было обращено на Бориса. «Утер нос, уте-ер»,— весело говорил тесть-генерал, вспоминая вчерашнее и в шутку называя Бориса то советником-посланником, то послом. Дипломатическое звание это можно было условно приравнять к званию маршала или по меньшей мере генерала с маршальской звездой, какое имел сам Петр Андреевич (так звали тестя) и какое Борису

предстояло еще заслужить; но Петру Андреевичу приятно было так называть зятя, выглядевшего энергичным, умным и смелым молодым человеком, и особенно приятно было теще, Марии Дмитриевне, разливавшей чай и не вмешивавшейся как будто в разговор, но не менее других желавшей возвышения Борису.

После завтрака перешли в гостиную, теперь уже обсуждая планы Бориса на отпуск. Петр Андреевич советовал увлечься рыбалкой, называл места в Подмоскovie, куда можно было бы поехать, и предлагал машину на субботу или воскресенье, когда мог выделить ее, но Мария Дмитриевна, по-иному, как она говорила, по-женски смотрившая на вещи, возражала против рыбалки. Ей казалось, что Борису надо использовать отпуск для расширения связей, нужных, как добавляла она, и бралась кое-что устроить. Борис, которому заманчиво было и предложение тестя, тем более что тесть обещал сам поехать с ним, более склонялся к тещиному варианту и стеснялся только сказать об этом. «На рыбалку — это хорошо, но когда ты уже генерал, — подумал он. — А так ведь все на свете можно прорыбалить». Но он не сказал этого тестю, как и не сказал «да» теще; он только поглядывал на беременную (на последнем месяце) Антонину и улыбался, давая понять, что у него будут совсем иные, чем эти строящиеся планы, заботы и что все будет изменено и отложено ради этих забот. «Так что же вы хотите от меня?» — весело и вопросительно, глазами, отвечал он тестю и теще, про себя полагая, что найдет, пока Антонина будет в родильном доме, куда употребить время.

Но как ни хороши были выдвигавшиеся всеми планы, после обеда, когда позвонил Роман и попросил встречи, многое самым неожиданным образом изменилось для Бориса.

— Отец в Москве, — на вопрос жены о том, куда и зачем идет, сказал он, отправляясь к Роману.

Встреча была назначена у кинотеатра «Россия», и чем ближе подходил Борис к этому назначенному месту, тем сильнее его охватывало беспокойство, словно он шел узнать нехорошее, что должно было отравить ему настроение и отпуск.

— Зачем он приехал? — спросил он у брата еще прежде, чем они обнялись и подали друг другу руки.

— Ты меня спрашиваешь? — удивился Роман, которому приехавший отец только портил дело. — Ты спрашиваешь меня? — повторил он. — Я не приглашал, родителю, видно, делать нечего у себя в деревне, вот он и приехал поучить нас уму-разуму.

— Зачем же так об отце? — остановил его Борис.

— А ты? Разве ты не так? Тебе что, приятно возиться с ним? С ним же надо возиться. Ну да ладно, о нем потом, успеем. Я просто рад тебя видеть и рад твоему успеху. — Он осмотрел костюм на Борисе, рубашку, галстук и, отметив хороший вкус брата и упомянув о возможностях, какие надо еще иметь для подобного вкуса, попросил сесть на скамейку и поговорить о важном, как он подчеркнул, для него деле.

Дело же Романа заключалось в том, что он решил развестись с Асей и начать новую жизнь.

— Она мне не пара, я не могу с ней, — начал он, царапая перед собою палочкой асфальт. — Да, у меня двое детей, ну и что, что двое? Я же не отказываюсь от них, не собираюсь бросать их, — говорил он точно то, что говорил отцу. — Напротив, если займу положение — с Асей это сделать невозможно, исключено, пробовал, — разве им будет хуже? Думаю, нет, и, думаю, ты поймешь меня, — сказал он и принялся излагать Борису программу своей новой женитьбы, в которой, казалось, продумано было все до мелочей и не хватало только невесты, которую как раз и должен был за свой короткий отпуск подыскать

ему Борис.— Тебе нетрудно будет сделать это, ты там возвращаешься, в этих кругах,— заключил он.

— И ты для этого так срочно вызвал меня сюда? — спросил Борис, во время рассказа не перебивавший брата.

После блестящей Вены с ее дипломатической, для Бориса, жизнью, какую он вел там в обстановке достатка и государственных, как это казалось ему, интересов и дел, перелета в салоне первого класса и встречи в доме тестя откровение Романа показалось Борису оскорбительным. Он как бы вдруг увидел обнаженной и опошленной свою идею (занять положение в обществе), которая всегда представлялась ему возвышенной и окрыляла его. «Нет,— сказал он себе, решительно отгораживая себя от брата.— Нет-нет»,— мысленно повторил он, в то время как лицо его наливалось бледностью. Он был возмущен и не хотел продолжать разговор с братом.

— У кого остановился отец? Дай мне его адрес,— сказал он как можно спокойнее.— По-моему, ты не с того начинаешь.— И он поднялся, чтобы уйти.

— Ты, верно, не так меня понял,— возразил Роман, тоже вставая и с укором глядя на Бориса.— Я не подведу тебя. Ты думаешь, я глуп. Нет, напрасно боишься, я не подведу.

— Адрес отца,— настойчиво потребовал Борис.

— Скажу, что так волнуешься? — И Роман назвал район Москвы, улицу и дом, где можно было (у Аси) найти отца.

— Ты извини, но я хочу поскорее увидеть отца,— сказал Борис, отступая на шаг от него, в то время как Роман пытался было что-то объяснить ему.

Борис быстро пошел прочь от брата. «Нет, каков! — думал он, не в силах успокоиться и возмущаясь не столько тем, что Роман бросал жену, детей и собирался жениться на новой, которая дала бы ему положение и достаток, сколько тем, что эта затея брата нехорошо оттеняла самого Бориса и выставляла в нем (в дурном свете) его сокровенные намерения.— Нет, каков!» — думал он, решительно отмежевываясь от Романа. Борис готов был теперь не только возиться с отцом, как с пренебрежением сказал об этом Роман, но готов был всячески приветить и обласкать отца. Он чувствовал потребность обелиться, и наилучшей возможностью удовлетворить эту потребность было — проявить внимание к отцу и Асе, к которым он шел.

Он удивил Асю своим неожиданным появлением. Но еще больше удивил доброжелательностью, с какой разговаривал с ней и играл с ее детьми, то беря их на колени, как брал их к себе на колени Павел, то присаживаясь с ними на пол. Мальчики мяли ему костюм, тербели галстук, пуговицы, и Ася покрикивала на них; но Борис только улыбался на эту шалость племянников и веселыми подмигиваниями поощрял их. Он хотел дождаться отца, который гостил у Сергея Ивановича и вот-вот, по словам Аси, должен был появиться, и пил с ней и племянниками чай на кухне. Кухня, он видел, была тесной, как и все в квартире Аси было непривычно, бедно, но Борис держался так, словно не замечал этой скудости. Все в жизни разделено было для него теперь только на справедливое, то есть нравственное (к чему он относил себя, Асю и всех в ее и своем доме), и несправедливое, то есть безнравственное, находившееся по другую сторону черты, куда он помещал Романа и подобных ему.

— Дело не в том, сколько и чего ты имеешь,— говорил он Асе, выкладывая ей эти свои новые соображения как убежденность, которой он всегда следовал.— Жить и себя уважать — вот что главное для человека.

— Да, да, в этом главное,— соглашалась Ася.

Они говорили об отце, о Вене, работе Бориса, о Москве и жизни

в ней и опять об отце и деревне и, словно по обоюдному согласию, не затрагивали того, в каком положении была теперь Ася, бросаемая Романом. Ася не касалась этого потому, что ей унижительным казалось говорить об этом с деверем. Так же, как она не верила своему мужу, Роману, как не верила свекру, приехавшему помочь и напившемуся с сыном и опять бродившему где-то по гостям («Так что же от него ждать?» — было и вопросом и ответом для нее), не верила она и Борису, гладким и выхоленным явившемуся к ней. «Все на словах хороши», — думала она, тогда как у Бориса была иная, своя причина не говорить с ней о ее горе. Ему было стыдно за брата, и он не знал, чем он мог бы теперь помочь Асе.

— Хотя Роман мне брат, — все же сказал он, когда понял, что не дожидаться ему отца, — но я решительно осуждаю его. Он мизинца вашего не стоит, да-да, я говорю вам это искренне, и знайте, помните, я всегда готов помочь вам. Жизнь сложна, — добавил он, — и я буду рад, если смогу что-либо сделать для вас. Отцу передайте, что я жду его.

(Окончание следует)



РИММА КАЗАКОВА

★

ИЗ МОНГОЛЬСКОГО ДНЕВНИКА

1

* * *

По Монголии, как по отчеству,
едем в поезде, в окна глядим.
Этот дым — как отчества дым,
и душа отдыхает и лечится.

Отдыхает от долгих дорог,
поправляется от перегрузки
здесь, где нам совершенно по-русски
предлагают горячий чаек.

За окном проплывают, остры
и тверды, будто груди девичьи,
горы в их некрикливом величье,
первозданной природы миры.

Мы — нездешние, но, единясь
с этой горной, степною страной,
чувство нежное, чувство родное
нам являет всеильную связь.

Вверх по склонам избегающий лес
горизонт окаймляет уютно,
и, как добрая белая юрта,
это утро под сводом небес.

Разгорается день горячо,
жгучим солнцем наполнив округу.
Положил свою смуглую руку
мне товарищ-монгол на плечо.

И две пары взыскующих глаз
смотрят в древние эти пространства —
и любви и надежд постоянство
осеняет сияюще нас.

2

* * *

Степь. Пески. И гор хребты.
Тает снег, с вершин стекая.
Тишина вокруг такая —
слышно, как растут цветы.

Оглушает тишина.
И машинной нет отравы.
Сумасшедше пахнут травы,
терпче и пьяней вина.

Далеко от всех забот,
от вопросов без ответа,
от замученного лета,
где на ветке сохнет плод.

Невозможно далеко
от убогой чьей-то злобы —
здесь, у юрты крутолобой,
белой, словно молоко.

Жжет жары гобийской ток.
Горб верблюдов лениво клонит.
В теплоте душистой тонет
твой прощальный холодок.

Нет тебя и нет его.
В этом мире гор и Гоби,
будто у небес в утробе,
он не значит ничего.

Что-то значат косари,
чьи посверкивают косы,
взгляд бесстрастный глаз раскосых
с долгим светом изнутри.

И да будет этот свет
там, куда вернусь я скоро
из монгольского простора
на простор идущих лет.

Там, где просто дом родной...
Там гобийского Алтая
сказка сине-золотая
не расстанется со мной.

3

* * *

На небе азиатского Востока
Медведица мерцала семиоко.
Взирали свысока семь звездных глаз
на цвет земли и на земную грязь.

Где ни бывала, чувствовала кожей:
он где-то рядом, серебристый ковшик.
В ночи Кочина, у охотских скал,
в тиши гобийской взгляд его искал.

Широтами чужими перекошен,
он плыл над головой, уютный ковшик.
И мне казалось: этот звездный ковш
на кров земли единственной похож.

И не была я больше одинокой
под звездною опекой нежноокой.

Светился ковш Медведицы Большой
счастливой переполненной душой...

Во сне ли, наяву, но точно все же —
однажды круто наклонился ковшик.
И отпила из звездного ковша
моя ошеломленная душа.

Вино небес, вкус звездных хлебных крошек...
Хотела больше — увернулся ковшик,
на миг сердитой вспышкой ослепил
и по лбу аж со звоном мне вlepил.

И чудеса остались чудесами,
а небеса остались небесами.
Но был тот миг: у неба на виду
попробовала на зубок звезду!

...Виси же надо мной, волшебный ковшик,
мой выпеченный кем-то звездный коржик,
кораблик вечный в млечной вышине,
как знак, что кто-то помнит обо мне!

4

* * *

В городе Алтае,
скромном, небольшом,
в облаках витая,
пили мы боржом.

Там, в таком не близком,
там, за рубежом,
в аймаке гобийском
пили мы боржом.

И боржом грузинский
среди песков и скал
с легкой грустинкой
пузырьки пускал.

Предвещал застолья
в крае аймаков,
где на воле столько
бродит шашлыков.

Где тепло, уютно,
чуть светясь во мгле,
маленькие юрты
приросли к земле.

...Ах, как мир огромен!
И притом — един,
если здесь с боржоми
за столом сидим.

И в монгольской выси —
сразу наш и ваш —
контурам Тбилиси
светится мираж...

Из лирики

* * *

Хоть и верится с трудом
в жадной жажде отогреться,
не всегда за дверью — дом,
не всегда под пиджаком
понимающее сердце.

Торопись шагнуть назад,
мысли дерзкие отринув.
Это все — один фасад,
за которым — зоосад,
жесткий желтый глаз тигриный.

Так не трать надежд и сил,
коль ни отзвука, ни звука...
Жизнь прекрасна, мир красив!
Он за все тебе простил,
что в тебе взрастила мука.

* * *

Как это вечно юно — и старо!
Влюбленные друг друга обнимают.
Вас разве друг от друга отнимают?
Зачем вы обнимаетесь в метро?
Вы любите, и, значит, будет дом.
Куда вы так торопитесь, ответьте?
Счастливы, полубоги, полудети —
еще вы все успеете потом!
Зачем вы обнимаетесь в метро,
в его тепле искусственном оттаяв,
любви непроницаемую тайну
предошущая, как ребром — ребро?
И, в глубь земли, в глубь города скользя,
в кольцо замкнув мечты и жажды поле,
в бездумном единении и споре
друг в друга погружаете глаза...
И так вовеки: в дурью молодой —
на лестнице, во мраке кинозала,
в столюдном одиночестве вокзала —
тот поцелуй летучею звездой!
Во мне как будто сердце не мертво,
и все же с монотонностью прилива
меня терзает терпко и пытливо:
зачем — в кино, на улице, в метро?!
...А ты войдешь в мой дом в который раз.
Поклон. Улыбка. Вежливые руки.
И нет ни нетерпения, ни муки
в зрачках твоих неоткровенных глаз.
Зима. Так много снега намело.
Вопросами тебя не донимаю...
Влюбленные! Ну вот и понимаю,
зачем вы обнимаетесь в метро.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ



МГНОВЕНИЯ

Юрий Бондарев в полном расцвете творческих сил. Создает могучие по проблематике и философской весомости романы. А в промежутке между этими романами или параллельно с работой над ними появляются и появляются, как он их называет, «мгновения».

На днях я навесил Юрия Васильевича и увез очередную подборку «мгновений» для нашего журнала. О многом мы говорили в тот вечер, коснулись и его своеобразной привязанности к этому новому жанру миниатюр-мгновений. Не буду вгаваться во все подробности нашей беседы, передам только одну фразу, прозвучавшую в его устах как итог: «Для меня это очень важно».

Кроме важности для самого Бондарева, это еще и свидетельство писательского богатства, заключающегося в жизненном багаже, накопленных наблюдениях, пережитых им самим и вместе с другими людьми радостях и горестях. Ведь каждое «мгновение» можно развернуть в рассказ, а то и повесть. А Юрий Бондарев так щедро, хочется даже сказать расточительно, отдает свои запасы.

Я вспоминаю, когда мы учились с Бондаревым в Литературном институте, там было немало фронтовиков, и рядом с нами учились и паряи, не нюхавшие пороха. Они не были в этом виноваты — окончили десятилетки, когда мы пришли в институт в опаленных у фронтовых костров шинелях да в стоптанных сапогах, выданных многие дороги Европы. Те мальчики, недавние школьники, были не менее талантливы, чем некоторые фронтовики, но у них не было нашего жизненного багажа. И это очень усложняло и утяжеляло их творческую работу. Многие из них мучились от легковесности своих биографий, прежде чем выросли в хороших писателей. Те же, кто был с весомым жизненным опытом, испытывал и другие трудности: школьные мальчики, особенно на первом курсе, просто подавляли нас своим умением говорить на литературные темы. Поотвыкли мы в окопах от литературной терминологии. Позднее учеба и жизнь нас выровняли. Но никто из однокашников по Литинституту не мог позволить себе бондаревской роскоши, его способности «сорить драгоценностями», как он это делает, создавая «мгновения».

Видимо, надо иметь не только талант и жизненный багаж, но еще и уметь всем этим мастерски распорядиться. Мастерство, наверное, единственное свойство человека, которое при его применении не истощается, а растет, и чем больше им пользуются, тем оно становится полнее и прочнее. Мне кажется, Юрий Бондарев хорошо это понимает и именно поэтому работу над «мгновениями» считает для себя очень важной.

Владимир КАРПОВ.

Промежутки

Ехали на аэродром по шоссе мимо осенних полей, желтеющих стерней, и где-то на окраине каменного городка, старого, с потемневшей черепицей, мелькнул удаляющийся указатель «Карловы Вары» — и странно: все, что было недавно карлововарским, весь оставшийся позади месяц, десятки прожитых дней, стало таким дале-

ким, несуществующим, навсегда исчезающим, как будто позади ничего не было, а вот сейчас я временно, непрочно, даже ненастояще еду по этим полям на аэродром, чтобы лететь наконец в Москву, домой, где ждут меня, где я любим и нужен и где есть мое родное место в огромном мире.

И каждый раз, возвращаясь на родину из-за границы или уезжая, я испытываю в поезде, в машине, в самолете некое скользящее мимо, нереальное состояние, которое надо прожить бегло, перетерпеть его, чтобы вернуться, достигнуть наконец прочного места и осмысленную цель моего движения — родную землю... Я бессилён перебороть это чувство, и мой разум считает часы и дни поездок легкомысленными промежутками жизни, а эти промежутки — интермедией между серьезными актами жизненной пьесы.

Старый рыбак

Мой отец, старый рыбак, в детстве моем голоштанном ни черта не давал мне учиться плавать. Был он неверующим, попов иногда крепко ругал в охотку, особенно когда выпивши, однако перед путиной вот что говорил: «Бог дал всем жизнь, а срок в точности не отсчитал, но каждому рыбаку по своему тайному расписанию существование ограничил, поэтому, ежели лодка тонет, перекрестись и иди на дно вместе с ней, это твой срок пришел, бога не обманешь, на хитрость не возьмешь». Бывало, лежит на бережку, на солнышке подле сетей, шапку на лоб надвинет, тепло он любил, намерзся за жизнь на ветру и воде. Так вот — лежит и вроде дремлет, а мы, ребяташки, в воде полощемся, друг за дружкой сатанятами бегаем радостно, ягодицами сверкаем. Но как только кто по-собачьи в плаванье бросаться начинает, он тут как тут, за уши из воды мокрым щенком вытаскивает и по корме — леща, леща, аж из глаз огненные искры сыплются.

Да, неверующий был мой отец, в церкву ни разу не заглянул, а как худо стало, сразу чистое spodнее надел, под образа лег и матери приказывает: зови, мол, попа, ежели он трезвый, на последнюю душевную беседу. Мать накидывает платок, вся в слезах бежит за попом, умоляет, с постели стаскивает чуть не в одних подштанниках, приводит его в избу. А отец сидит на лавке, пьет квас, крикает, дует в ковш, усы вытирает и говорит: «Давай, мать, поворачивай назад по-па, оклемался я, еще поживу малость». Восемьдесят два года он прожил.

Счастье

Муж бросил меня, и я осталась с тремя детьми, их воспитывали мой отец и мать, у которых было еще четверо — мои младшие братья и сестры.

Помню, однажды осенью, безнадежной ночью, когда лил дождь, стучало железо на крыше, мне не спалось. Я просто не могла заснуть от тоски, подступившей к сердцу, от мысли, что все мы, люди, несчастны, не знаем, что делаем, чего хотим, надеемся жить на земле вечно, а жить мне осталось совсем немного. И я вышла на кухню, чтобы покурить, успокоиться. А на кухне горел свет, и здесь я увидела его. Тогда он писал какую-то работу о Канте, работал по ночам и тоже вышел на кухню покурить. Стоял у окна, смотрел на дождь, на стекло в потеках, а когда услышал мой шаг, обернулся, и лицо его показалось таким бледным, старым, беспомощным, морщины такими усталыми, что я тут же подумала, что он скоро умрет, что он болен. Мне стало безумно жаль его, и я сказала, едва сдерживая слезы: «Вот, папа, мы с тобой оба не спим и оба мы с тобой несчастливы». «Несчастливы? — повторил он удивленно и посмотрел на меня,

вроде бы ничего не понимая, заморгал своими добрыми глазами.— Что ты, милая! О чем ты?.. Все живы, здоровы, все в сборе в моем доме — вот я и счастлив!» Я всхлипнула, а он обнял меня, как маленькую. Чтоб были все вместе — ему больше ничего не нужно было, и он готов был ради этого работать день и ночь. А когда я уезжала к себе на квартиру, постылую, холодную, они, мать и отец, стояли на лестничной площадке, и плакали, и махали, и повторяли мне вслед: «Мы любим тебя, мы любим тебя...» Как много и мало нужно человеку для счастья, не правда ли?

Женские лица

Есть мужские лица, которые в сознании моем связаны с определенным настроением, одни исполнены властной силы, самоуверенности, спокойствия, иные напоминают о безволии, застенчивости, жалкой подавленности, есть и такие, что словно бы распространяют вокруг опасность тайного порока, коварной лести, бесстыдства. И мне почасту кажется, что я могу распознать не только святого, но и несчастивца,— и от этого угадывания становится не по себе.

Что же касается женских лиц, то некоторые из них рождают у меня особые состояния, подобные снам.

Впервые я почувствовал это в детстве, однажды увидев женщину, вошедшую в наш заросший липами московский дворик, обогретый июльским солнцем, где на крышах сараев ворковали голуби. Я увидел ее лицо, наклонившееся ко мне, серые, лучащиеся теплом глаза, нежно раздвинутые улыбкой губы, сеть тени от листвы на молодых светлых волосах — и в первое мгновенье онемело смотрел на нее. Она спрашивала о чем-то, а я молчал, замороженный ласковым теплом близких глаз, влажными, аккуратными зубами, плавным голосом этой незнакомой женщины, нежданно пришедшей в наш двор. Она появилась из неизвестной жизни, почему-то представившейся мне тогда ни разу в жизни не виданной большой квартирой, книгами, зеркалами и ею самою, сидящей на диване среди красивых, изящно одетых людей в залитой ярким светом комнате, пахнущей духами, чистотой, счастьем. Но я не мог представить мужа ее.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, как пройти к Степановым? — наконец дошел до меня смысл слов ее, и я, заядлый голубятник, так и не сумев ничего выдать из себя, лишь угрюмо показал в сторону особняка, скрытого деревьями в конце сада.

Она взглянула удивленно, погладила меня по голове легкими пальцами и, узко ступая, пошла в глубь двора, тонкая, вся в белом.

И что ж — до сих пор серые лучистые глаза, белый цвет платья возвращают в моей памяти жаркое замоскворецкое утро и мое состояние дурмана, заколдованности вблизи той молодой прекрасной незнакомки.

Невозможно определить, по какой особой черте — по овалу женского лица, по медленному взгляду или незавершенной улыбке, цвету волос, прическе, походке,— почему возникает то чувство разгадки тайны, которое заставляет спрашивать себя: может быть, это притяжение — краеугольный камень всего сущего? Не в этом ли истина?

Так или иначе, не могу объяснить, почему при взгляде на черные брови женщины, на скромно опущенные ресницы встает передо мной среднеазиатский дворик в знойный полдень, окруженный глиняным дувалом, прохладное позванивание арыка, ковры под старым карагачем, сладкий запах разрезанной дыни и легкое, влюбленное присутствие ее там, в этом дворике, виденном мною когда-то в старом Ташкенте на Конвойной улице...

Зеленая чистота, деревенская прозрачность глаз городской девушки в галантерейном магазине где-нибудь в Столешниковом, уже позабывшей горячий запах высохшего на солнце плетня, уносит меня

разом в летний степной вечер, в угасающий закат за околицей, над которой плавает розоватая пыль, поднятая стадом, и я вижу в степи свежие копны, тепло обдающие духом молодого сена, вижу ее крепкие икры, ее бедра, ее откинутую голову в наивном платочке. С чем это связано?

Классически безупречные женские лица с нерушимым выражением самонадеянной красоты отталкивают меня неестественной законченностью, предполагаемым энергичным расчетом, заученной равнодушной страстью — и я воображаю серебристый зимний день, мороз, окна зашторенной спальни в сытой квартире, обставленной под павловский стиль, ледяную пустоту зеркал, нечто пушистое белое на полу, холодную пудру в перламутровой коробочке, флаконы духов на туалетном столике и холодок белой кожи, напоминающей отполированный мрамор статуи.

Соединение безмятежной веселости, вздернутого носа и большого чуткого рта, этих, казалось бы, признаков неиссякаемого жизнелюбия, вызывает у меня тревожное видение осеннего, сумрачного под дождем асфальта, опустевшей вешалки в узкой передней, где одиноко висит ее плащ, валяются сапожки, а она, неодетая, босая, стоит напротив двери, морщится, стонет, кусая губы, и в разрезе сорочки жалко видны покрывшиеся пупырышками озноба, вздрагивающие от рыданий груди ее...

Почему так, а не иначе? Ни разу в жизни я не видел эту женщину, рыдающую в передней.

С неутоленным любопытством люблю заглядывать в чужие купе, вдруг встречая ответный любопытный взгляд, задающий сразу тысячу вопросов, — и я узнаю в этой женщине свою натуру.

В жаркие часы московского июля праздная толпа (кто они, эти люди?) сплошным серо-белым потоком заполняет улицу Горького; ревут возле тротуаров автомобильные моторы, удушающе воняет выхлопными газами, везде зной, солнце, блеск, теснота, везде толпятся длинные очереди — в магазинах, за мороженым, за соком, перед автоматами с газированной водой, перед переполненными до горячей духоты кафе, а из-под арок дворов, где тоже кольцеобразно стоят очереди (за бананами), тянет сладковатой гнилью каких-то отбросов. Все шумно, адски накалено, напитано грязной пылью, забито людьми, все потно, разморено, оглушено машинами — и мучительна мысль о смертельно большой цивилизации, о перенаселенности огромных городов, бессмысленности этого грохота, движения машин, растопленного солнцем асфальта, этих повсюду немислимых в жару очередей, мерзких запахов, мусора на тротуарах, как в нью-йоркском метро... И в тот момент, когда начинаешь думать о конце мира, об апокалипсисе, в толпе словно бы рождается, как мираж, возникает женское лицо, веселое, милое, искрящееся глазами, улыбкой молодости, озорства, радости жизни, будто овечье солнечным ветром. И тут я вижу южную синеву неба и сверкающую синь моря, неотличимую от ее глаз, сочинский оживленный пляж тридцатых годов (где я в те времена не был), ослепительную белизну санаториев между кипарисами и вместе со всем этим бархатный вечер на набережной, пары гуляющих в аллее, говор, звук шагов, огоньки папирос и ее загорелые плечи, ее ноги, особенно темные, подчеркнутые узкой белой юбкой, и чувствую тот удивительный запах какого-то крема, духов и молодого женского тела, омытого морем, прогретого солнцем, изласканного свежим ветром на пляже, запах, который можно ощутить только на юге по вечерам. И удивительно: я даже слышу ее смех, тон ее голоса, я чувствую физически ее движения, шаги, силу пальцев, сжимающих мою руку.

Я спрашиваю себя: почему так, а не иначе, почему одни лица связаны в воображении моем с ночью, телесной близостью, нежностью, другие с прохладным ясным утром, росой, холодом северных

кучевых облаков, крепостью спелых яблок, лежащих на осенней террасе,— и то и другое влечет меня с одинаковой силой, как неразрывность плоти и духа, как сладость греха и сладость раскаяния.

Почему так, а не иначе работает мое сознание, рисуя картины по облику незнакомых женщин, с которыми я не обмолвился ни словом?

Мне не дано знать, где моя собственная память и память исторических поколений, моих предков по женской и мужской линии, чья родственная частица в моей крови.

Орс

Это был веселый, общительный пес по кличке Орс. Весь белый, с черными пятнами на морде, он умел улыбаться, показывать в улыбки зубы, игриво сиять чернильными глазами, припадая на передние лапы, сумасшедше мотая хвостом, умел и сердиться, драть задней ногой землю, напрягаясь стрункой, и с нарочитым лаем догонять заезжие машины, пылившие по приокской деревне, где мы с женой каждый год жили до поздней осени.

Целое лето мы встречались с ним по вечерам в садике тетки Серафимы, женщины строгой, малоразговорчивой, ждали с бидоном под яблонями, пока она подоит корову, а он, Орс, подбегал к нам из зарослей смородины, заранее улыбался, приветствовал дружелюбным помахиванием хвоста, обнюхивал бидон и ложился у наших ног, отгоняя мух угрожающим клацаньем зубов. Время от времени он хозяйственно настораживал то одно, то другое ухо в сторону сарая, откуда доносилось прерывистое позванивание молока о ведро, жевание коровы, сытое похрюкивание поросенка.

Раз он вышел из кустов несколько утомленный, с безразличным достоинством положил к нашим ногам задавленную мышшь и отошел, сел поодаль, нервно зевая, наверное, после пережитого волнения охоты. Однако в нашу сторону он морды своей не поворачивал, только слушал внимательно, что мы говорим о нем,— уши его поочередно настороженно подрагивали. Он был честолюбив, он ждал похвалы, и я серьезно сказал жене, надеясь, что пес оценит мою признательность:

— Знаешь, у него широкая душа. Он поделился с нами добычей. Спасибо ему.

— Да, он милый, добрый, умный,— ответила жена и засмеялась, вдруг увидев, как Орс повернулся к нам, вытянул чемоданообразную морду и пополз на животе по траве, повизгивая, взглядывая снизу вверх преданными черными глазами.

И печально и горько вспомнился мне этот разговор и особенно слова жены в день поздней осени, когда мы перед отъездом в город пришли к тетке Серафиме за яблоками, а Орс не встретил нас, не выбежал из кустов, не улыбнулся дружески, укладываясь у наших ног.

— А где же Орс, Серафима Ивановна? — спросила жена, оглядывая с ожиданием сад, облетевшие кусты смородины.

— Собака-то?

— Ну конечно. Почему вашего Орс не видно?

— Собака-то? Это верно. Встречал он вас.

Серафима Ивановна по-мужски нахмурилась, махнула рукой, взяла у жены корзину, осуждающе заговорила басовитым голосом:

— А мы его в дальний путь отправили, Орс-то. Собака сторожить должна, лаять, а у нас нынешней ночью яблоню начисто обтрясли. Барвинку. Три-четыре рубли кило... Жулье-то цены знает. Лучшую обтрясли. Всю, догола. Так что сын Петя, правда сказать, выпимши был... Так что лопатой его насмерть поучил... Под забором там лежит.

— Зачем? — спросила жена шепотом.

Было холодно, дул ветер, шумел в яблонях, пахло дымом, сносимым из трубы в сад.

Через полчаса мы вернулись в дом, где снимали комнату; жена опустилась на лавку, стиснула руки на коленях, глядя в холодную бесприютность октябрьского вечера за окном, где отливала синевой стволы берез над черной Окой.

— И они его лопатой?.. — проговорила она дрожащим шепотом. — И они его за то, что он был добрый и умный?..

Береза

— Давай спилим вот эту березу. Она сухая и мешает другим, — сказала жена.

Я увидел в синей высоте зеленые макушки берез, мнилось, счастливые, ласково лепечущие в теплой легкости предзакатного воздуха, а посередине их голые растопыренные сучья той березы, которую указывала жена. Ее сучья вообразились мне высушенной старческой рукой, застывшей меж молодых веселых головок, радующихся лету, синеве, солнцу, своей гибкой стройности.

И я начал пилить эту отжившую березу, не испытывая никакой жалости, какая бывает всегда, когда прикасаешься к живому стволу, начал пилить с мыслью, что очищаю, освобождаю в саду пространство для расцветающей красоты. Однако пилу все время заедало, я дергал ее, отдыхал, начинал снова, измучился, был весь в поту и наконец с облегчением почувствовал, что разрез пилой стал расширяться, увеличиваться — и береза затрещала, накренилась.

Тогда я сделал последнее усилие острыми зубьями. И вдруг как тяжело закричала, как мучительно застонала она в предсмертной боли, уже валяясь, падая, судорожно цепляясь за вершины, за листья своих молодых сестер (а они словно отталкивали ее), и с пронзительным вскриком о помощи она упала на траву, ломая сучья, прощально качая ветвями.

Мы с женой в молчании переглянулись.

— Ты слышал? — сказала растерянно жена и зажмурилась будто от боли. — Как она не хотела умирать! Я никогда не знала, что деревья, погибая, стонут, как люди!

Я бросил пилу и пошел прочь, стиснув зубы, не оглядываясь на то место, где теперь беззвучно лежала убитая мною береза и весело лепетали листвою в летнем небе ее молодые беспечные сестры.

Занавеска

Был летний день, весь наполненный нежным запахом акаций, светом, радостью. Я вошел в номер гостиницы, еще не обжитый мною, чужой, пахнущий прогретым с утра паркетом. Стеклянная дверь на балкон была открыта, и я увидел освещенную солнцем тюлевую занавеску, она тихо надувалась ветерком, шевелилась, напоминая о сквозняке, свежести воздуха, о том, что номер мой на восьмом этаже, высоко над черепичными крышами южного городка и не будет душно в жаркие дни на этой горной высоте.

Я подумал об этом, а занавеска продолжала едва заметно шевелиться, волноваться, и было что-то женственное, молодое в том, как плавали над балконом нежные прозрачные складки, вызывая в моей памяти нечто очень далекое, что было или могло быть только в наивном, еще неисторченном времени двадцатых годов, когда еще чистой и застенчивой была природа, когда вкус воды, цвет полей, деревьев, краски заката и облаков были иными, когда в Москве иначе звенели трамваи на Зацепе и иначе горели огни на Тверской, когда были еще молоды отец, мать, мои братья, мои красавицы тетки. И я помню, как летним днем, перед обедом они шли по деревянным мосткам к Яузе

в тени огромных разросшихся вязов, под нависшими ветвями которых мы с братом ловили вечером в водорослях пескарей; потом они, красавицы тетки, раздевались в кустах, стыдливо выходили на безлюдный берег, белея гибкими нагими телами, и с озорным смехом, визгом, аханьем бросались животами в воду, плыли к тому берегу.

Что это такое? Занавеска, река Яуза в Москве, мои тетки, которых уже нет на свете, нагие их тела со всеми признаками здоровья, молодости, любви, красоты?

Еще лет пятнадцать назад эта мимолетная игра воображения и памяти показалась бы мне милой бессмыслицей. Теперь же я никак не могу забыть легкое колыхание прозрачной занавески в тот солнечный день на юге.

Орешник

В тот день читал дневники Толстого и с отуманенной головой вышел в сад, тихий, предвечерний, темнеющий уже, пошел по дорожке, густо усыпанной шуршащими листьями, потом остановился перед орешником, застывшим в холодной неподвижности сумерек, взглянул на небо — там в еще светлой выси медленно плыли, нежно атели перья тонких облаков. А из осенней глубины сада, пустой, грустной, доносился звонкий голос моего шестилетнего внука, и где-то там ходила моя жена, я слышал ее шаги по листьям и слышал, как неожиданно падали в траву яблоки с глухим стуком.

И вспомнил, что сегодня днем жена попросила вместе с ней оборвать орехи, мыгнули верхние ветви, и теперь эти ветви не совсем выпрямились, как бы ссутуленно наклонясь к земле, и я увидел два почти соединенных ореха, нетронутых, в зеленой короне, почему-то нами не сорванных, забытых, и неизвестно почему подумал с тихим сожалением: «А все-таки скоро-скоро»...

Да, об этом неизбежном «скоро» знали и думали все, кого любил и чтил я, кто жил на земле в этой русской красоте сумерек, закатов, звездных ночей, рассветов, солнечного царства березовых перелесков, лесных ручьев, ветреного листопада и звонкого безмолвия осени. Они все знали, что приближается срок ухода из этого мира, что пройдет скотливо-то весен и зим — и отсечет последнюю секунду сама неотвратимость. Без возвращения назад. Но, зная это, они ходили, работали, разговаривали, смеялись, чего-то желали и что-то отвергали, лишь вдруг, на миг, на секунду сознавая, что осталась единственная капля, которая не утолит жажду... О, как чувствовал это Толстой, как наедине с собой думал о конце ежедневно, страхась Ее и призывая, веря и не веря в свое исчезновение, радуясь близкому уходу, в то же время надеясь на чудо, на спасение, на перемену только декораций... Да, Толстой был наделен сверхчувствами, неистово любил жизнь, и, доведенный самим собою вследствие неудержимых желаний до ненависти к красоте, он призывал на помощь силу духа, но жил под знаком отчаяния и неизбежности. А как молча страдал в одиночестве больной Чехов, знавший о своей болезни все, как страдал с тайной улыбкой страха и вины, не веря в иной мир, считая отпущенные судьбою утра, и никто не видел его лицо, обнаженное людям в сокровенной мольбе бессмертию в осознанную минуту прощания...

Мне не раз пришлось видеть оголенные небу лица солдат, и они запомнились навсегда, похожие в крайнюю секунду одно на другое. Там, на пороге вечности, было то равенство, которое, казалось, объединяло все разбеденное человечество. А здесь различие в том, что кто-то был более спокоен, приближаясь к бездне небытия. Пушкин, в тридцать семь лет истерзанный жизнью, уже не дорожил ею так одержимо, как в юные годы. Старый Тургенев, страдая ужасно, не мог согласиться с концом роковой секунды. Фет готовился, был покорен исходу...

Так умирали великие? И что — конец всему? Куда исчезла энергия таланта? Переход? Перемена декораций? Что же это — справедливость или несчастье?

Нет, здесь никого кривая не вывезет, известность, талант и авось не помогут, самые гуманные законы не защитят, ничего «не образуется».

Все они знали, что в роковой день раздастся стук в дверь, которая медленно разверзнется, зияя непроницаемой чернотой, войдет тихий сквозняк, ледяющий душу, и на пороге встанет последнее, неотвратимое, что не услышит ни крик о помощи, ни мольбы, ни жалобы, закончив все одним бесповоротным, беззвучным приказом, приводящим приговор в исполнение: «Прощайся». И это будет не сон, не кошмар, не видение, не галлюцинация и не последняя сцена, написанная о смерти героя, а последняя строка из жизни автора. Ибо исчезнет свет — и счастливого пробуждения утром не будет. Да, они знали об этом, как знаю я, писавший эти строки, как знали ушедшие из мира семьдесят миллионов людей. Как могли жить они с этим познанием конца? Что это — мужество или трусость? Или покорная глупость человечества, уравнивающая и великих и малых слабых людей?

Где-то за моей спиной глухо и весомо падали яблоки, где-то в аллее шиповника звенел голос моего внука, а над затихшим садом плали и плали на запад тонким пеплом угасающие облака.

Вдруг жена окликнула меня, но я молча повернулся и стал уходить от нее по тропинке в темнеющую глубину деревьев все дальше и дальше, оставляя ее, погружаясь в сырую ночь, дышащую в лицо холодной прелью никогда не росших в нашем саду папоротников. Так будет со мной или иначе?

Когда я очнулся, темнел орешник в сумерках и странно белели два соединенных, пока еще не сорванных ореха, обрамленных маленькими зелеными коронами, похожими на паруса кораблей в бесконечном земном океане. Сколько нам плыть?

Стоял сентябрь, был восьмой час вечера.

Север, река Мезень, разговор на берегу

— И кидаешь и кидаешь блесну-то свою... Поймал что?

— Нет, бабушка, не везет.

— И хорошо.

— Почему хорошо?

— Семга рыба-то дурная, опасная. Прошлый год на Мезени в лодку она впрыгнула к Константину Викентьевичу-то. Впрыгнула вроде бревна, килограммов на двадцать, а Константин Викентьевич обомлел от радости-то: без сети и живца рыбу поймал. У костра лежит, цаёк попивает, сахарок откусывает. Как не жизнь-то! Приимчивый был. Но через два месяца утонул он. Нашли его сегодняшний год — вода опала, а у берега два сапога вверх торчат, мальцонка увидел. Вытащили его, целенький весь, не пропал, вроде вчера утонул, но две руки как вроде рыба объела — как отрубленные... Семга-то, что впрыгнула в лодку, не проста была, не добра.

— Вообще рыбы мало, бабушка.

— На цё тебе?

— Что «на цё», не понял.

— Рыба-то? Сиди себе цаёчек пей, молоцко подливавай. Рыбы нет, а вот щука есть. И малёк. Вон цайки на отмели, видишь? Мальком питаются.

— Чайки у вас как-то деклассировались, бабушка, рыбу почти не ловят, ходят на помойках в Архангельске. Или за теплоходом летят, ждуют, когда из камбуза отходы в море выбросят. Попрошайки они стали, ленивцы. Что-то нарушилось...

— Ты наших цаек не тронь. Они умные, как медведи.

— И медведи попадаются разве?

— Как же не попадаться-то! Гуляют они у нас. Прошлый год он телеша задрал, унес, за ним кинулись люди-то, а он телеша мохом забросал в лесу-то, а сам ходу. Медведь, он что семга, не простой, головой соображает...

Не только брать...

— Мы живем в таком мире, где нет друзей! Нет их, нет, никому не верю, никому, все сволочи!

— Ты тоже сволочь.

— Кто-о? Я?

— Если все сволочи, значит, и ты... А ты забыл свою мать — она тоже сволочь?

— Замолчи! Это святая женщина!

— У тебя нет друзей? А ты сам способен быть другом, а?

— Да, да, я способен, я могу...

— Ой как сомневаюсь я. Это ведь не только брать, но и отдавать.

Случайно подслушанный разговор

— Глупо вдвойне.

— Да, но...

— Не «да» и не «но». Ты живешь иллюзорной жизнью. Где еще было так? В какой стране? Нигде и ни в одной.

— Ты слишком резок.

— Дело не в резкости, а в существе.

— Послушаешь умного человека — сам дураком станешь.

— Безудержный и неприличный ты человек!

О чем они говорили — о судьбах России или о ремонте в квартире?

Довоенное

Закрыв глаза и увидел часть незнакомой комнаты с солнечным, залепленным снегом окном, угол довоенного комода, край свисающей кружевной дорожки, увидел серое платье с воротничком, подрагивание крупных загнутых ресниц, полуулыбку той, которой уже не было на белом свете, явственно услышал запах этого платья, шерстяной материи, и вместе почувствовал блаженно-нежный вкус полных губ с ликующим отчаянием юного, почти смертного счастья. А где-то в другом углу комнаты стоял патефон и крутилась, обдавала нас ветерком нежности пластинка нашей юности, наивная пластинка с пошленьким названием «Брызги шампанского», которую она разбила однажды в приступе капризной ревности и осколки бросила мне под ноги со словами: «Возьми их на память от той, которую ты не любишь». И сколько же лет было мне? Семнадцать? И где крутилась эта патефонная пластинка? У кого-то на квартире моих школьных друзей, из которых никто не остался в живых после Великой войны.

«Только это, — подумал я, задохнувшись от тоски по той прожитой жизни, по той довоенной комнате на Пятницкой, где позже я никогда не бывал. — Только то, прошлое, школьное, почти забытое, с той юной любовью. С той мукой ожидания. Оно со мной навсегда...»

Безнаказанность

В июле того страшного сорок первого года тяжело булькающий звук нагруженных немецких самолетов в ночном небе под Смоленском был звуком тупой угрозы и безнаказанности чужой силы и болью нашего бессилия.

Опять

И опять мне снилось Замоскворечье, этот земной рай моего детства.

Мне снилась комнатка, забитая темным весенним сумраком, тесно заставленная старой мебелью, с тем милым запахом уюта от этих старых вещей, от комода, от дивана, от сундука, на котором я когда-то спал, и я видел старушку возле окна, выходящего на тихий задний дворик, старушку с добрым лицом моей бабушки, в черном платке, она смотрела на золотящийся над крышами сараев крест церкви в Вишняковском переулке, четко видимой куполами среди апрельского закатного неба, и крестилась тихонько, чуть наклоняя голову, без слов кого-то умоляя пощадить нас, последних, еще оставшихся в живых, не верующих мальчишек, замоскворецких голубятников, воевавших где-то на подступах к чужому Берлину.

И еще видел я странное: сказочный храм, похожий на синий дворец (некий голос говорил мне, что он носит имя моего погибшего старшего брата), то ли строился, то ли восстанавливался за нашим двором, храм невероятной высоты и размеров, с белыми красавицами колоннами, уходящими в стеклянную прозрачность неба...

Надежда

Только что приехав в санаторий, внезапно поссорились (жаркий номер, высокий этаж, нет телевизора), и, рассердившись, она лежала на бархатном диване, листала чешско-русский разговорник, а он в раздражении вышел на балкон, горячо нагретый солнцем, откуда виден был весь игрушечный курортный городок с очертаниями гор вдали. Снизу шло сладкое тепло от земли, от подстриженной травы на английских газонах, от столетних платанов, достигавших вершинами шестого этажа. И тут он увидел внизу, на асфальте, меж этих аккуратных газонов коляску с больным. Ее выкатили из подъезда санатория девушка в белых брюках, в розовой блузке, юная, тоненькая, выкатила на теневую сторону парка (тень падала от платанов), повесила свою сумочку на спинку коляски и стала помогать больному приподняться. Он медленно зашевелился в коляске, делая усилия, и можно было разглядеть, что он немолод, лыс, в очках, остатки седых волос неопрятно топорщились на затылке.

С неимоверным напряжением, с остановками, опираясь дрожащими руками на костыли, он все-таки поднялся с коляски и, видимо вконец обессилив, долго стоял, отдыхал, поддерживаемый девушкой, как бы весь обвиснув на костылях, углом оттопырив локти. Девушка наклонилась, сказала ему что-то, и он неуверенно сделал маленький шаг левой ногой, слегка подался вперед, подволок правую ногу и опять несколько минут отдыхал, наверное, справлялся с зашедшимся сердцем, набираясь сил, затем снова переставил левую ногу, осторожно передвинул костыли и подволок правую.

Сверкая лакированными спинами на солнце, подъезжали машины к стоянке неподалеку от санатория, хорошо одетые люди шли к подъезду следом за швейцарами, несущими чемоданы, косились в сторону человека на костылях — и девушку смущало это, она украдкой ог-

лядывалась на приезжих, на балконы санатория, стесненно поправляла волосы, виновато улыбаясь. Кто она была? Медсестра? Жена его?

А он, дрожа спиной и локтями, вроде бы ничего не видел вокруг, углубленный в самого себя. Он был весь в том невыносимом преодолении боли, безнадежности пространства, тех сантиметров земли, что казались бесконечными, многомиллионнокилометровыми пространствами вселенной, на краю которой слабо брезжило обманчивое обещание...

— Что ты стоишь там? — сказала сердито жена, отбрасывая на тумбочку разговорник. — И что молчишь?

Не отвечая ей, он по-прежнему смотрел вниз на человека, волочащегося на костылях по асфальту, на красивую коляску с сумочкой, оставшуюся метрах в двух за его спиной, на тоненькую девушку в белых брюках, терпеливо продвигающуюся за больным, — смотрел на эту титаническую борьбу, на эти страдания, на эту молчаливую муку и мольбу к надежде и думал, как все по сравнению с этим ничтожно, вздорно, постыдно.

— Как страшно, — услышал он вздрогнувший голос жены, вышедшей на балкон, и поразился ее взгляду, устремленному вниз, туда, где надежда шла рядом с безнадежностью. — Нет, нет, — сказала она поспешно и ткнула лбом ему в плечо. — Нет, нет...



ЗУЛЬФИЯ

★

НОЧЬ ПЕСЕН ПОЛНА

С узбекского

Вечер

Поле. Окончился день трудовой,
Облако вижу на солнечном лике.
Слился закатный атлас с синевой.
Тихо. Лишь птицы поют и арыки.

К людям на смену заботы дневной
Время вечерней приходит заботы.
Встретится снова любовь под луной,
Радость наполнит душевные соты.

В дымке возникнут, как саженца два,
Девушка с парнем совсем не случайно.
Их над арыком сольются слова,
Тайна влюбленных — прекрасная тайна.

Не торопитесь, мгновенья, пускай
Ночь для любви обретет протяженья.
Ветер, по свету гулять не пускай
Слово признания и откровенья.

В небе, хоть день до конца не угас,
На горизонте звезда появилась.
Так прежняя песня живет еще в нас,
Хоть новая песня уже зародилась.

Сиянье жизни

Тянулась ночь, как день в июле,
И сон витал мой в стороне,
Казалась вновь не потому ли
Подушка каменной мне?

Иль не заслуживала сна я,
Что, в помыслы погружена,
Лежала грустная, больная,
А за окном плыла луна.

И, озаренные луною,
Прильнув таинственно к стене,
Круги сияли предо мною
На рукотворном сюзане.

И хоть была я чуть жива
 И хоть друзья давно как спали,
 Мне их слышались слова:
 «Мы утолим твои печали!»

Вчера нагрянули они,
 И речь их музыкой звучала.
 Мне вдруг почудилось: «Взгляни —
 Осилев темень, солнце встало!»

И хоть была еще слаба,
 Свою оставила кровать я,
 И прядь откинула со лба,
 И солнце приняла в объятья.

И сердце, как на тое саз,
 Во мне при этом ликовало.
 Глядела и от жизни глаз
 Восторженно не отрывала.

* * *

Мне чудится, что песен ночь полна,
 И грустно оттого, что их не слышит кто-то.
 И, как у дня, испитого до дна,
 Своя у ночи радость и забота.

Как верный друг, она передо мной
 Открыла душу доброго свеченья.
 И сон меня оставил под луной,
 Покоя пожелав хоть на мгновенье.

— Беги, беги! —
 Кричу ему вослед. —
 Тебя, медовый, многие заждались!
 Но я из тех, кому покоя нет,
 Считаю, что мы с тобою не встречались!

Я четки дел дневных переберу,
 Являя привередливость при этом,
 И стану слушать, преданных добру,
 Сердца заводов, залитые светом.

Биенье их вблизи и вдалеке —
 Таких, как я, великая потреба.
 По городу, как будто по реке,
 Плывут огни, и город ярче неба.

На небе — звезды, звезды — на земле,
 Меж ними океан авиалиний.
 И кто-то к нам летит в полночной мгле,
 Звенит стрелоподобный алюминий.

Летят
 И отлетают.
 Всех не счесть
 Вверяющих себя дорогам млечным.
 Дорожки расстилать имею честь
 Я в аэропорту своем сердечном.

Мои послы в прообразе стихов
 Отсланы мной в разные державы.
 Я знаю — путь их будет не пухов,
 Но вдаль они летят не ради славы.

Стихи уполномочила свои
 Не зря вручать я с точностью словарной
 Верительные грамоты любви
 Друзьям моей державы лучезарной.

Я дочь ее. Могучею рукой
 Таких отчизна подняла немало.
 И в честь ее сердечный непокой
 Я смолоду мечтательно познала.

Моя душа кипуча и светла,
 Она подобна роднику, который
 Сверкает на груди у Чаткала
 И в час зари схож с птицей красноперой.

И взглядом даль осилить я могу,
 И сон забыть могу под небом отчим.
 Поэт, я пред дехканином в долгу,
 Поэт, в долгу пред каждым я рабочим.

Все то, чем ты, душа моя, жива,
 Твои тревоги, радости, печали,
 Я, сон забыв, стремлюсь вложить в слова
 Затем, чтоб души ближних им внимали.

Затем, чтоб отозвался в них напев
 Всех песен колыбельных под луною
 И шепот роз, которые весною
 Уста раскрыли, празднично зардев.

Сном не насытяться,
 как не раз случалось,
 Пишу стихи.
 А чем я насыщалась?

Зима

Стоит алмазная зима,
 Подобны облакам сугробы.
 Свисает с веток бахрома,
 Как серебро чистойшей пробы.

На солнце снежные холмы
 Белы, как девственные груди.
 Снега, деревья, солнце, люди
 Объяты царствием зимы.

А мне привиделась весна,
 Цветенье вишен в крае отчем.
 Наделена я полномочьем,
 Любви и радости полна.

Перевел ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

ФАРИЗА УНГАРСЫНОВА



ДА БУДЕТ ТРУЖЕНИК В ЧЕСТИ

С казахского

Исатай Тайманов ¹

Сталь сабли гневом раскалив,
взметнул он мощно знамя воли —
явил неистовый порыв
любви к степной бесправной голи.

Да будет труженик в чести,
люд, черным звавшийся доселе,
а жирных баев — прочь смести,
обрюзгших, ползающих еле!

И пыльный полог степь накрыл,
и на крови клинок испытан,
Урал разбужен и Нарын,
гремят над Каспием копыта!

Едва пронесся слух о нем —
в дрожь неумную бросало
тех, кто привык и белым днем
в постели мягкой нежить сало.

Роптать не смея на судьбу,
раб перед властью сильных гнется.
— Встань, — Исатай велел рабу, —
прозрей и сбрось обузу гнета!

Он — вождь, он день и ночь в седле.
Прости, невеста: долг, призванье..
В очах, как молния во мгле,
мысль польхает грозовая.

Батыр народом окрылен,
его признаньем возвеличен,
неукротимый, рвется он
из схватки в схватку с грозным кличем.

Он выбрал сам удел такой —
высокий, жертвенный и чистый:
не для него уют, покой.
Семья — народ, а дом — отчизна.

¹ Исатай Тайманов — организатор и вождь народного восстания (первая половина XIX века).

Зато — гляди! — царек степной,
от страха серый и помятый,
столь драгоценной головой
уткнулся в пыль, моля пощады.

Народ мой прост и незлобив,
но за обиды круто платит! —
вот в чем, неправду невзлюбив,
мир убедил мой славный прадед.

Мангышлак

Восславлю вышки Мангышлака — вежи доблести!
На них и горы не взирают сверху вниз.
По склонам пляшут вулканические отблески —
коль ты пугливый, то ладошкой заслонись.
Вот он округу распахнет как для объятия —
и душу словно бы овеет высотой.
Признали сумрачные горы неподатливые
людей упорных верховенство над собой.
Во чреве тьмы тугой огонь клубится, вспыхивая,
светила ночи неурочны и слабы,
и судьбы здесь и устремленья будто взвихрены,
земля и та, как море, рвется на дыбы!
Восславлю страсть к переустройству, степь сожженную,
где ветер рыщет, среди вышек заплутав,
и руки сверстников, натруженно-тяжелые,
светло меняющие лик ее и нрав.
Да как мне быть смиренной пташкой, мелкой сошкой,
когда воды в пустынях корни ждут иссохшие,
когда деянием, исполненным любви,
мир обновляют современники мои!

Перевел ВЛАДИМИР ПАЛЬЧИКОВ.



НАДЕЖДА КОЖЕВНИКОВА



ВНУТРЕННИЙ ДВОР

Повесть

Кеше было четыре года, когда его отец и мать уехали в длительную командировку в страну экзотическую и во многих отношениях заманчивую, но с очень неблагоприятным климатом. Тамошний климат особенно неблагоприятным являлся для людей, предрасположенных к сердечным заболеваниям, что как раз и наблюдалось у Кешино отца. Но отец Кеша врачей не послушал: отказаться от столь многообещающей поездки представлялось невыносимым.

Люба, мать Кеша, из сказочной страны вернулась одна.

На узкой, длинной, с каменным скользким полом террасе, окруженной со всех сторон душной пряминой тьмой, Любин муж, грудью упав на перила, кричал беззвучно, раздираемый удушьем, и, захлебнувшись немим криком, упал.

Люба возвратилась домой худая, прямая, с жесткими бороздками в углах рта. Забрала у свекрови сына. Кеша упирался, хныкал, когда она тащила его по лестнице за собой. Свекровь стояла у раскрытой двери квартиры, глядела. И вдруг не выдержала, рванулась. В тапочках на босу ногу нагнала внука уже во дворе, сунула ему плюшевого слона с оборванным ухом. Кеша взвыл. Люба, посмуглевшая, постаревшая, выпустила его руку. Он было кинулся к бабушке, но мать, как щенка, прихватила его за воротник.

С того раза и решено было поделить Кешу. То есть строгое расписание составить, когда мальчик живет у бабушки, а когда у мамы.

У бабушки, когда Кеша просыпался, он видел бледную от солнца штору, висевшую на деревянных баранках. Шесть стульев с прямыми спинками были плотно придвинуты к круглому столу, на середине которого стояла синего стекла вазочка. Справа от дивана, где Кеша спал, надвигался ступенчатый громоздкий буфет из карельской березы, увенчанный резьбой; чтобы стереть оттуда пыль, приносили стремянку.

Проснувшись, Кеша не сразу решался выбраться из-под одеяла: бабушка, несмотря на его протесты, всегда открывала на ночь форточку.

Бабушка вообще блюла порядок в доме. Никто не смел ступить в квартиру, не вытерев тщательно ноги о щетинистый коврик. За обедом были обязательны крахмальные салфетки, в туалете на полочке лежал коробок спичек и флакон цветочного одеколона — к неприятным запахам бабушка оказывалась чувствительна особо. Ее чистоплотность смахивала уже на деспотизм, но, пожалуй, ни в чем другом бабушка подобной твердости больше не проявляла: хозяином в доме был дед, профессор истории Дмитрий Иванович Неведов.

Каждое утро профессор подолгу брился, растирал, умащивал крупное породистое лицо барина-крестьянина. Родом Неведов был из Смоленской губернии, откуда уехал с агитпоездом в девятнадцатом году, а в двадцать девятом прибыл в столицу — вместе с невенчанной женой Екатериной Марковной, по-домашнему Ёкой.

Тогдашний знаменитый фотограф запечатлел юную Ёку в видавшем виды боа, небрежно накинутом на узкие плечики, вполоборота, с обольстительной томной исплаканностью во взоре, что в ту пору считалось модным.

Образование Ёки осталось незаконченным средним, а из родного города Орши она уехала проклятая отцом и матерью, возмущенными скандальным поведением младшей дочери, кинувшейся вслед за каким-то проходимцем.

«Проходимец» же отнюдь не настаивал на том, чтобы его сопровождали. Хотя и он не стал бы отрицать, что Ёка в ту пору действительно была прелестна. Но, к сожалению, не столь умна. И шумна чрезмерно и пугающе энергична. А самое главное, и тогда уже мелькала у него неприятная догадка, что в безудержных порывах Ёки кроется некий расчет. Но уличить ее не удавалось.

Иногда, несмотря на ее ласковый взгляд, проникновенные интонации, ему чудилось, что Ёка его ненавидит. Но и это тоже оставалось тайной, постичь которую — с годами он понял — ему не дано.

На людях Ёка глядела на мужа с откровенным обожанием, первая хохотом заливалась, когда он — не всегда, впрочем, удачно — острил, по всякому поводу и без повода превозносила его успехи. Это его смущало, раздражало, и тем не менее он постепенно, незаметно усвоил манеры баловня, удачника и вообще укрепился в хорошем мнении на собственный счет.

А успехи у него действительно были. Происхождение, репутация, биография — все способствовало тому. Да и в натуре его, в самой внешности обнаруживалось отменное здоровье, радующее, обнадеживающее, внушающее желание поощрять, продвигать такого человека, покровительствовать ему.

Он казался всегда непоколебимо спокоен, слегка даже сонлив и великодушен — словно бы от сознания собственной силы, как положено былинному богатырю. Рост, сложение, осанка делали его заметным всюду, в любом обществе, даже если он ни слова не произносил.

Обыкновенно он и отмалчивался, чуть растягивая в снисходительной, добродушной усмешке губы или хмурясь, строго сводя брови, — либо одно, либо другое наработанное выражение прикрывало, точно панцирь, его довольно-таки рыхлое нутро.

А рядом, едва доставая мужу до плеча, щебетала, суетилась, несла околесицу Ёка, готовая снести любые насмешки, обидные перемигиванья ради благоденствия своего супруга, который на фоне ее бестолковой мельтешни безусловно выигрывал. И называла Ёка мужа исключительно по имени-отчеству, как бы загодя приучая и окружающих и себя к почтительности, обязательной в обращении к такому значительному человеку.

Неведов и в самом деле продвигался в заметные фигуры. Он любил учиться, учился с удовольствием, и если бы вся жизнь состояла только из чтения и запоминания, он бы в конце концов освоился, перестал бы робеть, перестал бы стыдливо скрывать свою робость. Поэтому с безотчетным рвением он растягивал, длил процесс своего обучения: заканчивал одни курсы, поступал на другие, получал дипломы, грамоты, свидетельства и в результате вырос в весьма ценный каадр.

Но к моменту, когда вопрос о назначении его на ответственный пост вот-вот должен был решиться, Неведов позволил себе неожиданный выверт: он ушел от жены.

Ёка полгода ничего не слышала о нем — Неведов как в воду канул. И некоторое время спустя в ее комнатенку стали наведываться личности знакомые и малознакомые будто бы с поручениями, но Ёка с неизменной стойкостью поила их пустым чаем и выпроваживала.

Только однажды она не смогла сдержаться, расплакалась в присутствии Феи Долгова, неведовского приятеля, благодаря которому в биографии Ёки возник период пусть недолгий, но вспоминаемый ею впоследствии с гордостью, хотя и не без преувеличений.

То было, как выражалась сама Ёка, время обретения ею обшего лица. А точнее, Федя Долгов с редкой отзывчивостью вызвался помочь несчастной Ёке в ее отчаянном положении, переговорил с кем-то, убедил кого надо, и вот Ёка оказалась в симпатичном особнячке, где, правда, прежняя изящная мебель была заменена канцелярской, неказистой, но зато кипела там интереснейшая жизнь, люди прелюбопытные туда являлись, спорили, убеждали друг друга, делились фантастическими идеями, из которых кое-какие даже воплощались в жизнь.

Ёка, правда, запомнила с годами, как точно называлось это учреждение, то ли Союз любителей искусств, то ли Общество служителей муз, то ли стороже, официальной. Но, безусловно, серьезнейшие люди стояли у истоков такого начинания, коли сумели привлечь в участники множество знаменитостей.

Ёка приходила в особнячок поутру, усаживалась в прихожей за высокий, похожий на конторку стол и глядела — сначала в окно, выходившее в тихий внутренний дворик, а после на дверь, откуда появлялись разнообразнейшие посетители.

Позже она уверяла, что, занимая столь выгодную позицию у самой двери, воочию узрела весь цвет отечественной культуры той эпохи. И разумеется, люди эти отличались безупречным тактом, тончайшей деликатностью, ибо при всей своей занятости находили все же время вступить пусть в короткую, но живую беседу с молоденькой сотрудницей вышеупомянутого учреждения.

О своих конкретных обязанностях Ёка упоминала туманно. Но она числилась в штате, получала зарплату, паяк, а главное, ощущала себя в гуще важнейших событий. И все же когда Федя Долгов навещал ее как-то в Леонтьевском переулке, где жила Ёка, она, восторженно его поблагодарив, от избытка чувств даже чмокнув в холодную, вялую щеку, вдруг прижала ладошки к глазам и разрыдалась.

Она знала, помнила, какой Федя добрый и как умеет хорошо молчать, как прост, хотя полно у него друзей влиятельных, да и сам он многое может, но ростом вот милый Федя уродился маловат, и лоб у него бугристый от ранних морщин, и щеки серые, запавшие. И все-таки, плача, Ёка прижалась к нему.

Федя тихонько гладил ее по волосам и вдруг внезапно, резко отстранил.

— Послушай,— глухо сказал,— пойми...

Но оборвал начатую было фразу. Она подняла на него глаза. Мрачный неотрывный Феин взгляд мгновенно подсказал ей то, к чему ни одна из женщин не остается равнодушной, что утешает женское сердце в самый трудный час, и неподходящих моментов для подобных признаний не бывает. «Ты прелестна»,— услышала Ёка, хотя строгий, собранный Федя ничего не сказал. «Прелестна» — звенело в ней, и она чуть склонила гладко причесанную головку с маленькими красными фальшивыми камушками в ушах, решив лукаво и вместе с тем абсолютно невинно: пусть дальше, дальше говорит...

Но Федя молчал. Отошел к столу, сел, сдвинул блюдечко с колотым сахаром, стакан недопитого чая.

— Послушай,— снова начал,— так нельзя. Ты должна учиться. Сейчас все учатся. Сама потом убедишься, насколько все изменится,

взгляды твои, желания. И то, из-за чего ты сейчас страдаешь, покажется... Ну, в общем, ясно, что я имею в виду.

— Не-ет,— она озадаченно протянула, и в выражении ее детского лица была такая бесхитрость, что он невольно улыбнулся.

— Екатерина Марковна, Ёка! Пойми, очнись. Замечательное время настало. Большие дела, большие люди вокруг. И отцепись наконец от своего Дмитрия!— Всегда сдержанный Федя вдруг озлился.— Потому что дурак он и дураком останется, сколько бы книжек ни прочел.

— Федя!— воскликнула она испуганно.

Но щупленький Федя Долгов впал в непривычное буйство. Раскраснелся, пристукнул кулаком по столу:

— Не останавливай меня, все равно скажу. Неведов трус. И от тебя ушел, потому что струсил. Говорю это не от возмущения и не потому, что мне жалко тебя. Считаю, твоя удача, что удалось от него избавиться. Потом бы разобралась, да поздно. Он, Неведов, посредственность, серость, а пыжится и будет пыжиться дальше. И только кажется, что вреда от таких нет. Такие по нутру своему инертны, безразличны, а безразличие есть та же тупость. От безразличия и до предательства недалеко....

— Федор!— гневно оборвала она его.

— Хорошо,— он как-то сразу сник,— согласен. Не стоит забегать вперед. Время покажет.

— Ты просто ему завидуешь,— с пренебрежением сказала она.

— Я?! — Он рассмеялся. Звучно, искренне, обаятельно.— Мне, Екатерина Марковна, завидовать и некогда и незачем. Не только Неведову — никому. Мне бы только то успеть выполнить, что я наметил, во что верю, за что, если надо, голову положу.— Он еще больше, казалось, развеселился.— Что бы потом ни случилось, мне, полагаю, повезло. Не стыжусь я себя, не озираюсь, а это очень здорово. А что еще замечательней, время я наше чую, праздничное, необыкновенное. Хочу все, что есть сейчас, запомнить, сохранить. И это мое время, никем, ничем мне не навязанное. А ведь беда, если у человека просто выбора нет, и уродуется он, корежится от страха, как бы его не захлестнуло чужое, чуждое, что оказывается победительнее, мощнее отдельной человеческой судьбы.

Ёка молчала, и Федя вроде бы устыдился своего пафоса, непонятного и обидного, может быть, маленькой женщине с гладко причесанной головкой, которая тем не менее сумела ответить весьма достойно:

— Спасибо, Федя, за все, что ты для меня сделал. Но больше, мне кажется, не надо тебе приходиться к нам.

«К нам» было сказано без всякой нарочитости, легко, скороговоркой, что умный Федя сразу оценил. Поднялся, схватил с подоконника серого сукна кепку — и больше Ёка не увидела его никогда.

Лишь после войны, в пятидесятых, имя его вновь всплыло, объявились люди, знавшие его, и Ёка решила вспомнить: то время, куцую Федину фигуру, звучный его смех, а больше, охотней себя молодую, темное крапчатое бедное платье свое той поры, тяжелую массу волос, и полукруглый, выпадающий из гладкой прически гребень, и предвоенную энергичную Москву — в трамвайном звоне, в заботах, которые, к слову, никто не преувеличивал тогда,— и комнатенку в Леонтьевском, где она Дмитрия своего дождалась. И дождалась.

Да, он пришел — большой, тяжелый, в размокших от мартовской хляби ботинках; снял их и прошлепал к дивану, точно отсутствовал пару часов. Сел. А она заметалась: хозяин вернулся! Не объясняться, не оправдываться — к себе, в свой дом вернулся...

Один этап в их отношениях, так сказать, завершился. Новый начался. Но, пожалуй, как раз со следующего витка появились у Ёки

визгливые интонации, скандальность, заносчивость, что особенно в глаза бросалось, когда Дмитрий Неведов оказался на виду.

Предсказания Феи Долгова тут не сбылись. И насчет Ёки Федя просчитался, можно сказать. Ёка в супруге своем не разочаровалась. Напротив. Все ту же захлестывал ее страх потерять, упустить Неведова — влиятельного, представительного, вальяжного. Федя в способностях его сомневался? Да знал бы Федя, что за Неведовым теперь подъезжает казенный автомобиль, кабинет у него просторный и предбанник с секретаршей, недостаточно, правда, уродливой. Ох, господи, до чего беспокойно, тяжело... Дмитрий, почему ты так груб? Что значит не хочешь слушать? Я имею право сказать, я тоже в конце концов... Я не скандалю. Я хочу объясниться. Глупости, не слышит никто. Ну вот я шепотом говорю. Не уходи! Ах так... Не беспокойся, осколки сама вымету. Да я все сейчас разворочу! Ты жизнь мою растоптал, ах я дура, дура...

Маленький Кеша не раз просыпался от подобных криков, как в свое время его отец. А утром Ёка была хлопотлива, заботлива. Завтракала семья чинно. Профессор Неведов утирал крахмальной салфеткой рот. На середине стола стояла синего стекла вазочка со свежими цветами.

Ёка любила уют. Когда профессор отбывал в институт, она до блеска вылизывала квартиру. Кеша при сем присутствовал, хотя поручений ему никаких не давали. Ёка отводила душу, рассказывая внуку о своих огорчениях, о детстве, о прошлом — о том, что все больше отдалялось, но тем ярче светило ей.

Маленький Кеша слушал. У него была большая тяжелая голова с неровной макушкой, вялая улыбка и сумрачный взгляд серых, словно бы сонных глаз. Он еще не осознал вполне своей неуклюжести, но двигался медлительно, с опаской, точно боясь наткнуться на невидимые препятствия. А чаще в угол куда-нибудь забивался и глядел оттуда таращась. В спальне у бабушки над туалетным столиком по обе стороны зеркала висели фотографии в одинаковых рамках: она сама молодая, в накинутах на плечи мехе, а на другой, увеличенной и потому не очень четкой, Юрий, ее покойный сын. Отец Кеши.

Кеша отца плохо помнил. Отцовское, мужское для него воплощалось в деде. Бабушка на деда кричала, дед отмалчивался, пока тоже не взрывался. Однажды Кеше стало даже страшно за деда. Вечером у них началось, бабушка дверьми хлопала, потом в кабинет деда вбежала и с порога: «Ты и Юру загубил!» Дед из-за стола поднялся, побагровел жутко. «Замолчи! — прохрипел. — Сейчас же замолчи, иди-отка несчастная».

Но хотя бабушка на деда нападала, Кеша чувствовал, что власти у нее ни над чем нет. И с ним, с внуком, она ссорилась, как малолетка: обижалась из-за ничего, плакать уходила в свою спальню. Кеша являлся туда ее утешать, целовал с неловкостью и вместе с тем покровительственно. От бабушки пахло пудрой и сигаретами. Курила она много. С отчаянной какой-то жадностью затягивалась и заминала в пепельнице окурки.

В свои немолодые годы Екатерина Марковна, стоит отметить, очень неплохо выглядела, подтверждая поговорку, что маленькая собачка до старости щенок. А если пускаться в подробности, она обладала точным вкусом, подсаживающим ей свой, не совсем обычный стиль. К любой одежде надевала длинный легкий шарф, концы которого постоянно теребила, то на спину отбрасывая, то разглаживая на груди. На запястьях бренчали, соскальзывая то вниз, то вверх, многочисленные цыганистые браслеты. А платье носила темные, подчеркнутые строгие, но облегчающие ее все еще ладную фигуру. Густая с проседью челка низко опускалась на лоб, затылок же подстригался очень коротко, почти по-мальчишечьи, и весь ее облик был отмечен

вызывающим сочетанием юношеской резкости и лукаво-сентиментальной кокетливости.

Пожалуй, что являлось для Екатерины Марковны характерным, что могло и вызвать любопытство и раздражить, так это постоянное неосознанное невинное ее притворство. Всегда и во всем. Естественность полностью отсутствовала в ней, как у иных чувство юмора. Но подозревать ее в заведомой лжи было бы несправедливо. Больше того, капризные интонации, гримасничанье, ломанье вполне выражали ее существо, доверчивое и авантюрное. Люди доброжелательные называли ее чудачкой, фантазеркой, а более критически настроенные пожимали плечами, недоумевая, как может Неведов жить с такой супругой. Впрочем, и доброжелатели и недоброжелатели близко к Екатерине Марковной не сходились. Она сама точно черту провела вокруг своего дома, и за той чертой ее не интересовало почти ничего.

Муж и внук — вот что ее целиком поглощало. Но профессор Неведов органически не переносил суеты, шума, излишков эмоциональности. Он сам оборудовал свой кабинет, завесил окна тяжелыми шторами, забаррикадировался книгами, стопками лежащими на столе, на креслах, на полу, не говоря уж о массе их, выстроившихся на полках. И мало кто, войдя в сие святилище духа, догадывался, что тут прячется слабохарактерный лентяй. Эта тайна была известна, пожалуй, лишь сотрудникам его, но не в их интересах оказывалось ее разглашать. Профессор Неведов всех устраивал, потому что мало во что вникал. Под его началом бездельники бездельничали, а люди энергичные, честолюбивые занимались тем, чем хотели, с рвением и довольно успешно, руководствуясь собственными задачами, планами, нисколько не связанными с общим делом.

Общее дело? А может, его и не существовало вовсе под крышей того достаточно комфортабельного здания с яркой черно-белой вывеской справа от парадной двери, за которой у теплой батареи сидел вахтер-пензионер, единственный, может быть, кто выполнял там свои обязанности не за страх, а за совесть.

Вахтер Пал Семенович был ровесником директора института Дмитрия Ивановича Неведова, но по болезни, вызванной последствиями ранения, выбыл на пенсию гораздо раньше его.

Утром, в десять часов, Пал Семенович наблюдал, как в институтский двор въезжала «Волга» с фигуркой оленя, выгнувшегося в прыжке на черном лоснящемся капоте. Дверца распахнулась, с переднего сиденья профессор Неведов вылезал. Неторопливо. Шел, слегка ссутулясь, к подъезду. Пал Семенович приветствовал, и вошедший директор с ним здоровался. Тепло и со значением, что, как Пал Семенович отмечал, всегда отличало людей почтенных. А ведь иной раз приносило в институт всякий сброд, от которого Пал Семенович и полагал своим долгом обороняться: бородатых и патлатых разного пола, но одинаково бесстыдно-самоуверенных, которые на верного стража и взглянуть забывали, но уж тут он, как стена, на пути у них вырастал, и пробить эту стену оказывалось весьма непросто.

Другое дело Дмитрий Иванович. Уж ему-то было о чем задуматься, и ему ученую рассеянность Пал Семенович простил бы. Так нет, профессор Неведов никогда не обижал невниманием вахтера-пенсионера, воодушевляя его с еще большим тщанием, еще зорче, еще строже выполнять свои обязанности.

Только вот никак не предполагал Пал Семенович, что как ему самому одиноко, скучно дежурить при гардеробе, так и профессору Неведову тягостно, грустно сидеть в директорском кабинете. И не подремлешь, потому что в любой момент может распахнуться дверь и появиться клокочущая от интриг, жажды мести, сил неизрасходованных Матильда, новый секретарь. Как ни старался, Неведов никак не мог к ней привыкнуть: каждый раз при виде ее вздрагивал. Правда, она не только его утрашала. Находя себя на редкость обольститель-

ной, Матильда алчно ухмылялась, обнажая множество острых акульных зубов, глядя при этом не мигая с беспощадным выражением терзаемого голодом хищника. Ее впалые щеки покрывала кирпичного тона пудра, а лошадиное лицо обрамляли тугие, щипцами завитые локны, напоминающие парик.

Приблизившись к директорскому столу, Матильда с обходительностью опытного палача выкладывала перед Неведовым бумаги, каковые он в трепете подписывал. Когда она исчезала, вздох облегчения вырывался у него.

Появление Матильды в институте и утверждение ее в должности секретаря директора доказывали, что и взбалмошной Екатерине Марковне есть чем гордиться. Матильда! — это было свидетельство одной из немногих Ёкиных побед.

А для профессора Неведова худшего испытания и придумать было нельзя. Кроме того, его утомляло многочасовое сидение в кресле. Дома в своем кабинете можно было бы на диван прилечь, что он и делал по обыкновению, в тишине, уюте. «Дмитрий Иванович работает!» — клич Ёки пресекал все попытки вторжения к нему. Неведов расслаблялся, вытягивал из-под подушки клетчатый плед, укладывался поудобнее и...

Он читал. Наслаждался самим процессом — перелистывать одну прочитанную страницу за другой. Бесконечно, пока дрема не охватывала. Так младенец сосет грудь и сам от груди отваливается, засыпает.

Неведов посасывал леденец. За окном, неплотно задернутым шторой, снег плавно падал — ну разве не благодать? Еще бы усилие сделать, до стола дотянуться, вытащить из фарфорового, в разводах стаканчика остро очиненный карандаш — пометку можно сделать, даже выписку. В предстоящей научной работе это очень бы пригодилось. Кабы не лень...

Но, безусловно, лень все же превозмогалась. Откуда бы тогда взялись труды? А они были, имелись у профессора Неведова. С очень длинными, сложными, не всем понятными названиями, занимающими титульный лист чуть ли не целиком. Объем, правда, получался скромный. На полке, специально предназначенной для авторских экземпляров, неведовские книжки гляделись тощенькими. Но Ёка, верная жена, и в этом видела заслугу мужа. «Да если бы,— говорила она,— Дмитрий Иванович не был таким обязательным, если бы умел отказывать, когда просят, не отрывался бы столь часто от творчества ради общественных дел, да он бы горы свернул с его-то знаниями, опытом!» На самом-то деле все обстояло совершенно иначе: заседания, совещания, конференции, поездки выручали Неведова. Но ему самому уже начинало казаться, что, будь у него больше времени, он бы действительно создал что-то крупное. Поэтому, войдя в образ, произносил досадливо: «Что ж, опять ехать придется, и снова день пропал. Невозможно сосредоточиться».

Случались и волнения: где отведут ему место — в президиуме или в общих рядах. Впрочем, Неведов излишним тщеславием не страдал. Инстинкт подсказывал, что лучше посередке отсидеться, тыл прикрыв и не вылезая вперед. Красоваться у всех на виду небезопасно. Придется рано или поздно высказаться. А он не то чтобы опасался, просто не любил брать на себя лишние хлопоты. Хорошо, что его назначили директором: в качестве заместителя он долго бы не продержался, не вынес бы беспокойства.

Так вот возникло и укрепилось мнение о скромности Неведова. А его молчаливость свидетельствовала, казалось, о мудрости. Замечания же, которые он вскользь бросал, безусловно доказывали обширность его познаний, что соответствовало действительности. Интересы Неведова были разнообразны, он читал все подряд, в памяти его хранилось множество сведений, но это был пассивный мертвый

груз. Какого-то толчка, импульса недоставало Неведову, чтобы толком и с пользой распорядиться накопленным богатством. А что мешало? Равнодушие, вялость? А может, эгоизм? Ведь чтобы приняться за дело, следовало отказаться от привычного времяпрепровождения, всерьез испытать свои силы — то есть перестать себя щадить. Но это был риск. Неведов же рисковать остерегался. Чутье — тайное, подспудное — нашептывало ему: не торопись, не отступай от знакомой роли. Поражение, неудача надолго темным пятном ложатся, а будучи на руководящем посту, свою репутацию надо беречь.

И отзывались о Неведове уважительно. Безмятежное его благодушие располагало к нему людей. А когда надо, он умел держаться с достоинством, солидно, что позволяло возлагать на него разнообразные поручения: где-то поприисутствовать, встретиться с кем-то, поdiscутировать даже, не нарушая установленных границ. Словом, не вникая, не влезая глубоко, вполне могло создаться впечатление, что у профессора Неведова в самом деле широкое поле деятельности и очень он занятый, ответственный человек. Благодаря же хозяйственности Екатерины Марковны в доме профессора всегда вкусно, сытно кормили, что тоже шло во благо, укрепляло репутацию. Поэтому когда маленький Кеша у бабушки с дедом частично поселился, окружающие полагали, что мальчик воспитывается в исключительно благоприятных условиях — интеллигентная атмосфера и все есть.

Их дом был выстроен в начале пятидесятых. Восемьэтажный, основательный, крашенный в серый мглистый цвет, с квадратным внутренним двором без единого деревца. Над ним тогда торчали лишь колокольни двух церквей, одной действующей, другой занятой под склад, впоследствии, правда, отреставрированной. Перед действующей церковью находился сквер — там собиралась детвора со всей округи.

Это было замечательно, когда начинался, нарастал колокольный перезвон, и в торжественном его сопровождении снег мягко падал, пропал, вновь появлялся то у одного, то у другого фонарного столба, и санки скрипели, снежки шлепались, никого не задевая, — игра велась безобидная, на радость себе и другим.

В том сквере Кеша впервые увидел Лизу. Рот у нее был прикрыт носовым платком, засунутым под края вязаной белой шапочки. Одни глаза торчали, большие, зеленые, и в них стояли слезы. Лиза крепилась, давилась и, не удержавшись, заходила мучительным кашлем. Она казалась толстой, а может, ее одели очень тепло. Она не двигалась, стояла, держась за руку пожилой тети. Кто-то сказал: «Когда у ребенка коклюш, его не выводят туда, где другие дети». Тетя, сопровождавшая Лизу, распрямилась, выкрикнула, ни к кому конкретно не обращаясь: «А где же выгуливать? Доктора сказали — надо. И карантин прошел. Так-то!»

Кеше жалко стало Лизу. Он видел, что ей стыдно и что платок намокший лезет в рот, а у тети, ее приведшей, лицо твердое, плоское, а поверх пальто надета лиса с болтающимися лапками и злой узкой мордой.

Скрипнув валенками по искристому снегу, он шагнул нерешительно. И сказал, осмелев: «Меня зовут Иннокентий. А тебя как?»

Почему-то захотелось ему назвать себя этой девочке по-взрослому, не так, как его окликали дома. Но она не ответила. Заиндевшей варежкой сердито потерла глаза. Мохнатый помпон на ее шапке качнулся и, казалось, прозвенел колокольчиком. Кеша ждал. Тетя с лисой, по-своему оценив ситуацию, взяла девочку за руку, повела куда-то. Но та вдруг вывернулась, отдернула ото рта платок: «Лиза я! Ли-за». И снова рядом со своей тетей засеменила, маленькая, толстая, с мохнатым помпоном на белой шапочке, покачивающимся туда-сюда.

На этом знакомство их прервалось. И продолжилось лишь после большого перерыва. Тоже зимой. Кеша в ту пору носил цигейковую ушанку с кожаным верхом, рябое долгополое пальто, а шарф поверх воротника его заставляли повязывать. Новенькие галоши оставляли четкие следы на снегу, и Кеша успел разнообразные узоры вытоптать, цепочкой, лепестками, кружась, на одной ноге прыгая, пока бабушку у подъезда ожидал.

Теперь он бывал в этом доме лишь в субботу и в воскресенье. С началом занятий в школе жизненный распорядок перестроился сам собой: он жил уже с мамой, а к бабушке с дедом приезжал гостить.

И отъедался, блаженствовал, купался в неге. С мамой он ощущал себя постоянно настороже. Мама, как только Кеша от бабушки съехал, принялась искоренять последствия прежнего воспитания. Раньше она в основном наблюдала, запоминая, накапливая в себе возмущение. Как наставник Ека действительно, пожалуй, была не сильна. Но разве она не помогала как умела невестке? Люба заканчивала аспирантуру, потом работу себе подыскивала, потом работала — Кешу готовенького передала ей в руки. Пожалуйста, воспитывай, расти. Сын уже первоклассник, школьник.

Но, к сожалению, у Любы и теперь оказалось множество отвлекающих от сына проблем. Хотя она, конечно, старалась. Руки ликовыми чернилами пачкала, писала в тетрадку палочки, училась складывать на счетах. Утром, неподкупно строгая, совала в рот Кеше ложку с рыбьим жиром, он отплевывался, и она его честно бранила. Рубашку заправляла в штаны, переводила через дорогу в школу, отучала в постели печенье грызть, рисовать на обоях, задники на туфлях затаптывать, ковырять в задумчивости нос.

И — срывалась: «А ну закрой сейчас же рот! До чего же вид у тебя придурковатый. И это мой сын!»

«Мой сын» произносилось недоуменно, горько. А временами Люба к отчаянию была близка, глядя на непропорционально большую шишковатую голову мальчика, наблюдая его неуклюжесть, неловкость, туманный дремотный взгляд. «Закрой рот! Закрой рот, тебе говорю!» — кричала и впивалась ногтями в свою ладонь.

Кеша понимал. Понимал, что виноват и как трудно маме. Мама ведь замуж собралась. На сей раз уже совершенно серьезно.

Разумеется, в доме профессора Неведова это событие обсуждалось. Но Кеша в разговорах взрослых не вникал. Ему нравились бабушкины пирожки с капустой, крохотные, поджаристые. После пирожков подавался цыпленок табака. Кеша расправлялся с ним мгновенно. Бабушка сердобольно глядела на него: «Умница, Кеша. Компот вот вышей, умойся, оденься, и пойдем с тобой гулять».

И в тот раз он, сытно, хорошо отобедав, ждал у подъезда, когда бабушка соберется, выйдет к нему. Ждал долго. Екатерина Марковна на людях появлялась исключительно во всеоружии: с длинным шарфом, брэнча браслетами, непременно на высоких каблуках и с дымящейся сигаретой, которую она держала на отлете. Ронялись перчатки, сумочка — Кеша бросался поднимать. Бабушка кидала погасшую сигарету и прикуривала новую.

Так, пройдя от подъезда два шага, они столкнулись с красивой веселой женщиной, вылезавшей из такси со свертками, сумками, авоськами, донести которые понадобилось бы, верно, рук десять. Но женщина, удивительно ловко распределив свою поклажу, мизинцем прихватив обвязанную крест-накрест коробку с тортом, двинулась легко на высоких, как у бабушки, каблуках, пропустив вперед себя девочку, которая тоже что-то тащила. «Маша!» — сказала бабушка. «Ека!» — откликнулась женщина. И обе они радостно заулыбались.

Кеша сразу узнал девочку. Хотя она держалась как незнакомая. И одели ее на этот раз как-то чудно: в капор, отделанный мехом, пальто с пелериной и с муфтой, необходимой, наверно, чтобы по-

лучился ансамбль, но которую в тот момент ей, бедняжке, пришлось придерживать подбородком.

Так она стояла, скособочившись, капор сполз, выбилась рыжая прядь волос, а мама ее продолжала улыбаться, беседуя с Кешиной бабушкой.

...Нет, кажется, она существовала рядом всегда. Ни начала не было, ни продолжения — всегда она шумела, топала, хватала что-то без спросу, набивала конфетами рот, а когда исчезала, делалось то-скливо, пусто.

Ее родители въехали в серый мгlistый дом тогда же, когда и профессор Неведов с Ёкой. И квартиры они получили однотипные, только в разных подъездах. Но когда Кеша стал бывать у Лизы, он точно переносился в другой город, другую страну, другой мир. Там все старались перекричать друг друга, куда-то спешили, опаздывали, разрывались на части, но глаза при этом упоенно блестили и в выражении лиц мелькало что-то плутовское. Эмоции захлестывали, все на всё реагировали бурно и вместе с тем как бы не совсем всерьез: сердилась, отчитывала мама Лизу и вдруг прищуривала хитро глаз, и Лиза, только что обиженная, надутая, нахлобучивала отцовскую кепку и пускалась в дикий пляс.

Такие же комнаты, такие же стены, но ощущение возникало, что очень тесно, вещи всюду и множество людей. Потому, вероятно, что живущие здесь обладали загадочной способностью объявляться одновременно в разных точках квартиры: Лизина мама, Мария Дмитриевна, кормила младшего сына в кухне, но ее же голос из спальни слышался, где она говорила с кем-то по телефону, и в тот же момент она, на табуретку вскочив, хлопала в детской форточку.

Этим же свойством отличались и Лиза, и домработница Шура, и даже Слава-карапуз. Только у главы семьи, Павла Сергеевича, имелось обратное отличие: его не было ни слышно, ни видно нигде. «Папа в тресте. В управлении. В командировке. Задерживается...» — роняла Лиза привычно. И тем не менее, несмотря на столь частое отсутствие в доме отца, а может, кстати, именно по этой причине, домочадцы постоянно ссылались друг перед другом на его авторитет, уповали, грозились, что вот когда он придет...

Ни Лизе, ни Кеше еще не приходило в голову, что воспитание, при котором кто-то из родителей представляется идеальным, безупречным, а кто-то будничным, изученным до последней степени, свидетельствует об очевидном перекосе в распределении обязанностей между матерью и отцом. Но кто виноват, что в человеческой судьбе так мало места остается для ж и з н и, — обязанности, необходимости жмут со всех сторон, убыстряя и без того скоротечное существование. Так что, пожалуй, не стоит разбираться, кто из супругов больше или меньше вложил в воспитание детей. Тем более что характер формируется не только тем, что его окружает, но и тем, что противопоставлено привычному окружению, что контрастностью своей и влечет.

Нередко Кеша оставался у Лизы обедать либо ужинать. Там на большом раздвинутом столе всегда стояли коробки с конфетами, печеньем, начатый и недоеденный торт. Когда подавали, скажем, суп, сладости в сторону отодвигались, но время от времени кто-то что-то хватал, грыз, лакомился, словом.

Кеша наблюдал. У Лизы в семье безалаберность уживалась с железной дисциплиной, основывающейся на беспрекословном подчинении всех домашних Марии Дмитриевне. Бунт подавлялся мгновенно, даже не окриком, а взглядом, властным, повелевающим. И вместе с тем, хотя Марию Дмитриевну боялись, все удовольствия, развлечения, праздники ожидалось именно от нее. Умела она дарить, веселиться, радость находить в самых будничных, казалось, ситуациях. К примеру, в мытье окон весной: шум, гам, неразбериха, кавардак

полный, все бестолково носятся по квартире с тазами, тряпками, стеклами в результате оказываются довольно мутными, но это — с о б ы т и е, и его страстно переживают всей семьей. А уж праздники обставлялись со всей пышностью, щедро, с полным пренебрежением к какой-либо экономности, умеренности. Возможно, объяснялось это тем, что Лизина мама, как и большинство из ее поколения, хорошо жить стали недавно и хотелось утвердиться в своих новых возможностях, успеть их вкусить, наверстать упущенное.

Кеша запомнил походы в театр под предводительством Лизиной мамы. От нее и они заряжались лихорадочным оживлением, так что когда подходили к театральному подъезду, голова от волнения кружилась, все в тумане радужном расплывалось, точно они перегрелись и вот-вот хватит их солнечный удар.

Гардероб, номерки, программки, путаница, пугливые вскрики, лица растерянные. Наконец-то уселись, в ложе либо в партере, и гигантская люстра жарко надвигалась, как пылающий метеор, пока вдруг не начинала меркнуть — раздвигался занавес. Потом антракт — и снова путаница, спешка. Чрезвычайно важным представлялось занять одними из первых очередь в буфете. Лизина мама набирала пирожных, бутербродов, точно им предстояло тут неделю прожить. Торопились, глотали и снова мчались в зал. В следующем антракте новая задача: в туалет попасть. Лиза в одну сторону бросалась, Кеша в другую — и кто быстрее. Уф! Отбывали домой вымотанные, обалдевшие, переполненные впечатлениями, в которых сам спектакль как-то даже терялся. Но праздник, праздник-то все равно состоялся, да!

Кеша с удовольствием бывал у Лизы в доме, но вот что рыжеволосая хохотушка Лиза в его бабушке нашла — это для него оставалось загадкой. Дети обычно любят ходить в гости: естественная потребность сменить обстановку. Но тут замечалось иное, большее. Лиза, набив карманы сушками, которые всегда находились в запасе у Ёки, не чувствовала себя вполне удовлетворенной, пока бабушка Кеша, слегка поломавшись, не начинала, усевшись в низкое креслице, бесконечный рассказ, как она сама выражалась, о д н я х м о л о д о с т и.

И непоседа Лиза замирала. Кеша сидел тут же и скучал. Россыпь фотографий, которые Лиза с увлечением изучала, он сам уже десятки раз видел. Но ведь и Лиза не впервые вглядывалась в усытые или бритые лица, и ей подсказок не требовалось, как на групповом школьном снимке отыскать покойного Юрия, и объяснений она наслышалась, почему на одной из фотографий кусочек выстрижен — шутник какой-то неудачно и не совсем даже прилично щелкнул Ёку, но хотелось оставить пейзаж как память о великолепном редкостном отдыхе вместе с Дмитрием Ивановичем. Тут обыкновенно Ёка вздыхала, а у Кеша каждый раз появлялось желание спросить: «И что, вы тогда не ругались?»

А один снимок Ёка почему-то всегда приберегала под конец. На площадке, где стояла плетеная округлая мебель, невысокий лобастый человек в расстегнутом белом кителе, в сдвинутой на затылок белой полотняной фуражке глядел, прищурясь, куда-то далеко-далеко. Будто что-то сосредоточенно высматривал, позабыв, что его снимают.

Этот снимок, Ёка произносила скороговоркой, случайно сохранился. И отнимала у Лизы карточку как-то даже ревниво, хотя другие, тоже весьма ценные свидетельства, оставались лежать веером на скатерке, покрывающей круглый стол. Но не могла же она, Ёка, признаться детям, чем стал для нее за прошедшие годы низкорослый большоголовый человек. И почему так получилось, что все чаще она вспоминает его, малейшие детали восстанавливает встреч, разговоров, в которых при ее-то прежней глупости все важное мимо ушей проскакивало, а задерживались лишь мелочи, пустяки, но и их она бережет теперь как драгоценность.

Нет, разумеется, даже если бы она вовремя узнала правду, ничего бы в их отношениях не изменилось. Но боже мой, слов нет, какая непростительная расточительность! Выгнать, указать на дверь — и головы не повернуть, не кивнуть на прощание... А щедрее, умнее, ярче ей никто больше не повстречался. Пусть бы он был. Был! А с остальным она, честное слово, справилась бы...

Ерунда, конечно, но сейчас, когда она старуха, бабка, ей представляется, что в ничьей жизни она не была так нужна, как в его. Хотя то, что Федя тогда о Неведове сказал, ясное дело, ревностью диктовалось. И простиительно, понятно... А потом с Федей беда случилась. Дмитрий Иванович знал, но с ней, с женой, не поделился. Когда она спросила о нем, раздраженно вскинулся: «Впутывать еще и тебя?!» Тоже понятно. Только Федя, ей думается, счел бы нужным сказать. Хотя... Другая, трудная у мужчин жизнь. И она ни на чем не настаивает, ни в чем не раскаивается, только, верно, удивительное это счастье — жить с тем, кому ты интересна и кто интересен тебе. Всегда.

А однажды, когда дети, стоя коленями на стульях, фотографии, разложенные на столе, рассматривали, мелькнула у нее ненужная, нелепая, чудовищная мысль: а может, случись все иначе, и Юрочка был бы жив...

Лиза с Кешей проветривались во внутреннем дворе серого дома, прыгая по очереди в сугроб спиной, раскинув руки, — в какой-то миг это походило на полет, и их игра не наскучивала им.

— А может, ты к бабушке переедешь? Вместе будем в одну школу ходить, — сказала вдруг Лиза.

— Перееду? — Кеша спросил. — Зачем?

— Ну... — Лиза замялась. — Может, у бабушки тебе лучше будет.

— Почему?

Лиза глядела на него как-то по-новому, взросло, как будто зная то, чего он не знал.

— Почему? — он переспросил.

— Мало ли, — произнесла она деланно небрежно. — Бабушка тебе родная, дедушка родной, а муж твоей мамы — чужой.

Ему было двенадцать, ей одиннадцать, но он догадался, что она куда внимательнее вслушивается в разговоры взрослых: дома у нее, верно, говорили... Он поежился, ему неприятно стало, что обсуждают его мать.

— Кеша! — окликнула она его. Глаза у нее сделались совсем зеленые, виноватые. — Кеша, мы к тебе сейчас пойдем или ко мне?

— Как хочешь, — буркнул он.

Хотел бы, да не мог на нее сердиться. Сразу она казалась беспо мощной, несчастной, если кто-то за что-то ее осуждал. Ее надо было непременно одобрять, восхвалять, во всем ей подчиняться, но когда-нибудь, раздумывал он, все же следует ее проучить. Как-нибудь в другой раз...

И с Ёкой она держалась свободнее, естественнее, чем он, родной внук. Его Ёка раздражать стала: ее подчеркнута торжественная любовь, ее обиды, сочетающиеся с навязчивостью, действовали теперь на него угнетающе. И даже вкуснейшие пирожки с капустой не доставляли уже прежнего удовольствия. Ему мешало сопровождение: вздохи частые Ёки, ее исподлобья на деда взгляд, недоговоренности их, невысказанные, но и забываемые взаимные упреки — все это сделалось вдруг для него зримо, и не хотелось глаза от своей тарелки поднимать.

Ну, дед — тот сохранял ореол учености. Книги интереснейшие имелись у него в библиотеке, кое-что он давал Кеше читать. Да и льстило все же его положение, серьезность, солидность и все то чисто мужское, в чем Кеша давно ощущал нехватку.

Отчим оказался недурен. Добродушен, смешлив, широк, но с ним не получалось сблизиться. И не хотелось.

«Игорь!» — так он однажды, обворожительно улыбаясь, представился, и, по-видимому, приятельски-необязательный стиль в отношениях с пасынком вполне устраивал его.

Он занимался переводами с английского и французского, толкался с утра до вечера дома в пижаме, шлепанцах, небритый, но очень неплохо зарабатывал. А Люба служила. Со службы постоянно названивала домой. Кеша видел, как Игорь разговаривает с его матерью — прижав телефонную трубку плечом к уху и продолжая кофе себе варить или ботинки чистить, что-то мыча, явно отлынивая от требовательных расспросов. А как-то при длительной такой беседе он взглянул на вошедшего Кешу, заговорщически ему подмигнул, и Кеша в ответ улыбнулся — растерянно, жалко.

А примерно раз в месяц Ёка ездила с ним на кладбище. К отцу. И он об одном только молил — чтобы она не причитала, не повторяла в слезах: «Юра, Юрочка...» В нем тогда все точно затвердевало, и он чувствовал себя злым, черствым, сам себя стыдился, но слезы Ёки почему-то именно так действовали на него.

Он любил мать, но и с ней у него не получалось. Он видел, что она занята, видел, знал ее отношения с отчимом, но ему полагалось не видеть и не знать. Это очень мешало, вынужденное такое притворство. Он вообще-то смирился, что так надо, что так ему следует себя вести, но ощущение возникало, будто он в паутине, в путах липких каких-то, не может вырваться, освободиться и приходится как бы подглядывать, подслушивать, а ему тошно, плохо.

Только, пожалуй, при встречах с Лизой облегчение наступало. Ее беззаботность и на него действовала: она настолько во всем была другая, что он удивлялся, улыбался и веселел.

Но, кажется, она нисколько не догадывалась, отчего он во всем ей потакает. Смеялась над ним, дразнила, полагая, что он все стерпит, и вовсе не задумывалась: почему? А он глядел на нее покорно серыми зыбкими глазами и просто радовался. Чему? Он и сам не знал.

...Пока они в лифте поднимались, Лиза ничуть уже виноватой себя не чувствовала. Надела в прихожей Ёкины домашние тапочки, обернулась, scomандовала: пошли! Будто это к ней пришел он в гости.

А в самом деле, ей и не казалось, что она здесь в гостях. Там, где ее любили, она осваивалась мгновенно, но даже намек на неполное ее приятие, тень враждебности были для нее непереносимы. Она точно заболела в глазах, жухла, делалась туповатой, неповоротливой. И огрызалась без видимой причины, как неприрученный зверек. Такое случалось с ней и в домашней обстановке, среди близких. А вот у Кешиной бабушки — никогда.

С теми, кто ее любил, Лиза бывала очаровательна, остроумна, находчива, но обнаруживала опасную склонность садиться на голову и — опля! — погонять, вонзая шпоры в бока — той же Ёке, которая, к примеру, жалуясь на головную боль, отказывалась играть в лото. «Примите пирамидон», — советовала Лиза, с трудом сдерживая нетерпение. «Ну давайте я голову вам платком обмотаю» — эта фраза звучала почти угрожающе. «Так будете тогда лежать играть!» — на такой приказ Ёка возражать уже не смела.

Кешу подобные сценки забавляли. Он еле сдерживался, чтобы не зарыдать от хохота, когда Ёка по Лизину настоянию доставала наряды, давно уже никем не носимые, шляпки, платья, расшитые стеклярусом, веера из страусовых перьев, слежавшиеся, измятые, побитый молью мех и, поддавшись на Лизины уговоры, надевала поочередно то одно, то другое, прохаживалась, показывала, как в ее время танцевали танго, фокстрот, — Лиза же с полной серьезностью вни-

мала всему, пока вдруг не спохватывалась, что страшно голодна и, если найдется что перекусить, она, пожалуй, еще ненадолго останется.

Разумеется, гостеприимная Ёка тут же накрывала на стол, из-за поспешности не снимая свой маскарадный костюм. Лиза, жуя, прихлебывая бульон, нахально подхихикивала, и Кеша в свою очередь развлекался, находя и ситуацию и участников ее пресмешными, но себя самого считая только зрителем.

Ничего обидного, недостойного в отношении своей бабушки он в поведении Лизы не видел. Но однажды вдруг подумалось: а не поступает ли Лиза так же и с ним? Мысль эта его насторожила. Он постарался припомнить недавние их разговоры, прогулки вдоль набережной Москвы-реки. Но то, что он сам ей рассказывал, мгновенно из памяти извлекалось — он много читал, запоминал многое, — а вот что говорила Лиза?

Зеленые ее глаза, ямочки, нос короткий — вот что он всегда помнил. Ему исполнилось четырнадцать лет.

В школе стали поговаривать, что Кеша — зазнайка. Хотя придраться к нему оказывалось нелегко: спокойный, вежливый, но снисходительная, вялая его ухмылка задевала. «Неведов! Изволь слушать! Это неуважение — когда педагог материал новый объясняет, глядеть в окно».

Медлительно, подчеркнуто, казалось, неуклюже он привставал с парты. «Простите», — невнятно произносил. И в послушании этом таилось что-то оскорбительное. Но отчитывать, наказывать — за что?

Он умудрялся нахватать в полугодие двоек, и тут бы можно было его прищучить. Но после строжайших предупреждений, грозных пророчеств относительно его беспросветного будущего, позорящего как его самого, так и его семью, ученик Неведов блистательно отвечал на все вопросы по любой теме, будь то ненавистная ему химия или история, которую он обожал.

Но почему тогда он заваливал даже любимый предмет? Временами на него будто столбняк находил. Он слова не мог вымолвить, терзал отвратительно свои длинные, бескостные, казалось, пальцы, стоя перед классом у доски. И выражение лица у него было угрюмое, застывшее и настолько бессмысленное, что это даже пугало.

Он сам догадывался, какое у него в такие моменты лицо. Но сделать с собой ничего не мог. Лица сверстников расплывались, покачивались, точно он проносился мимо на карусели. «Я болен... вероятно», — выдавливал с трудом из себя.

Ему не верили. Он сам себе не верил, а приступы неожиданной неодолимой тошноты случались тем не менее периодически. Он научился даже предугадывать их, хотя был не в состоянии объяснить, по каким симптомам. Настроение? Ну разве не вздор? Настроение — оно у всех, с каждым бывает.

Да, настроение, упорствовал он мрачно. Иногда хочется говорить, думать, иногда — нет.

Опытная классная руководительница вызвала на беседу мать восьмиклассника Неведова, Любовь Георгиевну. «Ваш сын, — сказала, — способный мальчик, но ему не хватает прилежания. — Подумала, помолчала. — Ваш сын... редкий, необыкновенный мальчик. — И сокрушенно добавила: — Надо что-то делать с ним».

В комнате с приспущенными шторами, куда слабо проникал дневной свет, Любовь Георгиевна лежала на тахте, измученно, приглушенно всхлипывая, а Кеша сидел в изножье постели и глядел в пол.

Мама снова поссорилась с Игорем, снова Игорь собрал вещи и ушел, снова мама плакала, а только раздавался телефонный звонок — срывалась, хватала трубку.

Кеша приносил маме чай, бутерброды, но она не ела, не пила. А какие слова говорить, чем ее утешить? Прошлый опыт подсказывал, что рано или поздно Игорь позвонит. Но когда Кеша этими соображениями поделился с мамой, она скривилась страдальчески: «Не в этом дело. Ты не понимаешь. Все ужасно... ужасно все».

Кеша действительно не понимал. Да, у Игоря имелись недостатки, не требовалось ни времени, ни проницательности особой, чтобы раскрыть их. К тому же сам Игорь с простодушием баловня жаловался на свои слабости и, надо признать, несмотря на юмористические обороты, раскаивался, казалось, вполне искренне.

Длинноногий, высокий, породистый, с мягкими, шелковистыми, вьющимися слегка волосами, он был хорош несколько девичьей красотой, нежной и хрупкой, что с годами, к сожалению, грубеет.

И, безусловно, неглуп. Работая, в своем деле сноровист, что вовсе не противоречило его беспечности во всем остальном. В его натуре начисто отсутствовала та основательность, которая, по уверениям женщин, является стержнем семейной жизни, но от которой они, кстати, сами нередко отказываются ради других, довольно-таки сомнительных соблазнов.

А Игорь, казалось, даже не понимал, что значит постоянство, верность: в ответ на обвинения, упреки он, как капризный ребенок, старался еще больше нашалить. И аргументы, доводы в свою защиту приводил ребяческие, говоря мягко: «Я против насилия... Я, может, даже вот потому... Когда меня к чему-то принуждают, во мне все сопротивляется, и пусть это неразумно, а я делаю наоборот».

Но вот в своих профессиональных делах он проявлял и похвальную осмотрительность и житейскую умудренность. Выполнял то, что ему заказывали, не рисковал, не ввязывался никогда в предприятия непроверенные, неапробированные. Там, где ему намекали на туманность, он ясность нужную в текст вводил, даже если это противоречило авторскому замыслу и стилю. А профессиональное свое самолюбие утешал сознанием, что сам он знает, как должно быть. И какие книги захватили бы сейчас читающую публику, и что помогло бы в данный момент пониманию современности и прочее, прочее, что он, значит, прекрасно себе представлял, но над чем, так сказать, был не властен и ради чего, соответственно, не имело никакого смысла копыя ломать.

Да и вообще — тут он проникновенно ладонь к груди прикладывал, — какие могут быть претензии ко мне? Кто я? Я — пешка. Родители, дай бог им здоровья, языкам иностранным обучили, могу на хлеб себе зарабатывать. А остальное, глобальное — туда и не суюсь. Кишка тонка. Куда мне! Ни в экономике, ни в идеологии я, по сути, ни черта не смыслю.

Подобные разглагольствования Кеша от Игоря слышал нередко, но в то, что не удовлетворяло в отчине его мать, старался не вникать. Ему даже иногда казалось, что мать излишне к Игорю придирчива. Любит человек футбол, любит пиво — зачем же ему удовольствие отравлять? Оскорблять зачем, твердя о скотском-скотском-скотском эгоизме? И жалко маму было: зачем она так, по пустякам, себя растрачивает, зачем?

Но Кеша не знал, что не могла забыть его мама: прошлого, прежнего отношения к себе. Вот что ее мучило теперь, терзало: отношение к ней покойного Юрия, отца Кешы. Она не могла не сравнивать, не сопоставлять. Да, она теперь полюбила сильнее, чем в молодые годы. Но только ее самое любили уже не так...

По субботам уроки заканчивались раньше. Кеша садился в троллейбус, занимал место у окна. Ехать предстояло минут сорок, что по тем временам считалось расстоянием: Кеша с матерью жил в Черемушках, а серый глыбастый дом находился в центре старой Москвы.

Он приезжал к бабушке с дедушкой, входил в квартиру и сразу брался за телефон. Простой, давно назубок выученный номер. Правда, Лиза не всегда оказывалась дома, не всегда, значит, ждала его. Хотя, если он ее заставлял, в ее голосе звенела радость, несколько даже чрезмерная, будто он пропал как долго и вот наконец объявился — ура! А ведь разлука их не была длительной, раздумывал Кеша про себя. Что же, Лиза, значит, о существовании его забывает, если не видит?

И говорить с ней по телефону ему сделалось не так легко, как прежде. Он волновался, подыскивая слова, а Лиза щебетала, ничуть вроде не задумываясь.

Она подурнела к шестнадцати годам. Взрослое озабоченное выражение не шло ей, как не шла, ей самой мешала излишняя телесная округлость. Она эти новые свои формы как бы еще не обжила, чувствовала себя обремененной ими, боясь и вульгарной показаться и стеснительной. Но для Кеша, как и раньше, именно в недостатках Лизы раскрывалась ее особенность, неповторимость, несходство с другими. Ровесниц ее красила обретенная женственность, и свою юность они вспоминали впоследствии как самую счастливую пору. Лиза же с ханжеской, надуманной, казалось, брезгливостью относилась к невинным еще интересам сверстников, осуждая в них то, что и неразумно и преждевременно было осуждать. Но в ее подчеркнутой строгости замечалось что-то и ревнивое, даже завистливое: она чувствовала себя очень одинокой. Только Кеша, общение с ним восстанавливало прежнюю ее уверенность в себе.

Поэтому когда Кеша звонил, она с радостью откликнулась. Одевшись наспех, выбегала во двор, и они шли гулять. По тем же набережным, тем же переулкам, мимо по-зимнему насуспенных домов, алчно втягивая ноздрями пестрый воздух, в котором волглые пробензинные пары мешались с запахами парикмахерских, столовок, ажиотажной магазинной тесноты — все это при общей немоте звенело, пыхтело, клокотало, будоража, торопя их, подростков, — и уж не превращались ли их вроде бы бесцельные прогулки в побег?

Все напоминало им детство. Лишь они одни умели восстанавливать друг в друге прошлое и разом огорчаться переменам — извне, вкруг. Заметив обнесенный забором старинный особнячок, с беспокойством обегали его кругом, стараясь выяснить: уж не приговорен ли он к сносу? Или садик, уничтоженный разросшимися корпусами зданий, в их памяти жить оставался: там астры сине-лиловые на клумбе росли, там бегали они от скамейки к скамейке, там под кустом одичавшей сирени Лиза когда-то зарыла «секрет».

И все же моментами Кеша замечал отдаление, отчуждение Лизы. Взгляд у нее тускнел, и она уже явно не слушала, о чем он рассказывает. А ведь он старался не отягощать ее тем, что всерьез занимало его самого, отбирая из громоздкого вороха своих познаний только то, что считал замечательным. Что-то из мира животных, что-то из мира растений. Или какой-нибудь эпизод, вычитанный в исторических хрониках. Лиза удовлетворенно хмыкала, но в ее глазах Кеша видел снисходительное сочувствие, чего он ждал меньше всего.

Но он-то со стороны себя не видел, хотя и тщательно вглядывался в себя, озабоченный, так сказать, психологическими аспектами, соображениями нравственного, морального порядка, полагая с наивным высокомерием, что внешний его облик почти ничего не значит: да, он не красавец, а значит, окружающие должны ценить в нем иное.

Но окружающие — и Лиза в том числе — обладали самым обыденным зрением, отождествляющим приятное, милое глазу с истинно ценным, а в непривлекательности находящим доказательство неполноценности, неудачливости в широком, неограниченном даже смысле, ибо, как известно, лицо человеку дается однажды и навсегда.

Вместе с тем, как известно также, при определенных усилиях, затратах и, что немаловажно, нацеленности на данный процесс и при некрасивом лице, некрасивом теле можно добиться известного эффекта, снискать успех. И вот тут для Кеша не находилось оправданий — безразличие его к вещам, к одежде все границы перешло. Шапка с разлетающимися ушами на его непомерно большой голове выглядела безобразно. Короткие штанины при ходьбе вздергивались, открывая небесного цвета кальсоны, неаккуратно заправленные в носки. А пестрый лисялый шарф он поверх воротника завязывал, как его приучили в детстве. Прибавив к этому неискоренимому привычку ногти грызть, ухо теревить в задумчивости, можно было судить о впечатлении, им производимом, — в тот, скажем, мартовский весенне-зимний день, когда он с Лизой гулял по набережной Москвы-реки. Когда она, говоря мягко, его удивила: они шли, разговаривали, и тут, завидев кого-то, Лиза вырвала свою руку из его руки. Злобность — вот что его в ней поразило. Поздоровались со встречными, прошли дальше, но он слышал, как она дышит — отрывисто, тяжело. «Ладно. — Внезапно она остановилась. — Домой пойду. Надо». И побежала, оскальзываясь.

Редко, правда, но случалось им бывать вместе в компаниях. Собирались где придется, разумеется, не ради еды, и выпивка еще не считалась обязательной, но некоторые уже парочками приходили.

Девочки кавалеров своих стерегли с не меньшей зоркостью, чем потом мужей. На чужую собственность, впрочем, и не посягали, интерес угасал мгновенно, если тот с той пришел: выбор опять же еще предоставлялся широкий.

Объединяли в основном танцы и разговоры. В танцах ни Кеша, ни Лиза не оказывались сильны, отсиживались: он от равнодушия, она из гордости. Но вот в беседах участие принимали оба.

Кеша давно открыл, что Лиза не умеет спорить. Любое возражение на нее действовало, как красная тряпка на быка, а к концу вечеринки она успевала переругаться чуть ли не со всеми. И однажды так вышло, что даже Кеше было трудно ее защитить.

Интересы с возрастом, естественно, расширяются, и понятно, что они, семнадцатилетние, обсуждали между собой и те вопросы, что касались всех, что составляли сущность духовной атмосферы того времени, но к самостоятельному осмыслению которых еще не были готовы.

Отголоски услышанного — вот что были подобные дискуссии. Каждый мальчик и девочка убеждали, как правило, своих сверстников в том, во что сами уверовали со слов родителей или их знакомых. А круг был определенный, определенная среда — интеллигентская, так можно назвать при всем разнообразии, разнородности ее представителей. Оттенки как раз и выявлялись, когда дети начинали говорить, рассуждать, — оттенки в социальном, общественном, психологическом плане, облеченные в конкретные формы существования людей: в большей или меньшей жилплощади, в наличии или отсутствии машин, дач. С осознанием своей удачливости или неудачливости отцами, с благополучной или неблагополучной атмосферой внутри семьи.

Кроме того, помимо не ими сотворенных мнений, мальчики и девочки, споря, выказывали свой характер, способность учуять, за что ратует большинство, и соответственно переориентироваться или же биться одному против всех, отстаивая собственную точку

зрения — точнее, родительскую, семейную, — ошибочную, возможно, о чем иной раз мелькала догадка, но гордость, упрямство не позволяли с прежней позиции сойти: пусть все разом накинется, пусть припрут к стенке, все равно — не-ет!

Так обычно вела себя Лиза. Но в тот раз в ее поведении даже Кеша ничего доблестного не мог найти.

Собрались у Кости Парфенова. Кеша припоздал. Когда вошел в комнату, у Лизы уже пылали щеки и нижняя губа подрагивала — значит, он решил, с кем-то уже поцапалась.

Родители Кости отбыли на просмотр в Дом кино, вернуться должны были часов в одиннадцать, к этому сроку молодежь и собиралась разойтись. Кто-то, впрочем, сказал, что в Доме кино ресторан имеется и наверняка предки раньше двенадцати не явятся, но благоразумный Костя это предположение не поддержал и разговор перевел на кино, на последние фильмы, прошедшие на экранах, кто что видел, на кого какая картина впечатление произвела.

Смышленный, с обезьяньим подвижным личиком Гена Гостев авторитетно высказался о Неделе итальянских фильмов, на которой никто из присутствующих, кроме него, не сумел побывать. Гена, порадовав собравшихся пересказом острого сюжета, щегольнул напоследок вычитанной из рецензии оценкой итальянского кинематографа в целом и уже со спокойной душой занялся ухаживанием за Милочкой Озенко, предоставив трибуну следующему оратору. Но желающих высказаться оказалось много. В возникшем шуме, разноголосице некто выкрикнул фразу, сразу насторожившую остальных. И увильнуть этому некто не удалось, хотя он не предполагал, что все на него накинется, не готов был к продолжительному спору — ляпнул, и все. Но на него наседали: «Нет, ты повтори, Воробьев. Повтори свое заявление и позицию свою объясни».

Какая неделикатность, жестокость... Откуда у Миши Воробьева могла взяться позиция? Ее и у папы его не было, известного театрального критика, а Миша, близорукий, щекастый, только щурился, растерянно моргал, пытаясь уклониться от возмущенных, разгоряченных противников.

Тут-то и встряла Лиза. «А он прав, — громко, призывно произнесла. — Я тоже считаю, что эта картина вредная, а кроме того...»

О Мише Воробьеве мгновенно забыли. Пусть он и первый кинул камень, но с ним сражаться было неинтересно. Лиза — другое дело. Ее зеленые суженные глаза, губа подрагивающая, пренебрежительные интонации сами по себе возбуждали такую неприязнь, что опровергать хотелось все, что она отстаивает. В то же время она со своей стороны готова была противоречить всем их доказательствам: они ей не нравились, эти ее сверстники, не нравилось, что они вперед нее научились казаться взрослыми, и удовольствие в этом новом состоянии умеют находить, и гордятся, и кичатся, и все вместе радуются, ей же к ним прибиться трудно, и не может, не хочет она их настроение, веселье их разделять.

Она — одинока... И жизнь представляется ей мучительно сложной, требующей от человека сил, храбрости, агрессивности даже — иначе не выдержать, не устоять. Надо успеть самой куснуть, чтобы тебя не искусили насмерть, а страшно, боязно, и нет настоящей уверенности в себе, но только бы об этом не узнали!

Она испытывала себя на прочность, училась выстаивать против всех — пусть как щенок против таких же щенков, — но в дальнейшем, казалось ей, такие навыки пригодятся.

Впрочем, вспыхнув, она уже плохо соображала. Фильм, о котором она отозвалась как о вредном, ее смутил, восхитил и раздосадовал одновременно, и в оценке его, ею высказанной, сказались и отношение ее к собственному будущему, вообще к жизни, о которой у

Лизы при ее неопытности, диковатости, упрямстве сложились в ту пору однобокие, плоские, жестко-тенденциозные понятия. То есть и жизнь в ее восприятии казалась весьма вредной, опасно-сомнительной, возмутительно влекущей. О чем она, в иной, правда, форме, и заявила, вызвав насмешки более искушенных сверстников.

Да, она, Лиза, оказалась смешна, а такое в этом возрасте считается верхом унижения, и, ослепнув от бешенства, она выкрикнула: «Уж больно вы расхрабрились! Распустили языки... А безответственная болтовня тоже наказывается — забыли?»

Тишина... Все почувствовали, что перейдена грань. И Лиза струсила, когда так от нее отшатнулись, но она не умела ни раскаиваться, ни сдаваться, продолжала напирать, хотя никто уже не желал ее слушать. Она хотела бы объясниться. Хотела бы удержать их внимание, растолковать, что в запальчивости воспользовалась не теми словами, а правда ее — вы слушаете? — заключалась, возможно, в том, что вольнолюбивые речи (как она чувствовала) должны непременно подкрепляться глубоким, широким осмыслением всей панорамы, четким осознанием того, что было, что есть и что надо сберечь, иначе вольнолюбие, просто как инстинкт, утратит благородство, бесплодным станет и даже разрушительным.

Включили магнитофон. Гена Гостев вытянул с дивана Милочку, и та будто нехотя обняла его за шею; первая часть вечера, можно считать, завершилась, публика приступила к танцам. Лиза вышла в переднюю. Кеша, схватив с вешалки пальто, ушанку, нагнал ее уже в подъезде.

...Днем весеннее солнце растопило снег, лужи натекли, а к вечеру вновь подморозило. Встречный ветер драл щеки, перехватывал дыхание. Лиза и Кеша шли пригибаясь, упрятав лица в воротники.

— Не огорчайся,— сказал наконец Кеша.— Хотя, мне кажется, ты не совсем права,— решил он со всей осторожностью продолжить.

— «Не совсем, не совсем»...— передразнила Лиза.— Скажи лучше: дура!

Сбоку он поглядел на нее: рыжая челка заиндевела, зеленый глаз сердито косил, и что-то она нашептывала самой себе по-старушечьи. Ему захотелось крикнуть: «Да ерунда все! Смотри, лед почернел, вот-вот тронется. Весна, слышишь?» Но он заставил себя к тому вернуться, что волновало сейчас ее.

— Видишь ли,— он сказал,— полагаю, подобный разговор небесполезен... ну как опыт. Так следует воспринимать. Что о тебе подумают, что скажут — не имеет значения. В данном случае. Не всегда то есть. Зато, так сказать, урок.

— Ха! — она хмыкнула.

И он удержался от уточнений. Судя по всему, она не понимала и не готова была понять его намеки. Ему же хотелось предостеречь. Не убеждать, не уговаривать, предостеречь только. «Тебе же с людьми жить»,— чуть не сорвалось у него, но он помнил, с кем имеет дело.

— Я знаю, знаю! — внезапно воскликнула она.— И это просто позор... Они ведь подумают, что я такое дома слышу, что из-за отца...

— Не подумают,— вставил он торопливо.

— Подумают! Наверняка. А я — дура. Не могу объяснить, какой отец честный, мудрый, порядочный, и меня просто выводит из себя, когда кто-то, ни о чем кроме собственной выгоды, собственной пользы не помышляющий, судить берется. В своей норке отсиделся, а вот теперь...— Она задохнулась от негодования.— Понимаешь, если человек пост большой занимает, чем-то руководит, значит, по их мнению, он правдой поступает. Душой кривит — вот что они подразумевают. Я чувствую. А попробовали бы сами!

— Успокойся! — сказал Кеша строго. — Твой отец не нуждается в защите. — Хотел добавить: «Тем более такой неумной», но смолчал. — Павел Сергеевич не лгал и не лжет, и это все знают. С ним можно кое в чем не соглашаться — тут ты, надеюсь, не станешь возражать? Но если репутацию иметь в виду, то у твоего отца она безупречна. А ведь какие годы были — это же надо соображать. Досталось людям, ничего не скажешь. Почти не удавалось передохнуть. Читаешь, слушаешь, и даже горло перехватывает. Себя спрашиваешь: а ты бы сумел? И если честно, не знаю. Не знаю.

— Мне тоже так кажется, — она пробормотала, притихнув. — Поэтому когда позволяют себе небрежный, неуважительный тон...

— Ты преувеличиваешь.

— Нет! — Снова она готова была взорваться. — Пусть я кажусь грубой, пусть меня в ограниченности обвиняют, но когда обсуждают самое главное, ясность прежде всего нужна.

— Согласен, — он кивнул, — только...

Только дальнейшее он слотнул. Сробел. Поберегся от новой вспышки гнева. Устал, не хотел... Предчувствие весны охватило его вдруг, как озноб. А Лиза самого важного, что он хотел ей сказать, все равно бы не уловила. Но тут будто помимо воли, вопреки своему же решению он приостановился, удержал Лизу за локоть. Недоуменно она обернулась к нему.

— Ладно, — он сказал, — послушай. Ты не виновата, я тебя не виню, но действительно есть очень серьезные, сложные, болезненные даже проблемы, и над ними надо думать. Но рассуждать о них так, как ты рассуждаешь, в условиях сытости, благополучия, бестактно. Б е с т а к т н о, поняла?

Она не закричала, не вырвала своей руки, не бросилась бежать одна по пустынной улице. Широко распахнутыми зелеными блестящими глазами она глядела ему прямо в глаза.

— А ты? — спросила тихо. — А у тебя условия другие?..

Смерть профессора Неведова произошла внезапно. Конечно, возраст, но при его холерной внешности, упорядоченности, размеренности существования, привычке заботиться о своем самочувствии, вслушиваться постоянно в себя никто не ожидал, что одного удара окажется достаточно.

Красивый, строгий, величавый лежал он в гробу в квартире с распахнутыми настезь дверями. Кто-то приходил, уходил, душно пахло цветами, занавески взлетали на окнах от сквозняка: был май.

Кеша сидел в кабинете, глядел на книжные полки. Веки резало от бесконечных, неостановимых слез: он и не предполагал, что сможет так плакать. Ноги не держали его, он не в состоянии был к телефону подойти. На звонки отвечала Екатерина Марковна. Выдержкой своей, деловитостью бабушка потрясла внука.

В больнице на глазах у Кеши она провела ладонью по лицу покойного. Кеша, сгорбясь, у подоконника стоял, кусая губы, чтобы не разрыдаться. Пригнувшись к кровати, Ека посидела и встала, прямая, собранная. Успела в черное одеться, сама всем распоряжалась. Скорбным, но очень рассудительным тоном переговорила с врачом. Приехали домой. Она под села к телефону, пролистав записную книжку, принялась методично обзванивать разные инстанции, добиваясь, чтобы и тут и там опубликовали некролог и чтобы все было как положено.

Взгляд внука, верно, ее беспокоил. На вертящемся табурете она повернулась лицом к нему. «Это мой долг, Кеша, — произнесла с почувствованной торжественностью. — Дмитрия Ивановича не должны забыть. Память о нем, его труды — теперь это наша с тобой забота. Сохранить и продолжить то, что он не успел, — единственное, что мне

сейчас силы придает. Вот ради чего буду жить. И ты мне поможешь, правда?»

Он возразить не посмел, кивнул, пятясь в распахнутые двери дедовского кабинета. На диван рухнул, растопыренной пятерней заслонил лицо: только не думать, не вспоминать, ничего не видеть и не слышать.

После похорон, многолюдных поминок Ёка спросила Кешу: «Ты переедешь ко мне?» Терзаясь, он пробормотал: «Я не могу. Как же мама?» Ёка платок прижала ко рту, согнулась, маленькая, взъерошенная: «Мне страшно, страшно здесь одной. Я не выдержу. Сил нет, да и зачем все?»

Он понял: теперь ей хуже даже, чем было ему. К нему боль сразу пришла, а после отпускала постепенно. На нее же хлопоты, распорядительства разные подействовали как наркоз, притупляя, размывая жуть происшедшего. Скорбное празднество, обрядность, сопутствующая смерти, люди, лица, голоса тоже на время отвлекли, опоили горьким хмелем, и только сейчас она, Ёка, к себе самой возвращалась. В свой, ни с кем не делимый ужас. Одиночество, вдовство — вот что ее ждало.

Кеша обнял ее колючие старческие плечики. Ёка плакала, всхлипывая, вздрагивая. В ту ночь он остался у нее ночевать. И на следующую тоже.

Теперь Кеша жил, как в детстве, на два дома. Но с Лизой почему-то встречаться они стали совсем редко. Иной раз он видел в окно, как она спешит через двор, но что-то мешало ему открыть форточку, высунуться, окликнуть ее.

Лиза снова резко переменилась. Можно сказать, материнский ген все-таки восторжествовал в ней. Она не вела теперь с мальчишками принципальных споров, догадавшись, что мудрее, а впрочем, и проще влюблять их в себя. И вновь она смеяться обучилась — восторженно, заливисто, сияя глазами, пуская в ход свои ямочки. Кеша ею любовался, да и Ёка пела, что придет время — Лиза всех сведет с ума, но, по-видимому, восхищение их не все разделяли.

Как-то Кеша вернулся в серый глыбастый дом из школы (теперь, когда он частично переехал к Ёке, на дорогу опять уходила уйма времени) и, войдя в переднюю, услышал голоса: привычные женские и мужской, незнакомый.

Кеша разделся, пригладил торчащие на его неровной макушке вихры, заглянул в кухню с порога: за столиком у окна пили чай с сушками Ёка, Лиза и какой-то молодой человек.

Его звали Сережа. Он учился на факультете международного права, носил очки в красивой квадратной оправе, и взгляд у него был насмешливый. Но, как впоследствии Кеша убедился, насмешливый взгляд отнюдь еще не свидетельствовал об остроумии. Сережа производил впечатление человека знающего, осведомленного, но какие-либо высказывания его припоминались с трудом.

Лицо у Сережи было продолговатое, гладкое, бледное, и когда он стоял рядом с Лизой, то оказывался выше ее на полторы головы. Себя лично Кеша старался не подвергать такому сопоставлению, хотя чисто внешние впечатления в целом его не волновали. Но в данном случае... Данный случай, кажется, попадал в разряд особых.

В Сережином присутствии Кеша затихал. Он вообще не отличался говорливостью, а тут и вовсе смолкал — не от робости или сосредоточенности на чем-то своем, внутреннем, а потому что внимательно, пристально, одержимо даже вникал в объект. Своими зыбкосерыми, полусонными глазками в припухлых веках он — будто ощупью, будто осязая черту за чертой — обегал лицо, затылок, черепную коробку Лизиного кавалера и, быть может, проник и внутрь, в мозг.

Во всяком случае, исследование его не затянулось: Кеша свой диагноз поставил — и больше Сережа его не интересовал. Интересовала, как и прежде, Лиза, ее поведение, отношение ее к изученному уже Кешей объекту, ну и как сам объект на Лизу реагирует, как свое отношение к ней проявляет.

Поразительно! Кеша еле удерживался, чтобы не хмыкнуть — возмущенно, но и не без тайного злорадства. Ну и чудеса... Дурень этот Сережа ни черта не понимал в Лизе. Не умел даже разглядеть ее зеленых прозрачных глаз, ее губ изогнутых, выпуклого лба, морщинку удивленную на переносье, рыжих тяжелых ее волос, да и вообще всего того, что Кеша, например, понял сразу. А этот студент, значит, снисходил, позволял собой восхищаться. Глядел насмешливо и тупо сквозь квадратные стекла очков на Лизу, на неловкие ее попытки пробиться сквозь его фактурность, броню самовлюбленности, мужского якобы превосходства, — свысока глядел и без проблеска милосердия.

Но и Лиза тоже... Свойство ее, известное Кеше с детских лет: сникать, жухнуть, глупеть в присутствии тех, кто ее не любит, — в отношениях с Сережей подтверждалось еще раз. Ни трезво оценить ситуацию, ни хитростью своей цели добиться она не умела. Первая влюбленность ее одурманила, и все же уязвленная гордость порой просыпалась в ней, брала верх над другими чувствами, и Лиза хамила, впадала в ярость, ссорилась, хлопала дверьми.

Но, как ни странно, выходки ее ничего не меняли. Аморфный, хотя и не лишенный определенной привлекательности образ студента-кавалера продолжал маячить по-прежнему, не отдаляясь и не приближаясь. Сережа, по всей вероятности, сам так наметил: невеста вроде бы на приколе, а отягчающих обстоятельств никаких. Он не рисковал. Он почтительно держался с мамой Лизы и в доме Екатерины Марковны, где его встречали приветливо, так как любили Лизу, и чаем поили, и даже баловали иной раз винцом. А при московском, не всегда благоприятном климате очень было неплохо иметь такое пристанище, уютное, без затей, абсолютно ничем не обременительное.

Разве что Ёка, уж коли ее навещали, присутствовать хотела при разговорах, принимала в них посильное участие, хотя поначалу каждый раз минут на десять удалялась в спальню, ворча, что, конечно же, понимает — кому она нужна, старая старуха.

Но уходила она, как выяснялось, чтобы переодеться, предстать перед гостем как положено, или, по ее выражению, как надо быть. С дымящейся сигаретой, слегка подкрасившись, со взбитой челкой. Стоит отметить, однако, что это, несмотря на ее возраст, все не выглядело смешно.

И начинались рассказы о днях моей молодости, для Лизы по-прежнему притягательные, хотя, пожалуй, и по-иному: сюжет уже не занимал, но раскрывалась все больше сама Ёка, забавность ее, изобретательность, даже, можно сказать, одаренность, — раскрывалась судьба, в которой у этой одинокой женщины не реализовались природные задатки.

Смутные такие догадки мелькали у Лизы, когда она хохотала над Ёкиными гримасками, словечками, употребляемыми только ею и в местах абсолютно неожиданных, и вдруг что-то как бы в груди защемлялось: Лиза порывисто вскакивала и нежно, грустно целовала Ёку в висок.

А Сережа пил чай. Покуривал редкие в ту пору иностранные сигареты. Угощал ими Ёку. Когда Ёка тянулась к его зажигалке с сигаретой в напояженных губах, Лиза с улыбкой про себя отмечала, что, верно, действительно не властны над некоторыми натурами годы, да и вообще ничто не меняет их сущности. Но славный Сережа не разделял Лизиной растроганности, умиленности. В Ёке он видел скорей всего подверженную чудачествам старуху, обладающую хорошей

квартирой, а значит, входящую в определенный круг. Это он принимал в расчет, когда склонял аккуратно причесанную голову и касался губами морщинистой Ёкиной лапки.

Ёке — нравилось. Она не равнодушна оказывалась к обхождению, в особенности со стороны молодых людей, с которыми, она полагала, тоже молодеешь, светлеешь, набираешься сил. Тем более что родной ее внук Кеша отнюдь не располагал к беззаботности. Его присутствие не только не развеивало, а как будто даже сгущало тяжкую атмосферу одиночества в доме. Кеша закрывал дверь в кабинет покойного деда и читал. Ёка проходила мимо, обиженная невниманием внука. Какой же он черствый, думала, неужели нельзя прерваться, хоть немного времени уделить? Разве не понимает он, как трудно мне, тяжело? От жалости к себе она начинала плакать, приоткрывала дверь в кабинет и встречала бесстрастный, отчужденный взгляд серых сонных глаз. «Вот какой!» — под нос бормотала, удаляясь в кухню по коридору. Но все же не хотела отпускать Кешу от себя.

Он жил, разрываясь между матерью и бабушкой, и той и другой одинокой, так как Любовь Георгиевна к тому времени окончательно с Игорем рассталась, жила одна, а соответственно, и ей внимание Кеша требовалось, тоже она обижалась, капризничала, нуждалась в присутствии сына и неудовлетворенность испытывала из-за замкнутости его характера.

Кеша честно себя делил, честно выполнял обязанности сына, внука, но сам временами пугался холодности своей. Точнее, он все понимал, чувствовал, но не мог отреагировать так, как от него ожидалось. Язык у него не поворачивался произносить те слова, которые в его понимании следовало беречь для особых обстоятельств. Можно сказать, он скаредничал, но как бы поневоле, подчиняясь некоей власти, что руководила им. И власть эта принуждала его оставаться трезвым, как бы ни взбаламучена оказывалась душа.

Он оканчивал одиннадцатый класс, когда из роно явилась комиссия. Всех задержали после уроков.

Ученика Неведова в числе других спросили, кем он хочет стать, какую профессию собирается выбрать. Спросили в ожидании тайном, что он либо прочтет стихи, в сочинительстве коих его давно подозревали, либо назовет такой вуз, где обучают особенно редкой специальности, но, к удивлению и разочарованию собравшихся, он вяло, скучно произнес: «Меня интересует медицина». И сел, хотя никто его не отпускал — педагоги, ответственные лица не сочли еще, быть может, разговор законченным. Но что-то в поведении этого некрасивого юноши, в его интонациях, взгляде подсказало, что лучше от него отстать.

Кеша сидел, отвернувшись к окну, пока остальные с радостной готовностью делились своими планами на будущее. Как выяснилось, класс наполовину состоял из потенциальных киногероинь, дипломатов, ученых-изобретателей. Мечты других, хотя и были скромнее, тоже нацеливались, безусловно, в высоту. Только одна девушка призналась, что если срежется в Щукинское училище, будет поступать в педагогический. Разумница, она предполагала, что могут все же поражения случиться. Все прочие имели твердое намерение: победить.

Екатерина Марковна приступила наконец к воплощению обещаний, данных ею, когда умер муж. Для начала она решила разобраться в библиотеке, рассортировать ценное, избавиться от хлама, кое-что продать. Деньги подходили к концу: сбережений профессор Неведов оставил немного.

В качестве эксперта Ёка призвала Кешу. Чуть ли не сутки провел он, ползая на коленях у книжных стоп, кое-что пролистывал, над чем-

то замирал надолго. Ёка не мешала ему, не торопила, знала: в такой медлительности есть толк.

В результате Кеша заявил, что с каждой из книг расставаться жалко. Ёка взглянула на внука с укором: ну а на что жить?

Кеша понял. Отложил одно, другое полное собрание.

— Это пойдет,— жестко произнес.

— Как? — всплеснула руками Ёка. — Они ведь совсем почти новые, в прекрасных переплетах.

Кеша усмехнулся.

— Тут же брошюрки есть, тоненькие, растрепанные,— Ёка несмело предложила. — Зачем же всего Драйзера, всего Джека Лондона отдавать?

— Брошюрки обязательно сохрани,— строго приказал Кеша. — Это самое ценное, что дед собрал. Имей в виду. Что бы за них ни предлагали... Хотя, конечно, дело твое.

— Что ты! — Ёка воскликнула. — Книги — твоя собственность. Дмитрий Иванович завещания не оставил, но уверена, что он распорядился бы именно так. Но ты же видишь, обстоятельства вынуждают чем-то жертвовать. Можно, правда, сервиз кузнецовский продать. Или вазу саксонскую, а? Как ты считаешь?

— Не знаю, не понимаю я в этом ничего,— пробормотал Кеша, пряча дремотный взгляд. — Я, видишь ли, на «скорой» дежурить устроился, но обещал деньги маме. Больше взять неоткуда. Потерпи, если можешь, подожди, хотя, конечно, хорошо зарабатывать я все равно смогу еще очень не скоро.

— Да господи, милый,— Ёка растроганно улыбнулась, — разве об этом речь? Сейчас что-нибудь продадим, потом что-то еще, какая разница? Я о более важном просить тебя хочу. Хочу, чтобы ты помог мне разобраться в архиве.

— В архиве? — Кеша приподнял светлую бровь. — У деда был архив?

— Ну конечно! — Ёка откинулась гордо. — У всех ученых он есть, у всех, кто что-то значил, а Дмитрий Иванович... Не мне же тебе говорить! Сорок лет в науке, встречи необыкновенные, сотрудничество плодотворнейшее с... разными. Разумеется, письма, записки, заготовки на будущее, черновики... Не один том можно будет составить. Да что там, работа огромная предстоит!

Кеша слушал.

— На титуле будет значиться: Дмитрий Иванович Неведов,— продолжала Ёка развивать свои прожекты. — А в качестве составителей — ты и я, твои и мои инициалы.

Кеша поморщился:

— Ну это нет. Этого мне не надо.

— Как же? — Ёка пролепетала. — Сделаем как положено. Как надо быть. Да и что об этом! Память о Дмитрие Ивановиче, чтобы не пропала, не забылись его труды — вот главное, вот ради чего все. Да, согласен?

— Я посмотрю... Разберусь, подумаю,— уклончиво Кеша пробурчал.

— Но ты же внук! — Эту фразу Ёка произнесла, быть может, излишне напористо.

— И что? — Кеша мгновенно подобрался. — Это не влияет.

Нет, не зря он в медицину подался. Сидя за широким, просторным старинным письменным столом деда, покрытым стеклом, Кеша утверждался в правильности своего выбора вновь и вновь. Какое бессилие, муть эти гуманитарные науки. Однообразная надоедливая волянка: притянутость выводов, туманность, случайность оценок — кого-то признали, кто-то в безвестности повис. И разве могла быть компенсацией посмертная слава, если не понимали, не слышали, о

чем надсадно человек кричит? Впрочем, и криков из вялых этих изысканий тоже никаких не доносилось: гулкая отупляющая пустота. И в ней будто шаги чьи-то, мерные, тяжелые. Страшновато...

«Что же, и это дед мой писал? — точно просыпался временами Кеша.— Мой дед? У которого были теплые, мягкие, пахнувшие хорошим мылом руки? Мой дед, всеми уважаемый, высокий, большой? Мой дед, столько книг прочитавший и так мало, так плохо их усвоивший? Мой дед?!»

Месяц уже ушел на изучение архива. Как отравленный выходил Кеша из профессорского кабинета. Ёка с расспросами к нему не приставала. То, что внук молчал, она его усталостью объясняла. И ждала.

«А из чего она целый том слепить собирается?» — размышлял Кеша в кабинетной тиши. Откуда взять материалы, даже если наплевать на качество? Разрозненные короткие записки, чаще цитаты, а рядом фамилии, телефоны — суетная житейская трескотня. Вот что от деда осталось, как это ни жестоко. Еще наброски выступлений где-то с официальной трибуны, составленные из трескуче-чиновных фраз. Одно утешение, что, может, и не самим дедом это писалось, а он только произносил, теребя листочки, глядя завороченно в микрофон.

Бедный дед! Бедный горе-ученый Дмитрий Иванович! Как тяжело, верно, ему приходилось. А он так достойно, великолепно выглядел, когда разгибал с хрустом крахмальную салфетку! Но другие-то догадывались? Другие знали? Лизин папа, скажем? Он-то ведь нередко встречался с профессором Неведовым, выпивал с ним вместе, по душам разговаривал. Что же, выходит, жалел он Дмитрия Ивановича, щадил его? И речь Лизин папа произнес, когда годовщину со дня смерти Неведова справляли. Хорошо сказал, проникновенно. Правда, только о человеческих качествах Дмитрия Ивановича, о честности, порядочности его. О месте профессора в науке говорили другие. Но говорили же!

Да не влезать бы никогда в этот архив, послать бы его к черту! Зачем было душу себе травить? Чтобы потом самобичеванием заниматься? Мол, родной внук — и вот, пашенок, судит, ехидничает. Да ты проживи, испытай столько же — искушений, соблазнов, потерь. И после всего этого остаться в глазах людей приличным человеком — разве так уж мало? Ну не гигант, не титан мысли, извините, пожалуйста. Но не подсиживал никого, не давил, собирал редкие книжки — главная радость, — жил, словом, как умел.

Но ведь возглавлял, руководил, не отказывался от незаслуженного почета, власти?

А кто отказывается? Многие ли умеют объективно, бесстрастно себя самих оценить? Каждый думает: а почему, собственно, не смогу, почему не справлюсь? Попробую. Доверяют, так чего же отстраняться?

Кеша обхватил лоб ладонями. На столе под толстым зеленоватым стеклом лежали фотографии, помещенные туда еще дедом. Юноша в летней белой рубашке, с волосами, рассыпающимися на прямой пробор, — сын Юрий. Женщина в сарафане, с охалкой цветов у груди — Ёка в молодости. Снова юноша, снова женщина — та же. И головастый насуспенный мальчик — маленький Кеша. Семья...

Кеша хмурый вышел в тот раз из кабинета. Ёка быстро на стол накрыла, кофе сварила, подала. Кеша сидел, дергая, терзая мочку уха.

— Ну что? — Ёка не выдержала. — Интересно, правда?

Под его тяжелым мрачным взглядом она как бы даже пригнулась, но тут же привычным заботливым жестом придвинула ему хлебницу.

— Ничего не получится, — продолжал он давить на нее взглядом.

— Что? — спросила она, не поняв.

— Ничего стоящего в бумагах нет. Да я и изданное, кстати, просмотрел... — Не dokonчил, слотнул. — Впрочем, раньше, может, компиляции такие проходили, теперь...

— Что? — она выдохнула. — О чем ты?

— Пойми, — мерно, как автомат, продолжал он, — лучше, чтобы это поскорее забыли. А то переиздадут, начнут перечитывать, а не надо. Не надо. Вполне допускаю, что в памяти многих профессор Неведов остался как цельный, честный человек, и пусть такое мнение о нем сохранится.

Она глядела на него неотрывно.

— Короче, — он сказал, — архив прикрой. Забудь свою затею. Дмитрий Иванович Неведов на бессмертие не тянет, увы.

— Ты чудовище, — прошептала она.

— Возможно. Чудовище, — устало, почти обморочно повторил он.

Снова настала зима и снова приблизилась к своему окончанию. Кеша по-прежнему навещал Ёку, но что-то между ними надломилось.

Однажды он стоял у книжных полок в кабинете деда, томик Фета в руках держал.

— Я прошу тебя, — сказала из-за его спины неслышно вошедшая Ёка, — книг больше отсюда не уносить. Для меня это последнее средство к существованию, единственное подспорье.

— Как? — Он озадаченно обернулся к ней.

— Я знаю, вижу, книги из библиотеки исчезают. Заметила давно, но не говорила. Думала, сам поймешь. Не понял, значит.

От возмущения он побагровел, ладони стали липкие от пота.

— Я никогда...

— Отчего же? — она его перебила. — В сущности, все здесь твое. Но твоё, — она произнесла раздельно, — только после моей смерти.

— Зачем, — он поперхнулся, — зачем ты гадости говоришь?

— Не гадости — житейские вещи. Но сейчас не об этом. Допустим, ты не предполагал, что книги не только для чтения существуют, что книги — это еще и деньги. Для меня по крайней мере сейчас. Я их продаю и живу. А ты приходишь и уносишь. То там дыра на полках, то здесь.

— Повторяю, я ни разу не взял ничего без спроса.

— А зачем тебе, собственно, спрашивать? Раньше-то брал, читал. Но теперь я прошу тебя: не надо. Это последнее, что у меня есть. Сервиз кузнецовский продала, продала саксонскую вазу. Ты заметил?

— Нет! — отрубил он.

— А зря, — как бы поддразнивая, улыбнулась ему Екатерина Марковна. — Ты здесь вырос, мой мальчик. Это был когда-то твой родной дом. А теперь он рассыпается, расходится по комиссионкам. И ты даже не замечаешь ничего. Очень жаль... Вот и Лиза, — будто вдруг вспомнила Екатерина Марковна, — зеркало у меня недавно купила. Помнишь, на длинной ручке?

— Лиза? Зеркало?

— Да, а что? Ей понравилось, стипендию она как раз в тот день получила, а мне деньги были нужны, я и отдала. Ведь лучше Лизе, чем кому-то чужому. Правда? Почему ты, Кеша, так на меня смотришь? Я в чем-нибудь провинилась перед тобой? Что тебя так расстроило? Извини, дорогой, но ты как будто самых обычных вещей не понимаешь. И то не дозовешься тебя, не докричишься — сидишь как чурка, а то...

Он молчал. Лицо у него сделалось дремотное, тупое, взгляд ускользал. Ёка, всерьез уже обеспокоенная, придвинулась к нему.
— Кеша! — позвала. — Ты что? Да что с тобой?

Помимо ежегодных вечеров, устраиваемых Екатериной Марковной в память покойного Дмитрия Ивановича, где собирались его сорудники по институту, еще несколько близких людей, Кеша с Лизой почти уже не встречался. Как-то ранней весной она ему позвонила, сказала: давай в зоопарк сходим? День будничный, было ему чем заняться, но он согласился.

Договорились встретиться у метро «Краснопресненская». Он издалека ее увидел. Она стояла у табачного киоска в шубе из каких-то полосатых зверьков, которую носила ее мама, а после перешитой. И сапоги на ней были мамины, светло-бежевые, с пружками, броские. Лицо же по контрасту с этой дамской, с претензиями одеждой удивляло своей детскостью: Лиза казалась даже юнее, чем была.

У Кешы в горле сжалось, когда он увидел, как она озирается беспокойно. Неуютно, неловко, он сердцем понял, одной ей в толпе стоять. Он заспешил, она его заметила, кивнула, продолжая озиаться: «Сереза должен подойти, запаздывает».

Когда наконец он явился, двинулись к зоопарку. Кеша тут же уяснил, что идея совместной прогулки принадлежала Лизе. Сереза посмеивался, но милостиво позволял «Лизухе» чудить. Она потребовала мороженое — и получила. Впилась в брикетик зубами, хотя явно продрогла. Обманчивое мартовское солнце нисколько не грело, сугробы повсюду лежали, уток и не думали выпускать в пруд, а звери помещались в павильонах.

Безотрадное зрелище — зоопарк зимой. Никто будто не желал ото сна пробуждаться, жизнь ничем не манила, не соблазняла никакими радостями. Животные не реагировали ни на что, глядели равнодушно мимо принимающих к клеткам людей.

Все было очень печально. И Лиза виноватой, кажется, себя чувствовала, что погода не та, и звери не те, и прогулка не удалась. Пыталась развеселить всех, пробовала озоровать, но и шуба, бывшая мамина, ее стесняла, и, по-видимому, сапоги вдруг разонравились — она сникла, злиться уже начинала, вот-вот заплакать могла.

— Может, поедем ко мне? — предложил Кеша.

Приглашать их в свой дом ему еще полчаса назад показалось бы диким, но от бестолкового, безрадостного ничегонеделанья он устал, а удрать было неудобно.

— Вот здорово! Поедем! — Лиза обрадовалась.

— Ладно, — снисходительно усмехаясь, обронил Сереза. — Только в гастроном заскочим, винишко в утешение приобретем.

Квартира в Черемушках, где Кеша с матерью жил, не вызвала у вошедших никакого интереса, что Кешу все же задело. Хвастаться он не собирался, да и нечем было воображение их поразить, но ладно Сереза, а ведь Лиза тоже пришла сюда впервые, и хоть какое-то могло возникнуть у нее любопытство к жилищу, где друг ее детства жил. В доме у бабушки он только подлаживался, подстраивался к тому, что до него состоялось. Здесь же, где они с матерью вдвоем остались, он ощущал себя куда вольготней: повесил над письменным столом карту мира, лампу привинтил с металлическим гибким стержнем, на подоконник поставил горшок с кактусом.

Он хотел бы показать Лизе свои любимые книжки, что-нибудь, может, даже прочесть оттуда. Стихи?.. Иногда, оставшись один, он вслух повторял то, что надеялся когда-нибудь произнести в ее присутствии. И голос у него начинал дрожать, он задыхался. Это было

как безумие. Он видел, чувствовал: здесь она, здесь! Мозг пылал, сердце набухало, теснило грудь, такая переполняла его боль, нежность... И даже страшно становилось, что может сделать с ним его воображение. Ничего подобного в реальной жизни он никогда не испытывал.

И теперь. Лиза пришла, а ему было только неловко, беспокойно. Он не знал, как себя вести, как преодолеть свою вялость, заторможенность. Единственное, на что он был способен, так это, как всегда, наблюдать. Почти безучастно, будто со стороны.

Лиза, сняв в передней шубу, сразу в кухню рванулась, полагая, верно, что, так же как у Ёки, там центр всего — тепло, уют, полное раскрепощение. Но мама Кеша, Любовь Георгиевна, сл у ж и л а. Убегала из дома с утра, возвращалась поздно, и на какие-либо выдумки, украшения, совершенствования быта не оставалось ни сил, ни времени.

В кухне висели подвесные шкафчики, облицованные кремового цвета пластиком, возможно, небезупречной чистоты. На голом пластиковом же столе валялись хлебные крошки. Веник в углу стоял, стесанный от длительного употребления. В раковине отмокала скорородка. А что? Кухня — не будуар.

Лиза уселась на табуретку, втиснувшись между подоконником и столом, подперев кулаками щеки. Кеша нашел штопор, Сереже передал. Хлоп — и водрузили на стол бутылку дешевого кисловатого вина.

Лиза, избавив себя от ответственности за происходящее, скучнела все больше. Но зато заметно оживился Сергей. Кеша никогда прежде не видел его таким разговорчивым, свойским. Другое дело, что то, о чем Сережа говорил, его, Кешу, оставляло равнодушным. Не занимался он переписыванием дисков на магнитофон, имена мировых знаменитостей в эстрадном жанре слышал впервые, не знал, что в гастроном на Смоленской площади вермут итальянский завезли и что в одном вовсе даже непрезентабельном ателье вельветовые пиджаки шьют, ну точно как фирменные.

Он только слушал. Подсознательно его угнетала мысль, что и Лиза слушает, слушала, наверное, и раньше такое, откликаясь как-то на этот вздор. Как печально, как грустно, думал он, хуже даже, чем в зоопарке.

— Где у тебя телефон? Я позвоню, — сказала Лиза, выбираясь из щели между столом и подоконником.

Кеша проводил ее в комнату, прикрыл дверь. Вернулся на кухню. Сережа, вертя за ножку пустой бокал, задумчиво произнес:

— Понимаешь, трудное положение... — И посмотрел на Кешу, проверяя, верно, готовность его слушать. — Драмы, конечно, нет. Я в данный момент, как известно, на четвертом курсе. Но жениться пока не могу. Практика начнется, неизвестно, куда получу распределение. Словом, жениться рано. И что тогда? — Он кивнул на открытую дверь. — Иначе ведь с ней нельзя. Не только потому, что родители... — Он замялся. — Она сама т а к а я. — Усмехнулся. — Отчего получается не очень, знаешь ли, интересно.

Кеша проглотил в горле ком. Сережа продолжил:

— Но я должен вместе с тем звонить, появляться по субботам. Здороваться с ее мамой, гулять, зубами стуча от холода. Ну, в кино сводить, зайти в кафе. И в общем — надоело!

Он на спинку стула откинулся, зажав в зубах сигарету. Он был великолепен. Кеша представил, как Лиза за ним семенит, — представил почему-то совсем маленькой, в белой шапочке с покачивающимся туда-сюда помпоном, толсто, тепло одетую, с позорящим ее коклюшем. И зажмурился. Настолько нестерпимым показалось ему это

видение в присутствии Сережи. В ситуации, где Лизу унижали так, как никогда. Унижали и его, Кешу. Унижали жизнь, любовь, друзей. Унижали, опошляли то, чего он, Кеша, даже мысленно опасался коснуться. Он думать не позволял себе, что у Лизы с Сережей и как. А тут... а этот...

Кеша встал, отошел к окну. Глядел на улицу, машины, людей, восстанавливая в себе дыхание.

Лиза вошла, тоже к окну приблизилась. Он вздрогнул, когда она положила руку ему на плечо.

После посещения зоопарка они долго не виделись. Кеша ездил на Пироговку, усваивал пока элементарное в медицинской науке, готовя себя потихоньку к тому, что наметил давно. В дисциплинах, которым в тот период студентов обучали, практически не содержалось сведений, которые его особенно интересовали. Но Кеша и не ожидал, что его будут с ложечки кормить самым для него вкусным и полезным.

А Лиза училась в университете. У нее были другие интересы, другое окружение. Единственное, что их теперь соединяло, — квартира Ёки в сером глыбастом доме в центре старой Москвы.

Кеша знал, что Лиза частенько там бывает в его отсутствие: Ёка рассказывала, намекая, что вот Лиза ее навещает, жалеет, тогда как родной внук... Но, изучив Лизин характер, Кеша догадывался, что вряд ли ее посещения продиктованы только заботами о Ёке. Скорее Лиза сама в Ёке нуждалась, нуждалась в обхаживании, в принятии безоговорочном всей себя — и с придурью, с упрямством непрошибаемым, резкими сменами настроений, а испытывать на себе эти милые ее свойства не много находилось желающих.

А Ёка терпела. Вынуждена оказывалась терпеть. В конце концов взбрыкнет Лиза да и успокоится, улыбнется, а с нею веселее, светлее все же. Все же не одна...

В какой-то степени Лиза заменяла Ёке и внучку, и дочку, и подружку. Да что говорить, одна она для Ёки теперь и оставалась на целом свете родная душа.

И стоит ли удивляться, что, скажем, не Лизина мама, Мария Дмитриевна, а именно Лиза куда больше подходила теперь в собеседницы Ёке. У Марии Дмитриевны столько возникало хлопот — и муж, и дом, и дети, и разные-разные обязательства. Вообще люди счастливые, благополучные всегда несколько черствы, не так ли? Никто их, конечно, не винит, но разве знают они, как может душу вымотать бульканье воды в батареях пустой квартиры? Разве сумеют они вообразить, как страшно до жути бывает до туалета ночью добраться, за стены цепляясь, ко всему прислушиваясь?

Мария Дмитриевна по-соседски забегала к Екатерине Марковне, но Ёка видела, что не сидится ей. Чужой беде грех не посочувствовать, но когда полоса невезения затягивается, когда нечем конкретно человеку помочь да и посоветовать нечего — костыль ему нужен, ежечасная, ежеминутная опора в образе, скажем, бескорыстного, святого прямо-таки сострадальца, — когда сочувствие, понимание, внимание в малых дозах никак не могут излечить недуг, тогда даже самые отзывчивые утомляются. И — бегут.

Екатерина Марковна при хорошей погоде спускалась из квартиры, садилась у подъезда на лавочку, где установила свой наблюдательный пункт лифтерша тетя Клаша. Но и у тети Клаши личные дела оказывались порой важнее служебных, она снималась с дежурства, и Екатерина Марковна сидела на лавочке одна. Здоровалась, когда с ней здоровались, глядела, покуривала. Подъезжала иной раз машина, из нее выбиралась с пакетами, авоськами эгергичная, все еще красивая Мария Дмитриевна.

Как давно все было! Вместе Маша и Ёка ездили по магазинам, связи полезные устанавливали, обольщали заведующих, директоров, добывали дефицит, снабжали дом продуктами — жили, что называется, нос к носу, в одном ритме, в одной струе. Устраивались время от времени общие застолья, мужчины вышивали, закусывали, женщины болтали. Один круг, можно считать. Но как легко из него выпадают, оказывается. И как быстро о тебе забывают в том кругу. Слабы, неслышны твои вопли о помощи. Хотя люди вроде неплохие..

— Маша, здравствуй.

— Ах, Ёка! — Взгляд ликующий, и пристыженный немножко, и чуть лживый. — Воздух дышишь? А почему не звонишь?..

Хорошо быть счастливым! И вместе с тем тревожно. Потому что, когда есть счастье, всегда боязно, а как бы не пошатнулось, не треснуло вдруг оно. Счастливые люди беспомощны, так как ничего о себе не знают толком. Не знают, что выдержат, а под чем рухнут. Но, как правило, всё выдерживают, всё.

А Лиза, как и догадывался Кеша, приходила к Ёке, когда у нее неприятности случались, или просто маета. Дома сложная ее натура успеха не имела, дома от ее нытья, дурного ее настроения отмахивались, а если оскальиваться она пыталась, живо умели приструнить: это что еще такое, дочь, ребенок — и бунтовать смеет?! Какая разница, что взрослый почти человек? Именно что почти. Молчать!

Да нет, конечно. Прекрасные, заботливые были у Лизы родители. Не в них дело — в ней самой.

И до чего это было мерзко — ее характер, ее возраст! Поглощенность только собой и усталость — до тошноты — от себя же. А еще — да в первую очередь, конечно! — одиночество, почти звериное, не согретое ничем, никем. Не то что дружба, даже родственные отношения, казалось, меркли перед надвигающейся страшной тьмой: одна, всегда одна... И униженность жалкая от зависимости своей перед случаем, который ожидался жадно, страстно, каждый, любой момент. Увидьте меня, заметьте, слышите? Сейчас же! Нет уже терпения, сил нет.

А как стыдно... Всего. А чего не знаешь — особенно. И не ребенок, и не женщина, и не умница, и не красotka, а так, сырье, полуфабрикат — вот как Лиза чувствовала себя.

Зато Кеше казалось, что все в ней есть. Все уже было, когда они — сто лет назад — в сквере у церкви повстречались. Вчера. «Лиза я, — она обернулась. — Ли-за».

Теперь их вместе сводили в основном только поминальные обеды, устраиваемые Екатериной Марковной ежегодно. Из последних, уже можно считать, средств богатый стол накрывался. С рыбными, мясными блюдами, студнем, пирожками с капустой, которые Кеша в детстве так любил. Кузнецовский сервиз давно исчез, и все же сервировка при Ёкином вкусе казалась даже изысканной. Покупались специально цветы. Цветы приносили и пригласенные. Сотрудники института, где профессор Неведов директорствовал много лет.

Сотрудники (число их редело год от года) жаловались на теперешнего директора, вспоминали прежнюю вольготную жизнь при Дмитрие Ивановиче, превозносили его широту, деликатность, образованность — лили, словом, елей, а Ёка ни в чем так не нуждалась, как в похвалах Неведову. И чем слаще, приторнее они бывали, тем больше воодушевляли ее. Кстати, планы свои она не забросила, кое-что сделала уже...

Некоторые из сотрудников за прошедшие годы выросли, получили ученые степени, обрели известность, заслуженное вполне уважение. Эти скромнее держались: в годы правления Неведова они

были еще молодыми и сохранили к нему почтительность, запомнили его как авторитет. Другие, не столь удачливые, злобились, поносили нынешние институтские порядки, обвиняли начальство в придирчивости, мелочности: «Во все сует нос, а еще доктор наук! Да разве Дмитрий Иванович стал бы...»

Присутствовала там и Матильда, постаревшая, присмирившая, крепкая еще здоровьем, пенсионерка. Она-то и помогала Ёке во всех хлопотах, оставалась со стола прибрать, посуду мыла. А после они с Ёкой в кухне чаевничали, молчали, вспоминали — каждая о своем. Сдружиться они не могли, уж очень разные были, но одна в другой уважала, ценила преданность тому, кого обе по-своему любили.

А пока шло застолье и сотрудники вспоминали, расхваливали бывшего своего директора, Екатерина Марковна поглядывала победно на внука: вот видишь, мол... Он видел. И хотел бы сказать: и что? Что это доказывает? Разве я таких ценителей имел в виду? Имел в виду не дураков и не подхалимов. Да, ты права, им теперь подхалимничать не из-за чего. И все равно это вовсе не значит, что они искренни. Подхалимничанье — сильнейшая привычка, она сама выискивает подходящий себе объект. Уж кончилось, нет того, перед кем ползали, виляли. Но тогда... тогда хоть перед тобой — ради салата с крабами, ради пирожков с капустой. Привыкли, не умеют иначе жить.

Он знал, что услышал бы в ответ: циник!

Может, и так. Может, и циник действительно...

В нем появилась новая черта, и он ее в себе засек, взял на заметку: утомляемость, раздражительная усталость на людях. Они ему мешали, не давали сосредоточиться на своем, в нем нарастала неприязнь к ним. В людях ему прежде всего виделась недостатки, притворство, глупость. На губах его тогда застывала саркастическая улыбка, но поскольку он участия ни в чем не принимал, никакого не проявлял ни к чему интереса, улыбка такая казалась непонятной, странной. Он сам это чувствовал, но не мог в себе преодолеть.

Он думал, вспоминал, и все пережитое, весь детский, юношеский его опыт обращался как бы в один ком несправедливостей и обид. Не только по отношению к нему лично — по отношению к тем, кто его окружал, кого он знал. Но что-то, какой-то тихий, твердый голос подсказывал, что состояние его теперешнее должно быть преодолено. Непременно. Он обязан найти в себе силы сделать это.

Екатерина Марковна подала на стол сладкое, Матильда и Лиза ей помогали, чай, кофе гостям разносили, а Кеша, благо внимания на него не обращали, потихоньку вышел, постоял в коридоре и, поглядев на прикрытые двери в дедовский кабинет, вошел туда.

В кабинете все сохранялось Ёкой так, как было при жизни Дмитрия Ивановича. Будто он ненадолго вышел. И только книги на полках стояли уже не так плотно, а кое-где и валялись друг на друга.

Кеша поморщился, сел, откинулся на спинку дивана. Сбоку на пухлом валике лежал свернутый клетчатый плед. И вдруг Кеша почувствовал, что сейчас задохнется. Он запах услышал, крепкий, мужской запах деда. И грудь заломило так, будто туда вогнали металлический прут.

Наверно, это продлилось недолго, но Кеша вздрогнул, когда услышал совсем близко у двери голоса. Он вспомнил неприятный разговор с Ёкой о книгах, высказанные ему подозрения и внезапно с удивлением обнаружил, что не осуждает ее, не чувствует себя оскорбленным. Он начинал понимать... Сколько ерунды, неправды выдумывается, если утрачивается внутреннее равновесие. Действительно, злоба — она от бессилия. А Ёка не виновата, нет. Ее рана болит.

У всех болит что-то, надо об этом помнить и стараться понять. Другого пути просто нет, иначе в себе самом захлебнешься.

— Кеша,— услышал он с порога Ёкин недовольный голос,— что ты делаешь здесь?

Ему должно было исполниться двадцать три. Он посещал семинар психиатра Крушницкого, показывал ему свои работы, выслушивал советы. Его единственного из всей группы Крушницкий позвал к себе домой, дал несколько редких книг из личной библиотеки, сказав: вернете, когда сочтете нужным.

Наконец-то Кеша смог сосредоточиться на том, что его всегда притягивало: человек, страдания, жизнь.

На свой день рождения он собирался позвать сокурсников и, разумеется, Лизу. Ека собственноручно приготовила торт «наполеон». Мама достала тончайшую, сверкающую парадную скатерть. Кеша представил тех, кто должен был явиться к нему, и скатерть безоговорочно отверг: «Мама, давай клеенку. Это же такой народ! Скатерть враз уничтожат, спалят, зальют. Мама, не надо!» Но Любовь Георгиевна его отстранила: «Пожалуйста, не мешай. И не говори глупостей. Не так часты праздники у нас».

Но сама она из дому удалилась, предоставив молодежи веселиться без помех. Как-никак совсем уже взрослые люди.

Прекрасное настроение было у него в тот день, пока он ожидал гостей. Настолько прекрасное, что стоило, пожалуй, поостеречься. По дереву, скажем, постучать, три раза через левое плечо плюнуть.

Гости ввалились все сразу, гурьбой, потому как договорились у троллейбусной остановки собраться, чтобы вместе адрес искать, не запутаться. Он улыбался, когда они висли на нем, дергали за уши, что-то кричали. И подумал, что, как ж е т с я, любит их. Всех. Именно всех. Как коллектив. Общество. Цех посвященных. Лю-бит. Удивительно. Никогда прежде он не позволял себе думать в таких выражениях о ком-либо. Все оказывалось сложнее, противоречивее короткого определенного слова «люблю». Каждый раз по отношению к конкретному какому-нибудь человеку оно, определение это, по мнению Кеша, не подходило. Даже по отношению к Лизе. Но их было много, они были вместе, они были люди, и он подумал: люблю.

Лиза запаздывала. Когда он ей позвонил, она спросила: а кто будет? Она не знает никого, ответил он. Она помолчала. Хорошо, сказала, посмотрим.

За стол они не садились и не думали, по-видимому, рассаживаться: стоя жевали, пили кто что хочет. Магнитофон притащили с собой, зная, что на Кешу тут рассчитывать не приходится. Впервые, кажется, люди видели в его особенностях не только минусы, но и плюсы. Главным плюсом оказалась наконец его голова, непропорционально большая, с неровной макушкой. О нем говорили: башковитый.

Кеша настолько размяк, расхрабрился, что даже позволил в танцы себя вовлечь. Обнял за талию тоненькую белокурую Танюшу Орлову, невесту Глеба Березкина. Глеб и Танюша летом собирались пожениться, день свадьбы уже обозначили.

Тут-то и появилась Лиза. Кеша, танцуя, не услышал звонка. Лизе Глеб открыл, вместе они вошли в комнату.

Она надела зеленое платье, тонкое, облегающее, облепляющее ее всю и вместе с тем удивительно строгое, с глухим, до самого горла воротом. Волосы она убрала со лба, назад затянула, и даже платье ее вызывающее казалось скромным в сравнении с выражением лица: ничего в лице ее не было, только глаза и губы.

Кеша поежился. Он сразу учуял, что настроение присутствующих переменилось: вечеринке был дан совсем другой ход, другой заряд. Его внесла Лиза. Внесла, заранее подготовившись, заведомо все обдумав. Зачем? Этого Кеша не мог понять.

Дальше на сцене в ярком свете юпитера оказались только двое, Лиза и Глеб. Остальные в зрителей обратились, по-разному, правда, на развитие сюжета реагировавших. Кеша не реагировал никак. Он наблюдал.

Лиза танцевала с Глебом. Ни разу Кеша не видел ее такой. Это было ужасно. Это было потрясающе. Это было злодейство. И Лиза совершала его вполне сознательно. Упоенно.

Хрупкий, грациозный, голубоглазый Глеб пал жертвой. За что-то Лиза, казалось, мстила ему. Нет, не ему. Хуже. Мстила кому-то, а Глеба выбрала, потому что он попался. Мог бы на его месте оказаться и другой. Ей все равно было: Глеб, Танюша, Кеша, еще кто-то. Люди.

Кеша глядел на нее в оцепенении. Впервые мозг его отказывался точно, строго, четко давать всему оценку. «Какая она чужая,— где-то в зыбкой глубине проплывало у него.— Какая недобрая. Почему?— И резко, как вспышка:— За такое надо наказывать. Надо».

Другие пары тоже, устав от роли зрителей, двинулись танцевать. Лиза порхнула к Кеше: «К сожалению, мне надо уходить. Где лучше поймать такси?» Кеша не успел ответить— Глеб опередил: «Я провожу».

Он не вернулся. Его и не ждали. Танюшу провожали все вместе, как вместе и пришли.

Кеша оказался не прав. Екатерина Марковна подготовила к изданию рукопись, состоящую из двух разделов: неопубликованные статьи и заметки Дмитрия Ивановича Неведова и воспоминания о нем.

Собрав этот второй раздел, Екатерина Марковна воистину совершила подвиг. Как оказалось, никто не помнил ничего. То есть помнили, с удовольствием даже предавались далеким воспоминаниям, вот только как это было с Неведовым связать? Ведь следовало вычленивать нечто значительное, выразительное, корректное. И время чтобы ощущалось и Неведов, и чтобы сам вспоминающий на этом фоне достойно выглядел. Многие, увы, спасовали, на кого Екатерина Марковна рассчитывала. Кто-то на занятость ссылался, кто-то обещал, но тянул в надежде, что и без него обойдутся, отстанут.

Но Екатерина Марковна была не такова. Она не сдавалась. Звонила, напоминала, подстерегала нужных ей людей. Да, действительно... как-то даже неудобно. Екатерина Марковна же считала иначе. На неудобства наплевать, есть долг, обязательства, и нечего отлынивать. Да как не стыдно, вы же живы, а он нет!— вот что в глазах ее читалось, и как знать, может быть, имелась тут своя правота.

Сбор Екатериной Марковной машинописных страничек— по две, по три, с разными подписями, по разным домам, в различных учреждениях— напоминал охоту: с выслеживаниями, хитростями, ловушками. Она уставала, но чувствовала себя удовлетворенной.

Постепенно объем книги рос. А кроме того (хотя, возможно, Ека полностью отчета в этом себе не отдавала), загнав, заставив сдать тех, за кем охотилась, она чувствовала себя как бы отомщенной.

Потеря близкого, понятно, изглаживает из памяти его недостатки, хорошее только помнится, что, естественно, возведено в свод важнейших жизненных правил. И Ека забыла прежние бесконечные споры с мужем, гнетущую атмосферу постоянных взаимных приди-

рок, которую они оба в своем доме создали, воспитав в ней сына и внука туда же окунув. Но что говорить, жизнь прожита, не сумели они друг к другу притереться, но и оторваться, рассоединиться не смогли. Что-то, значит, держало — и суетное, мелкое, и такое, о чем не судят со стороны.

Наверно, они и сами не разобрались, что главным стоит считать в их отношениях, просто не задумывались... Но только ли себе самим они причиняли боль или рикошетом ранили еще кого-то?

Сын Юрий. Он так рвался уехать — все равно куда, лишь бы из дома, — но ни одного упрека родители от него не услышали. Он был куда мягче, доступнее внука Кеши — Ека часто об этом думала. Но дальше, инстинкт подсказывал, не надо размышлять.

Сын. Юрий. Здоровье, силы, ей отпущенные, не позволяли ее душе вместить в себя целиком такое горе. Тогда бы она не сумела встать. А судьбе было угодно увлекать ее дальше. Дальше, к потере мужа. И чтобы это она тоже смогла перенести? А как? Как сердце отзываться должно на такие удары? Что с сердцем делается? Оно сжимается, каменеет? Оно — стучит.

Обоюдное чувство вины тоже, бывает, сплачивает. Не обсуждая, не делясь, в себе удерживая боль, горечь, Екатерина Марковна и Дмитрий Иванович после смерти сына прожили вместе двенадцать лет. Сердце стучало у обоих. Но ржавело в них что-то. И тускнела жизнь вокруг, потому что глядели они безрадостными глазами, раздраженные, уязвленные в самое сердце — и не только страшной потерей, но и черствостью обоюдной, которую до конца преодолеть так и не смогли, а может, и не хотели; каждый видел в ней свою броню, защиту.

А ведь гнали, гнали! Когда Дмитрий Иванович заболел, окружающие, врачи говорили, что он держится необыкновенно мужественно. Так и было. Но она, Ека, вдруг ужаснулась, что он хочет, собирается уйти от нее все так же упрямо, молча. Но не смела она тогда закричать, опоздала уже, оба они упустили время. Только в последний миг он взглянул на нее, и она поняла, что он ее зовет. Зовет впервые! Впервые?..

И это надо было пересилить. Сердце стучало. Очень крепким оказался у нее организм, и воля к жизни, не подчиняясь ни душе, ни рассудку, требовала: действуй. Как знаешь, как можешь. Придумай что-нибудь, вообрази, в конце концов.

Екатерина Марковна пробивалась в кабинеты ответственных лиц, какие бы преграды ее ни встречали. Даже самые преданные секретарши не могли уберечь своих начальников от ее вторжений. Она звонила, приезжала, садилась в предбаннике — и сидела. Не двигаясь, ни во что окружающее не вникая, глаз не сводя с заветной двери. Беззащитное существо. А прорвавшись наконец в кабинет, вперяла взгляд неотрывный в бледное растерянное лицо усталого, измотанного начальника, начинала говорить не только от своего лица — от лица всех вдов и сирот, обиженных, обиденных. Не просила, не вымаливала жалобно, нет — взывала, призывала, клеймила.

В ней открылись неведомые прежде свойства: демагогичность, умение «качать права». И природный артистизм, врожденная изворотливость тоже нашли себе новое применение: усталый, седовласый, привыкший подчинять человек сидел за столом, а перед ним разыгрывалась патетическая сцена — с мимикой выразительной, разнообразием жестов, с угрожающими модуляциями голосовых связок в самых низких регистрах и с внезапным взлетом к дребезжащим верхам, с улыбками вкрадчивыми, в которых, кстати, не мелькало и тени заискиванья. Екатерина Марковна требовала, желала получить

только свое. Положенное. Не деньги, она настаивала, важны ей. Важна справедливость. Память, благодарность людей. Да, не ею они заслужены. Говорит, требует она от лица уже умолкших. В числе которых муж ее покойный, слышите? Я пришла. А не все могут до вас добраться.

В самом деле. Умолкших, ушедших было множество. Не у всех отнюдь остались на земле защитники, не все, впрочем, и нуждались в защите. Кого-то и без усилий родственников человечество не забывало. Но после посещения Екатерины Марковны усталый начальник поднимал трубку, произносил бесцветные слова бесцветным тоном: «Приходила вдова Неведова. Да... Помочь надо. Придется. Иначе она снова придет».

Так что Кеша оказался не прав. Издательство выпустило (и немалым, кстати, тиражом) том не публиковавшихся прежде работ профессора Неведова и воспоминаний о нем. Готовилась еще одна книга, переиздание. Екатерина Марковна могла быть довольна. Впрочем, по ее словам, она и не сомневалась в успехе. Справедливость должна торжествовать.

И разоблачения, как Кеша опасался, никакого не последовало. Книг Неведова и прежде не читали, не читали и теперь. А новенький, гухленький, в твердом малиновом переплете том с выдавленными черными буквами Неведов пах остро, свежо — типографией, счастьем. Свершившимся. Пах точно так же, как пахнут все только что явившиеся в свет книги — и талантливые и бездарные.

Да, тяжеленькая получилась книга. Екатерина Марковна подержала ее в руках, прижала к лицу, вдохнула всей грудью. Это она, она ее родила! Ёка засмеялась, но тут же, точно за ней могли наблюдать, приосанилась, закурила сигарету. А что? Да сам Неведов, будь он жив, неизвестно еще, сумел ли столько сделать! Ёка задумалась, к окну отошла, как бы прядась, чтобы никто не увидел в этот момент ее лица.

— Салат тебе положить? — спросил Кеша Лизу.

Он сидел от нее слева. А справа ее обхаживал седовласый молодой доктор наук, которого все называли Максик. По привычке. Которую, впрочем, — через годик, скажем, — Макс подумывал уже упразднить. Хватит. Не мальчик, пресечь пора фамильярности. Максим Аполлинарьевич — только так.

Но пока, он решил, ладно. Пусть Максик. Пусть тешатся, развлекаются. В сущности, недолго им осталось. Из всех, кто собрался тут, троих (Максу сказали конфиденциально) к весне на пенсию выводить должны. С почетом, деликатно. А четвертого с должности ученого секретаря турнут, вероятней всего. Хотя он ни сном ни духом о предстоящем не ведает. Поэтому враз слетит, бедолага.

Максик взглянул изучающе на будущую жертву и снова повернулся к соседке, рыженькой, зеленоглазой. Он и раньше видел ее в такие дни в доме вдовы Неведова. Девочка. Теперь подросла.

— Вам красного налить? Или предпочитаете «Цинандали»?

Екатерина Марковна торжествовала: разве не знаменательно, что день памяти Дмитрия Ивановича совпал с выходом книги в малиновой твердой обложке? Десять экземпляров, присланных из издательства, лежали в кабинете на столе: Екатерина Марковна собиралась их подписать и раздать присутствующим. Еще сто она уже заказала на складе.

Ей хотелось верить, что за столом у нее собрались друзья. Несмотря на разочарования, удары, она, как и большинство людей, при малейшем проблеске открылась; и в радостные дни особенно нуждалась в соучастниках, нуждалась в свидетелях. Пусть знают, запомнят, как сейчас ей хорошо. Уж за одно это она им благодарна.

Праздник ни в коем случае нельзя себе омрачать. Зачем беречь душу? А что когда-нибудь вновь плохо станет, про то нечего загадывать. Тем более что опыт есть. Когда плохо, на помощь рассчитывать не надо. То есть помощь приходит оттуда, откуда ее меньше всего ждешь. И это настолько поражает, что как бы новые силы в тебя вливаются. И не потому, что поддержка, тебе оказанная, так уж мощна, щедра. Нет, удивишься, умиляешься именно малости — тому, как такая малость оказывается необходима, важна. Скажем, звонок в дверь. На пороге лифтерша тетя Клаша: «Вы что-то, Екатерина Марковна, давно не выходили, я молочка, хлебушка принесла».

И Матильда... Матильда, вы слышите? Я знаю, что вы недоверчивы к словам, ну так я вслух ничего говорить и не буду. Но вы так вовремя тогда пришли, поразительно даже. Как угадали? И — помните? — мы пили чай. Из темно-синих кобальтовых высоких чашек. Осталось как раз две. Вы варенье малиновое принесли, лампа горела на столе — помните? Но как вы тогда угадали?..

Так ешьте, пейте, милые гости, на здоровье, вдосталь. Я — хозяйка. Дом мой все еще стоит. И я жива, представляете?

Лиза наклонилась к Кеше, шепнула:

— Ёка молодец. Надо же, такая морока: через мясорубку орехи, чеснок провернуть. Вкуснотища, но не лень же ей!

Он кивнул. У Лизы на щеках впадинки появились, обозначив более четко линию скул, а слегка подведенные глаза возбужденно блестели. Все больше Лиза походила на свою маму — оживленностью, слегка преувеличенной, манерой улыбаться, морща нос, говорить как бы не задумываясь, торопливо, увлекая, принуждая собеседника спешить за собой. Как и в матери, в Лизе обнаружилась теперь инстинктивная женская хватка, только Лиза не решила еще, казалось, что хватать. Но блестели глаза, улыбались губы в жажде откровенной событий, случайностей.

Наблюдать это было тревожно. Кеша временами опускал взгляд, обеспокоенный, подавленный Лизиной суетностью, жалкой и привлекательной одновременно.

Он глядел на нее и думал: что еще может с нею произойти? Так именно думал, с нарочитой холодностью, с любопытством исследовательским к такому характеру, натуре, наделенной природой щедро, избыточно даже, и то во благо обращающей свое богатство, то во зло.

Но, продолжал он размышлять, можно ли предостеречь ее от крайностей, от ошибок? Имеют ли такие попытки смысл? А может, даже противопоказаны? Может быть, тем она, Лиза, и сильна, что без опасений, без брезгливости пьет, черпая горсть за горстью, мутную, гибельную, животворную влагу из реки жизни? Но когда она напьется, успеет ли оглядеться вокруг? Сумеет ли стать внимательнее, терпеливее, терпимее, ведь иначе ее душа никогда не узнает, что значит милосердие, то есть не повзрослеет, не помудреет никогда.

«Я буду тебя ждать, Лиза,— произнес мысленно.— Я буду ждать».

Он окончил ординатуру, работал в клинике. Антон Григорьевич Крушницкий сказал, что возьмет его аспирантом. Держался Крушницкий со всеми сухо и с Кешей тоже, что вполне его устраивало. Он чувствовал себя как раз тогда нормально, когда не выжимали из него эмоции. И взгляд Крушницкого сквозь очки с двойными стеклами, прицельно строгий, тоже ничуть его не смущал.

Внешность Антона Григорьевича располагала мало: длинный, вытянутый, лысоватый череп, щель вместо губ, редкие неровные зубы. Блеск очков мешал в глаза ему взглянуть — весь он казался наглухо

закрит, застегнут. Но когда пациентами его оказывались дети, откуда-то вдруг объявлялись у него темные, внимательные, ждущие, очень живые глаза и губы сами в улыбку складывались. И никакого сюсюканья — он и с детьми был суров, немногословен. А когда касался их своими большими костлявыми руками, даже со стороны угадывалась чудесная легкость, ловкость его пальцев, и с детской одеждой, завязками, застежками он справлялся так быстро, что матери не успевали подоспеть на помощь.

Кеша все это наблюдал, усвоить старался столь близкие его натуре манеры, интонации. Он видел тут безупречный пример и профессиональной и человеческой собранности. И только так, думал он, ни на что не распляясь, можно лечить. Отдавать. Помня, что нельзя, не вправе исчерпать в себе этой способности.

Но иной раз в беседах с учителем у него готов был сорваться крамольный вопрос: «А не тщетны ли наши усилия? Да, конечно, то, чем мы занимаемся, интересно, сложно, поучительно, но можно ли в нашей области добиться конкретного результата — в конкретном случае с конкретным человеком? Да-да, большим. Сказать: всё, излечили, спасли, живи, — возможно ли? Вот что меня смущает. Чего я добился своими занятиями, кроме того, что в себе самом подробнее, глубже вроде бы разобрался? Да и то ведь не до конца. И что может дать наша наука, в которой процесс, поиск как бы даже подменяют цель, ибо цель все равно недостижима — ухватить, уловить человеческую душу и указать ей, где счастье, где смысл. А иначе душа больна, хотя мы ее и лечим. То есть не душа, конечно. Мозг, организм? Нет, душа все же. Мы душу лечим, коли говорим «душевнобольной». И тут, значит, тоже лукавим. Единственное, пожалуй, оправдание, что, желая боль распознать, весь груз чужой судьбы мы в себя принимаем. Слушаем и действительно хотим услышать — вопль, зов».

Проходя по длинным коридорам клиники, здороваясь с коллегами, со стационарными, примелькавшимися уже больными, Кеша вдруг представлял себе Лизу — в зеленом платье, в белой с помпонами шапочке, в шубе из полосатых зверьков. Представлял, как она входит, видит его, уважаемого, нужного людям, и выражение поначалу озадаченное, а после понимающее появляется в ее лице, и он подходит к ней, берет ее за руку, выслушивает.

Он ждал. Но она не входила и не вошла никогда. Ничего о нем не узнала. Глядела и не видела.

С удивлением Кеша услышал, что Лиза купила у его бабушки ломберный раздвижной столик. То есть как ломберный его не использовали никогда: на нем стояла лампа, основанием которой служила китайская, с бело-синим рисунком ваза, а сверху был надет из гофрированной промасленной бумаги большой, с разводами абажур. Кеша помнил эти вещи с детства, но не сразу заметил их отсутствие. Ёка небрежно обронила: лампа осталась, в кабинет переставлена, а столик теперь у Лизы. Лиза же его и оценила: пятьдесят рублей.

— Зачем он ей? — Кеша вздернул светлые брови.

— Ну... — Екатерина Марковна чиркнула спичкой, прикурила, — если и не старинная, то и не современная все же вещь. А старое нынче в моде, не слышал? — спросила, прищурившись.

— Слышал, — не заметив насмешки, ответил Кеша. — Но странно как-то, тебе не кажется?

— Не кажется ничуть, — отрезала Ёка. — Тебе непонятно, почему именно Лиза купила, почему именно ей я продала? А почему нет? Мне удобно, куда не тащить. Ей удобно по той же причине. А столик симпатичный, ей пригодится, у нее, так сказать, вся жизнь впереди.

— Ладно.— Кеша помолчал. Ему не нравилось, как Ёка на него смотрит.— Но все же странно, что у тебя с ней такие дела. При ваших отношениях...

— Милый! — Ёка произнесла иронически.— Отношения отношениями, а дело делом. Да и о чем разговор? — Она будто вдруг рассердилась:— Тебе нравился столик? Сказал бы, я тебе бы отдала.

— Да ну, не в этом же дело,— огорчился Кеша.— Если тебе неприятно, оставим вообще эту тему. Действительно ерунда.

— А я так вовсе не считаю. Не ерунда, нет.— Екатерина Марковна строго оглядела внука.— Ты знаешь кто? Ты чистоплюй. Сам бережешься, боишься запацкаться и других страшась: того не коснись, туда не ступи. А не понимаешь, что больно делаешь? Я помню! — Она сглотнула.— И не забуду никогда.

Они глядели друг на друга молча. Екатерина Марковна встала, взяла со стола пепельницу, поправила автоматически скатерть.

— И про Лизу,— проговорила отрывисто,— что тебе непонятно? Она нормальный человек. А ждать от людей святости, жертв, подвигов бескорыстнейших я, например, не собираюсь. Иначе,— она вдруг прижала платок к глазам,— как жить?

Кеша молчал.

— И то, что ты молчишь сейчас, тоже жестоко, грубо. Думаешь, легко угадать, когда тебя жалеют, когда осуждают, если ни слова не говорят? Думаешь, так уж это благородно — со стороны лишь наблюдать, не вмешиваясь, не ввязываясь ни во что?.. Знаешь,— Ёка наклонилась к нему,— мне даже кажется иногда: а может, ты болен? Ты будто не видишь, не понимаешь ничего. У тебя такой тупой взгляд! Ты слышишь?

— Да,— он сказал.

— Господи,— воскликнула она,— да я бы счастлива была тебя простить! Что-нибудь бы ты натворил, какую-нибудь глупость, пакость, я бы простила. Люди ошибаются, вредничают, грешат. Это так понятно! У меня самой грехи были... А ты! — Она досадливо скривилась.— Ты словно и не жил. Тебе двадцать пять скоро. А я ничего не знаю, не понимаю про тебя. А кто роднее, кому я еще помочь могу? Я же целую жизнь прожила — и что же, впустую?

Он покачал головой:

— Пожалуйста, не надо. Успокойся.

— Ты вроде и есть, а будто тебя и нет рядом. Я маленького мальчика, маленького Кешу люблю, помню. Ты вырос? Ты теперь существуешь, а?

Он разлепил в виноватой улыбке губы:

— Я стараюсь, хочу как-то помочь, понять...

— Вот-вот! — Она будто обрадовалась.— Только понять — больше тебе ничего не надо. А понять невозможно. Никого. Кусочек лишь какой-то откроется — и люби, жалеи, да ругай даже, если хочешь. Но помни, что остальное все скрыто от тебя. До поры или на все времена, как уж получится. Целиком же, сразу не распахнется никто. Имею право так говорить, я старая старуха. Сижу вот теперь одна, припоминаю, приставляю один обрывок к другому обрывку, собираю постепенно, восстанавливаю. Но сто лет мне еще понадобится, чтобы все отыскать, сложить, совпали чтобы все мои кусочки.

Она умолкла, оглядела комнату. Вскочила, точно внезапно испугавшись.

— Кеша! — крикнула.— Ты где? Кеша, ты меня слышишь?

Пришло время, когда Кеша, Иннокентий Юрьевич, из внука профессора Неведова стал Неведовым, у которого дед тоже, кажется, был профессор... В кабинете у Иннокентия Юрьевича висели большие, размером с плакат, фотографии львенка, дельфина, взлетевшего и застывшего дугой в прыжке, щенка коккер-спаниеля с взерошенным хохолком на макушке. Здесь Иннокентий Юрьевич маленьких своих пациентов принимал, говорил с ними, обходясь легко без пояснений родителей. Дети, он знал, отвечают правдивее, точнее, честнее, а взрослая точка зрения все равно так или иначе выкажет себя. Но он, врач, не допускал, чтобы подавлялось слово ребенка. Он считал, и, возможно, не ошибался, что большинство бед, страданий начинается с мало кому известных детских обид. Если бы взрослые вовремя в такие обиды вникали, врач Иннокентий Юрьевич Неведов сидел бы в своем кабинете один, в окно бы глядел, рисовал бы цветными карандашами домики в большом, в картонной обложке альбоме.

В самом деле, за ним это замечалось, не всем понятное, — увлечение, странность? Как только свободное время выдавалось, Иннокентий Юрьевич доставал свой альбом с затейливой надписью «Для рисования» и рисовал — точно так же, как рисуют все дети, уделяя данному занятию времени не больше, чем, скажем, игре в салки или в мяч. Домики, кораблики, человечки. Один альбом заканчивался, начинался другой. И снова домики, кораблики...

Считалось, что так Иннокентий Юрьевич отдыхает. Незаурядным людям причуды ведь простительны. А Иннокентий Юрьевич снискал уже известность как редкий, одареннейший врач. Чтобы попасть к нему на прием, следовало запастись терпением, так как путь в его кабинет существовал один и никаких обходных ходов не допускалось. Он и у коллег своих считался образцом безупречной собранности, преданности истовой своему делу.

Иногда, правда, недоумение вызывало выражение его лица, абсолютно бесхитростное, ребячески-доверчивое, с серыми, будто сонными, в припухлых веках глазами, с приоткрытым будто в забывчивости ртом. Это выражение абсолютно не соответствовало теперешнему положению Иннокентия Юрьевича. Более того, оно, казалось, не могло даже принадлежать взрослому человеку. Такое выражение бывало у него в моменты задумчивости, но окружающие настаивали, у них возникало неловкое чувство, будто доктор Неведов выключается, выпадает куда-то. Его нет. Он не видит ничего, не слышит — где же он?

Может, так он силы душевные в себе восстанавливал, кто знает. И что это было: рассеянность, сосредоточенность? Сам же Иннокентий Юрьевич о реакции окружающих не догадывался. Действительно, значит, ни на что в такие моменты не реагировал.

За прошедшие годы он внешне мало изменился, разве что поседел, но его большая, с неровной макушкой голова уже не казалась уродливой: признание, известность и не такие недостатки заставляют не замечать. И ничего удивительного, что Иннокентий Юрьевич стал пользоваться успехом у женщин, и чем сдержаннее он держался, тем важнее представлялось привлечь его внимание к себе.

Когда с ним заговаривали, он очень серьезно, терпеливо слушал. Не из галантности — просто не мог иначе. Болтовня, псевдомудрости его мало занимали, но выражение глаз, фальшь в них и искренность, показное и тайное, беспокойство, страдание, которые, случалось, сам человек в себе и не распознал, — вот что притягивало. И мимика, жесты, где также мешались правда и ложь, нежелание быть собою и потребность открыться, дожидаться отклика.

Когда с ним заговаривали, мешковатый, пего-седой Иннокентий Юрьевич веки припухлые на глаза опускал, как бы гася пристальный,

цепкий взгляд, и продольная морщина лоб перерезала косо в доказательство будто, что он принимает, впитывает в себя чужую боль. И пусть недостатки, слабости при этом также ему открывались — не стыдно, не страшно. Лишь бы понял. Он, Неведов, обязан понять. Иннокентий Юрьевич, вы слышите?

Он слышал. А со здоровыми, себе говорил, еще труднее, пожалуй, чем с больными. И, как ни печально, продолжал мысленно, на здоровых, нормальных уже не хватает сил. Вниманием по-настоящему овладевают только те, кто действительно пришел с бедой. События, факты их жизни есть предыстория болезни...

Однажды Иннокентий Юрьевич, выходя через арку из внутреннего двора серого глыбастого дома, столкнулся с Лизой. Чужая взрослая женщина взглянула на него без улыбки, и он ужаснулся, что она его не узнает. А может, и не было никогда Кеши, его детства, юности? А Лиза, прежняя, была?

Рыжеволосая полноватая женщина возвращалась из магазина. Ей показалось, что идущий навстречу мешковатый, пего-седой мужчина удивительно, невероятно похож на мальчика, с которым она дружила в детстве. Чуть не вскрикнула: «Кеша, ты?!» И себя самой испугалась: да что она, в самом деле... Кеши нет. Знает она, ей объяснили: он был болен, болен давно. Но по неразумению детскому она тогда этого не понимала. Они дружили. Взрослые позволяли им дружить. А что опасного? Он, Кеша, безвредный дурачок, послушный, покладистый. Но потом состояние его ухудшилось, и он умер от воспаления мозга. Так ей, по крайней мере, сказали. И Лизе всегда казалось, что, если бы Кеша выжил, он стал бы выдающимся человеком.



ВИССАРИОН СИСНЁВ

★

ДВА РАССКАЗА

Мираж

К каким-то образом они вдвоем оказались в странном кинозале, где на экране ничего нельзя разглядеть. Зато он очень отчетливо видел рядом профиль Ольги Александровны, своим плечом ощущал тепло ее плечика, слышал ее нежный голос — что-то такое приятное она ему сказала, сладостным чувством грудь переполнилась. И сразу они — в ресторане за накрытым столом, на котором в бесчисленных блюдах неизвестно что, но что-то ей нравящееся, заставившее ее улыбнуться улыбкой, от которой еще слаще в груди. «На брудершафт?» — предложил он. Она покачала головой: «Если вы хотите, я вас поцелую просто так, мы не дети, Константин Петрович». «Конечно, хочу!» И вот она уже завела руку за шею, прижалась к нему и...

Он проснулся. Жена подняла голову с подушки, испуганно спросила:

— Ты что? Сердце? Дать валидол?

— Ничего не надо, спи. Кошмар приснился.

Для нее это действительно был бы кошмар. Сама ведь за руку привела его к приснившейся женщине, он не хотел идти на новоселье, до последнего момента упирался. Чуть не плакала оттого, что он ее перед сослуживцами опозорит — все придут, а она сочтет ниже своего достоинства, поскольку у нее, видите ли, муж слишком важная для этой компании персона. Идти одна она тоже не желала. «Все с мужьями, а я как соломенная вдова? Да и вообще тебе полезно пообщаться с нормальными людьми, кое-что про настоящую жизнь узнаешь, а то ведь только из окна кабинета да из машины смотришь. Цен ни на что не знаешь». В конце концов он сдался, хотя так уж мечталось поехать в Суханово, устроиться в кресле под торшером с томиком Бунина, наполовину прочитанным, вернее перечитанным. После пятидесяти что-то трудно стало читать современных авторов, потянуло на проверенное, заведомо добротное.

Собственно, к новоселью он имел довольно-таки непосредственное отношение. Один из комплексов Теплого Стана проектировал их институт, и по договоренности им выделили несколько квартир для сотрудников. Директор не любил заниматься бытовыми вопросами, перепоручал заму, и Константин Петрович приложил руку к распределению. В частности, Ольга Александровна получила жилье исключительно благодаря его нажиму, хотя он понятия не имел лично о ней, добивался квартиры для заведующего мастерской, в которой изготавливались макеты будущих новостроек. Заведующий, Генрих Осипович Кнып, которого все звали просто по имени, имел золотые руки, умел все, его модели можно было сразу отправлять на любую международную выставку, но за отсутствием вузовского диплома и

по смиренности нрава держался подальше от начальства, никого ни о чем не просил, а потому и жил в коммунальной квартире почти аварийного состояния.

Это Константин Петрович узнал лишь тогда, когда Генрих явился к нему с заявлением об увольнении по собственному желанию — чтобы уйти в конкурирующую организацию, где его виртуозное мастерство было прекрасно известно. Во время допроса с пристрастием он признался, что ему посулили отдельную трехкомнатную квартиру в первом же сданном комплексе. Тогда же Константин Петрович узнал, что у Генриха, которому на вид можно дать и тридцать и сорок лет, трое детей, а жена работает проектировщицей в их же институте, только фамилия у нее своя. «Милый ты мой! — вполне искренно воскликнул Константин Петрович. — Чего же ты, спрашивается, молчал до сих пор? Уж кому, а тебе мы бы без всяких разговоров квартиру дали». «Я ходил к председателю месткома...» — начал мямлить тот, но Константин Петрович прервал его: «Не к Мухину, а ко мне надо было, я-то тебе цену знаю лучше. Садись и пиши другое заявление: прошу выдлить моей семье... ну и так далее». «Трехкомнатную?» — с робкой надеждой спросил Генрих, которому явно не хотелось покидать институт, где он знал всех и где работала его жена. «А как же иначе! Именно трехкомнатную», — подтвердил Константин Петрович, хорошо зная, что трехкомнатных ожидается всего две и обе им же обещаны руководителям групп Гринфельду и Каплякову. Ничего, одному из них придется подождать, руководителя легче найти, чем хорошего макетчика.

Вечером поделился, как привык, с женой и услышал: «Вот замечательно-то! Ольга хоть вздохнет свободно наконец». «Какая Ольга?» — «Малышева, конечно, какая же еще?» — «А при чем здесь, прости, Малышева?» — «Здравствуйте! При том, что она — законная жена твоего ненаглядного Генриха». Он вспомнил, как Генрих вскользь упомянул, что жена носит свою фамилию, видно, как всякому мужику, ему это было не очень приятно. И вообще это было странное сочетание — Генрих и Малышева. Ничем, кроме своего мастерства, не примечательный человек с облысевшим, непомерно крупным черепом и всегдашней виноватой улыбкой, едва ли интересующийся литературой или, скажем, театром, — и Ольга Александровна Малышева, нельзя сказать, что ослепительная красавица, но очень милая и привлекательная проектировщица той же группы, в которой работала жена, несомненно интеллигентная и столь же несомненно дрявящаяся мужчинам.

«Послушай, — спросил Константин Петрович жену, — как же это у них получилось? Честно признаться, когда он упомянул, что его жена тоже у нас в институте, я решил, что она где-нибудь в столовой или в хозчасти, что ли, но уж никак не в группе у Гринфельда». — «А так у них получилось, что хлебнула она с вами, красавцами с голубой кровью, да так хлебнула, что, говорят, чуть ли не из петли ее вынимали». — «Да что ты!» — «Говорят, не знаю, может, и привирают. Но что хлебнула горюшка она с первым муженьком — точно. Сама видела, с какими синяками она являлась. Пил он, как зверь, денег ей совсем не давал, наоборот, у нее отнимал, с потаскухами разными путался, чуть ли не домой их приводил. А у нее от него двое детей, она рано за него вышла. Потом бросил ее, ушел к какой-то, которая ему пить не мешала. Но недолго погулял, сдох, как бездомная собака; прямо на улице, рассказывают, грохнулся и не встал». — «Значит, Генрих двоих ее детей воспитывает, а один у них общий?» — «Ну да, он очень добрый, потому она к нему и потянулась, я думаю». — «Все-таки ей, должно быть, трудно с ним, какой он там ни будь добрый». — «Попробуй в наше время выйди замуж с двумя ребятами, а он бы ее и с четверыми взял, ходил бы и лелеял. Он к нам в комнату десять раз на дню заглянет, то чаю нам всем притащит, то еще че-

го-нибудь придумает». — «Сколько же ей лет?» — «Ей? Да где-то около тридцати пяти. Мы как-то разговорились и выяснили, что она в Архитектурный поступала в тот год, когда я заканчивала». — «А ему?» — «Кто его знает. Может, столько же, а может, все сорок пять, не интересовалась».

Когда Ольга Александровна их пригласила, ему не хотелось идти еще и потому, что он ожидал на этом новоселье натянутую обстановку и слишком разношерстную публику — одни люди со стороны Генриха и совсем другие со стороны его супруги. «Это будет просто некрасиво, — настаивала жена. — У Серебрякова был, у Гринфельда был, а к ним не соизволил». «Сравнила! С Гринфельдом я учился, вместе в капустниках выступали, в «Кох-и-норе» вместе выкаблучивали...» «Ты — в «Кох-и-норе»?!» — поразилась от души жена, которой, разумеется, трудно было теперь представить Константина Петровича активистом сатирического ансамбля Дома архитектора, марширующим с гигантским карандашом на плече. Уговорили-таки вы своего руководящего супруга, Лидия Михайловна, на собственную голову. Да и на его тоже.

Генрих устраивал новоселье на месяц позже других, как сразу выяснилось, по той причине, что хотел своими мастеровитыми руками привести квартиру в идеальное состояние. И привел. «Соседи отговаривали, — как бы извинялась Ольга Александровна за свое сверкающее жилье, — советовали подождать, когда осадка произойдет, а тогда уж обои клеить, но Генрих Осипович хотел сразу все наладить. Мы ведь оба всю жизнь в коммуналках, а тут такой дворец, невтерпеж ему было». «Ничего, — с горделивой ноткой сказал Генрих, — потрескаются обои — новые поклею, а пока как люди проживем, верно?» Вообще дома он был совсем другой, этот Генрих Осипович, — плечи расправились, виноватое выражение исчезло с лица, хороший импортный костюм сидит ладно, галстук повязан с изяществом. Хозяин, глава семейства, Генрихом уже не назовешь, без отчества, запанибрата. Непонятно даже, как это все привыкли такого вальяжного гражданина тыкать. Пока не начинал говорить, он вполне вписывался в собравшееся общество: вопреки ожиданиям Константина Петровича оно оказалось однородным, приглашенные были только со стороны хозяйки, приятели и сослуживцы Генриха либо уже отгуляли, либо погуляют во вторую очередь.

Если хозяин дома обрел несвойственную ему уверенность в себе, то хозяйка, наоборот, отчего-то нервничала и беспрестанно краснела — всякий раз, когда Константин Петрович останавливался на ней взгляд. Впрочем, вспыхивала она и когда ее благоверный начинал слишком долго и слишком громко повествовать о своих свершениях, указывая пальцем то куда-то над окном, то на плитусы. Она предложила сесть к столу, но Генриху еще хотелось продемонстрировать гостям детскую, действительно очень приятно отделанную в бело-красно-голубой гамме. Дети — трое чистеньких мальчиков — находились в своей комнате, что всех почему-то привело в умиление. Посыпались обычные глупейшие вопросы, на которые двое старших вежливо отвечали, а младший — эдакий трехлетний большеголовый Генрих, — насупившись, листал книжку с картинками. Больше других старавшемуся его очаровать Чистякову он, когда у него лопнуло терпение, сурово заявил: «Ты глупый дурак, не хочу с тобой говорить, с толстым». Генрих испуганно посмотрел на жену и влезил сыну затрещину. Тот втянул голову, но не заревел. Ольга Александровна поставила его на ноги и потребовала, чтобы он извинился перед дядей. Мальчуган упрямо помалкивал, и Чистяков поспешил превратить конфликт в смешное происшествие. Похлопывал себя по огромному животу и приговаривал: «Устами младенца, устами младенца... Кстати, насчет чрева, вернее чревоугодия. По-моему, нас приглашали к столу, или мне показалось?» Хозяйка обрадовалась этой возможно-

сти выйти из неприятного положения и, пообещав сыну заняться им позже, повела гостей в столовую.

Как бесспорного свадебного генерала, Константина Петровича усадили по правую руку хозяйки, разлучив с женой. Лидия Михайловна этого не любила, но тут протестовать не стала, села на другом конце с хозяином, который, как вскоре выяснилось, хотел находиться поближе к двери — пироги и горячее с кухни приносил он. И не просто приносил, а оказывается, сам почти все и приготовил, за что, само собой, выпили особый тост — по требованию женщин. Скванность Ольги Александровны прошла, она мило ухаживала за Константином Петровичем, хотя он возражал, что это он должен ухаживать за ней, и уже не краснела, если не считать одного случая — когда он, желая достать носовой платок, нечаянно коснулся ее бедра. «Простите, бога ради», — пробормотал он, но она, покраснев, ничего не ответила, а улыбнулась и предложила ему попробовать лосятины с брусничным соусом — Генрих Осипович объездил все «Дары природы», чтобы приготовить свое коронное блюдо. После этого они свободно болтали о том о сем, почти не глядя друг на друга, но Константин Петрович все острее ощущал ее близость. И вдруг сказал: «А вы помните, кого еще звали Ольгой Александровной?» «Нет. Кого же?» — «У Бунина, если память мне не изменяет, есть рассказ «В Париже». Героиню зовут Ольга Александровна, и чем-то вы мне очень ее напоминаете». — «Спасибо. Рассказ не помню, вообще не помню, когда Бунина брала в руки, но теперь обязательно прочту. Никогда бы не подумала, что могу напоминать бунинскую героиню. А вы знаете, кого мне напоминаете?» — «Кого?» — «Самого себя». — «То есть?» — «Самого себя лет пятнадцать назад, когда у вас еще не было этой седины, нет, была, но меньше. Вы тогда приехали с Севера и выступали в институте, рассказывали о Заполярье. Все наши девчонки в вас тогда повлюблялись». — «И вы тоже?» Чуть помедлив, она ответила: «И я тоже».

По дороге домой в такси Лидия Михайловна небрежно спросила: «У вас с Ольгой, случайно, не объяснение в любви состоялось? Что-то она то краснела, то бледнела». «Представь себе, да, — рассмеялся он, — она, видишь ли, помнит меня, каким я был пятнадцать лет назад, когда прибыл в альма-матер таким джеклодоновским суперменом с легкой сединой, и все будущие архитекторши сходили по мне с ума». «И она тоже?» — поинтересовалась Лидия Михайловна, никогда не терявшая бдительности, благодаря чему, как она была уверена, они и прожили двадцать лет, за которые другие успели по два раза развестись. «Конечно, и она тоже. Ты меня всегда недооценивала... А в общем-то, я был прав: следовало нам поехать в Суханово, погуляли бы, почтили в свое удовольствие». — «Иногда надо и на людях появиться, и так мне уже в глаза говорят, что я тебя дома прячу, раньше, мол, Константин Петрович был куда общительнее». — «Раньше Константин Петрович был моложе». — «Скажи уж прямо — бабник». — «Ну вот, начали во здравие...». — «Думаешь, я забыла, сколько ты мне нервов помотал? Надеюсь, больше уж не поведет на старое? Или еще мне сюрприз поднесешь?» И слово за слово они жестоко поссорились, в дом вошли в сердитом молчании, спать легли, далеко друг от друга отодвинувшись на просторной кровати.

В том, что Ольга Александровна привиделась в ночных грезах, ничего особенного нет — милая, мягкая, и в то же время несомненная чувственность в ней; мудрено ли, что мозг еще не расстался с ней, а спроецировал в виде сновидения. Так, стараясь быть ироничным, рассуждал Константин Петрович, опасливо поглядывая на заснувшую жену. Он уже понимал, что между ним и Ольгой Александровной что-то произошло, искра какая-то проскочила, от которой оба — он не сомневался, что оба, — теперь будут тянуться друг к другу. Но он, что бы там ни думала Лидия Михайловна, не хотел больше

преподносить ей никаких «сюрпризов», она хорошая жена, прекрасная мать, да просто очень честный и добрый человек, она заслужила, чтобы их совместная жизнь больше никогда и ничем не омрачалась по его вине. Твердо решив это, Константин Петрович нежно поцеловал спящую жену в плечо и наконец сам уснул...

Решимости его хватило до первой встречи с Ольгой Александровной — они столкнулись в пустынном коридоре на первом этаже, где размещались макетчики, она, вероятно, зачем-то приходила к мужу, а Константин Петрович, только что вернувшись с объекта, направлялся к лифту. Здесь они и сошлись. Поздоровавшись, Ольга Александровна сказала:

— Я должна вас поблагодарить.

— За что? — деланно удивился он, ожидая, что она заговорит о квартире.

— За чудесное путешествие в Париж, — с мимолетной улыбкой ответила она, и опять что-то случилось с ними обоими: если бы он сделал шаг к ней, она сама бы прижалась к нему — он это знал так же точно, как если бы она ему это сказала.

Они вошли в лифт, и он взял ее руки.

— Мы непременно должны увидеться. Не здесь...

— Хорошо, — ответила она, глядя ему в глаза без всякого смущения, как будто ничего другого и не ожидала.

— Я вам позвоню.

— Хорошо, — повторила она и легонько вздохнула — не горестно, а вроде бы, наоборот, с облегчением, улыбаясь. И сразу же объяснила эту свою улыбку: — Я знала, что сегодня так произойдет, с самого утра знала.

К счастью, никто не вошел в лифт ни на одном из этажей, иначе любой заметил бы, что с замдиректора и Ольгой Малышевой что-то не так, не в себе оба. И пошли бы поехали по институту шепотки, пока не доползли бы до Генриха и Лидии Михайловны.

Следующие несколько дней у него были крайне напряженными — сдача объекта, утверждение проекта санатория для железнодорожников, комиссия из Госплана, проверявшая, насколько работа проектных организаций отвечает задачам перспективного планирования; но при всем том он все время помнил и думал о том, что он сказал Ольге Александровне и что она ответила ему. Дома он становился все более раздражительным и молчаливым, объясняя это Лидии Михайловне институтскими неурядицами, но она слишком хорошо знала эти признаки и затаилась в настороженном выжидании. Он все видел, все понимал, жалел ее, но не так, чтобы взять и оборвать все, остановиться, — какая-то сила, как бывало в молодости, подхватила и неудержимо понесла его по течению. Он уже сознавал, что не властен над собой, что не успокоится, не отступится, пока так или иначе тот сон не станет явью.

И вот настало утро, когда он снял трубку внутреннего телефона, набрал короткий номер и, услышав ее голос, спросил:

— Как погода в Париже?

— Солнце. Тепло и сухо.

— Тогда доброе утро. В моем районе тоже ясно и хорошо.

— Доброе утро. Рада это слышать.

За окном в этот момент виднелось свинцовое небо, стекло покрылось косыми потеками сильного дождя, и если кто-то слышал ответ Ольги Александровны, то счел его, конечно, шуткой. Откуда другим знать, что у них, «в Париже», действительно сейчас одно сплошное солнце.

— Оля, вы сможете встретиться со мной сегодня вечером?

— Постараюсь что-то придумать. Сразу после работы?

— Я думаю, лучше чуть-чуть задержаться, пусть разойдутся.

— Хорошо.

— Я вам еще раз позвоню, и мы условимся. Вы не представляете, как я буду ждать вечера, Оля.

— Я тоже.

Он на самом деле еле дождался часа, когда можно было опять ей позвонить и договориться о встрече. Вместо ответа последовала столь длительная пауза, что он, не выдержав, спросил:

— Оля, вы меня слышите?

— Да, слышу... — безжизненным тоном, ничуть не похожим на тот, что он слышал несколько часов назад, произнесла она.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего. Просто я хочу, чтобы вы еще раз подумали: нужно ли все это? Понимаете? Хотя я знаю, что сделаю все так, как вы мне скажете. Но подумайте, прошу вас, еще раз.

Это было похоже на то, как если бы шедший на всех парах поезд остановился вдруг стоп-краном: неожиданность, растерянность, потрясение, от которого перепутались мысли.

— Хорошо, я подумаю, — наконец пробормотал он и положил трубку, бессильно откинувшись в кресле.

Он допоздна оставался в своем кабинете — думал. Около девяти, не вытерпев, позвонила Лидия Михайловна, которая, конечно, не надеялась застать мужа на работе, набрала номер на всякий случай и так обрадовалась, что он там, а не где-то еще, что и не пыталась этого скрыть. Он объяснил, что чертова пропасть дел, хочется покончить со всей прорвой сегодня же, а завтра и воскресенье спокойно провести в Суханове, пусть она приготовится, а для него захватит бутылку коньяку, есть такая необходимость. Лидия Михайловна, приготовившаяся к тяжелому испытанию и вместо этого обнаружившая, что ей предстоит два спокойных дня в доме отдыха, несколько раз повторила, что все сделает, пусть он не беспокоится и поскорее возвращается домой.

Вышагивая по кабинету, Константин Петрович размышлял: что заставило Ольгу Александровну в последнюю минуту произнести не то, чего он от нее ожидал? И эта фраза: «Хотя я сделаю все так, как вы мне скажете». Почему? Потому, видимо, что для нее это отнюдь не любовное приключение, а нечто гораздо более важное — со всех точек зрения. Ну ясно, Генриха своего она не любит, не может любить, слишком уж из разного теста они слеплены. Но вначале, когда Генрих ее пожалел, наверное, показалось, что и она тоже к нему небезразлична. Вот и небезразлична, какое же безразличие, если он примерный семьянин и двух чужих мальчишек обожает и лелеет, как своих собственных. Какое сложное сплетение! И безвыходное. Если только не разрубить разом, ни с кем и ни с чем не считаясь. И, боже ты мой, она ведь готова это сделать. А он сам, готов ли он? И вот почему Ольга Александровна ошеломила его предложением еще раз все обдумать: она первая поняла, что речь идет у них не о подпольном романчике; сам он, стремясь к ней, поддавшись инерции этого притяжения, не задумывался о том, что это все значит. Стоит сделать один шаг — и они уже, чего доброго, не смогут отодвинуться друг от друга, захотят, но уже не смогут. И вокруг — руины, последствия взрыва, который тогда произойдет.

Потом была бессонная, лихорадочная ночь, дождливый день в Суханове, в продолжение которого он незаметно допил всю привезенную бутылку и в конце концов заснул на диване, проспав до самого воскресного полудня. Проснувшись, он постарался взять себя в руки, виновато улыбнувшись, сказал жене, что чертовски перенервничал с этой комиссией и этим проклятым объектом «14Б», не надо на него сердиться, все будет хорошо. Она погладила его волосы, пошла вниз и принесла ему чашку крепкого кофе.

А недели через две он опять сошелся один на один с Ольгой Александровной у институтского лифта. Поздоровались, не глядя в глаза. Ехали наверх молча, только перед тем, как двери раздвинулись на ее этаже, Константин Петрович сказал:

— А в Париже все время дожди...

Уже выходя, Ольга Александровна тихо обронила:

— В Париже, оказывается, вообще очень трудно...

Гвоздики алые

На утреннем осмотре врач, перебрав ее рентгеновские снимки, удовлетворенно покивал.

— Неплохо, совсем неплохо, даже, я бы сказал, удивительно. За два месяца закрыть такую каверну — это вам, Анна Дмитриевна, бог помог, а не мы. Вот видите — была каверна, и нету ее. Можете себя считать практически здоровой, только, конечно, последить за собой придется. Чтобы режим, нормальное питание, воздух. Имейте в виду, чудеса дважды не повторяются. Такого быстрого прогресса я и у людей поспортивнее вас не помню, так что будьте крайне осторожны.

Поблагодарив его, Анна Дмитриевна вернулась к себе в палату и села, пригорюнившись, у окна, разукрашенного ветвистой изморозью. Мимо окна планировали крупные пушистые снежинки, всего тихо-тихо, будто весь санаторий вымер и она осталась одна во всем громадном доме, который когда-то был княжеской загородной резиденцией.

Анна Дмитриевна тихонько, в ладошку, заплакала.

Плачущей у окна ее и застала подруга по палате Калерия, Каля, не любившая, чтобы ее величали по отчеству, потому что это старит, а ей и так под сорок. Несмотря на серьезный возраст, Каля была бабой заводной и лихой на мужской пол. За их совместное двухмесячное пребывание в санатории она успела перебрать десяток мужиков, в число которых попали и двое докторов. У нее были поражены оба легких, временами появлялось кровохарканье, она себе долгой жизни не ждала и старалась не упустить то, что ей еще осталось.

— Плохой рентген? — испугалась она при виде Анны Дмитриевны. — Милиарный нашли?

Страшнее милиарного туберкулеза обитатели санатория ничего себе не представляли, он означал смертный приговор. К остальному они привыкли относиться как к естественной составной части их существования. Анна Дмитриевна почти не встречала таких, кто надеялся бы окончательно выздороветь, каждый обрек себя на пожизненное прозябание в больницах и санаториях.

Поэтому, услышав, что никакого милиарного нет, наоборот, каверна полностью заизвестковалась и палочек уже не обнаруживается, Каля рассердилась:

— Тогда какого этого самого ты тут сидишь и соплывишься? Вылечили ее, холяву дохлую, а она слезы льет. Беда мне с тобой, интеллигенткой такой и эдакой.

Смолоду Каля работала обдирщицей в литейном, оттуда у нее и цветистая речь. Там и болезнь на сквозняках вперемежку с жаром нажила, после чего ее из горячего цеха перевели в подсобницы. Словечки она употребляла не по злomu характеру, а просто по привычке, для выразительности. Характер у нее был добрый, даже излишне мягкий, поэтому она, наверное, ни одного мужика надолго закрепить не умела. Они с Анной Дмитриевной прибыли в санаторий одновременно, и Каля сразу же взяла над ней опеку — для нее-то это был уже пятый или шестой тубсанаторий.

Вот и теперь, видя, что подруга продолжает плакать, она присела рядом на красшек стула, обняла ее и зашептала:

— Ну чего, чего... Хорошо ведь все, все ведь хорошо...

Анна Дмитриевна тоже ее обняла и сквозь слезы выговорила:

— Жа-алко...

— Да чего жалеть-то, дурища? Что из этого рая выгоняют? Да хошь, я с тобой сию минуту поменяюсь и всех мужиков в придачу отдам? Или ты это из-за своего красавца? Плюнь! Ты себе не такого найдешь, а он так и будет по больницам ошиваться. Подумаешь — счастье в коробочке!

Каля долго еще наговаривала всякое в том же духе, но Анна Дмитриевна никак не могла успокоиться, слезы лились и лились, хотя подруга была права: для любого туберкулезника ее печаль в это утро выглядела интеллигентской дурью. Всего два месяца на зимнем воздухе — и здорова. Ступай себе обратно домой, к детишкам и радуйся.

Эти ее слезы были, как говорят, светлые, не те, что она повывлакала после очередной диспансеризации в школе, когда ей объявили, что у нее обнаружено нечто подозрительное в правом легком, и послали на полное обследование в тубдиспансер. Там взяли все анализы и нашли кавернозный туберкулез открытого типа. Это значило, что она выделяет палочки Коха и больше не имеет права находиться в ежедневном контакте с учениками, хотя ее ученики были взрослыми дядями и тетями — она работала в вечерней школе. От мужа и детей ей тоже велели изолироваться по возможности. Врачиха в диспансере добавила «по возможности», потому что знала, как жила Анна Дмитриевна — в одной комнате, в старинной квартире, поделенной когда-то на четыре семьи, переселенных из подвалов. Сыновья спали на полу, ногами под обеденный стол.

Муж растерялся и испугался больше нее. Как же он управится с двумя ребятами, если ее надолго зашлют в больницу? Никто ведь его от работы не освободит, чтобы он домашними делами занимался. Она беззлобно заметила, что ее тоже никто не освобождал, но он возразил, что у нее совсем другое, да и работа вечерняя. Можно подумать, что он служит в Министерстве иностранных дел, каждый день послов принимает, незаменимый человек, а он подшивал бумаги в тихой конторе с длинным названием, вровень с ней зарабатывал. Да еще утаивал на личные расходы, как у него назывались посиделки с приятелями в пивной и походы на стадион.

Вышла она за него, потому что пора было, и еще потому, что ей казалось — вдвоем легче и веселее жить. Ему-то, может, веселее стало, а самой Анне Дмитриевне не очень, только забот и тяжелой работы прибавилось. Особенно с рождением погодков-сыновей. От свекрови помощи никакой, придет — только воду намутит. Все не то, все не так, а чтоб обед сварить или ребят из садика забрать, на это ее нет. К себе-то раз в год по обещанию их брала, ни одного воскресенья Анна Дмитриевна по-воскресному провести с мужем не могла. За неделю столько несделанного накопится — кто за нее делает?

Иногда такая безысходность наваливалась — руки опускались. Хотелось лечь, закрыть глаза и так лежать, никого не видеть, не слышать. А то и страшнее мысли лезли. Страхивала, отгоняла слабость, дети росли, о них нужно было думать, авось им будет легче житься, чем их матери.

Анне Дмитриевне всегда тяжело жилось, с тех самых пор, как она себя помнит. Отца убили в первый год войны, когда она еще в детсад ходила. Мать его, кажется, любила, они оба были красивые, но прогоревала недолго, пустилась в гульбу, то к себе приводила, то сама исчезала на ночь. Дочь она не обижала, но и не баловала заботой, Аня росла сама по себе. Наголодавшись за войну и первые послевоенные годы, Аня и потом, когда другим людям стало все-таки полегче, жила не в достатке. Откуда ему было взяться? У матери была

зарплата младшего экономиста. Как только сил хватило педагогический институт одолеть. Способности у нее были средние, пошла туда, где меньше конкурс, — на химический.

Грешно кому сказать: единственная передышка, ей доставшаяся, это когда умерла мать, а Аня как раз начала получать еще полставки в соседней нормальной школе. Впервые она ела если не разносолы, то вдоволь, впервые у нее оказались деньги на помаду. И вообще она стала похожа на женщину, как ей сказала директриса, правившая железной рукой, но по-человечески жалевшая своих девчонок-учителей, у которых судьба, как правило, была устроена неважнецки. В эту вот передышку Анна Дмитриевна и встретила на вечеринке у одной из учительниц будущего мужа. У нее тогда, помнится, была прическа «юность мира», а явилась она в платье цвета электрик, надушенная духами «Серебристый ландыш». Он предложил проводить, она согласилась. Встречались, ходили в кино, иногда в кафе-мороженое. Однажды он у нее остался. Потом совсем к ней переселился — у нее одной целая комната, а он с родителями и двумя сестрами жил в двух комнатенках, из них одна проходная. Расписались и стали законные муж и жена. На свадьбу она все свои только-только образовавшиеся сбережения ухнула, а встретит сейчас тех, кто там пил-гулял, никого, кроме своих училок, и не признает.

Родился первенец, и кончилась ее передышка, навсегда кончилась. За первым второй — и пошло: пленки, кашка-малашка, один выздоровеет, другой разболеется. Муж вроде и поможет, в магазин сбегает или там дополнительное питание притащит из детской кухни, а дел все равно не убавляется. Пока оба самостоятельно передвигаться начали, высохла она, женщиной перестала себя чувствовать. Муж поначалу жалел ее, а потом так и привык — она за корыто, он за шапку. Она его даже не осуждала. Может быть, потому, что у нее вообще все эмоции притупились, какая-то вековая усталость придала.

Тубдиспансер направил ее в загородную больницу на два месяца. Потом она узнала, что это обычный срок пребывания во всех туберкулезных заведениях. Она ехала в автобусе, объятая ужасом перед будущим. До боли в сердце жалела детей — смерть ей представлялась неминуемой, а каково расти с мачехой, всем известно.

Больница ее поразила спокойствием. Ей казалось, что попавшие в такое страшное место должны день и ночь страдать и плакать, а они гуляли себе по саду, смотрели кино, стучали в домино и, как она скоро обнаружила, всюю крутили романы. Первую неделю Анна Дмитриевна почти не вставала с койки. Отлежавшись, освободившись от накопившейся усталости, она с удивлением заметила, что упадническое настроение куда-то исчезает и она по утрам открывает глаза не с привычной тоской, а с удовольствием, предвкушая еще один день, когда она должна только гулять, лежать, читать и болтать с новыми знакомыми.

Пока она находилась в больнице, директриса выхлопотала ей через обком профсоюза путевку в туберкулезный санаторий. Вообще-то не положено сразу, без перерыва из одного места в другое, нужно поработать, а тогда уж ехать, но директриса, молодчина, все уладила, соврала в обкоме, что Анне Дмитриевне предстоит операция, не сможет она работать, да и вообще она в таком виде в школу не может быть допущена. Операция, правда, ей грозила — страшная, с выпиливанием ребер и вдавливанием правой лопатки. Таким образом сдавливают легкое вместе с каверной, и она чаще всего зарастает. А больной на всю дальнейшую жизнь, сколько ему там остается, с деформированной фигурой. Для женщины такая операция — конец всему. Анну Дмитриевну спас московский профессор-консультант, отсоветовавший ее оперировать. Он рекомендовал консервативный метод плюс пневмоторакс, то есть, проще говоря, глотать порошки и давить

на каверну воздухом, который выпускают через иголку в плевры, — не так больно, как противно.

В санаторий она отправилась, не заезжая домой, — так директриса организовала, да ее туда, правду сказать, и не тянуло. Дети все-таки, хочешь не хочешь, жили у свекрови — кто ее ждал дома? Муж, приехав во второй раз накануне ее выписки, заглянуть домой ее что-то не очень упрашивал, наоборот, горячо одобрял план директрисы и убеждал, что для нее сейчас самое основное — отдых и еще раз отдых. Значит, устроился без нее, не скучает. А скорее всего еще при ней устроился, только ей тогда было все равно.

Доехав поездом до нужной станции, она нашла приемный пункт санатория — обыкновенную рубленую избу; хозяйка-вдова просто подрабатывала на чохоточных, как она именовала временных постояльцев. В избе уже дожидалась автобуса женщина с выкрашенными хной волосами и густо накрашенными губами. Говорила она громко и хрипловато, Анна Дмитриевна ее сначала даже немного испугалась, сама-то она была тихой и уступчивой. Санаторный автобус прибыл за ними поздно вечером, и за время ожидания они успели поговорить и понравиться друг другу. Характер Кали требовал, чтобы у нее кто-то постоянно находился под опекой, а Анна Дмитриевна против опеки над собой не возражала. Каля к тому же оказалась с большим опытом в мире туберкулезников, лет десять уже на учете состояла.

Добирались они до санатория в кромешной тьме, ничегошеньки по дороге не разглядели, а по приезду попросили дежурную поместить их в одной палате.

Первые две недели все происходило, как в больнице: осмотры, рентгеноскопия в разных ракурсах, привыкание к новым знакомым, дважды в день длительные прогулки по протоптанным в лесу тропкам. А лес вокруг санатория настоящий — матерые сосны. В этом, в сосновом воздухе, и заключалось основное лечение.

С Калей ей мало доводилось прогуливаться, в основном компанию составляли две другие соседки по палате. Каля предпочитала гулять в мужском обществе, она и Анне Дмитриевне советовала:

— Чего ожидаешься-то? Твой-то, думаешь, там узелком завязал? Такого небось дрозда дает! Ты погляди, как на тебя мужики зыркают. Выбери какого-нибудь — и порядок. Бери с меня пример.

Брать пример с лихой Кали она не могла, не с тем характером уродилась, да ей и так было хорошо, покойно и легко, как, пожалуй, никогда в жизни. Что может быть замечательнее — спать в чистой, мягкой постели, подниматься без торопливости, так же не спеша завтракать, гулять, болтая о том о сем, возвращаться к накрытому для обеда столу, потом читать или отдыхать, опять гулять, снова садиться за накрахмаленную скатерть, будто это какой-то праздник, а вечером хочешь — снова берись за книжку, хочешь — иди и танцуй в зале, если нет кино. И при этом знать, что такая жизнь не кончится через какие-то две недели, как в обычном доме отдыха, где и отдыхать не успеешь, а тебе уже домой пора, нет, это будет продолжаться целых два месяца.

Конечно, Анна Дмитриевна замечала взгляды мужчин, она уже достаточно пришла в себя, чтобы ощущать от этого тайное удовольствие. Если не иметь в виду таких профессиональных бабников, как лысоватый, хотя еще совсем молодой завсегда-тай танцев Лешенька. Только так его и звали — Лешенька. Этот кидался на каждую новую юбку, попробовал свои чары и на Анне Дмитриевне. Она мягко, но решительно дала понять, что он напрасно тратит время. Были и другие мужчины, которые явно не отказались бы свести с ней знакомство покороче. В санатории краткосрочные романы были главным содержанием жизни. Те, кто сам не выступал действующим лицом, с

интересом наблюдал и обсуждал перипетии чужих любовных историй.

Заметила Анна Дмитриевна и интерес к себе со стороны молчаливого немолодого человека интеллигентного вида, который всегда гулял в одиночестве. Сидя в столовой за несколько столиков от нее, он исподтишка вроде бы ее изучал, а если она перехватывала его взгляд, отворачивался. Анна Дмитриевна не знала и боялась у кого-нибудь спросить, кто он такой, но женский инстинкт ей подсказывал, что вот такого-то ей бы и нужно в жизни, а не суетливого, мелочного неправдивого человека, доставшегося ей в мужа. На чем основывалась такая уверенность, она не смогла бы ответить, — женский инстинкт, и все.

Однажды, встретившись глазами, они улыбнулись друг другу, но и после этого он продолжал свои одинокие прогулки и не пытался подойти к ней, хотя она, находя сама для себя оправдания, стала избегать попутчиц и делать вылазки в лес сама по себе. Один раз они даже столкнулись в чаще. Он слегка поклонился и прошел мимо.

Потом настал канун Нового года. С утра нормальный ритм санатория нарушился. Ставили и наряжали елку, развешивали заранее склеенные из цветной бумаги гирлянды; женщины красили волосы, гладили и ушивали или, наоборот, распускали где нужно праздничные платья. Мужчины сколачивали артели для добычи вина, которое в обычные дни находилось под запретом, а под Новый год, как проветила Анну Дмитриевну подруга Каля, спокойно ставилось на стол в бутылках из-под ситро. Медперсонал прекрасно это знал, но делал вид, что их подопечные пьют лимонад. Врачи тоже не звери, понимают, что новогоднюю радость отнимать у больных противопоказано.

Соседки по палате, тоже прозябавшие без партнеров, все-таки были порасторопнее Анны Дмитриевны и сумели добыть для их стола бутылочку «ситро» — контрабандой за небольшую мзду занимался тот самый шофер, что доставлял новых больных со станции. Анна Дмитриевна внесла свою долю, выгладила парадное платье цвета электрик, купленное много лет назад, но все еще новое, поскольку надевалось оно три-четыре раза в год, и пошла посмотреть, не пришло ли письмо из дому. Письма не было, муж ее не баловал, да и ребята тоже. Насчет мужа она и не очень переживала, а вот то, что сыновья не прислали хоть коротенькую открытку, было очень обидно. Впрочем, объяснила она сама себе, что можно и ожидать, если они находятся под влиянием свекрови, которая никогда не скрывала, что, по ее глубочайшему убеждению, сын сделал трагическую ошибку, взяв в жены такую простушку.

Подобными мыслями Анна Дмитриевна так себя растравила, что пришла ужинать, покусывая губы, чтобы не расплакаться. Краем глаза уловила, что тот знакомый незнакомец, озабоченно нахмурившись, пристально смотрит на нее, видимо, поняв ее состояние. Она тоже посмотрела в его сторону, и они опять встретились глазами. На сей раз он не отвернулся поспешно.

После ужина предстоял самодеятельный концерт, потом кино и танцы, а к половине двенадцатого все приглашались обратно в столовую на встречу Нового года. Как водится, большинство приступило к празднованию уже за ужином. Неожиданно для себя Анна Дмитриевна предложила соседкам по столу последовать этому примеру. Каля удивленно сказала:

— Ты чего это разошлась? Да ты никак плачешь? Из дому чего плохое сообщили?

Узнав причину расстройства, сама принесла лимонадную бутылку и сказала:

— Свою не тратьте, попозднее пригодится, а эту я у своего красавца взяла, у него их прорва. Давайте, подружки, правда, хватанем

предварительно, все веселее будет. А ты, Анька, дурью мучаешься. Подумаешь — не написали. Ну и не надо! Плюй на них и на все заботы да мясо себе наращивай на кости. Ты-то без них обойдешься, пусть они попробуют без тебя обойтись.

Каля, конечно, судила со своей колокольни, с позиции никогда не бывшей замужем, не рожавшей и не растившей детей женщины, но пусть в такой форме, а это все равно было сочувствие, в котором сейчас очень нуждалась Анна Дмитриевна.

Они выпили понемножку какого-то крепкого зелья, и на нее, не привыкшую к возлияниям, оно сразу оказало воздействие. Анна Дмитриевна не опьянела, а повеселела, почувствовала себя моложе и беззаботнее. Поэтому, когда на пути к концертному залу ее остановил он, она отнеслась к этому так, как будто ничего другого и не ожидала. Они легко и свободно познакомились, вместе сели в зрительном зале и дальше беседовали как старые добрые знакомые.

Среди выступавших самодеятельных чечеточников, декламаторов, баянистов и гитаристов оказался настоящий певец, правда пел он, как сообщил Анне Дмитриевне новый знакомый, в каком-то хоре. Бывший хорист спел много приятного, но настоящий фурур вызвал романс «Гвоздики алые»:

Гвоздики алые, багряно-пряные
Однажды вечером дала мне ты.
А ночью снились мне сны небывалые,
Мне снились алые цветы, цветы...

Исполнителя заставили повторить его трижды. И каждый раз, когда с эстрады начинал звучать несильный, но проникновенный тенорок, Анну Дмитриевну захлестывала какая-то сладкая истома. Она сознавала, что переживает счастливейшие минуты жизни. Кажется, и ее сосед испытывал нечто подобное. Она сама вложила руку в его большую ладонь, это вышло совершенно естественно, он понял и благодарно и бережно сжал своей сильной рукой ее ладошку, которая лишь недавно утратила шершавость, порожденную бесконечной стиркой.

После концерта они танцевали — все время друг с другом. Каля увидела, сделала удивленную гримасу и в знак одобрения показала большой палец.

С первого дня Нового года Анну Дмитриевну видели все время в сопровождении постоянного кавалера — такова была общепринятая терминология. Не имело значения, что он был в полтора раза старше ее, занимал ответственный пост и имел троих детей, все равно он попадал в разряд кавалеров. Они исходили лес вдоль и поперек, чаще всего молча, потому что большим разговаривать на морозе — серьезно рисковать. Как-то, гуляя, вышли к полю, на котором там и сям торчали стога со снежными макушками. Утопая в снегу, добрались до первого стога и обнаружили, что кто-то — может быть, парочка из их же санатория — вырыл в нем пещеру, куда можно забраться вдвоем. Они постояли, посмотрели друг другу в глаза и полезли в пещеру — первой она, за ней он.

Он уехал домой, в уральский город, на неделю раньше, чем подошел срок ее путевки. Прощаясь, никаких обещаний друг другу не давали, почти и не говорили, просто постояли в стороне от людских взглядов. Но Анна Дмитриевна знала, что, сколько бы ей ни довелось жить после этого, она всегда будет помнить этот лес, этот стог, этот незамысловатый романс об алых цветах, это душевное состояние, когда радуешься каждому новому дню.

В ЭТОЙ ЖИЗНИ ЗЕМНОЙ



ЛЮДМИЛА ЛЕПЛЕЙСКАЯ

Выпускницы военного года

Этот город — счастливый вполне.
Бьют фонтаны лениво и гордо.
Но тихонько стоят в стороне
выпускницы военного года.
Собрались через тысячу лет
после школьного майского бала.
— Как дела? Как здоровье? Привет!
Ты совсем уже белою стала.—
Помнят Сочи в дыму и пыли,
помнят юность, что кончилась рано.
В санитарки девчата пошли —
мыть, стирать, перевязывать раны.
Всё узнали — и холод и грязь.
Стали домом больничные стены...
Постарели. Морщины у глаз.
На руках — узловатые вены.
...Кипарисы скрипят на ветру.
Лето, юг, золотая погода.
Поглядите — стоят на миру
выпускницы военного года.
Среди шума и юрких машин,
на скрещении солнечных улиц.
В одиночку стоят, без мужчин —
их ребята с войны не вернулись.

А. СТРОГИНА



Это не сказка, настоящая быль,
И все же заносит на тысячи парсеков.
Тогда Ленинград нам планетою был,
Простреленным домом двадцатого века.

Склады Бадаева бомбами жгли —
Масло и сахар сливались с Невою...
Сентябрь. Восьмое. Впервые в те дни
Запахла беда горячей халвою.

Год к декабрю, стали дни коротки.
Мертвых все больше, голод все злее.

Их по проспектам, как дрова, волокли
На санках, на стульях, себя не жалея.

Был мальчишка в шинели, замотан
в платки,
Солнце кинуло в холод блестящую
россыпь.
Он упал у Фонтанки, красивой реки,
На решетке осталась дыхания проседь.

Война научила умирать на ходу,
Мы стали что камень, каких не бывало,
И дорога души — та дорога на льду,
И нашей победой девятое стало.

НЕЛЛИ ТУЛУПОВА

С той поры

Отцу-партизану.

За отцом охотились фрицы...
Оцепляли дом — не укрыться.
Днем травили собаками
Нас, детей. Чтобы громче плакали.
— Где отец, говори! Где отец твой? —
На колоду швыряли:— Ответствуй!—
Чтобы, страхом дух иссушая,
В крик ударились я, старшая,
Папу из лесу клича звонко,
Исхлестали железом колени.
...Дочь трехлетняя головенкой —
На кровавом полене;
Только что петуха тут резали.
— Ну ори! Пусть услышит мама.—
Мне открылось, как трудно, если
Обмирает сердце упрямо.
Не заплакавши от угрозы,
С той поры я не плачу боле...
Но сжимается сердце от боли,
Лишь увижу ребячьи слезы.

Перевела с белорусского Т. АЛЕКСАНДРОВА.

ФАРИДА РАСУЛЕВА



Я буду долго жить и многое успею,
ведь впереди — громада дней во мгле.
Ну а работать я уже умею.
И жить уже умею на земле.
Но, прежде чем уйду в свои потемки,
мне надо будет внуков воспитать.
Могучие и строгие потомки
меня с улыбкой станут вспоминать.

ЕВГЕНИЯ ГАЙ

* * *

Свое пустычное страшней чужого —
 Огромного — бывает до поры.
 А если рушатся семейные основы,
 Нам кажется, что рушатся миры!
 И вот уже трезвоном телефонным
 Зовем к себе на помощь целый свет,
 Чтоб кто-нибудь побыл врачом бессонным
 У изголовья наших тяжких бед.
 А где-то наводнения, пожары.
 А где-то продолжается война.
 И кинь на чашу боль свою — пожалуй,
 Над тою чашей вмиг взлетит она.
 Ну пусть, нет горя малого. И добыт
 Час облегченья трудно. Все ж скажи,
 Что было? Троя? Ад? Всего лишь — опыт,
 Так, небольшой, на мужество души!

ЛАРИСА МИЛЛЕР

* * *

Маме.

Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
 Я то и дело к тебе возвращаюсь
 Утром и вечером, днем, среди ночи,
 Выбрав дорогу, какая короче.
 Я говорю тебе что-то про внуков,
 Глажу твою исхудавшую руку.
 Ты говоришь, что ждала и скучала...
 Наш разговор без конца и начала.

ЛЮДМИЛА ШИКИНА

Тревога

Ф. В. Казакову.

Хоть бы раны к дождю зацели.
 Неужели на этот раз
 Эту землю, что Федор спас,
 Небеса насовсем забыли?
 На безветрии хрупок стебель,
 Колос сыплется инеем серым.

Перепутали лес и степи —
 Где восток, а где север.

То ли солнце в зените стоит,
 То ли поле над солнцем замерло...
 Если все в этом мире сгорит —
 Как затеяться жизни заново?..

Над торфяником тлеет зарево...
 Как же вдруг
 оборваться памяти...
 Сердце Федора сжалось, замерло.
 Хлеб и лес — его жизни

памятник.

Нынче летом все снился Федору:
 На горящих руках люк
 Танка,
 Вышедшего за Одер...
 И рисующий солнце внук...

Песня моя неспетая

Я себе кара высшая,
 Я себе воля вольная.
 Я себе кофту вышила
 Белую — синими волнами.
 А уж как в лодку села,
 Как уронила весла,
 По облакам по белым,
 Да по зеленым веснам,
 Да вдоль по речке Белой
 Я поплыла навстречу,
 В город — куда хотела.
 Легкого ветра легче,
 Лодка моя смоленая
 Еле волны касалась.
 Вот уж вода соленая —
 Речка отстала.

В косах моих золоченых
 Соль оседает горькая.
 Я ли тобой не ученая,
 Жизнь моя гордая.
 Ты ли меня не повадила
 На непосильное зариться.
 Что ж ты со мной не поладила?
 Я ли твоя не ударница.
 Ты ль не дала света,
 Не отняла силы,
 Песня моя, не спетая
 Над колыбелью сына.

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА

* * *

Горнострелковый корпус из Петсамо
 За каждым камнем целится в меня.
 А я-то здесь цыганочку плясала,
 Срывая голос, песни пела я...
 Так страшно: он вчера как будто сделан —
 Чужой, высококачественный дот...
 Война, война, в ночи лопарской белой —
 Как барражирующий самолет.
 Под нами там — фьорд кинжально-острый.
 Любой из нас тут не от водки пьян.
 Кипрей, кипрей, гранит порфиноносный,
 И, старший мичман Миша, — ваш баян...
 Я не скажу, что сладок здешний воздух, —
 Он весь прострелен. Он кровоточит.
 Его нема немецких дотов возле.
 Нема совсем. В могилы он зарыт...
 ...А пирсы сплошь с начинкой динамитной,
 И волчьей стаей сонм подлодок прет...
 Дай прикоснусь к щеке твоей небритой,
 Мой Заполярный ошалевший фронт!

Твой тельник порван... ты в крови и гари...
 Гляди — с земного снесено лица
 Бензохранилище в Линахамари
 И заводь Девкина простреливается...
 Дыра в походном ордере конвоя...
 Прорыв в противокатерных сетях...
 Уж сколько взято, Баренцево море,
 Морской пехоты — штормовать в гостях!..
 Светло от осветительных снарядов,
 От залпов батарей береговых...
 Да сколько и осталось-то в бригадах
 В 12-й, в 63-й — их?!
 Что ж крепко спите вы, северофлотцы?
 Воздушным валом тучу размело...
 От навигационных карт и лоций
 И не подьемают бледное чело...
 И только чрез земельные преграды,
 Сквозь дым гранаты и — поверх венков
 Глядит последним, невозможным взглядом
 Матрос Иван Михайлович Сивко.

* * *

Что, Виллем Баренц, смотрите в лицо мне?..
 Отбили склянки тусклых кораблей...
 Амбары с солью, избы да часовни,
 Смятенные погосты лопарей...

Над бездною, носящей ваше имя,
 От фьордовых, скалистых берегов
 Как будто бы вселенскою пустыней
 Пройдет военный флот — моя любовь.

Но здесь не место для речей любовных...
 Потом, позднее, сердце соберет
 Щемящий, дикий, ненаглядный облик,
 Жемчужный свет высоких тех широт...

Серо-зеленый накипный лишайник
 На розовых и пестрых валунах,
 Багряную зарю, и стаю чаек,
 И серый катер ОБРа¹ на волнах.

И в резком ветре — вечный клич «полундра!»...
 Шинелей черных отсырелый ворс...
 О Виллем, средь пологих сопок тундры
 Что камешек в руке — Североморск!

Дрожат его радиомачты... Серый...
 Лиловый... Он во мгле неразличим...
 Ах, как нарядно в Доме офицеров
 От этой формы — черной с золотым...

Я думаю, к вершине полушарья
 Приникнув, что могла бы ей служить.
 В редакцию «На страже Заполярья»
 Свои стихи, робея, приносить.

Да что стихи!.. Варила бы, стирала...
 По улицам коротким и пустым
 Детей вела... Погоны пришивала
 К нарядной форме — черной с золотым...

¹ ОБР — охрана водного района.

Шла в снежные заряды, пригибаясь,
 Дышала бы в причальные огни:
 «Вы моряков оберегите, Баренц,
 Как ваше море берегут они!»...

ЗОЯ ВЕЛИХОВА

Голос у Темзы

Нет новых кумиров под ветром страны.
 И нечему, значит, служить.
 К тому же ушло ощущение вины.
 И проще от этого жить.
 Насущному верен и больше не свят
 Спешащий не в рай и не в ад.
 И стадные ритмы победно звучат
 Над жизнью взойдя наугад.
 Всех мимо, минуя себя самого,
 Забыв о бессмертной душе,
 Лишь ритмом настигнут, и вот ничего
 Не дорого вовсе уже.
 На всех пикадиллях, в облаве реклам
 Пустой, леденящей ночи,
 Друг друга не слышат сквозь грохот и гам,
 Задувших мерцанье свечи.
 А утром вестминстерских башен полет
 Проколет пространство иглой.
 И снова туман небывалый плывет
 Над мутной великой рекой.
 Чуть слышится музыка дальних светил.
 Но только теперь до того ль?
 Не все ли равно, если ритм упразднил
 Шемящей мелодии боль?
 И не перед кем ни за что отвечать.
 Осталось на клавишу пальцем нажать,
 Чтоб суперкассетник исторг
 Победные звуки и вызвал опять
 Слепой и желанный восторг,
 Чтоб вновь, по привычке задержав плечом,
 Лишь мигом одним дорожа,
 Жизнь праздновать и не жалеть ни о чем,
 Верховному кайфу служа.

МАРФУГА АЙТХОЖИНА

* * *

Мне дважды не жить этой жизнью земной.
 Вершина мечты высока надо мной.
 Но ради того, чтобы к ней прикоснуться,
 Хочу в совершенстве владеть я домброй!
 Хочу в совершенстве домброй я владеть —
 Пусть песнь моя слышится ныне и впредь.
 Не знаю, когда остановится сердце,
 Привыкшее ради грядущего петь.
 Не знаю, далеким ли будет мой путь.
 За ищущей мыслью спешу я шагнуть.
 Живу я во имя любви — неужели
 Любовью не будет наполнена грудь?
 Пусть мал мой талант, но в родимом краю
 Я с честью нести буду долю свою.
 И молодости — ее радости шумной —
 Я песни свои не скупясь отдаю.

Я редко склонялась к ее роднику:
 Пригубь же, о молодость, эту строку.
 С домброю сольются мои десять пальцев —
 Я трель соловья из домбры извлеку!

Перевела с казахского Т. КУЗОВАЕВА.

НАТАЛЬЯ БАБИЦКАЯ

* * *

Ладонь у варежки замерзнет.
 В ней долго смогут жить снежки
 и пустотой не станут мокрой,
 сквозь пальцы ускользнув с руки.
 И снеговик новорожденный
 недолго будет одинок...
 А мне — бежать к теплу и дому,
 не слушаясь замерзших ног.

* * *

О боже, как хочется жить,
 лететь, задышаться и мучиться,
 гореть. Ну а там как получится:
 пусть в пепел — не надо тушить!..

* * *

Куда мне надо обратиться
 за книгой, что ценней других,
 в чью глушь судьба людей
 родных
 занесена пером провидца?

Как я хочу стереть их беды
 большой округлостью любви!
 И не нужны мне словари,
 чтоб счастье вписать в пробелы.

На тему счастья написать
 поможет мне диктант несчастья,
 он выпадает слишком часто,
 чтоб слов обратных мне не знать.

Я напишу о том, что все
 желанья станут исполнимы.
 Беспомощности исполины
 подвластны будут их красе.

Через дневной мороз и зло
 друзья сойдутся в дом вечерний,
 и чай подарит всем тепло,
 и размянется печенье.

ЛАРИСА РОМАНЕНКО

Дэугава

Твоя вода светла и глубока.
 В ней океанским кораблям не тесно.
 Огромная и строгая река —
 Среди рек больших тебе и честь и место.

От бега времени дрожат мосты,
А ты течешь неспешно под мостами.
Латышского характера черты
В тебя вливались долгими веками.

Тебя душой народа назову,
С которым жизнь меня навек сроднила.
Смотрю с моста на волны иль плыву —
Твои во мне терпение и сила.

ТАТЬЯНА РЕБРОВА

* * *

Ты за тридевять земель.
Но чугунные-то лапти,
Может, кто-то из Емель
Одолжит. Уж вы представьте
Сродников для разговора.
Всем по чарке поднесу
Ради пущего задора
В заколдованном лесу.

Не из царского отродья:
Белых ножек не собью.
Мне черничные угодя —
Что конюшни воробью.

Затоскуют все Емели.
Кулаками-то о пни
Так ударят, что на ели
С неба упадут огни.

«Здесь из нас любой скиталец,
Но в лаптях, не став золой,
Толщиною в средний палец
Чугуна остался слой.

А на твой призыв и дня мы
Не прошли, а вот у кос
У твоих вдруг между нами
Каждый стал мгновенно бос.

Ворожи иль нет, но притче,
Хоть всех змеев отрави,
Разве исполнялись притчи
О пространстве и любви?!

Словно грош, луну бросая,
Погадай-ка на Емель». —
Ничего! Пройду босая
Эти тридевять земель.

* * *

Тому, кто не ходил за плугом,
Какой резон кошель росой
Набить и быть еще к услугам
Какой-то женщины босой?

Соврать удобнее дурехе...
Наговорить красивых фраз,
Где б нежный взгляд и грусть
во вздохе

Перекликались через раз.
И это мне, что, рассыпая
По полю бусы, шла, ища
Того, кому, полуслепая от слез,
Сварила бы борща!

И взгляда не было, и звука
Не проронил. Но что меня
Любил, тому была порука:
Стрела в груди и труп коня.

МАРИНА ТАРАSOВА

Март. Предчувствие

Да, я слышала шелест
неродившихся слов,
да, я видела нерест
окуней и сомов,
и взрывались аорты
возрожденных корней,
и дымилась реторты
возмущенных морей.
В роковую разлуку
через трубную медь
кто-то подал мне руку
и не дал умереть.
Кто-то вел на вершину
от утра до утра,
где колотят о спину
золотые ветра,
где в пунцовой облатке
спит в шиповнике склон,
где мерцает разгадка
всех сердец и времен.
Кто-то вел меня строго,
дуя в старую медь,
кто-то пел над дорогой
и не дал онеметь.

ТАТЬЯНА БЕК

* * *

Что судьба? Это узел смятений:
Ужас детства и ливень осенний,
Смерть отца, и блоковский гений,
И желанье подняться с колен,
Чтобы стать человеком вселенной,
И гармоника в пьяной пельменной
На окраине города N...
Это путь потому и бесценный,
Что погибелью платишь за крен.

Какая ни есть

Столько мыкаться, маяться, злиться,
Чтобы взять и понять наяву:
Я люблю посторонние лица.

Я какая ни есть, а сестрица
Всем живущим и этим живу.
Я как раз полоскала в корыте
Занавеску — пронзило, как весть,
Необъятное это открытье.
— Вы обратно меня не гоните!
Я сестрица, какая ни есть.

КОРНЕЛИЯ ВОЙТКЕВИЧ**Лицо**

Твое лицо темно и ново,
И глаз разрез наискосок —
Как неосвоенное слово,
Чей смысл тревожен и глубок,
Как город к ночи — глинобитный,
Район окраины глухой,
Ничем не освещенный, слитный,
Соломы кровельный застой.
Район окраины. Граница.
Арык, стена карагачей.
Верблюдов пыльные ресницы
Сползают на слюду ночей.
Граница. Отмели гранита.
И больше некуда идти.
И, наводнением размыты,
Блестят трамвайные пути.
Здесь дико эхо отвечает
На непонятном языке.
Твои глаза — оттенка чая,
Что тонет в ярком кипятке.

СВЕТЛАНА ГЕРШАНОВА

* * *

Север отучал от суеты
Долгим неприбытьем самолета.
И качались блеклые цветы,
Вслушиваясь в тайное во что-то.

Чаячий полет наискосок,
Распростерты медленные крылья,
Серо-бурый северный песок
Будто смешан с угольной пылью.

Бьется темно-серая волна
В берег, посеревший от тумана,
Светло-серой дымки пелена
По-над сопкой и до океана.

С детства различать умел цвета —
Поучись-ка различать оттенки!
...Словно скорость главная снята,
Спит аэродром за серой стенкой.

Не спеши, прислушайся к реке,
Помолчи, постой лицом
 к восходу —
Это говорит с тобой природа
На давно забытом языке...

О ЧЕ РЖИ НАШ ИХ ДНЕ И

ВИКТОР ИЛЬИН



СЕЛО МОЕ РЕЧНОЕ

Дом, в котором живет Виктор Павлович Байков,— изо всего села. По размерам невелик, обычный пятистенок на семью из четверых: муж, жена и двое детей. Дети взрослые, у них свои семьи, и в доме сейчас живут двое.

Сказать, что дом у Байковых нарядный? Пожалуй, верно, но это не все. Даже в пасмурный день он словно озарен светом. Стены дома голубые. Резные наличники покрашены белилами. Фасад чердака расцвечен в виде восходящего солнца, как обычно рисуют дети, и каждому лучу найдена своя краска. Створки ворот тоже в цветной росписи. На каждой из них солнечный диск с многоцветьем лучей.

Пройдешь мимо и невольно задержишь шаги, залюбуешься богатой палитрой. Перед домом голубой штакетник. На шесте скворечник, точная копия дома и тоже цветной, изящный, веселый. И кажется, даже скворцы тут орут громче и блестящие фраки на них сидят лучше, чем у других, соседских скворцов.

Виктор Павлович немолод. Воевал. Вернулся с войны инвалидом. Сколько мог работал в колхозе. Сейчас на пенсии. Жена тоже пенсионерка. Ведут хозяйство: овцы, куры, поросенок. Корову не держат — с кормами тяжело. Огород, конечно, есть. Байков, первостатейный столяр, может смастерить все что требуется — от табурета до гроба. Себе гроб сделал заранее. Но пришлось отдать: сват помер, тоже фронтовик, бывший колхозный кузнец, очень уважал его Виктор Павлович. Так и сказал, когда стало известно о смерти свата:

— Никому бы не дал, а ему отдам.— И заплакал.

Однажды я спросил Виктора Павловича, кто научил его сотворить такую красоту со своим домом и почему ни у кого другого в селе нет таких нарядных хором. В тот раз мы сидели с ним на обрыве, откуда виднелась бывшая река Кама, теперь ставшая частью водохранилища. Ширь тут между берегами — километров на восемь. Вода подошла к самому селу, но бывшая пойма выглядит однообразной и серо-сучной, как шинельное сукно. Вода в этом мелководье летом цветет, делается зеленой. В жидкости, прогретой до теплоты щелока, куствуют водоросли, щетинятся черные от мазута верхушки тальника. Ни рыбьего всплеска, ни лягушечьего ора. Даже вороны норовят облетать эти клятые людьми разливы.

С горы видно, как на коренной Каме идут суда: огромные четырехсекционные составы, ведомые мощными толкачами. Облаком возникает на плесе четырехпалубный круизный теплоход. Проносится «Метеор». Не в диковинку увидеть на двенадцатикилометровом плесе одновременно 10—15 судов.

Сидим, смотрим, молчим. Вопрос задан, но Виктор Павлович медлит с ответом, провожает взглядом громаду «Волго-Дона», на палубе которого чуть не вровень с рубкой навалены штабеля леса.

— Говоришь, кто меня учил? — спрашивает Виктор Павлович.— Перед войной в школе учитель по рисованию был. Вот он и надоумил, как красоту понимать. Выведет группу на берег и рассказывает. Надо, говорит, уметь видеть в цвете радость. Слушаешь его и в самом деле начинаешь отличать: у дуба зелень темная, ивняка по цвету гораздо краснее. На луга взглянешь, а там разнотравье, словно радуга. Пристал к отцу: купи краски, рисовать буду. Отец ремнем погрозил: работать надо, по хозяйству матери помогать, а не баловством заниматься...

Учителя взяли в армию летом сорок первого. Виктора Павловича призвали через год. Дошагал до Германии, там ранило, долго маялся по госпиталям. Когда вернулся в

Речное, мужиков — по пальцам перечесать, ни один двор не обошла война. Не уцелел и учитель рисования.

— Выйдешь, бывало, на берег, это еще до того, как затопило здесь все, взглянешь на луга раздольные, в них озера словно полтинники блестят.— Собеседник говорит негромко, хрипловатым голосом, волнуется.— Солнышко закатится, а небо, как яблоко анисовое, станет. А то запольхает багрянцем, жутко делается. Да, чай, и сам знаешь, какие над Камой закаты...

Да, камские закаты загляденье, особенно в конце июля и в начале августа. Нигде таких не видел: темнота спущается, а на небе краски расцветают сочные, спелые. Возникает такое богатство цвета, какое я видел лишь на полотнах Рериха.

— Ну-ну,— поторапливаю я собеседника.

— Вот и решил в память художника свой дом разукрасить,— говорит Виктор Павлович.— Это, конечно, когда женился, дети подросли, когда по инвалидности из колхоза ушел. К тому же тоска меня по загубленной красоте постоянно точила.— Он повернул ко мне худощавое, незагорелое по-крестьянски лицо с глубокими и резкими морщинами. В голубовато-серых глазах Виктора Павловича печаль.— Ну вот, значит, когда все вместе сплелось, и затеял я дом украсить. Жена ворчит: все у тебя не как у людей — гроб заранее сготовил, теперь вот раскрашивать дом взялся... Сначала на бумаге все нарисовал. Смотри, говорю жене, как ладно-то станет! Согласилась,— он рассмеялся,— поняла: все лучше, когда мужик свободное время не на пьянку тратит...

Мы не раз толковали с Виктором Павловичем на разные темы. Я все норовил узнать у него, почему же другие в селе не украшают свои дома, как сделал он. Байков от вразумительных объяснений уходил, однажды все же сказал:

— Ну посуди сам: может ли каждый песню петь? Вроде бы и нехитрое дело, у всякого голос есть, а петь не любой споет. В компании или, к примеру, когда солдаты по улице топают — это одно дело, там лишь бы звук был. А чтобы в одиночку спеть да по-хорошему, слух нужен. Согласен?

И добавил, развивая далее свою мысль: иной владелец дома и не прочь бы украсить свое жилище, а как это сделать? Сам не умеет (мазать кистью нетрудно, а вот колер подобрать, узор соблюсти не так-то просто, действительно «слух» на краску надо). Нанять мастера, скажем того же Виктора Павловича, нужны деньги. Да и не только. Надо краску достать, а в сельской лавке ее нет. Стало быть, езжай в город, это тридцать верст в один конец. Поедешь, а в магазине из всей палитры либо охра, либо голубая. Нет у мужика расчета в город мотаться за красками, да не раз, не два, а все время, пока дом стоит. Краски-то выгорают, мороз и дожди их разрушают, значит, надо поддерживать красоту. Каждый ведь понимает: чем лучше вещь, тем заметнее в ней изъяны. А так стоит дом, побурел, посерел от ветров, времени и стужи, ну и ладно! Не у одних нас так — вся улица немаркого унылого цвета. И в оправдание еще скажут: не красна изба углами, а красна пирогами.

Спорить с вековой мудростью не стану. Замечу только: а разве нельзя сочетать и красоту углов и вкус пирогов?

Культура русского села насчитывает не один век от роду. Сельская русская культура — явление феноменальное. Она глубоко национальна по форме и содержанию, единственная в своем роде. Ее родил русский быт, она выражение морали народа. А какая она сейчас, в наши дни?

Разумеется, я меньше всего склонен считать, что культура заключается в украшенном доме. В конце концов нарядный дом Виктора Павловича — это внешняя, казовая сторона, скажем, свидетельство художественной одаренности владельца дома. И, конечно, не каждому дано достичь этого, а упрекать тех, кто не может сделать, не за что. В этих заметках я намереваюсь поделиться своими наблюдениями над различными сторонами современной сельской жизни, ее быта.

Иногда мы видим на подмостках сельских клубов или на экране телевизора выступления различных ансамблей и коллективов, призванных как бы убедить нас в наличии высокой сельской культуры. Так ли это? Ведь часто свистящий в бересту самодеятельный умелец, немолодые женщины, приплясывающие в старинных нарядах под гармонь, самодеятельные оркестры народных инструментов и для самого жителя современного села удивляющая его немыслимая экзотика. Посмотрят, подивуются и... забудут.

В селе Речном художественной самодеятельности нет. Сегодня здесь прочно обосновались радиомангитолы и переносные магнитофоны. Вечерами из окон некоторых домов и сельского очага культуры громяют и завывают металлические голоса очень популярных и вовсе неизвестных артистов, причем особым почетом пользуются битлы. После Аллы Пугачевой битлы по популярности, пожалуй, на втором месте. Может быть, вопят вовсе и не битлы, но поскольку сельский меломан не всегда свободно разбирается в иностранных языках, да и записи не очень высокого качества, все это оглушающее зовут словом «битлы».

В один из летних вечеров, дело было в субботу, из клуба исходили особенно мощные звуковые волны невесть на каком языке. У нашей соседки тетки Дуни Ульяниной во дворе от этих звуков шарахались овцы и испуганно прыдала ушами черная коза Зинка. Утром я встретил заведующего клубом Александра Меркулова и поинтересовался, что за мероприятие было вчера в клубе.

— Не говори,— ухмыльнулся Меркулов,— диск была. Выжила меня молодежь: привези, слышь, дядя Саша, из Алексеевского диско! Вот и приехали... Три фонаря по очереди зажигаются: желтый, зеленый, красный, два усилителя работают. Вся малышня сбежалась. Говорю: свет зажечь? Орут: не надо! И валят в потемках кто во что горазд...

Да, подумалось, пришла западная культура на берега русской реки, «приобщилась» молодежь села Речного к европейскому искусству. Куда уж теперь со всеми этими хоровами, народными танцами и прочей стариной!.. Горько писать об этом. И поэтому можно, наверное, представить мое удовлетворение, когда довелось прочесть в «Правде» раздумья народного артиста СССР Игоря Моисеева, который с тревогой отмечает, что в результате поверхностного подхода к народной хореографии теряется неисчислимое разнообразие оттенков русского народного танца, он лишается величавости, целомудрия, лиризма, обедняется и вульгаризируется. «Необходимо вернуть нашему танцу его благородство, богатство нюансов,— пишет Игорь Моисеев.— Опорой для этого возрождения может стать русская музыка, сохранившая своеобразие языка и национального стиля».

Руководитель Государственного ансамбля народного танца СССР, отдавший ему почти полвека, с недоумением ставит вопрос, почему у нас не создаются советские бытовые танцы, почему мы до сих пор пользуемся танцами привнесенными. И, разумеется, вряд ли кто не согласится с ним, когда он замечает, что с чужими заимствованными пластическими движениями приходит и другая эстетика, этика и психология. В самом деле, о каком духе оптимизма и бодрости можно говорить, когда наблюдаешь на подобных «диско» нечто вроде соревнования трясунов.

И поскольку речь зашла о том, как в селе веселятся и отдыхают, расскажу о выпускном вечере в школе, которую окончили в тот год 12 человек. Я поинтересовался у председателя колхоза, который пришел на вечер, сколько из выпускников остается в колхозе. Мне ответили, что двое: парень и девушка. Остальные кто в техникум, кто в среднюю школу в райцентр, кто в город к родственникам. Да это еще что, продолжал мой собеседник, осенью в первый класс из двух сел придут всего 5 ребятшек. А что делать? Нет молодых семей во всех трех бригадах. И пожаловался: заложили новую школу, взяв типовый проект на 190 учащихся. Колхозу за глаза хватило бы вполнину меньше, но велят строить, как записано в проекте.

Все шло заведенным порядком: директор вручал свидетельства об окончании, выпускники благодарили. Одна из девушек, одетая в длинное белое платье, похожее на подвенечное, преподнесла своей первой учительнице сувенир в стиле ретро: миниатюрную лампу — копию семилейки, хотя таких ламп давно уже нет в помине. Остальным учителям дарили цветы.

Учащиеся устроили небольшой концерт. Одна из выпускниц прочла стихи о советском паспорте. Другая довольно бойко сыграла на гитаре «Виновата ли я...». Потом четверо пареньков, тоже бывших восьмиклассников, исполнили а капелла пугачевскую песенку, в которой есть слова: «То ли еще будет, ой-ой-ой».

В селе Речном шипящие произносят толсто, поэтому слово «еще» звучало как «ишшо». Я слушал слова, выговариваемые силловатыми от волнения голосами, улыббался, как все, хотя на душе было вовсе не радостно: действительно, то ли «ишшо» будет через восемь лет — кто будет работать в колхозе, если людской отток не прервется?

Потом родители и гостей позвали в учительскую, где был накрыт стол для ужина. Выпускники ужинали отдельно. После тостов женщины запели. Пели разное: «Когда

б имел золотые горы», «Листья желтые над городом кружатся». Особенно удалась песня, в припеве которой есть слова: «...по которой, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла». После душевной песни застолье наше вроде бы как загрустило.

А в самом большом классе, где стояли столы с угощением, орал металлическими голосами усилитель и молодежь танцевала новые танцы.

Я смотрел на своего племянника Васю, парня смиренного, работающего. Он был в новом, первый раз надетом костюме, в неразношенных еще ботинках. Разом повзрослевший, он топтался вместе со всеми, неуклюже размахивая длинными руками. Танцующие избегали смотреть на взрослых, и мы вышли, чтобы не мешать веселью.

В ночь после выпускного бала я уснул поздно и слышал, как шумно расходились по домам виновники торжества. А вообще-то у нас по вечерам и ночью тихо. Прогонят коровье и овечье стада, поорут хозяйки, зазывая во дворы бестолковых овец с ягнятами, и все стихнет. Изредка промчится с отчаянным ревом неухоженного мотора мотоцикл, и снова тишина. Еще вовсе светло. Тут бы самое время в лапту поиграть, вдоль порядка с гармошкой пройтись. Но пусто на улицах и в переулках села, которое протянулось вдоль Камы без малого на два километра. Пусто и тихо.

Как-то летом село навестили несколько бывших жителей Речного. Как водится, устроили в одном из домов застолье, а потом гости вышли на улицу и с песней двинулись вдоль порядка. Особенно хорошо пели двое мужчин. Песня была старинная, хватающая за душу. Певцы вроде бы и не пели, а рассказывали о беде, которая приключилась в небогатом селе, затерявшемся меж высоких хлебов. Они шли с околицы прогаром, удаляясь к церкви. И было от песни какое-то непростое чувство грусти и радости, казалось, сердце стало биться чаще, и понял еще раз всю прелесть жизни, радость от сознания, что у тебя есть родина, что ты среди близких и родных людей.

Мне потом рассказали: возле дома, в котором живет Александр Шабров с женой Мотей и престарелой матерью, певцы допели песню и стали прощаться. Старуха, лежавшая на печи, окликнула сноху:

— Матрена, подай мужикам по стопке, пусть еще спокот! А то уж больно надоело, когда тихо в селе-то...

Вот и пойми человека: то жалуется, когда вечерами звучат магнитофоны и приемники, тишины просят, а тут старуха несколько своеобразным способом поощрить стремится исполнителей. Можно, конечно, это объяснить консерватизмом пожилого деревенского обитателя, а можно, наверное, посчитать это протестом против бесцеремонного и бездумного внедрения чуждой русскому человеку так называемой музыкальной культуры, выражающейся в многодецибельном реве и громыхании.

Почему же среди молодежи бытует пристрастие к чужестранной низкопробной музыке? Думается, повинны в этом вторжении заемной музыкальной культуры худших образцов те, кто наводняет радио и телевизионные программы всевозможными громающими однодневками, скороспелыми поделками зарубежного и домашнего приготовления. Сложилась такая ситуация, что отличить их можно лишь по силе звучания и количеству бессмысленных «ля-ля-ля».

Свой вклад в привитие дурных музыкальных вкусов внесли так называемые ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Среди них лишь считанные единицы могут быть отнесены к сфере искусства. Остальных поклонники именуют «лабухами», объединившимися, мол, для заколачивания «башлей» (на жаргоне «лабухи» и «башли» означают соответственно «музыканты» и «деньги»). Это о них с досадой и болью говорит заслуженная артистка РСФСР Гелена Великанова: «Случайный репертуар. Неопрятные прически. Отсутствующие, бездуховные лица. Пошлые движения. Я считаю это явление настоящим злом, калечащим многие молодые жизни...»

Это было сказано после того, как закончился очередной Всесоюзный конкурс артистов эстрады, членом жюри которого была Великанова.

Что же следует сделать, чтобы жители так называемой глубинки, к которым относятся и мои земляки из села Речного, воспитывались не ВИА, а в духе подлинно народной музыкальной культуры, в том числе и песенной?

Эти вопросы беспокоят не одного меня. Вологодская журналистка, поборница сохранения народных традиций Нина Веселова в статье «Сберечь песню», опубликованной в «Литературной России», высказывает, как мне кажется, дальнее предложение: «...сделать песенное народное творчество составной частью уроков музыки в школах, подготовив для этого соответствующих специалистов. У сельских школ в этом деле больше возможностей — они могли бы приглашать на занятия и на вечера местные певческие

коллективы... Наверное, только там, в естественных условиях бытования, песни могут передаваться из уст в уста ненавязчиво и полно. Только там и только при склоненном в пользу этого общественном мнении. Сам собой встанет тогда вопрос и о народных инструментах, ныне почти забытых... И тальянка, на которой ныне играют считанные исполнители (а делает их и вообще чуть ли не единственный на всю область мастер), перейдет, быть может, в молодые и надежные руки». Только и могу добавить: золотые слова и вовремя сказанные.

К великому сожалению, по непонятным причинам, а может быть, из-за ложного чувства показаться сентиментальными и несовременными мы слишком от многого отказались в своем родном песенном творчестве. Справедливо замечено, что народная традиционная культура тесно связана с высокими нравственными устоями, извечно свойственными нашему народу.

Советская культура вбирает в себя все лучшее, что создано человечеством. Существуют безобманчивые, проверенные на практике методы этого отбора. Так почему же допускается порой снижение этих критериев, размывание классовых принципов оценки культуры? Сотворение ее — процесс сложный и длительный. И думается, он меньше всего поддается регламентации, инструкциям и правилам. Сверх культуры не насадишь, запретами делу тоже не поможешь. Должен быть естественный и многообразный ход развития. Только тогда можно говорить о сохранении и возрождении традиций и, может быть, о создании новых.

Верится: произойдет коренной перелом, будут преодолены трудности с обеспечением населения продуктами питания. Но ведь нельзя же всерьез полагать, что за культуру на селе мы возьмемся после того, как осуществим Продовольственную программу, или, как иногда говорят, произойдет «повышение уровня жизни». Под этой формулировкой понимается рост доходов населения и увеличение производства предметов потребления. Возможно ли ограничиваться этим толкованием? «В действительности понятие уровня жизни гораздо шире и богаче,— говорил на Пленуме ЦК КПСС в июне 1983 года товарищ Ю. В. Андропов.— Тут и постоянный рост сознательности и культуры людей, включая культуру быта, поведения, и то, что я бы назвал культурой разумного потребления...» И далее указывалось, что именно эти, как и другие стороны современной жизни, образуют в совокупности понятие социалистической цивилизованности.

В формировании черт, составляющих социалистическую цивилизованность, одну из важных ролей играет стремление каждого человека заниматься самовоспитанием, вырабатывать внутреннюю требовательность в первую очередь к самому себе, воспитывать в себе желание быть лучше, добрее, честнее, культурнее. И помочь сельскому жителю в этом сложном процессе призваны учреждения культуры. В Алексеевском районе, где находится село Речное, их почти сотня: 21 сельский Дом культуры, 30 сельских клубов, 32 библиотеки. Кроме этого существует районный Дом культуры и два автоклуба. Занимаются культпросветработой 140 специалистов. На 22 колхоза и совхоза района в общедоступном числе солидное. Добавим, что за год в районе проведено 979 тематических вечеров, прочитано 2329 лекций, поставлено 915 концертов и спектаклей. На этих мероприятиях по сведениям районного отдела культуры побывало 631 834 человека. Если соотнести эту цифру с количеством жителей района, получится, что каждый из них был вовлечен в орбиту культурно-просветительной работы 23 раза. Если опять же взять средненную цифру, то узнаем, что на каждого жителя района приходится 8,7 экземпляра книг. Эти статистические сведения способны, пожалуй, даже вызвать некую умиротворенность. Но оправдана ли она?

Более половины клубных работников в районе не имеют специального образования. Перспективы же тоже не радующие: в 1982 году лишь десять человек пошли учиться на культработников. Их не хватит для пополнения естественной убыли. В лучшем случае они осядут в райцентре, откуда и будут руководить культурным строительством в деревнях и селах.

Вернемся в Речное. Клуб здесь есть. Здание одноэтажное, кирпичное, отапливается водяным отоплением. Приличная библиотека. Два раза в неделю в клубе демонстрируется кино, два раза — вечера танцев. Под Новый год устраивается елка и костюмированный бал-маскарад, самодельные артисты дают концерт. Гвоздь новогоднего бала — концерт, который устраивает Юра Сиваков. Ему за тридцать, он не женат, определенной профессии не имеет, работает, куда пошлют. У Юры есть гитара, под аккомпанемент которой он исполняет различные песни.

Молодежь, а в клубе бывает исключительно она, в большинстве своем приучена к тому, чтобы ее развлекали. Редко кому придет желание хоть чем-то проявить себя, порадовать других.

Летом я увидел на берегу прибитые полой водой поломанные сани. Сказал ребята-тишкам, как, мол, хорошо будет зимой скатиться на этих санях по Церковному взвозу. Один из школьников, семиклассник, нехотя отозвался:

— А кто в гору-то потащит их?..

Но вернемся в клуб.

Объявление о том, что вечером в клубе состоится кино, вывешивается на дверях лавки, на самом людном месте. В этот раз показывали «Чертов брод». На правах знакомого я спросил у киномеханика, стоит ли смотреть, на что получил ответ:

— Давай смотри, мне для плана надо!

Время шло, сеанс не начинался, ждали, не подойдет ли кто. Наконец прибыли три молодые особы, при виде которых парни начали шушукаться и обмениваться различными восклицаниями, явно рассчитанными на то, чтобы девушки обратили на них внимание. Они держались с достоинством, и лишь одна бросила парням небрежно:

— Ладно выламываться.

Сеанс начался. Не буду пересказывать содержание молдавского «вестерна» из жизни гайдуков. Да это и невозможно. Сначала на экране появилось нерезкое цветное изображение. Зал принялся орать и свистеть. Киномеханик из будки осведомился в чем дело. Ему объяснили. Потом пропал звук, и зал опять заорал. В зале вспыхнул свет, и вошел киномеханик. Он долго ковчирялся в колонках усилителей, а затем вновь ушел в кинобудку. Кино продолжалось, пока не оборвалась лента. Зрители закричали, что в фильме пропущена какая-то сцена. Киномеханик в ответ прокричал из будки, что сейчас выведет какого-то Кольку, который зря булгачит народ.

— Фиг тебе! — неслось в ответ. — В прошлом году это место казали, а теперь вырезали. Жулье!

Я ушел. Встретив утром киномеханика, завел с ним разговор о вчерашнем сеансе.

— А чо? — вскинулся он. — Ничего особенного. Собрал три рубля. Рвалось часто? Так ведь лента старая. Нам дают третью и четвертую категорию, это которые уже по четыреста раз прокручены...

И долго еще говорил мой собеседник о том, как обстоит дело с показом кинофильмов в Речном. Уяснил я, что выручка от одного сеанса бывает от рубля и до десятки. Чаще три—пять рублей. Десятку собирает редко, когда присылают индийские фильмы. На них даже взрослые ходят и очень одобряют эти картины, не сердятся, что обрывов много, терпеливо досматривают до конца. Пожаловался киномеханик на нехватку запасных частей, электроламп для проекционных аппаратов. Посетовал, что местный кинопрокат не ведет должного учета присылаемых в село фильмов, из-за чего часто повторяют повторы.

Проблемы, проблемы... Но когда я попробовал заговорить о них с представителями местной власти, меня утешили тем, что в других селах района не лучше. В Речном хоть еще киномеханик постоянный, в технике разбирается, может аппаратуру починить, у него своя автомашинка, поэтому с доставкой кинофильмов в село никаких вопросов нет. Я сконфуженно умолк.

Речному повезло не только с киномехаником. Вполне мог бы тот же Юра Сиваков оживить работу клуба, о котором я уже упоминал.

Нынче летом он принес мне тетрадку своих стихов и текстов песен, которые исполняет под гитару слабеньким, но приятным голосом. Прочитал стихи. Конечно, о публикации их не было речи, но автор, хотя и не всегда умело, делился своими чувствами, размышлял о смысле жизни, о любви. Для чтения на концерте самодеятельности они вполне подходили и могли понравиться слушателям.

Общаться с Юрой интересно, он типичный коновод, организатор веселых затей, шахматных турниров. Мне он еще нравится потому, что вовсе равнодушен к спиртному, его не занимают фирменные джинсы. В колхозе он безропотно выполняет любую работу, от которой многие норовят отбояться. Я не уверен, читал ли он суждения современного советского философа о том, что погоня за излишествами в одежде, еде, комфорте — занятие достаточно нелепое, ибо занимает много времени и сил, а внутренней гармонии, увы, не дает, но он, похоже, мыслит так же.

Клубной библиотекой заведует Софья — жена одного из механизаторов. Женщина добросовестная, старательная, хорошая хозяйка. В библиотеке всегда чисто, летом

прохладно, зимой тепло. В помещение входят, непременно сняв обувь. Библиотечное хозяйство ведется аккуратно, пополняется оно новинками регулярно. Я люблю поторчать возле стеллажей с книгами, порыться в журналах, которые выписывает библиотека, поспрашивать, кто что читает.

Среди активных читателей — молодая продавщица, заведующая почтой, бывший директор школы (пенсионер ныне), председатель колхоза, учительница русского языка и литературы и две доярки. Если кому-либо книга понравится, в библиотеку ее не возвращают, передают из рук в руки. Так я все лето охотился за «Мужиками и бабами» Бориса Можаява, насили удалось перехватить. Спрашивал: почему нравится?

— Про нас написано, — слышал в ответ. — Все правильно, как в жизни...

Боюсь делать какие-либо категорические выводы, но по моим наблюдениям очень хочется знать современным крестьянам, какие они. Это проступает сквозь кажущееся безразличие к мнению о себе в разговорах с сельчанами, в отборе книг, которые читаются наиболее активно. Я заметил, любят читать толстые книги в солидных плотных переплетах, с рисунками. И неодобрительно относятся к формальным книгоиздательским ухищрениям, то есть к книгам небольшого формата в мягких обложках, да еще с мелкими буквами. Но читающих в Речном все же мало, особенно среди молодежи. Пустынно в просторной и ухоженной библиотеке.

На семинары и инструктажи библиотекарь ездит в райцентр аккуратно. Призывы, стенды с «датскими», то есть к определенным датам, книгами есть. В помещении, повторяю, уютно, чисто, светло. А коэффициент полезного действия этого очага культуры весьма невысок.

Хочу оговориться, что, ведя разговор о сельской культуре, автор толкует это понятие расширительно, имея в виду весь уклад жизни села Речного. Наше село не глухая, не глухомань. До райцентра немногим больше десяти километров, если напрямую. В шести километрах от нас — асфальтированный путь в Казань, Оренбург, Нижнекамск, Альметьевск, в другие пункты Поволжья и Прикамья. Сюда летом прикатывают на собственных машинах отпускники из Перми, Горького, Москвы.

В колхоз «Россия» кроме Речного входят еще два села: Саконы и Лебяжье. Урожай здесь собирают ежегодно приличные. В 1983 году, например, на круг получено ржи по 30 центнеров с гектара, больше чем по 20 центнеров пшеницы и ячменя. Подкачал, правда, горох, собрали на треть меньше прошлогоднего. Хорошие урожаи многолетних трав, овса, проса. Надои на одну корову перевалили за три тысячи литров.

Во всем этом заслуга прежде всего председателя колхоза «Россия» Алексея Яковлевича Левина. Он родом из Речного. Вернулся в него после армии, работал механиком, окончил сельскохозяйственный техникум в Чистополе. И вот уже десять лет возглавляет колхоз. На нем держится артельное хозяйство. Он представляет село в районном Совете народных депутатов. К нему идут с самыми различными нуждами, радостями и заботами.

Техническое образование, работа механиком, постоянно увеличивающееся количество тракторов, машин, комбайнов и всякой иной техники в колхозе выработали у Левина привычку смотреть порой на землю как на своего рода цех. Во всяком случае, когда мы с ним разговаривали, он, называя различную цифирь, без которой невозможно дать представление о хозяйстве, достал из нагрудного кармана электронный микрокалькулятор и стал рассуждать:

— Хлеб созреет, когда наберет две тысячи с лишним градусов. Так что, в общем-то, никаких народных примет не требуется. — Это в ответ на мой вопрос, когда нынче ожидается поспевание основной культуры — зерновых, под которые в колхозе отведено более четырех тысяч гектаров.

— Нужна крепкая дисциплина и бесперебойное снабжение запчастями. — Это на мой вопрос, как же быть с любовью к земле.

Попервоначалу мне не очень-то понравились эти рассуждения. Но потом я убедился в ошибочности первого впечатления. И немалую роль тут сыграло вот такое обстоятельство.

Село Речное еще совсем недавно числилось неперспективным. Новый председатель изменил утвердившееся мнение о неперспективности. Как, каким образом, это особый разговор. Главное, есть теперь в колхозе генеральный план застройки села. Мыслится там в самом скором времени новый кирпичный Дом культуры, новый магазин.

Когда я похвалил генеральный план, председатель помягчел, а помягчел, заговорил:

— Вот отсеешься, ждешь, когда ростки проклюнутся. Глянешь утром на поле, и сердце возрадуется! Еще вчера вечером черным-черно было, а тут вдруг все зазеленело. Или когда хлеб везут на элеватор, тоже радуешься: вот он, зримый труд. И когда увидишь, как утром солнце встает, знаешь, как радостно?..

Окна председателя дома смотрят на восток. Дом добротный, из кирпича, с водяным отоплением, газом, русской печью. Возле дома дворовые постройки: гараж, баня, сарай. Есть небольшой сад и огород. Поставлен дом прочно, солидно, на года. Председатель обмолвился: хочу дать пример, как сегодня надо обихаживать свое жилье. Пора и за это браться, ведь идет последняя четверть XX века, в космос вышли.

..Иногда по ночам председателя колхоза будит осторожный, но настойчивый стук в окно. Выглянет Левин — смутно темнеет человек, поодаль видна машина с незажженными фарами.

— Выдь на час, — зовет незнакомец и просит: — Огня не зажигай!

Левин попервости опасался ночных визитов. Потом не то чтобы привык, но успокоился: ночной пришелец ему не враг, наоборот, доброжелатель. Стоят в темноте двое, негромко переговариваются. О чем? Да о всякой всячине. Может приезжий, если председатель согласен, завтра ночью привезти шифер, цемент, прутки металлический, швеллер, катанку, гвозди. Только чтобы никто, кроме Маруси-кладовщицы и самого председателя, при этом не присутствовал.

Другой визитер сулит доставить резину для трактора «Беларусь», дефицитные подшипники, электромоторы, гупер. И снова условие: никаких свидетелей, деньги из рук в руки...

Стоит Левин на ночной улице родного села, и зло берет: да что же это получается? Дефицитные вещи по фундам годами ждать приходится, а тут, словно дразнят, с доставкой на дом обещают. Стало быть, дело не в том, что вообще нет шифера, цемента, труб и резины, а в том, что не налажена организация снабжения? Ясно, что перед ним ворюга, по которому тюрьма плачет. Но ведь надо бы для порядка и тех призвать к ответу, у которых это добро разворовывают.

Знает Левин немало крепких слов, которые так и рвутся с языка, но сдерживается. Придавит подошвой окурки, буркнет: не нуждаемся! Повернется и уйдет. Потом лежит, уснуть не может. И в председательском доме остро пахнет корвалолом.

Председатель не один раз рассказывал мне о своих нуждах и заботах. И признать, когда слушаешь, отмечаешь: до чего же правильно рассуждает. И не только рассуждает, но и делает! Иногда, может быть, излишне погорячится, шумнет, но люди не обижаются, поскольку видят: болеет за дело. И что самое примечательное — думает о будущем. А это небоманчивый признак подлинного хозяина, понимающего, что нельзя жить только сиюминутными заботами, исповедующего народную мудрость: урожай — это хлеб сегодняшний, а семена — это хлеб завтрашний.

Горизонты у хозяйства расширяются. И, как всегда бывает при росте, встречаются трудности, немалые и самые разные. Главный механик, например, считает, что в колхозе недостает колесных тракторов, велика нагрузка на комбайны, что ведет к затягиванию сроков уборки. Главный агроном, в свою очередь, поскольку хозяйство обязали обеспечить производством сортовых семян высших репродукций, озабочен нехваткой зерноочистительных машин, зернопогрузчиков, отсутствием набора нужных решет. А вот у секретаря парторганизации и председателя колхоза первая забота — нехватка людей, в основном молодежи, особенно в третьей бригаде, в том самом селе, где живет Алексей Яковлевич.

Не возвращаются парни после армии в село — общая картина по всей округе. Нет парней — уходят из села и девчата. А раз так, нет свадеб, нет детворы. Надо же было случиться, что в один из годов подряд три парня, возвратившиеся из армии в отчий дом, вскоре запросились из села. Первый подал заявление: прошу отпустить на службу в милицию. Председатель тут ничего поделывать не мог. Второй женился на учительнице химии и биологии из местной школы. А у нее кончился срок отработки после института. Увезла молодого механизатора к себе на родину.

Не успел досаду избыть председатель, новая свадьба: на этот раз молодой плотник женился. Отслужил в строительных войсках, вернулся в село, поступил в техникум. Не хотелось председателю отпускать, но учеба — дело святое. Уехал плотник Саша. Поступил в вечерний судомеханический, стал работать на заводе стропальщиком. Полу-

чал немало, жил в общежитии, но заболел отец, и Саша вернулся в село. Два года работал плотником, маляром, штукатуром, бетонщиком, помощником комбайнера, сеяльщиком, грузчиком по доставке фляг с молоком на молокозавод. Работал безотказно. Так бы, глядишь, и стать ему заправским колхозником, но ведь дело житейское — семьей надо обзавестись. А невеста городская — из Казани.

После свадьбы Саша пошел к председателю получить справку о том, что столько времени работал в колхозе. Председательского «добро» он не услышал, обругал его Левин. Без справки уехал Саша...

Пытаюсь понять: как относятся в селе к Левину?

Один мужичок — дальний родственник председателя — решил пожить в сахарной свеклой, благо она уродилась на славу. Сходил ночью в поле к бурту, привез пару мешков на ручной тележке. Вроде бы никто и не видел, но по селу слух: родне можно, а другим нет? Председатель при встрече сказал родственнику: не позорь меня, верни свеклу! Об этом тоже моментально стало известно всему селу. Стали выжидать, чем дело кончится.

Родственник, хватив браги, отправился снова за свеклой. Нагрузил тележку и двинулся к селу. Вдруг из-за скирды соломы вышел председатель. О чем говорил он с родичем, Левин мне не рассказывал. Да и не в этом дело. На правлении вороватый родич был оштрафован и вернул свеклу. И опять-таки это не все.

На усадьбе у этого сельчанина мне понравилась свекла. Ботва у нее отменная, высокая, лопушистая. И клубни торчали, обнажив бока, похожие на закопченные горшки. Я похвалил свеклу, а хозяин сказал:

— Председателю это спасибо.

— То есть? — не понял я, ибо знал, что у владельца свеклы с Левиным весьма сложные отношения.

— Ей-богу, — стал уверять меня «свекловод». — Раньше я как делал? Выберешь зимой ночку повьюжней, встанешь часа в три и к силосной яме. Навалишь, мать честная, на салазки с центнер и прешь по сугробам. Устанешь, перенервничаешь, сон перебьешь... До того дошло, хворать стал, честное слово! Попросил в колхозе семян, посадил свеклу, и она вон какая вымахала! На всю зиму корове хватит, да и сам спокоен буду...

Могут возразить, а имеет ли отношение к культуре села хозяйственная деятельность Левина? На это я в свою очередь спрошу: а разве высоконравственный пример поведения, добротная и умелая работа не способствуют повышению культуры? Селу Речному повезло, что артельным хозяйством руководит думающий хлебороб. Его работа, смею полагать, дает больше пользы для становления культуры в селе, чем так называемый очаг культуры, то бишь клуб. И дело не только в том, что Левин справляет свою работу с душой, в полную силу, что, конечно же, видят и ценят люди. Председатель колхоза Левин умеет не только организовать труд крестьян. Он стремится осознать себя и свое место в быстротекущем мире, понять жизнь в ее связях с прошлым и будущим.

Летом, в канун уборки, когда выдался свободный день, мы с Левиным и его сыном — шестиклассником Валерой подались в село Булгары, что в полторастах километрах от нашего. В X—XI веках, это мы знали из учебников истории, там находилась столица Волжско-Камской Болгарии. А что теперь? Говорили, приезжают туда иностранные туристы, там ведутся не один год раскопки. Наверное, стоит взглянуть хотя бы разок на такое интересное место. Тем более что из Речного там никто не бывает, а ведь вполне возможно, что и наши родовые корни восходят к тем самым жителям стародавнего Булгара.

Когда мы очутились на раскопках, Валерка то и дело тормозил отца:

— Папка, папка, погляди, ход подземный! Там золота, чай, полно!

Левин усмехался, вразумлял:

— Да разве в нем счастье, чужак человек? Да и откуда оно там? — Он кивнул на пшеничное поле, окружающее раскопы: — Оно вот где, сынок!

Валерка хмыкнул, отмахнулся: ясное дело — шутит отец. У них в колхозе вон сколько каждый год бывает этого золота. Потом мы ходили по тропинкам от раскопа к раскопу, и Левин сказал, что они похожи на воронки от разрывов бомб. Это он помнит еще со службы в авиации Краснознаменного Северного флота, когда отрабатывали бомбометание на полигоне.

В некоторых раскопах молодые бородатые археологи выбирали глиняные черепки, складывали их на площадку, расчерченную на клетки, похожие на те, что девочки чертят на асфальте. Бережно, кистями и щетками археологи очищали землю от древней кладки. Кирпичам, как сказал нам один из них, больше тысячи лет. В углу виднелся очаг для обжига глиняной посуды. В очаге были головешки, совсем такие же, как и сейчас, что хозяйка выкидывает в сугроб.

Левин всматривался в прокаленные степным солнцем разноцветные стенки раскопа, они словно специально были сложены слоями. Этим кирпичам в стене караван-сарая больше тысячи лет.

Всю обратную дорогу от Булгар до Речного Левин размышлял об увиденном. И по его молчанию, по отдельным фразам, которыми мы обменивались, я подумал, что от встречи с далеким прошлым Левину стало легко и спокойно. И это понятно. Он как бы по-иному взглянул на себя, на свое дело, ощутил незримую, но прочную связь между собой сегодняшним и древними предками. И наверное, ему было радостно, что взял с собой Валерку. Пусть и не все поймет по малолетству, но запомнит, а потом и осознает, как прекрасна земля и как еще прекраснее быть на ней человеком, который делает, пожалуй, самое главное на земле — растит хлеб.

Конечно, когда я называю нынешнюю деятельность колхоза одним словом — хлеб, это не совсем так. По перспективному плану хозяйство колхоза «Россия» будет специализироваться по направленному выращиванию племенных телок при годовой программе 1660 голов. Это будет качественно новое состояние жизни колхоза. Может быть, поэтому и прав Левин, когда говорит о своем хозяйстве, что это теперь цех, одно из звеньев в общей технологической цепи производства мяса и молока.

Животноводческий комплекс колхоза по смете стоит 2,7 миллиона рублей. Стройка разместилась на нескольких гектарах и включает в себя до трех десятков различных зданий или, как их здесь величают, объектов. Среди них несколько животноводческих помещений, котельная, электростанция, блок для очистки сточных вод, ветлечебница и тому подобное. Сегодня стройка — главная задача председателя, хотя, разумеется, никто не снял с него ответственности за выращивание зерна, увеличение надоев молока и продажу мяса государству. Только в последнее время в «России» построен цех для приготовления гранулированных кормов, несколько зерноскладов из сборного железобетона, дома для специалистов и учителей. В села колхоза пришел природный газ, для чего пришлось проложить больше шести километров газопровода. Приплюсуем сюда прокладку водопровода, строительство лесопилки, пункта технического обслуживания сельскохозяйственной техники. Короче говоря, когда я спросил Левина, сколько же денег ежегодно расходует колхоз на строительство, он назвал мне сумму порядка 700 тысяч рублей. Что же тут особенного? — могут мне сказать и привести в пример кубанские или ставропольские колхозы-миллионеры. Дело в том, что колхоз «Россия» лишь формально не входит в Нечерноземье, а на самом деле это все та же зона рискованного земледелия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому его уверенная поступь доказывает, что при умелом хозяйствовании и здесь можно ежегодно добиваться устойчивых урожаев.

Председатель колхоза не раз сетовал: все больше в хозяйстве новых механизмов, автомашин, тракторов, комбайнов и другой техники. Иными словами, с каждым годом растут затраты на эти цели. Спору нет, техника во много раз облегчает труд, увеличивает его производительность, но он как председатель не заинтересован порой в приобретении новейших образцов. Почему? Покупки тяжким бременем ложатся на финансовое состояние колхоза, поскольку стоимость машин постоянно растет, а закупочные цены на зерно, мясо и молоко не увеличиваются в той же пропорции.

Спору нет, приятно слышать в разговорах мужиков промышленные и технические термины, освоенные ими в процессе строительства. Они со значением выговаривают все эти «автоблокираторы», «нория» и т. д. Люди на практике ощущают, что стоит за этими терминами: если прежде на току в период уборки было занято не меньше 30 человек, то на механизированном току занято всего трое.

Я привел несколько штрихов из жизни председателя колхоза Левина затем, чтобы дать представление о многомерности и сложности буден человека, который иногда зовет себя начальником колхозного цеха. Но успехи колхоза рождаются в результате слаженных усилий многих тружеников. И тут я назову в первую очередь механизатора Анатолия Чупаринова.

До работы жадный, говорят о нем на селе. И не понять, хвалят или осуждают. Давайте попробуем и мы разобраться в сути Анатолия Ивановича.

Дом у Чупариновых стоит лицом на полдень. Дом, что называется, полная чаша: просторный, каменный, с водяным отоплением, крыша из оцинкованного железа. Рядом — просторный двор, кирпичный гараж для «Жигулей» и мотоцикла. В хозяйстве полный набор: корова, телка, свинья, овцы, куры, пчелы и огромные, похожие на гусей белые утки. Анатолию за сорок, родился он, не захочешь да запомнишь, 22 июня 1941 года. Жена, двое детей. Дочь пошла в восьмой класс, сын — в армию. Короче, семья как семья. Но есть и особенки.

Сын в письмах со службы пишет: вернусь в колхоз, буду плотником. На брата глядя, и сестренка по той же тропинке: после школы в медицинское училище, а потом в родное село. Вот уж и впрямь — яблоко от яблони.. Анатолий с женой никогда не помышляли уходить из села и детей воспитали с теми же взглядами. И будут в Речном славные работники, настоящие труженики; как отец и мать.

Сию в доме у Чупариновых, чай гоняем. Вместо сахара на столе тарелка с медом. Интересно, много ли нынче меду накачали. Мне отвечают, что для себя хватит, к тому же взяток нынче из-за погоды не больно хороший был. Говорю, что у недалекого от них соседа накачали побольше двух центнеров и продавал он его на диво недорого: по 4 рубля за килограмм. Мне тут же все объяснили. Мужичок — владелец пасеки — скормил своим пчелам почти мешок сахарного песка, и поэтому его питомцы дали меду больше, чем у других. Но разве это мед? Вот и поторопился продать его. Заработал около тысячи, а потратил чуть больше пятидесяти рублей.

При этом разговоре мои собеседники не называли действия пчеловода безнравственными, не говорили о том, какой пример подает он своей дочери. Но надеюсь, что читатель и без того понял разницу между микроклиматом двух семей. И надо ли тут гадать, какую культуру вынесет из родительского дома дочь владельца пасеки?

Известный в районе передовой комбайнер Анатолий Чупаринов с виду вовсе не производит впечатления этакого российского богатыря: росту невысокого, худощав, по-юношески тонок в талии. Разве что руки, крупные, с выпуклыми переплетениями вен, безобманчиво говорят о силе и выносливости. В черных, поблескивающих волосах ни сединки. Глаза темные, улыбчивые, внимательные. Двигается споро, но в разговоре немногословен.

— Опять, наверное, первым будешь, как в том году? — спросил я его, повстречавшись в начале лета на околице, где стоят комбайны.

— Да ведь что загадывать-то? — спросил Анатолий и еле приметно усмехнулся. — У нас ведь как? То град, то сушь, то дождь не вовремя. За двадцать лет, что работаю, зарок дал: не загадывать. Чем лучше дело идет, тем больше надо начеку быть. Нельзя в нашем деле расслабляться...

Перед началом жатвы всех до единого комбайнеров района собрали на совещание. Чупаринова пригласили занять место в президиуме. Он мне потом говорил, что это первый раз в жизни. Сказал без хвальбы, с раздумьем в голосе, словно бы оценивая и взвешивая, к чему это приведет. Я потом часто вспоминал мудрого комбайнера, когда его стали освещать зарницы районной славы: то назовут в газете гвардейцем жатвы, то через два дня портрет поместят на первой полосе, то через неделю секретарь партийной организации в газетной заметке расскажет, как коммунист Чупаринов — член группы народного контроля — с большой ответственностью относится к качеству работы на своем участке. Впрямь густовато в это лето выпало похвал комбайнеру Чупаринову.

Встретив председателя колхоза Левина, я спросил: наверное, мол, из Анатолия Ивановича собираются «маяк» сделать? Разговор происходил в середине августа, как раз когда Чупаринов уже намолотил на своей «Ниве» 6 тысяч центнеров зерна и прочно держал первенство в колхозе. По условиям районного социалистического соревнования комбайнер, намолотивший за сезон десять тысяч центнеров, получит награду — мотоцикл «Урал». Поскольку в колхозе в ту пору еще не приступили к уборке пшеницы, овса, ячменя, я прикинул, что Чупаринов вполне может претендовать на первое место. Левин на мои суждения ответил жестко:

— Не буду я ни для кого ничего специально делать. Это — искусственно. Сегодня мы в честь Чупаринова флаг трудовой славы возле правления подняли, он — герой, хвала ему. Вчера подняли в честь Крайнова, тоже неплохо сработал, ему почести. Я так думаю, не в избранных дело, а в массовости...

Как мог попытаться я разубедить председателя: неправильно он меня понял. За свою жизнь немало довелось различных «маяков» видеть. Гасли искусственно зажженные «маяки». Путь к успеху один — умелая, терпеливая работа всех и каждого!

Осенью стало известно, что колхоз «Россия» по итогам года — лучший в районе. На круг получено зерновых по 24 центнера с гектара, продано государству 9,2 тысячи центнеров молока (как и записано в социалистических обязательствах), вдвое перевыполнен план продажи мяса.

Всем работающим, а также пенсионерам колхоз продает зерно в достатке, жалоб на нехватку не бывает. Кроме того, все желающие могут купить печеный хлеб для себя в райцентре или в соседнем городе Чистополе. И не только для себя. По две-три буханки, увы, ежедневно скармливается скотине. Картошка и овощи в достатке у каждого, кто не ленится заниматься огородом. Сахар, подсолнечное масло, крупа и макароны бесперебойно продаются в лавке. Мясо и молоко для личного потребления — тоже не проблема, семейные держат коров, да не по одной, овец, коз.

Короче говоря, продовольственной проблемы для жителей села Речного нет. Более того, в последнее время сельчане все чаще везут мясо на продажу в город либо сдают на заготовительный пункт в райцентре. Продаются картофель, яйца, молоко. Словом, село Речное живет сытно. И существует полная уверенность, что хуже не будет. Нынче летом в лавке впервые торговали ранней капустой и свежими овощами, которые привезли в Речное с подсобного хозяйства Камского автозавода. Даже не знаю, как расценить этот факт. До города от села около двухсот километров. По ~~внешним~~ меркам вроде бы недалеко, дорога хорошая. Заводские теплицы, видимо, дают продукции много, надо же ее куда-то девать? Но, наверное, в селе тоже могли бы все это вырастить, не бананы же, в конце концов, этот тепличный овощ! Остается, короче говоря, ощущение какой-то нелепости: ладно ли, что город снабжает село продуктами питания?

А разве это дело, когда лавка в Речном под потолок забита сахарным песком и рафинадом? Жители покупают этот продукт мешками. При мне продавщица Тося поинтересовалась у пожилой женщины, неужели она израсходовала два мешка песку, купленных в начале лета, и сейчас берет третий.

— Все издержала, — ответила женщина и стала перечислять, куда именно. Из ее рассказа явствовало, что на семью из двух человек, то есть на себя и на мужа, она закатала около ста трехлитровых банок варенья, повидла, компотов. А теперь вот надо еще для дочери в город. К тому же год на год не приходится. Нынче яблоки уродились, а на тот год кто знает, как будет? Надо, чтоб запас был. Ну, естественно, женщина — любительница сладкого не все рассказала, пояснила мне продавец Тося, про то, что часть его израсходовала на брагу, умолчала.

В селе многие расходуют сахар на приготовление браги. Этот продукт широко используется как для внутреннего потребления, так и для оплаты различного рода услуг, которые не под силу старухам, вынужденным приглашать мужиков напилить дров, починить крышу, установить забор. Две трехчетушечные банки (по три четверти литра) браги эквивалентны по убойной силе почти бутылке водки. К тому же брагу не надо ничем заедать, так как она сладкая. Это стирает, если можно так выразиться, границы между вышивкой и закуской.

Меня заинтересовал рассказ о пожилой сладкоежке, и я установил, что сахар во многих семьях тоже расходуют в устрашающих количествах. Вдовый старик Федорок, в частности, кладет его в щи и похлебку, поскольку он уверен, что от этого кости делаются крепче. Пожилая женщина Василиса Волкова (о ней у нас еще будет разговор) сахаром кормит козла Ваню, который обгуливает всех коз села: насышет горку беленьких кусочков на траву, и козел с хрустотком поедает лакомство.

Попробовал я рассказать сельчанам, что сахар в избытке вреден, но потерпел поражение. Никто мне не поверил, потому что разве мыслимо, чтобы вредное вещество продавали кому сколько хочешь? Что на это ответишь?

Мне оставалось провести социологическое исследование: что еще кроме сахара съедает семья из двух немолодых сельчан, та самая семья, где хозяйка закатала сто трехлитровых баллонов сладостей? В самых общих чертах исследование выявило, что за год они съели годовалого бычка, поросенка, двух овец, десятка полтора кур. Хлеб, картошку, все прочее не считали, это, как говорится, расходовалось от пуза. Потом я спросил на почте и в библиотеке, что выписывают и что читают в этой семье. Ответы

были однозначные: ничего не выписывают, ничего не читают. Телевизора в доме нет, радиоприемника тоже не держат.

Разумеется, это крайность, но, к сожалению, не исключение. Кстати, о крайностях в культуре села. Обозначим это так: на одном полюсе диск, а на другом главное — набить желудок. На мой взгляд, одно связано с другим. Между крайними находятся, естественно, промежуточные точки. И чтобы не быть обвиненным в необъективности повествования, вот-де, мол, взял крайние точки — молодежь и пожилых — и делает выводы, давайте посмотрим на те жизненные ситуации, которые свойственны для культуры людей среднего возраста в селе Речном.

Я уже сказал, что сельчане живут сытно. Следует добавить, что можно расценивать их образ жизни еще и как зажиточный. В селе, где немногим более двухсот душ, около десятка легковых машин, больше трех десятков мотоциклов, мотороллеров, мопедов, в каждом доме один-два велосипеда. У всех жалающих телевизоры, радиоприемники, холодильники, стиральные машины. Мебель в домах — городская. По селу проведен водопровод, заканчивается газификация домов, село давно электрифицировано.

А какие дома! Не бревенчатые пятистенки, как теремок у Байкова, а крупные кирпичные строения. К кирпичному жилью пристраиваются железобетонные или монолитные гаражи, кирпичные бани. У некоторых хозяев дворные постройки тоже из красного или силикатного кирпича. Крыши — большинство шиферные, а теперь все чаще из оцинкованного железа.

Но чем оборачивается порой весь этот достаток?

..Раннее утро, начало шестого. К правлению, возле которого толпятся колхозники в ожидании наряда на работу, а наряд вершат председатель с бригадиром, подкатывает новенький, сверкающий краской светлый «Жигуль». Из него вываливается пузатый мужчина в синих трусах, сбившихся ниже пупка. Лицо у приезжего помятое, опухшее. Это рыбак системы государственного лова по кличке Бондарь. Под гогот оживившихся мужиков приезжий шествует в правление и, просунувшись в дверь, освещается у председателя:

— Яклич, можно?

Лицо у председателя багровеет — то ли от злости, то ли от сдерживаемого смеха. Но председатель держится молодцом, не повышая голоса отвечает:

— Не хулигань, Валентин!

— Яклич, я ждать буду! — говорит проситель и шумно дышит в щель.

— Сказал, выдь отсюда, Валентин! — чуть повышает голос председатель.

Дверь закрывается. С улицы доносится звук стартера. «Жигуль» рвет с места и уносится.

Оказывается, Бондарь приезжал просить у председателя плотников, которые потребовались, чтобы починить в доме рыбака вышибленные рамы, двери и поломанный забор. Вышибал и ломал сам хозяин, который во хмелю бывает, по словам соседей, нехорош. Мало того что мебель и постройку крушит, под горячую руку норовит и жену «вразумить». Впрочем, доведенная до крайности жена Бондаря чуть было не лишила жизни своего супруга. Он сам рассказывал про это:

— Чую, чё-то холодное в щеку тычет. Открыл глаза, баба ружье приставила. Говорит: «Будешь еще водку пить?» Думаешь, вру? Закрыв глаза, испугался, с двух-то стволов ударит — не выживешь. Опять дулом тычет, спрашивает: «Будешь еще водку пить?» Чё делать? Говорю, не буду. Заплакала. Я вскочил, ружье схватил. Угробит ведь, думаешь, вру?

Нет, не угробила супруга рыбака. Сам он гробит себя. Крупный, рослый мужик, которому нет пятидесяти, обрюзг, угрюм, говорит осипшим, сорванным голосом, с трудом подбирая, словно вытаскивая, застрявшие в горле слова. В клуб Бондарь не ходит, книг, журналов и газет не читает. Ему каждое движение в тягость. Вернется с рыбалки, ждет под горой, когда жена чугунок щей или каши принесет, потому что если не поест, не влезет в гору, а там всего-то около двадцати метров не очень крутого подъема.

Рыбак пьет оттого, что не знает, куда истратить несправедливые, вырученные от продажи законно пойманной (он же на государственной службе!), но проданной «налево» рыбы. В день этот и ему подобные рыбаки зашибают по сотне и больше рублей. Куда их девать? О всех этих махинациях знают не только в селе. Знают в Казани, до Министерства рыбного хозяйства РСФСР доходят известия о подобном положении вещей. Но почти ничего не меняется. Вернее так: выгонят вора, даже порой осудят вовсе опло-

павшего или слишком зарвавшегося «гословца», но смотришь, осужденный на три года через год вновь в селе, а изгнанный без суда устраивается на рыбзавод. Влиться в рыболовецкую номенклатуру считается великим везением.

Расстегающее воздействие безнаказанного крупного хищения народного достояния на нравственный микроклимат села, на его культуру невозможно переоценить. Чьи дети — учащиеся младших классов — носят золотые кольца и серьги? Дети рыбаков гослова. Это не только свидетельство о том, что у людей полно денег, это роскошь невежества. Муж и жена — преподаватели музыкального училища — по частному найму два лета возводили каменные хоромы рыбаку гослова. Я поинтересовался у самодеятельных каменщиков, что заставило их наниматься в строители к новоявленному богачу. Ответили: захотелось приобрести автомашину, а муж, преподаватель по классу баяна, в прошлом был каменщиком.

У кого новехонький зеленый мотороллер с кузовом, именуемый «муравьем», который продается лишь организациям? У рыбака гослова. На этом мотороллере рыбак по пути домой прихватывает с поля объемистую охпку многолетней травы или копешку необмолоченного гороха из валков. Мелочь, казалось бы, но корове на сутки хватит, а что не сожрет — насушат в зиму. Сидят на бревнах старухи пенсионерки, констатируют:

— Опять Васька-то на своем «муравье» сколько везет!

А то бывает так. Рыбаки гослова останавливают скоростной рейсовый «Метеор» посреди Камы, покажут сачок с трехгранной стерлядкой, и тут же происходит обмен товара на товар: пиво — на рыбу. И, довольно заурчав моторами, уносится крылатый водолет, а рыбаки потягивают пиво из горлышка и кидают пустые бутылки в реку, поскольку продавщица в лавке стеклотару не принимает.

Борются ли в селе с пьянством? Отвечу так: в лавке водку не продают, вернее, два года как перестали продавать. Вышло решение спиртными напитками торговать только в селе Лебяжьем, что в семи километрах от нашей околицы. Для сельчан, вооруженных современной техникой, это не расстояние. Ездят за водкой на мотоциклах, мотороллерах, автомашинах, тракторах. Гоняют на великах. В крайнем случае съезжают на лошади. Поездки в пьяном виде нередко кончаются печально.

Отчего пьют? Пьют те, кто не испытывает никаких забот, умышленно оградив себя определенным уровнем достатка, который достается без особого труда. От безделья, от избытка свободного времени, которое не знают, куда и каким образом истратить и убить. Пьют оттого, что имеют возможность утащить мешок комбикорма, центнер силоса, бочку бензина, сотню кирпичей, пару лесин, десяток листов шифера — все это легко обменивается на бутылку водки или несколько банок браги.

Как быть с проблемой пьянства? Не знаю. Согласен только лишь с теми, кто считает, что к высотам культуры насильно никого не поднимешь. Человек сам должен стремиться вверх, а все остальные — дать ему возможность подняться. Пьянство не закодировано в генах, это явление социальное. И глубоко прав почетный академик ВАСХНИЛ, дважды Герой Социалистического Труда Терентий Семенович Мальцев, сказавший, что легкая жизнь, доступность этой легкой жизни, ее удовольствий, избаловала селянина.

— Не стало тех забот, которые раньше гнули отцов и дедов наших,— продолжал старейший хлебороб страны.— В революцию человека от социального гнета освободили, а теперь он уже сам себя освобождает от того, что людям надо. А мы глядя на это и ничего не делаем. Или делаем, но мало, недостаточно. Построже надо..

Пожалуй, пора повиниться, что волей-неволей приходится выступать в роли действующего лица. Но тут уж ничего не попишешь, раз живешь в селе, доводится быть не только свидетелем, но и участником. К тому же, думается, мой личный опыт — своего рода первоисточник, который позволит читателю самому сделать необходимые выводы. Это я вот к чему.

Несколько лет тому назад республиканская газета «Советская Татария» напечатала мои очерки о жителях села Речного. Эффект от публикации был неожиданный. Одна из дальних родственниц, до этого не обнаруживающая ко мне ни малейшего интереса, выведенная мною, в общем-то, объективно в одном из очерков, обиделась:

— Ты каку, чай... в газете-то продергиваешь?

Были получены сведения от верных людей, что возле амбара газеты с очерками читаются и что мнения читателей разделились. Но напрасно я ждал, что кто-то из местного руководства выскажет мне свое мнение. В наивности я даже полагал, что можно было

бы, наверное, устроить что-то вроде читательской конференции. Пребывая в таком ожидании, я даже отказался от нескольких приглашений, последовавших из соседних районов. Товарищи из нашего райцентра хранили молчание и делали вид, что выступления республиканской газеты не заметили и что вообще, как говорится, мужи — отдельно, харчо — отдельно. Конечно, легче и привычнее вымыть пол в библиотеке, написать лозунг к началу уборки, а вот использовать новую для района форму культурной (или идеологической) работы, я имею в виду обсуждение очерков об одном из сел района, тут еще не знай чем может обернуться.

Нет, я совсем не собирался выступать в роли такого просветителя. Просветителей на ниве культуры в районе и без того достаточно, во всяком случае, не слышно, чтобы пустовали штатные единицы этого профиля. К тому же я не совсем уверен, что иные культурные единицы окажут серьезное влияние на создание необходимого культурного микроклимата в селе.

Полнокровная духовная жизнь в селе не определяется лишь наличием художественной самодеятельности, процентом читающих художественную литературу, посещающих кино. Все это отдых либо развлечение. Подлинное мерило культуры — нравственное совершенствование, становление личности, а это происходит в совместном труде, в создании материальных ценностей, в добросовестном и умелом исполнении тех обязанностей, которые возлагает на тебя общество. Вовсе не случайно, что самые уважаемые люди в селе те, чьи мастерство, сноровка, высокое качество работы пользуются неоспоримым признанием.

Вот, скажем, помощник колхозного кузнеца Александр Самойлов. Два года назад он работал сварщиком, но по состоянию здоровья был вынужден сменить профессию. Самойлов — член партии, избирался членом Алексеевского райкома КПСС, был депутатом районного Совета. Ему немного за сорок, так что по нынешним меркам еще считается чуть ли не в молодых. Семья: жена и двое детей. Сын Михаил — колхозный стипендиат в Чистопольском сельскохозяйственном техникуме, который когда-то кончал председатель колхоза Левин. Дочка — школьница.

Дом у Самойлова не такой яркий, как у Байкова, но зато со своим отличием. Зайдешь и видишь: хозяин живет, да еще какой! Взять отопление. В печь вделан котел, от которого по всем комнатам и на кухню проведены трубы. По ним циркулирует горячая вода, обеспечивая необходимую температуру в доме. Вода в трубах дождевая, от которой ни накипи, ни ржавчины, это придумал сам домовладелец. Возле дома металлические емкости, в которые собирается вся до капельки та же самая дождевая влага, стекающая с крыши дома и дворовых пристроек. Возле кухни вход в баню с отделением для стирки. Вода сливается через трубу в огород. Труба изолирована, не замерзает и зимой.

Под домом бетонированный подпол, в котором размещаются припасы: маринады, варенье, лук. Есть еще хранилище — для картошки и солений. Поленицы дров во дворе под крышей, а внизу металлические подставки — чтобы крысы не гнездились.

А сад с огородом! Все село ходит к Александру Дмитриевичу: кто поглядеть, кто за рассадой, кто за консультацией. В саду и огороде растут яблони нескольких сортов, вишня, малина, крыжовник, черная и красная смородина. Само собой — огурцы, морковь, лук, укроп. Капуста, сам взвешивал, по восемь килограммов вилок. Картофеля хватает до нового. Когда затевал Самойлов свое подсобное хозяйство, некоторые хмыкали: ну, картошка — это от веку, а чтобы на большой сад размахиваться, ничего не получится, так как с водой туго и морозы зимой лютуют. Убедились маловеры: руки и голову приложишь — все получится!

И ведь не в ущерб работе в колхозе все это успевает Самойлов. По трудовой линии в артельном хозяйстве ни одного замечания нет. Даже самые привереды механизаторы не припомнят случая, когда сработанное Самойловым подвело. Во время уборки, несмотря на то, что врачи запретили заниматься сваркой, никогда не откажет в срочном деле. Надвинет фибровый щиток, польхнет в руках электрической дугой, поведет ровный малиновый шов. И уж скорее по целому месту лопнет металл, чем в сваренном мастером шве.

И когда я задумываюсь, почему интересен людям Самойлов, почему самому ему живется интересно, ответ получается примерно такой. Самойлов занят, прошу прощения за это захватанное определение, творческим трудом. Творчество проявляется при любой созидательной деятельности, когда отсутствует жесткая регламентация процесса, когда человек сам должен решать, как ему поступить.

Про Самойлова в селе говорят, что он везучий и этим-де, мол, все и объясняется. И приводят совсем свежий пример. С одной из его двух коз случилась беда: выткнули глаз в стаде. Соседи советовали прирезать, мол, все равно пропадет, заблудится где-нибудь. Самойлов от услуг соседей отказался. И не ошибся: вторая коза стала как бы поводырем у инвалидки. Я видел как-то раз: потеряла ориентировку одноглазая белянка в высоченной крапиве под горой, мекнула жалобно, и откуда ни возьмись появилась над обрывом подружка брюнетка и голос подала: сюда правы!

Помощник кузнеца вроде не подходит под понятие сельской интеллигенции. Образование у него неполное среднее, да еще когда-то ремесленное училище окончил. Но в доме у него полки с книгами, выписывает и читает журналы «Москва», «Юность», «Советский воин», газеты «Сельская жизнь» и «Советская Татария». Из телевизионных передач смотрит «Время», «Сегодня в мире», «Международную панораму».

По вечерам Александр Дмитриевич приходит к нам на Арзину гору, где когда-то стоял дом моего деда по материнской линии, а теперь обитает мы с отцом — местным уроженцем. Самойлов деликатно поздоровается, непременно какой-нибудь горошинец протягивает: то молоденькую морковку, то зеленого лука огромный пук, а то тарелку крыжовника насыплет из карманов своей выгоревшей до белизны спецовки.

Долг платежом красен. Угостишь Сашину дочурку конфеткой, если она с отцом придет, сидишь, рассказываешь о столичной жизни, отвечаешь на вопросы любознательного земляка, его суждения слушаешь, короче говоря, общаемся. Собеседник Самойлов вдумчивый, внимательный, судит о явлениях жизни здраво, докапывается до глубины. Однажды я рассказал ему, что видел в Англии во время туристской поездки по сельской местности дома, крытые соломой. Помнится, гд пояснил: один из таких домов принадлежал семейству Черчилля. Сказал я об этом и забыл, а оказывается, произошел конфуз.

Самойлов пересказал услышанное от меня знакомым мужикам. Те не поверили и подняли Самойлова на смех. Деликатно откашливаясь, Самойлов поведал мне о том, как отреагировали скептики, и добавил, что источник информации он мужикам не назвал, чтобы не подрывать мою репутацию. Я попытался было убедить Самойлова в истинности своих рассказов, но понял, что рискую потерять его доверие. В деревне существуют свои незыблемые законы: если большинство тебе не верит, согласишься с большинством. Потом, если будешь настаивать и доказывать, тебе могут поверить, изменят свое мнение, но сразу не переломишь, это точно.

Ну и чтобы закончить рассказ о Самойлове и его влиянии на культурный микроклимат в селе, добавлю: он совершенно не пьет ни водки, ни вина. Но если к нему придут гости, непременно потчует. Разольет по стопкам и приглашает: кушайте! Очень это поражает земляков: свой, речновский, а с причудой. Оно и впрямь озадачивает, если сказать, что голопузый водитель «Жигулей» — его двоюродный брат.

Влияние положительных примеров на нравственную жизнь села порой складывается из малоприметных на первый взгляд деталей и факторов. Вот, скажем, задумала пожилая женщина переложить печь в избе. Печника в селе нет. Есть один, берется за работу, но качества не гарантирует, да еще и философию подводит: раз на раз не получается. Разузнала хозяйка через знакомых: живет в Чистополе мастер-печник золотые руки, зовут Ямил. Съездила наобыденку, уговорила печника, согласился за субботу и воскресенье переложить. И условие: чтобы к его приезду старая печь была сломана, а глина, песок, кирпичи припасены. С помощью соседей вся работа по подготовке была завершена еще вечером в пятницу, и в субботу Ямил начал класть печь.

Поглядеть на мастера пришло чуть не все село. И не только глядели, но и помогали: раствор месили, ведрами таскали его в избу, выносили мусор, подавали кирпичи. Кто-то обмолвился: чужие люди помогают старухе, а родной сын даже взглянуть не соизволит. Ямил будто и не слышал этого разговора. Но поздно вечером, когда ладил на чердаке дымоход, увидел проходящего недалеко сына старухи, окликнул его. Тот подошел. Я не был при этом собеседовании, но утром стало известно, что сын старухи вдруг проявил желание привезти матери машину дров. Общественность правильно оценила воздействие Ямиля на очерствевшую душу земляка: у непутевого сына тоже назрела перекладка печи.

Старое культурное наследие в селе иногда проявляется в самой неожиданной форме. И если повезет тебе, увидишь, не пройдешь равнодушно мимо, долго потом будет светло и радостно на душе, почувствуешь себя частичкой чего-то целого, неподвластного времени и модным веяниям.

Выходила замуж Татьяна — дочь моего двоюродного брата. Жених родом из Чистополя, только что демобилизовался, отслужив на Балтике, устроился на часовой завод. За невестой прикатили на двух «Жигулях». Пока невеста охорашивалась, к дому пришли четыре пожилых соседки, вдовы солдат, сложивших головы в войну. Встали у палисадника, руки под фартуками держат, глаза печальные, но зоркие.

Показалась невеста из сеней, в белом длинном платье, при фате, по бокам две подружки с любопытством на нас поглядывают. На Татьянином лице улыбка светится, хотя по свадебному обряду вовсе положено ей горько оплакивать свое девичество, жаловаться на разлучника, который с приятелями возле машин стоит, сигарету смолят и у которого тоже что-то печали не видно. Водители уже и стартеры нажали, запыхивали дымками «Жигули», сейчас усядутся все и укатят в ЗАГС.

И тут вдруг раздалась песня. Вернее не песня, а речитатив, исполняемый женскими голосами. Я даже и не сразу догадался, что это голоса наших соседок. Никто ими не дирижировал, между собой они не шушукались, а ладно и просто выговаривали:

— Милая наша подруженька, мы тебе скажем и расскажем про чужу дальню сторонушку; что чужа дальня сторонушка на горе стоит да на высокой, на красе да на великой...

Невеста остановилась, вслушиваясь в негромкие, простецкие слова. И лицо ее, до этого светившееся улыбкой, вдруг стало печальным. Она низко поклонилась провожающим и хотела, видимо, что-то сказать, но автомашины нетерпеливо забибикали, подружки потянули невесту к открытой дверке, и от праздника ничего не осталось. Но важно, что он был! Была эта нечаянная радость от прикосновения к чему-то извечному, закономерному, было ощущение бытия, в котором всегда рядом радость и печаль, обновление и увядание, рядом эти новехонькие «Жигули» и слова старинного свадебного причитания.

— Помчалась, — вздохнула одна из женщин и напевно произнесла: — На чужой стороне солнышко не греет, кроме маменьки родной, никто не пожалует.

Попробуй разберись с этими причитаниями! Неужели не понимают, что нынче не прежние времена? А впрочем, так ли они уж и были плохи, эти старинные обряды? Кстати сказать, знаток народной жизни писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк расценивал сельский свадебный обряд как национальную оперу, в которой, по его словам, ярко проступает духовная мощь русского народа.

Может быть, именно поэтому было так неожиданно завлекательно смотреть на отъезд невесты, что пожилые женщины вызвали свадебными причитаниями чувство прикосновения к фрагменту изумительного культурного наследия. И пусть это была крохотная частичка обряда, но и по этому обломку можно представить былое художественное действие, каким от века была в селе свадьба. Она делилась как бы на две части: в одной печаль и страх, во второй — торжество и радость. В ней меньше всего было религиозного налета, при всей устойчивой традиционности она оставалась яркой импровизацией. Это было зрелище, в котором каждый мог стать и участником. И какой голубой экран заменит это? Так же как не заменит металлический магнитофонный голос живую песню.

Есть ли сегодня в селе возможность «сыграть» оперу-свадьбу? Думаю, что пока еще есть. И можно быть уверенным, что в этом случае битлы и диско наверняка проиграют.

Человек родился, прожил в селе отпущенный срок и должен умереть. Обстоятельство печальное, но неизбежное, касающееся, разумеется, в первую очередь родных и близких умершего. Но, впрочем, только ли их? Мне думается, что здесь тоже можно говорить о культуре всего того, что связано с уходом из жизни. Само собой, покойнику безразлично, а вот живущим должно быть не все равно, как все это происходит.

...Ветром повалило кладбищенскую ограду. Телята, овцы, коровы, колхозные лошади, привлеченные травой, повадились пастись возле могил. Жители, особенно те, кто постарше, несколько раз говорили бригадиру, что нужно поправить ограду. Бригадиру было недосуг. Я стал подбивать мужиков на своего рода субботник: работы-то часа на два, а из материалов требуется несколько деревянных столбешек. Мужики не поддержали меня, и я не мог понять — почему? Наконец один объяснил:

— Это сельсовет должен делать. За что мы налог платим?

Председателем сельсовета работает молодая женщина, которая живет в соседнем селе. В Речном она бывает редко, ей не до чужого кладбища. А главное, нет у нее ни

столбов для ограды, ни рабочих рук. За всем этим надо обращаться к председателю колхоза, а у председателя, как обычно, заботы совершенно иные, с живыми дел невпроворот, мертвые могут подождать. И ждали до глубокой осени.

Факт мелкий? А что больно крупного-то происходит в селе? Но ведь из бесконечно большого количества мелких слагаемых и получается то, что называется личной жизнью, единственной, неповторимой, прекрасной и яростной.

Как ни мало люди в селе задумываются о смерти, ее побаиваются, хотя и живет в каждом: а вдруг ее все же нет? Как же так: родился, жил, работал, детей вырастил и всё? Думать думают, а разговаривать на эти темы воздерживаются. Разве что иногда сорвется под горячую руку что-то вроде «сдохнуть бы скорее!» — но это так, гипербола. И еще заметил: мужики, например, никогда не поминают всеу имя господа бога и его матери, а уж если и произнесется, добавляют непременно какого-либо иноплеменного. На всякий случай, чтобы отпереться потом можно было: я же не своего имел в виду.

Верующих в селе мало, в основном это пожилые женщины. Их влияние, казалось бы, крайне незначительно. Но все же сбрасывать его со счетов нельзя. Каждого родившегося в селе младенца крестят — так требует старушечья общественность. На рождество, крещение, пасху, Николу, троицу, казанскую в селе фактически не работают. Ну, то есть самое необходимое по хозяйству — кормление скота, дойка, вывозка молока на молокозавод — выполняется. Все же остальное замирает. В праздники употребление водки и браги не считается предосудительным.

Спрашивал многих: почему так называется — религиозный праздник, в честь какого события устраивается? Никто из знакомых исчерпывающе ответить не мог. В лучшем случае говорилось: не нами заведено или так всегда было.

Соблазнительно предположить, что мужикам эти религиозные праздники — лишний повод для выпивки. Но это очень шаткое предположение, ибо пьют по будням и безо всяких причин. Значит, дело в другом. Тогда в чем? В чувстве общности, привычки сельских жителей не отделяться от других, быть как все? Вероятно, так. Но тогда, выходит, в селе, где практически нет верующих среди людей среднего поколения и молодежи, тем не менее существует кто-то, с чьими установлениями приходится считаться.

Поскольку в селе нет действующей церкви, то, естественно, отсутствует и священник. Но тем не менее все, что связано с религиозными обрядами, не обезличено. Ближе всех к «небесному престолу», считают в селе, находится Василиса Волкова, или, как ее зовут стар и млад, Васюня. Ей за шестьдесят, она вдова, сын живет где-то в Перми. Пенсию Васюня не заработала, поскольку в колхозе не состояла, а в село вернулась в начале 60-х годов из неведомых никому мест. Живет Васюня хорошо, как говорят, сало за сало заходит. Секрет преуспевания Васюни состоит в том, что она читает по успшим. У нее имеются псалтырь, Библия и еще какие-то религиозные печатные первоисточники. Специального, равно как и другого образования она не имеет, но рассуждает обо всем здраво, умеет при случае произнести слова утешения (бог дал — бог взял; все там будем, не в одно только время и т. п.), сохраняет присутствие духа и спокойную уверенность в скорбные часы. Ей приносят добровольные и щедрые подаяния в виде денег и харчей в уплату за то, чтобы она в своих молитвах поминала ушедших в мир иной.

У Васюни есть помощницы из числа немолодых женщин. Они справляют нужные по обстоятельствам обряды, читают псалтырь, ходят на поминальные обеды, участвуют в молебствиях, подпевают Васюне при исполнении псалмов.

В избе у Васюни чисто и уветливо: в переднем углу большой киот с подновленными иконами, среди которых огромный образ Иисуса Христа, добытый Васюней в местной полуразрушенной церкви. Перед киотом горит лампада. В углу на кухне большое распятие, тоже взятое в церкви. Чугунный, уральского литья спаситель фактурой похож на негра. Он обернут в вафельное полотенце, которое, по мнению Васюни, необходимо, чтобы прикрыть нагого Христа.

С Васюней предпочитают отношений не портить. У всех в памяти случай, когда она отказалась отпевать скоропостижно скончавшуюся тещу Валентина Соловьева. Он разбежался к Васюне, да не тут-то было. Негромко, но твердо она сказала, что не пойдет к Соловьевым, а почему, Валентин сам знает. И вспомнил мужик: года два назад нехотя отозвался о Васюне и ее помощницах.

Я сидел над горой, удил, когда Валентин проезжал мимо на моторке. Был он мрачен и озбочен, а на мой вопрос, далеко ли отправился, ответил, что в Саконь — соседнее село, за старухой, чтобы тещу отпела.

— А Васюню-то чего же не позовешь?

Тут он вкратце все и рассказал, а заодно и опять отозвался о Васюне, но выражение прозвучало нерешительно. Да оно и понятно: в доме покойница, жена убивается, детишки ревут, а дело не делается. Кого хочешь коснись такое, закручинись, подумал я, поглядывая на уносившегося в моторке молодого мужика.

Он мне нравился своей хваткой: наловил в половодье на Каме бесхозных бревен, купил еще несколько лесин и в два лета в одиночку срубил дом. Посмотришь вечером: сидит Соловьев верхом на срубе и потюкивает топором, подгоняет бревно к бревнышку. К тридцати годам трех девочек принесла ему жена, а Валентин не унимается: пока, говорит, парня не достану, стараться буду.

И еще одним он нравился: рассказал, где на воложке можно судака на блесну надергать. Только, слышь, надо к восходу солнца попасть. И тогда за утреннего зарю полудки накидать вполне можно. Очень он нас с отцом тогда раззадорил, и мы решили съездить на эту самую воложку, которая от нас километрах в шести. Легли спать раньше кур, а в полночь отправились за судаками. К двум часам были на месте. Пока стали на якорь, снасти наладили, светло стало. Соловьи в тальниках заливаются, душу тревожат, наизнанку выворачивают. Отец расчувствовался, рассказал, как в такую же майскую ночь мать со мной, еще не родившимся, в больницу на лошади вез, и боязно было и радостно.

Судаков в тот раз мы не наловили, но на Валентина не серчали: запомнилась поездка на всю оставшуюся жизнь. И вот этот славный мужик попал в такой переплет...

Село не город, о случившемся немедленно стало известно в каждом доме. И как в любой конфликтной ситуации, одни оказались на стороне Соловьева, другие поддерживали Васюню (дерзок на язык этот Валька), а третьи ни в тех ни в сих. А что, действительно, было делать? Идти к председателю колхоза или к парторгу жаловаться на строптивую старуху? Их ли это дело?

Не успел я под эти раздумья законную рыбную квоту отловить, гляжу, катит Соловьев на моторке. На носу лодки старуха сидит, вся в черном, словно ворона. Поравнялся со мной, улыбается и орет радостно:

— Порядок!

Мне могут задать вопрос: что предлагает автор? Не готовить же для села в самом деле кадры нештатных служителей культа? Пройдет время, уйдут сами собой старые ревнители религиозных обрядов, а у молодежи вообще нет такой потребности. Можно рассуждать так, но можно (и нужно) по-иному.

Верно, молодые в селе растут атеистами, не верят ни в бога, ни в черта. Но духовная сфера должна быть непременно заполнена. Одним из заполнителей такого рода является культура, в том числе сельская. Отвечает ли она на нынешнем этапе тем требованиям, которые на нее возложены?

Меньше всего хотелось бы получить упрек в том, что автор попытался изобразить малопривлекательную картину жизни села Речного. Во-первых, не так уж все и мрачно. А во-вторых, как говорят, чем лучше вещь, тем заметнее в ней изъяны. К тому же в этом году появился в селе человек, с которым я связываю надежды на перемены к лучшему в культурной жизни моих земляков. Я имею в виду нового парторга колхоза «Россия» Николая Александровича Смелова. Пришел он на эту должность из инструкторов райкома партии. Прежде работал агрономом на сортоучастке. Заочно учится в Саратовской межобластной партийной школе.

Мне понравилась в нем деловая жилка, убежденность, знание того, что нужно делать в селе. Начали они с председателем с самого главного: с заботы о людях. В Речном весной колхоз заложил пять домов. Четыре из них кирпичные, пятый сборно-щитовой. Во всех будет газ, водяное отопление, всякая необходимая дворовая постройка и приусадебный участок, разумеется. Парторг предложил, чтобы все эти дома отдали молодым колхозникам. Дома — загляденье. Они сегодня, говоря высокоим стилем, начинают определять архитектурный облик села. Белокаменные, с веселым орнаментом из красного кирпича, зеленекрышние, с большими окнами — любота! Увидел их приехавший на побывку бывший комбайнер, подвизающийся ныне в службе быта в Чистополе, загорелся:

— Дали бы мне такой дом, враз бы вернулся!

Парторг, которому я рассказал об этом, дал такую оценку:

— Потянется народ в село. Работы здесь в достатке, не ленись только. С жильем наладим. Вон какие миллиарды государство вкладывает...

Разговорились мы и о том, как за культуру в Речном браться. У парторга такое мнение: следует создать здесь комсомольскую организацию, заставить районный комитет комсомола почаще в село заглядывать. Надо найти подходящего заведующего клубом. Мое предложение о Юрии Сивакове выслушал, пообещал с председателем посоветоваться. Может быть, впрямь послать его на курсы? Человек десятилетку за плечами имеет, склонности к творчеству есть, опять же родом из этого села и уезжать из него не собирается. Подучится, бросит битловскую манеру шлягеры исполнять. Основа-то у него народная, а это штука не временная, непреходящая. И стал рассуждать парторг дальше: не может быть культуры вне национального, народного. Вспомнил, как нынче летом возник в селе заезжий, отрекомендовавшийся художником. Интересовался иконами, объяснял старухам, что собирает их для вновь открывающегося храма возле Перми. Старухи икон заезжему не давали. Тогда собиратель украл один образ у оплошавшей старушки. Пришлось просить милицию изловить «художника».

— Вот и надо взглянуть на культуру диалектически,— продолжал Николай Александрович.— Культура это ведь и мораль. Так кто же обладает более высокой культурой: собиратель икон или жительница села, у которой он утащил понравившийся предмет старины?

Не скрою, я с интересом слушал парторга, потому что почувствовал в нем единомышленника, человека, которого занимает все это не только в силу служебного положения, а по сути. Проявление человеком личностных качеств, достижение им внутренней гармонии, самовыражение и самоутверждение — все эти и другие стороны культуры стояли, стоят и будут всегда стоять перед обществом, а стало быть и перед каждым. И в этой связи, разумеется, невозможно свести к однозначности уровень сельской культуры.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ



САТАНИНСКИЙ КРУГ

Был голос:— умер Пан! — И тени
Простерлись. Словно на стене,
Над тягостью земных томлений
Встал белый призрак в тишине.
Он чертит погребальный камень
Огромным росчерком руки,
Вдоль стен кладбищенских, как пламень,
Развешивает позвонки.

Теодиль Готье, «Костры и могилы».

Во времена императора Тиберия распространилась удивительная легенда о корабельщике Таммузе, которому прозвучавший над морской бездной таинственный голос велел возвестить, что умер великий Пан. Когда весть об этом достигла Рима, император приказал доставить к нему Таммуза и после беседы с ним собрал совет виднейших философов. Ученые люди склонны были считать, что, по-видимому, великий бог лесов действительно умер.

Но это была ошибка. В средние века рогатый и козлоногий Пан, которого стали называть демоном, не только вернулся на родные поляны, но и обрел невиданную власть. Вместе с ним возвратилось веселое племя сатиров и прелестные нимфы, прилетевшие на ведьмовском помеле.

С той былинной поры пролетели сотни и сотни лет...

Не верхом на метле, но оседлав рычащие мотоциклы съезжалась к заброшенной часовне нечистая сила. Миловидные ведьмочки в элегантно потертых джинсиках и мини-юбках, прикинув к кожаным спинам дьяволов, весело перекликались в шелестящей, грохочущей моторами тьме.

Чинно разбившись на пары, общество направилось к заброшенной часовне, постоянными обитателями которой после удара молнии, повредившего кровлю и оплавившего свинцовые переплеты витражного окна, стали совы, летучие мыши да жабы.

Привезенную в ящике из-под баночного пива и столь необходимую для задуманной церемонии восковую куклу, особым образом слеplенную и «ожрепценную» в католическом соборе, заботливо нес один из «стражей» с мечом. Его сосед, обычно несший вахту на северной стороне магического круга, в котором развeртывалось то или иное непотребное действие, готовился нынешней ночью сыграть роль самого владыки преисподней. В его пластиковом мешке находилась маска, сделанная искусным таксидермистом на манер головы исполинского козла. Черная шерсть и тяжелые каменные рога, между которыми устанавливали горящую свечку, были настоящими, хоть и взятыми от различных животных, а «пылающие» очи ловко имитировало светоотражающее покрытие. Да и золотая пентаграмма во лбу «князя тьмы» была изготовлена из анодированного металла по специальному заказу. Худо-бедно, но современность с ее неограниченными возможностями по части научно-технических новинок тоже сумела внести посильный вклад в исконные ритуалы средневековья! Никуда не денешься: атомный век, прогресс... Так и хочется спросить словами поэта: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?..»

Воистину есть нечто обескураживающее в той исторической траектории, которую, пронзив времена и пространства, описали оккультизм и магия, возвратившись в конце концов на круги своя. Не претерпев существенной эволюции, ничего не за-

был и, соответственно, ничему не научившись, они вновь утвердились в качестве необходимого и вполне уважаемого элемента бытия в сознании современного европейца или американца. Как? Отчего? Почему? Трудно, а то и вовсе невозможно дать однозначный, исчерпывающий ответ. Без анализа духовной атмосферы, без зондирования потаенных глубин человеческих страхов и вожделений, вне политической ауры и бытовых неурядиц мы едва ли сумеем приблизиться к отгадке. Девальвация традиционных верований и «жажда странная святынь, которых нет», духовный вакуум и крушение традиционной буржуазной морали — все это необходимые составляющие того идейного хаоса, который пробудил ныне темные атавистические инстинкты. Разумеется, только этим одним не ограничиваются предпосылки сатанинского путча, посредством которого на пустующем Олимпе был утвержден железный трон Люцифера. И все же основная причина кроется именно в бездуховности, в утрате элементарных общечеловеческих моральных норм и духовных ценностей.

«Церковь Сатаны», «Сатанинская библия», «Черная месса», «Легион дьявола», «Оргия кровопийц» — это не заголовки бульварных романов, не названия леденящих кровь киноподелок. И книги и фильмы — лишь следствие реальной дьявольской реконквисты, лишь производная духовных институтов, насчитывающих ныне десятки миллионов приверженцев.

Параллельно, вернее, соосно с культом мирового зла смыкают многовековые орбиты черная и белая магия, астрология, хиромантия, спиритизм, алхимия, колдовство, заговоры, нумерология, некромантия и прочие виды inferнальных гаданий. Люди вновь верят в связь с загробным миром и вампиризм, прибегают в трудных случаях к кабале, жадно ищут хотя бы тень того, кому можно — нет, не продать, а просто вручить, причем часто с приплатой, свою бессмертную душу. Слово и впрямь вернулось средневековье со всеми его готическими аксессуарами, словно магическая рука стерла совокупную память человечества, предоставив ей пылиться на полках библиотек.

Впрочем, если средневековье и накрыло черной вуалью города современного Запада, то возврат его крайне своеобразен. Сегодня никому не угрожает костер за «связь с дьяволом», а занятия «герметикой» не только вполне допустимы, но и приносят весьма ощутимый доход, никак, правда, не связанный с тайной алхимического золота. Больше того, человек, открыто отрицающий всю эту чудовищную вакханалию, порой рискует прослыть чуть ли не обскурантом, ретроградом.

Курс магии или астрологии, самоучитель хиромантии или наставление для начинающего алхимика можно приобрести в любой книжной лавке. Два-три доллара за том в мягкой обложке. Да и весь мистический реквизит — от хрустального шара и полной колоды эзотерического тарота до черных свечей и планшеток для связи с потусторонним миром — будет предложен жаждущему в соответствующем магазине, иногда детском. При желании можно приобрести тонкую радиотехническую аппаратуру для записи посланий умерших, пульт для экстрасенсорных испытаний, восковую куклу для наведения порчи и т. п. Так что связь с дьяволом устанавливается ныне совершенно открыто, на виду у просвещенного общества, в лоне официальной церкви, в кругу семьи. Тем более что по телевидению можно увидеть не только репортаж из очередной «колдовской пещеры», но и прослушать урок чародейства, который дает, скажем, «великая жрица» Сибил Ли, популярная в США телезвезда.

Подобное смешение бытовизма и мистики, чародейства и ультрамодных новинок техники нередко ставит неподготовленного человека в тупик. Тем более что «Церковь Сатаны» и ее оглушенная паства являют порой действия, достойные психиатрического заведения. Причем жаждущая рекламы «самодетельность» всевозможных сект и кружков, порой преступная, протекает, как уже говорилось, не только на виду у всех, но и на фоне шумного, невиданного успеха «сатанинских» романов и «колдовских» фильмов.

На первый взгляд может показаться, что подобные гримасы общественного сознания совершенно необъяснимы, почти иррациональны, но стоит провести исторический экскурс и сопоставить между собой явления, бытовавшие на переломе самых различных эпох, как сразу проясняется подоплека очередного феномена, порожденного кризисными ситуациями, от которых не перестает и никогда не переставало страдать «общество потребления». Богатую пищу для размышления о путях буржуазной «контркультуры» дает и сравнение ритуалов всевозможных сект, лож и «каверн», давно канувших в Лету и самых современных, но черпающих убогое вдохновение и обет-

шалый реквизит из одних и тех же грязных источников. Вот почему в нашем повествовании будут постоянно пересекаться две временные линии. Одна, идущая из глубокой древности, позволит очертить саму сущность «тайных» дисциплин, другая — современная — поможет постичь беспрецедентный парадокс буржуазного сознания, воскресившего им же похороненные и проклятые тени. Это явится своеобразной переключкой между средневековым историческим и, скажем условно, парадоксальным, противостоительно трансплантированным в миросозерцание и культуру индустриального Запада.

«Интерес к оккультизму,— отмечалось в американском еженедельнике «Ньюсвук»,— в течение десятилетий не выходящий за пределы крайне ограниченного круга избранных, внезапно превратился в поистине массовое явление».

Магия во всем комплексе составляющих ее тайных наук — не только игрушка пресыщенных и развращенных умов. Как и во времена Варфоломеевской ночи, она и сегодня остается орудием политической борьбы, бережно сохраняемым в арсеналах самой крайней реакции.

Если проследить резонансные пики оккультизма, то они неизбежно совпадут с активизацией крайне правых сил. Так было перед захватом нацистами власти, так было после поражения русской революции 1905 года, когда с необычайной быстротой распространилась, по определению В. И. Ленина, «мода на мистицизм»¹.

В нашумевшей книге «Утро магов» Луи Повеля и Жака Бержье с характерной для обскурантизма эклектикой и неразборчивостью были изложены принципы «фантастического реализма», ведущего к «возрождению духа» подавленной рационализмом творческой энергии человечества. Рядясь в одежды отчаянных реформистов, почти революционеров, авторы пытались уверить своего читателя, что причины всех нынешних бед и неурядиц следует искать в недавнем прошлом. Обвинив науку в том, что она-де «наложила запрет на фантазию», они обрушились на современные духовные ценности, которые якобы заставляют человечество тащиться в хвосте прогресса, устремившегося во вселенский простор. «Мост между эпохой мушкетов и эпохой ракет еще не построен!» — патетически восклицали Бержье и Повель, ниспровергая сами основы знаний, позволивших человечеству выйти в космос.

«Век мушкета» ознаменовался повальным увлечением черной магией и некромагией. С легкой руки Екатерины Медичи возродились гадания по внутренностям животных, ее алхимики соперничали между собой в изобретении изощренных отрав, а прорицатели, распластав на окровавленных столах человечьи мозги, толковали на свой лад прихотливые рисунки извилин. Именно в эпоху «короля мушкетеров» Людовика XIII имел место позорный процесс Урбана Грандье, обвиненного в сношениях с дьяволом.

Повелю и Бержье, усмотревшим современное «пробуждение духа» даже в оккультных изысканиях нацистских фюреров, нельзя отказать в некотором прогностическом даре. «Мост», который грезился им в 60-е годы, олицетворился ныне средневековым шабашем, захватившим в свой вихрь одурманенную безумием, вконец изверившуюся и замордованную безработицей молодежь.

Атака на молодежь, на разум, на позитивное знание, начатая с вылазки под флагом «фантастического реализма», обрела ныне масштабы тотального наступления. Под прицелом находятся теперь не только позитивный багаж человечества с его мнимыми прегрешениями против свободной мысли и не только марксизм, на котором обломали свои копы поколения мракобесов. Огонь ведется сразу по двум целям: разуму, рациональному мышлению и рабочему классу, коему не позволяють даже народиться, ибо от него якобы проистекает вся грядущая скверна. Во всем этом есть своя логика — разрушительная и, можно смело сказать, оккультно фашистская, так как в ее основе лежит полнейшее презрение к реальности.

Можно, наверное, усмотреть изощренную насмешку судьбы в том, что именно на родине энциклопедистов и вольности европейской появилось сочинение, напрямую атакующее трактат Декарта.

О своей преданности идеалам самой крайней реакции заявил недавно известный историк и член Французской академии Робер Арон. Название, которое избрал он для своего труда, подчеркнуто тенденциозно — «Рассуждения против метода». Впрочем, рассуждений в памфлете не встретишь. Рассуждения подразумевают рассудок, а именно против него с патологической ненавистью ополчился Арон. Он поносит Декарта

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 87.

за то, что тот разработал «тоталитарную концепцию разума». А коль скоро взлеты разума совпадают с реальными законами мира, Декарт предстает интеллектуальным тираном, «стандартизовавшим способности человеческого духа» и «раздробившим человеческую душу». Это он, по мысли Арона, убил вдохновение и выхолостил поэтическую тайну, «избавив человека от всякого творческого усилия». Аргументы Арона заведомо лживы, но это ничуть не смущает автора «контррассуждений», от которых несет затхлым духом средневекового мракобесия.

Тяга к мистике, сатанизму — не изолированное явление, не случайно проклюнувшийся большой побег перегнившего корневища. Как показала история, реакция имеет обыкновение контратаковать на всех фронтах сразу. Не случайно же натовские стратеги ухватились вдруг за Нострадамуса. Написанные четыре столетия назад «Астрономические четверостишия», столь трудно поддающиеся расшифровке, обрели в их толковании ярко выраженный антисоветский, антисоциалистический подтекст. Под упоминаемыми Нострадамусом «краснокожими людьми», которые должны-де погубить Францию, оказывается, нужно понимать нынешнее правительство левого большинства, а орды «новых вандалов» направляет, конечно же, пресловутая рука Москвы.

Излишне напоминать, что доктор медицины из Монпелье имел смутное представление о Московском государстве и не обмолвился о нем даже словом. Название же Кремль, присутствующее в лексиконе современных толкователей Нострадамуса, вообще не было ему известно. Но что до этого лжецам и гробокопателям, принявшим причастие дьявола? Не только же по причинам, обусловленным модой и конъюнктурой, как грибы, начали появляться фильмы, романы и пьесы на темы дьяволизма и оборотничества.

Очевидно, пионеры этого движения ощутили некий толчок, чтобы не сказать — социальный заказ, и сами дали направление моде, сами обусловили бум по части спроса и предложения. А бум налицо. В одной только Италии выходит около 20 оккультных журналов, большей частью нацеленных почему-то на мертвецов-кровососов, о чем свидетельствуют названия: «Дракула», «Вампир», «Вампиресса» и даже «Вампириссимо». Можно ли рассматривать это явление в отрыве, скажем, от кровавых оргий террористов из «красных бригад» и «первой линии»? От очередного пароксизма военной истерии, развязанной милитаристами США?

«В случае атомной войны... бомба будет сброшена на большие города — Лион, Марсель, Париж... Те, кто спрячется в противоатомных убежищах, выйдут на поверхность, когда огромные орды пройдут над их головами и русские убьют все, что только можно убить. Затем уцелевшие жители городов плотными рядами, словно обезумевшее стадо, бросятся в деревни. Они умрут на дорогах, так как не смогут возродить жизнь, создав островки а-ля Робинзон Крузо... И спустя некоторое время, если больше не останется жратвы, съедят самого маленького члена семьи!» Этот бред взят не из очередного «романа ужасов», а из репортажа преуспевающего фотографа Мартена «Французы, которых безумно пугает страх войны», опубликованного в парижском еженедельнике «Нувель литтэрэр» в ноябре 1981 года.

«Нужно, чтобы люди верили в существование долговременной угрозы», — раскрывая подоплеку ядерного помешательства, цинично заявил один из дельцов, поставляющих вооружение Пентагону. Мартен вял призыву и на скорую руку состряпал опус, сублимировавший затасканные домыслы о «советской угрозе» и вполне реальные страхи, которые денно и ночью обрушивают на голову обывателя средства массовой информации. А дабы окончательно парализовать волю к сопротивлению и превратить людей в послушное стадо, идет невиданная облава на свободную мысль. Примерно так осуществляется, причем зачастую неосознанно и без видимых соприкосновений, взаимодействие самых разнонаправленных сил, принуждающих раскручиваться чудовищную карусель огулнения и лжи.

«Разум заставляет молчать, — с горечью признается профессор М. Маскино в статье «Сумерки разума», опубликованной во французском еженедельнике «Монд дипломатик». — Отказаться от требований разума, — развивает он свою мысль далее, — это значит стелить постель варварству... Ибо не безнаказанно пробуждают чудовищ, которые подсознательно дремлют в людях: когда химеры завладевают находящейся в иступлении толпой, они убивают».

Мы вскоре увидим, на что способны такие химеры!

«Я мыслю — следовательно существую», — с гордостью за человеческий род говорил Декарт. «Я мыслю — следовательно, не существую», — тшцатся опровергнуть вели-

кую аксиому одержимые комплексом Герострата пигмеи. Но что могут они противопоставить классической ясности и величественной простоте Декартовых аргументов, облеченных в безукоризненную литературную форму!

Словно пароль погромщиков, вышедших с кистенем на большую дорогу, передается из уст в уста брань ниспровергателей разума. Как поразительно сходны их категорические утверждения, не подкрепленные даже самыми примитивными аргументами. «Мы не можем изменить мир разумом»,— декларирует французский романист и социолог Жан Дювиньо, оставив нас в неведении насчет того, как и чем он пытался изменить мир, прежде чем окончательно разувериться в высшем, если не единственном достоянии человека. «Традиционный рационализм больше не удовлетворяет»,— вторит ему проповедник мистики и спиритуализма Марк де Шмедт, словно ему известна тайна какого-то иного, «нетрадиционного рационализма». «Разум должен вызвать кризис разума»,— напыщенно предвещает социолог Эдгар Морэн.

Что же можно противопоставить разуму? Чем заполнить всеокружающий вакуум, который оставит после себя гигантский костер, куда полетит тысячеletнее прошлое, наш сегодняшний день, мы сами?

Следуя формальному методу нынешних ниспровергателей и прибегая к отрицанию «не», мы получим «неразум», а следовательно— безумие. Именно за это, содрогаясь от экзальтации, ругает американский литературовед Шошана Фелман. «Вся эпоха осознает себя некой точкой внутри безумия»,— утверждает она в книге «Безумие и литература», где господствует тезис о «повсеместном присутствии в культуре мысли о безумии». Не довольствуясь тем, что противоестественные симбиоты— культура и сумасшествие— якобы освещают друг друга, она заклинает окончательно «шизофренировать» общество и превратить искусство слова в поле действия иррационального.

Что ж, даже в горячечном бреду порой выкрикивают понятные слова, фразы. Приходится признать, что и среди беспросветной мерзости встречаются примечательные находки. Слово «шизофренировать»— точное слово, ибо нет и не может быть иной альтернативы рассудку. Есть некая отрада в том, что подобное «открытие», которое так и просилось на язык, совершили ожесточенные ниспровергатели, а не защитники разумного начала в существе, именуемом homo sapiens. Так все же убедительнее для помраченных, если слова истины долетают не из враждебного лагеря, а изнутри, от своих.

Но «истина» есть производное от понятия «разум», поэтому нет особых надежд, что одержимые буйным безумием прислушаются к поставленному диагнозу. Если верить словам Паскаля насчет мыслящего тростника, то лишенный этого бессмертного начала человек должен обратиться в простую траву, которую рано или поздно сожрут животные или испепелит милосердный огонь.

Пусть будет прихоть нечиста
Или невинна,
Порок иль скромная мечта—
Мне все едино.
Я воплощу любой твой бред,
Скажи, в чем дело?
— О дьявол,— я ему в ответ,—
Все надоело!

Поль Верлен, «Разочарование».

Ныне на Западе необычайно модным вновь сделался тарот, от которого пошло заурядное гадание на картах. Считается, что он был создан испанскими оккультистами XIII века, вложившими в 78 карт целую символическую систему, которая вобрала герметические откровения гностиков, неоплатоников, катаров и кабалистов. Известно, по крайней мере, что великолепная и чрезвычайно дорогая колода была подарена в XIV веке французскому королю Карлу VI. Особое значение в тароте придается 22 старшим арканам (таинствам), символизирующим разные стороны бытия: болезнь, смерть, войну, борьбу, силу, мощь, религию. Каждая карта имеет свое название и знак, обнимающая сразу три плана: символический, цифровой и астрологический.

Лишь один номер— 21— почему-то пропускается. Во всяком случае, он не указан на карте, изображающей «локо»— безумца. Испанский эзотерический тарот так расшифровывает ее значение: «Безумие, неспособность размышлять, экстравагантность, глупость, смешные поступки, фривольность, полная заброшенность». Добавив сюда еще

одно слово — «преступление», мы получим исчерпывающую характеристику современного колдовства.

Я думаю, нелишне будет начать со сведений общестатистического характера, существенно дополняющих уже знакомый нам духовный разброд с его обескураживающими всплесками и провалами. Вернее, чудовищную вакханалию в стиле Брейгеля, когда сбитая с толку, зачастую деклассированная толпа готова идти за любым обманщиком, объявившим себя богом или дьяволом, а буржуазная элита охотно раскрывает кошельки перед первым попавшимся проходивцем, претендующим на оккультное знание, будь то духовидение, связь с загробным миром или самое примитивное гадание на бобах и кофейной гуще.

Очевидно, настоящее представляется настолько бесперспективным и нестерпимым, что любая потусторонняя весть, даже если от нее пахнет адской серой, мнится знамением скорых и, так хочется верить, отрадных перемен.

Иначе просто невозможно истолковать приводимые ниже цифры и факты.

В США, например, каждую неделю возникает новая религиозная секта.

Во Франции около миллиона приверженцев спиритизма.

В Париже находятся две основные ассоциации спиритов: «Спиритский союз Франции» и «Дом спиритов». Издаются книги и брошюры, газета «Загробная жизнь». Имеется 3700 кабинетов ясновидящих (только состоящих на учете), в которых даются предсказания за любую цену — от 10 до 2500 франков. На 30 тысяч французских врачей приходится 40 тысяч знахарей и на несколько сотен астрономов — 50 тысяч астрологов, ясновидящих, предсказательниц судеб и т. п. Выходят три астрологических издания.

Опрос, проведенный французским институтом общественного мнения, показал следующее: 58 процентов опрошенных знают свой астрологический знак, 53 читают гороскоп в прессе. Из 100 человек 43 считают астролога ученым. 37 полагают, что характер полностью соответствует знаку, под которым они родились, 23 утверждают, что предсказания, читаемые ими в гороскопе дня, «сбываются поразительным образом».

65 процентов крестьян Люнебургской Пустоши (ФРГ) верят в существование ведьм, а уголовная полиция Фридрихсхафена утверждает даже, что 95 процентов сельских жителей в районе Боденского озера верят в привидения. Опрос среди школьников ряда округов показал: каждый седьмой мальчик и каждая пятая девочка принесли басни о ведьмах за чистую монету.

Удивляться тут, собственно, нечему. Поистине нет ничего невозможного там, где действуют правила свободного предпринимательства! И если вам вдруг вздумалось отправить письмо своему другу или родственнику, которого уже давно нет в живых, то достаточно обратиться в лос-анджелесскую фирму, возглавляемую неким Г. Габором, и ваше желание будет исполнено. Фирма Габора предлагает написать текст послания на специальном бланке и торжественно заверяет, что оно будет отправлено на тот свет с кем-нибудь из тяжело больных, чьи дни уже сочтены. Как уверяет Габор, сам он несколько не сомневается в том, что такой вид доставки полностью гарантирует получение письма «адресатом». Судя по всему, пишет лиссабонская «Диариу ди нотисяаш», есть и такие, кто разделяет его уверенность. Иначе чем можно объяснить, что дела фирмы идут успешно? Ведь стоимость послания на тот свет колеблется в зависимости от количества слов и... скорости доставки от 40 до 200 долларов.

В Юго-Восточной Азии мне приходилось наблюдать погребальные церемонии, когда священнослужители буддийско-даосского толка сжигали ритуальные деньги, нарезанные из специальной бумаги. Согласно древним верованиям считалось, что на том свете дым обратится в настоящее золото и банкноты, которые весьма пригодятся дорогому усопшему в его посмертных странствиях. В принципе предприимчивый мистер Габор ловко эксплуатирует ту же самую идею, коренящуюся на магическом принципе симпатической связи. За исключением, может быть, незначительной, но весьма существенной разницы. Наживая вместо ритуальных вполне реальные зеленые бумажки, почтенный предприниматель явно предпочитает вечности переходящие блага здешнего, такого суетного мира. Изобретенный им метод отправки писем, кстати сказать, тоже не слишком оригинален и явно заимствован из популярного рассказа английского писателя Питера Бигла «Милости просим, леди Смерть!».

«Если не ошибаюсь, — желая заполучить страшную гостью на светский прием, делает открытие Флора Невилл, бессердечная героиня рассказа, — у моего парикмахера

болен ребенок... Похоже, он потерял всякую надежду. Пошлю-ка я за ним и передам ему приглашение, и он в свою очередь вручит его Смерти, когда наш адресат явится за его отпрыском. Надо признаться, так не принято, но иного выхода я не вижу».

Пересылкой денег в потусторонний мир и перепиской с мертвыми услуги трансцендентальной связи не ограничиваются. Существует еще и «адская почта». «Верховная жрица» сатанинской секты в Нью-Джерси Лилит Гротто, в миру манекенщица Синклер, после того как сгорел ее дом со всем имуществом, решила войти в непосредственный контакт с Люцифером. Написав соответствующее письмо, в котором содержалась вполне аргументированная просьба о вспомоществовании, она нехотела обнаружить меч, препроводив тем самым в геенну огненную. Или, пожалуй, уместнее прибегнуть к терминологии Воланда из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова — в «другое ведомство».

Собирая подборку вырезок, посвященных современному колдовству, я менее всего интересовался спиритическими газетенками и оккультными журналами вроде издающегося в Далласе ежеквартальника «Нью брум» («Новая метла»), приуроченного специально к колдовским фестивалям. При всем желании в них нельзя обнаружить ничего существенно нового по сравнению с издававшимися в России «Изидой», «Ребусом» и совершенно беспардонным листком, названным не без юмора «Оттуда». Нет, меня интересовало более объективное зеркало общественного мнения, реакция людей здравомыслящих и достойных доверия. Поэтому я прежде всего обратил свое внимание на такие газеты, как «Таймс» и «Дейли миррор», «Лос-Анджелес таймс» и «Крисчен сайенс мониторинг», просмотрел издания аналогичного типа, выходящие в Австралии, Бразилии, ФРГ и ряде других стран. И вот какая получилась картина, какой причудливый сложился коллаж.

«Я не представлял себе, что такое волшебство, пока мне однажды не позвонили по телефону» — такими словами начинает свой сенсационный репортаж о колдовской церемонии в Бруклине корреспондент лондонской «Таймс» Питер Стреффорд. Право, чтобы описать пляску nudists в магическом круге, ему не нужно было пересекать океан. В Англии, претендующей на сомнительную славу родины современного волшебства, более чем достаточно собственных чародеев. Недаром «Дейли телеграф мэгзин» такому необыкновенно важному сообщению, как «Майское служение друидов» — оказывается, они вовсе не вымерли сотни лет назад! — дал исключительно броский заголовок «Неоспоримое явное волшебство». Дескать, знай наших!

Пойдем, однако, дальше. В сдержанных тонах американские газеты сообщают о создании в Чикаго группы, именующей себя «Языческий путь». И хотя в корреспонденциях проскальзывают явно критические нотки насчет белой магии и «дурно понюхавшего язычества», эффектные фотографии «верховой жрицы» Донны Коли и «верховного жреца» Германа Индерли делают свое дело. После подобной рекламы эти ребята не пропадут.

Не прошло мимо бдительного ока прессы и такое событие, как открытие в Лонг-Айленде супругами Раймондом и Розмари Бакленд колдовского музея, подобного знаменитому учреждению на британском острове Мэн. На видном месте было помещено интервью с миссис Лик (она же Луиза Хьюбнер), «официально выбранной верховной чародейкой графства Лос-Анджелес», колдуньей в шестом поколении и популярной звездой телеэкрана. Чуть ниже — выделенное рамкой объявление некоей Элоизы Стрикленд, открывшей в Сан-Франциско магазин волшебства.

Газеты ФРГ с негодованием сообщили, надо отдать им справедливость, о группе молодых людей, убивших в парке оленя. Казалось бы, досадный, но ничем особо не примечательный случай, разве что курьезной подробностью: браконьеры остались на месте преступления и, сбросив одежды, приняли пить кровь. Что это: неуместная выходка? дерзкая шалость? циничное хулиганство? Ответ: все, вместе взятое, плюс колдовство. «Мы совершили ритуальное жертвоприношение», — не без самолюбования признались задержанные на допросе в полиции. Боннская фемида была в растерянности, хотя и недолго. Ну раз ритуальное, значит, и взятки гладки — нет злого браконьерства и, соответственно, крупного штрафа в несколько тысяч марок. Однако события последнего десятилетия научили относиться к «играм» с кровопитием и осквернением могил с надлежащей серьезностью.

Во время колдовского посвящения при таинственных обстоятельствах были убиты молодые англичане Мариам Хиндли и Эн Бредд. «Темнота и ужас окружают обстоятельства преступления», — в лучшем стиле откомментировал высланный на место по-

лицейский репортер. Я не знаю, что дало расследование, но биографические штрихи **жертв** показали мне весьма примечательными. Хиндли и Бреди были фотографами, работавшими на индустрию стриптиза, причем, как отмечается в репортаже, «интересовались преимущественно болезненной тематикой». Возьмем на заметку эту подробность, ибо впоследствии она нам пригодится.

Пока же я приведу лишь один выхваченный из бумажного вороха заголовков — «Привлекательная мисс Мэй оказалась колдуньей» Я взглянул на фотографию и вспомнил, что встречал «привлекательную мисс Мэй» на страницах «Плейбоя». Однажды ей был посвящен даже целый разворот. Прodelав нехитрую, но достаточно кропотливую изыскательскую работу, я вскоре выяснил, что путь от звезды стриптиза к волшебной короне, который она проделала за два года, отнюдь не является редкостью. На то, кстати сказать, есть, помимо всего прочего, одна существенная причина, о чем будет сказано несколько позже.

Пока же, прощаясь ненадолго с туманным Альбионом, бегло перелистаем страницы газет, лишь слегка задержав внимание на заголовках и «лицах»: «Эзотерические церемонии они называют „Черным искусством“», «Можно ли убить человека колдовством?», «Возможно ли это в Британии 70-х годов?», «Жертвы современного колдовства»...

Газеты не врут: есть жертвы, есть трупы и есть мрачные колдовские церемонии. Но за живописанием всех этих типично средневековых ужасов, всего этого шизофренического бреда как-то утекает в песок главное: ножевые и огнестрельные раны нанесли все-таки не духи, не вызванные таинственными заклинаниями демоны, а совершенно конкретные и юридически подсудные лица, которых отправляют впоследствии либо за решетку, либо в психиатрическую больницу. И это настораживает. Когда речь заходит об уголовном преступлении, то в центре все-таки должен находиться преступник и обстоятельства — подчеркиваю, — а не антураж преступления, каким бы экзотическим он ни был. Иначе утрачиваются элементарные правовые критерии и на очевидную мерзость набрасывается эдакий трансцендентальный флер. Это всегда на руку потенциальным убийцам. Ведь если действовал сам дьявол во плоти, то можно ли хоть что-нибудь спрашивать с его прислужников, шестерок (двоек — в тароте), слепых орудий адского провидения? В том же, что общество хотят уверить в реальности темных сил, сомневаться, к сожалению, не приходится. Приглашенный в Англию «эксперт» черной магии, «консультант» (вспомним, как отрекомендовался на Патриарших прудах мессир Воланд!), наделенный академическими дипломами, некто Рассел Робинс со всей определенностью заявил в «Дейли миррор»: «Конечно, мы считаем волшебство реальностью». Что ж, как ни прискорбно, но в известной степени он прав. Колдовские шоу, радения, празднества и многомиллионный оккультный бизнес были и есть непреложная составная часть капиталистической действительности.

В газетном отчете о семинаре по черной магии, на который съехались в Миннеаполис более 200 делегатов из Филадельфии, Бостона, Детройта, Далласа, Лос-Анджелеса, Чикаго и канадских городов Торонто и Виннипега, с гордостью сообщается, что колдуны из Нового Света «находятся в постоянном контакте с английским авторитетом Дугласом Баркером». Воистину нет пророка в своем отечестве! Англичане цепляются за доктора Робинса, американцы — за доктора Баркера. Видимо, и тем и другим до разреза необходимо это самое «доктор». Несмотря на консерватизм, присущий верованию, невзирая на традиции «Черного искусства», приходится делать эживоки и в адрес науки. Слишком уж велика ее роль в жизни современного человечества. Да и беспомощность магии достаточно очевидна даже для непредвзятого глаза. Полное ее многовековое банкротство.

Семейные, родственные, общественные и всякие иные связи ничто перед темным вихрем, ввергающим в беспросветный мрак звериных инстинктов и всепоглощающего ужаса. Человек словно теряет на время рассудок, забывает все на свете, кроме повелений заклинателя, взявшегося вывести из беды. Он не думает о том, сколь горьким окажется неизбежное похмелье. Накатившая волна не позволяет ни задуматься о будущем, ни оглянуться назад. Она несет, швыряя и крутя над мраком времени и пространства, и шипенье ее нечистой пены заглушает последние шепоты раздавленной совести, вытравленной любви. Очнувшийся после содеянного, внезапно прозревший безумец зачастую стремглав бросается навстречу смерти, чтобы только не остаться наедине с собой.

Именно так поступил девятнадцатилетний Хайнц Заман из Эссенроде, когда пришел в себя после зверского убийства бабушки, якобы насланного на него язву желудка. Патологоанатомическая экспертиза не нашла даже тени желудочного и всякого иного заболевания. Прозектор, делая срезы головного, нормально развитого мозга, мог лишь отдаленно догадываться о тайных химических сдвигах, которые вызвало в его недоступных глубинах минутное помрачение.

Каждый человек по-своему уникален, но перед лицом статистики обнажаются общие, типичные для круга исследуемых явлений, черты. Жертвы колдовского амока, будь то невинные или же запятнавшие себя изуверством, очень похожи друг на друга. Как похожи свидетели и соучастники, втянутые в этот губительный смерч. Как похожи клинические симптомы одной и той же болезни.

В пандемии, о которой мы ведем разговор, очень часто нельзя выделить не только персонального убийцу, но и пособников преступления. Однако жертва встретится обязательно. «Выделяйте объекты для ненависти», — завещал будущим погромщикам Геббельс в своих «Дневниках». Ненависть тоже сила, способная убивать, и это хорошо знали как колдуны средневековья, так и «охотники за ведьмами» последующих эпох.

«Ежегодно в Западной Германии слушается от 60 до 70 судебных процессов по обвинению в преступлениях, членовредительстве и истязании животных, мошенничестве и злостной клевете», — отмечает Вольфганг Карл в очерке «Охота на ведьм», опубликованном в журнале «Вохеност» (ГДР). — И все же главные преступники — «специалисты по изгнанию духов» — крайне редко привлекаются к ответу. Если же они и попадают на скамью подсудимых, то суд относится к ним с исключительнымнисхождением. За все время существования ФРГ ни один «профессионал» такого рода не был осужден. А баварские власти вообще не применяют те параграфы законов, которые предусматривают преследование лиц, занимающихся изгнанием духов и ведьм».

И это не какой-то случайный зигзаг, не досадное упущение либо недосмотр, но продуманная линия. Сегодня в отличие от средних веков нельзя судить колдунов, не осудив при этом общество.

Серьезным представляется мне сообщение, отобранное из многочисленных статей бразильской печати на затронутую тему, озаглавленное «Колдуны держат в заточении мальчика». Семилетний Марко Аурелио действительно провел три года под запором в ванной (!). Я так и не понял, зачем это понадобилось жрецам кандомбле, но факт изуверства, которое наверняка скажется на всей последующей жизни ребенка, налицо. Если взрослые, решившие посвятить себя общению с вымышленным миром духов, которым зачастую управляют люди с преступными наклонностями и поврежденной психикой, все же располагают «свободой воли», столь затасканной средневековыми теологами, то дети совершенно беззащитны перед демоническими кознями. Человек не обладает врожденным иммунитетом против идеологии, даже самой дикой.

Наш обзор был бы явно неполон, если бы мы не коснулись в нем самой крайней градации на шкале мистицизма, известной как «Церковь Сатаны». Нынешний главарь ее Антуан Шандор Ла Вей, обожая всяческую рекламу, не упускает случая сфотографироваться то в трико, с рожками а-ля Мефистофель, то с черепом и хрустальным шаром в разведенных руках, то вдруг спешно меняет нагрудную цепочку с пентаграммой на эзэсовскую нарукавную повязку со свастикой. «Эти символы силы и агрессии, — отозвался он о нацистских эмблемах, — могут быть использованы как ритуальные в будущем».

Близнецы «Церкви Сатаны», получившие названия «Общество Асмодея» и «Церковь последнего суда», свили гнезда во многих городах ФРГ, Италии и других стран. Причем это движение находится на подъеме. По сообщениям печати, около 10 миллионов американцев хотя бы раз в жизни приняли участие в мистических церемониях, колдовстве, черных мессах и даже «оргиях кровопийц». Страшная, потрясающая воображение цифра! Американский исследователь Эгон Ларсен замечает в этой связи: «В западных странах распространяются культовые группы, в которых поклоняются дьяволу, предаются черной магии, служат «черные мессы», и число их увеличивается».

Сатанисты Ла Вея предпочитают выступать в звероподобных масках на манер египетских богов либо по примеру своего главаря увешивают себя регалиями времен третьего рейха. Молодым головорезам, по-видимому, до умопомрачения нравится нагонять страх на прохожих. Это льстит их самолюбию, поднимает в собственных глазах на некий «сверхчеловеческий» уровень. Классический синдром нацизма.

Статистических данных, касающихся отдельных сатанинских групп, я не нашел, но согласно отчетам американского национального совета церкви одних только спиритических лож, поддерживающих активный «обмен информацией» с потусторонним миром, насчитывается около 500, а общее число их членов превышает 200 тысяч. Казалось бы, целая армия, но в сравнении с уже упомянутыми 10 миллионами она представляется чуть ли не каплей в море. Жалкой кучкой «тихоньких чудаков», разворившихся среди действующих почти в каждом большом городе «каверн» колдунов и калищ — как еще их можно назвать? — сатанистов.

Одна из таких «дьявольских лож» завоевала себе позорную славу зверским убийством киноактрисы Шарон Тейт. Я говорю о «семье» — так именовали себя члены шайки и участники перманентной оргии Чарлза Мэнсона — «сатаны Мэнсона», вдохновившего хладнокровное убийство беременной женщины, на которую случайно пал преступный жребий. Впрочем, так ли уж случайно? — зададимся неизбежным вопросом. Разве случайно оказалась втянутой в ауру черной магии чета английских фотографов, подвизавшихся на ниве стриптиза? Есть точка зрения, спорная, правда, что некоторые люди сами навлекают на себя беспощадный удар потенциального убийцы своим особым психическим складом, неуловимыми манерами поведения. Если это действительно так, то что же говорить тогда о тех, кто, подобно бабочкам на огонь, летит, пусть шутя или в целях, далеких от мистицизма, в костер магического круга? Не в прямом, разумеется, в переносном значении этого слова.

Шарон Тейт была женой знаменитого Романа Поланского, поставившего в Голливуде целую серию «фильмов ужасов», в том числе знаменитый «Бал вампиров», в котором Поланский снялся вместе с Тейт. Эта лента обозначила своеобразный перелом в творчестве режиссера. Когда общественный интерес к «ужасам ради ужасов» немного ослаб и публика потянулась к более «жгучим» новинкам, Поланский сделал еще больший крен в сторону сатанизма. Так что контакт с патологией состоялся. Подлинной сенсацией стал его фильм «Ребенок Розмари», рассказывающий о женщине, зачавшей от дьявола младенца-сатану. Кстати, основной пружиной сюжета является тайная деятельность сатанинской секты, которая приветствует в лице Розмари свою «богородицу», инфермальную мадонну, порочную деву.

Мог ли думать Поланский, что затронутая им тема, вполне актуальная для американской действительности, даст знать о себе столь роковым образом? Ребенку, которого носила Шарон Тейт, не суждено было появиться на свет. «Гонки с дьяволом» — так, кстати, называется захватывающий фильм, в котором озверевшие колдуны преследуют автобус с двумя супружескими парами, случайно подглядевшими акт жертвоприношения, — далеко не всегда удается выиграть. Зло, как правило, приходит к финишу первым. В известном смысле «Ребенок Розмари» потребовал кровавую жертву, не успев сделать первых шагов. Зная все это, вновь спросим себя, так ли уж случаен был выбор «сатаны Мэнсона», осуществившего ритуальное убийство?

Ужасы, которые упорно приписывают «мрачному средневековью», стали чуть ли не будничным делом именно в новые времена. Для осмысления подобных вывихов общественного сознания уместно вновь остановиться на генезисе сатанинского культа.

Сердцевиной католической литургии является, как известно, причастие к крови и телу Христову вином и хлебом. Этот магический акт послужил распространению веры в реальное присутствие святого гостя во время богослужения. Столь кощунственное в основе своей суеверие нашло отражение в схоластических доктринах еще VII века. Оставалось сделать всего один шаг, чтобы попытаться навязать волю священнослужителя — теурга трансцендентальным силам иной природы. Это и было достигнуто в «черной мессе», противоположной заупокойной, предназначенной для страдающих в адской бездне душ. Примечательно, что около 700 года совет города Голедо категорически запретил использование реквием-мессы для «убийства живых людей».

Насколько можно судить по литературе, обряд материализации демона начинался с подобия мессы святого гостя, вернее с пародии на нее, потому что соответствующая молитва читалась наоборот. При этом использовались оскверненное вино и облатки, а также слезы, взятые из глаз живого петушка. Чарлз Вильямс упоминает о ней в книге «Колдовство», где также говорится о богохульстве, сопровождавшем черный обряд. В книгах итальянского демонолога XVII века Франческо Марии Гуаццо мне удалось найти описание пакта, который заключали с дьяволом его поклонники. Перечисленные в договоре 11 статей дают обильную пищу для размышлений. Они

излагаются в следующем порядке: отречение от христианского учения, **перекрещение** в имя дьявола, которое уничтожает прежнее имя; символическая перемена крестных святых дьявольским прикосновением; отречение от крестных отца и матери и получение новых покровителей; приношение клочка одежды дьяволу как знак почитания; клятва верности дьяволу, данная в магическом круге посредством отречения от прежних идеалов; включение имени посвященного в «Книгу смерти»; обещание посвятить дьяволу детей; обещание платить дань дьяволу в виде угодных ему предметов и действий; ношение знаков посвящения дьяволу; особого обряда клятва, включающая обещание хранить тайну шабашей и осквернения христианских реликвий.

Юридически документ составлен безупречно. С оглядкой на те времена, когда даже процессы над животными совершались с соблюдением всех предписанных процедур, его можно считать и вполне логичным. В сущности, речь идет всего лишь о перемене хозяина, о переходе из одного ведомства⁶ в другое, равноправное.

Этот схоластический принцип полного равенства лежит и в основе гротескного ритуала нынешних дьяволоманов. Полностью игнорируя моральную, нравственную сторону проблемы, они все сводят к подобию, вернее — антиподобию дьявола богу. На такой игре в перемену полюсов как раз и построены вызвавшие невиданный ажиотаж фильмы, живописующие изуверскую практику сатанинских, колдовских, каннибальских и прочих сект. Порок этих лент не в избранной теме, но в нарочитой схоластической отстраненности от морали, причем необязательно христианской, любой. Зашифрованный в них смысл до ужаса прост. Стоит лишь сменить, как меняют фирму, алтарь — и все, что считалось запретным, отвратительным, позорным, станет дозволенным: убийство, насилие, циничное изымательство, половые извращения — словом, все. 11 пунктов пакта не только оправдывают любой аморальный поступок, но и вменяют его в обязанность, превращают в моральный.

У писателя Уильяма Блэтти, по чьему роману голливудский режиссер Уильям Фридкин поставил нашумевшего «Экзорциста», есть рассказ, в котором группа учеников колледжа приносит в жертву дьяволу своего учителя-девственника. В нем показан, по существу, параллельный мир, живущий по принципу полной перезарядки знаков. В этом дьявольском антимире, внешне совершенно подобном нашему, за каждый жизненный успех нужно непременно расплачиваться злом. Достаточно тонко и ненавязчиво автор дает понять, что общество, которое управляется на основе статей известного нам пакта, не только имеет право на существование, но и ничуть не хуже нынешнего. Это ли не свидетельство полной нравственной деградации? Сатанинский пароксизм вызвал повышенный интерес печати. Французский журнал «Синеревю» опубликовал целую подборку «Во власти дьявола», посвященную «новой волне черной магии и сатанизма». В ней есть весьма симптоматичное высказывание священника Бриана Тейлора, обращенное к прихожанам: «Ваши дети в опасности быть зараженными культом демона. Это так же вредно, как наркотики, и в скором времени станет огромной проблемой. Дети, естественно, природно чуткие к таинственному, окажутся жертвами сил, которые не смогут контролировать».

Я обратил внимание на предостережение по поводу культа демона прежде всего потому, что оно почти дословно перекликается с сегованиями пастора из Рок-Айленда (штат Иллинойс) насчет экзорцизма: «Мода на изгнание дьявола превратилась в эпидемию... подобно наркомании и порнографии».

Казалось бы, стоило прислушаться и сделать определенные выводы, чтобы оградить молодое поколение от страшного наркотического яда. Реакция официальной церкви оказалась, однако, довольно-таки своеобразной. «В наискором времени,— заявил епископ Роберт Моргимер,— необходимо открыть училища, в которых будут обучать людей, могущих изгонять дьявола и злых духов».

Год спустя экзорцист-профессионал аббат Дебурже уже принял участие в телевизионной дискуссии по поводу очередного сатанинского фильма. Это все тот же порочный круг, в котором неразлично слились следствия и причины. Между привлечением дьявола и его изгнанием нет различий.

«Экзорцисты как представители «Черного искусства» становятся распространенным явлением», — бесстрастно констатировала недавно лондонская «Санди телеграф». Активная деятельность сатанинских групп Бирмингема, в частности, вынудила епископа Астонского открыть специальные курсы заклинателей. Епископ Лондона поручил сделать это преподобному Гарри Куперу, шестидесятипятилетнему ректору собора Сент-Джордж в Блумсбери.

Какая поразительная верность традициям! Точно так же поступила лондонская епархия, когда в XVIII веке разразился скандал вокруг клуба «Адский огонь», в котором некие Дешвуд и Уилкис устраивали для приятелей богохульные оргии.

Восстановим поэтому прерванную связь времен, чтобы сказать несколько слов об аббате Булле. Впервые он привлек к себе внимание парижан в 1824 году, когда вместе со своей любовницей Аделью Шевалье основал «Общество возмещения душ», где практиковал экзорцизм крайне странного и непристойного вида. Для привлечения сатаны святой отец обрызгивал участников церемонии человеческими нечистотами, перепутав, по-видимому, обряд изгнаний с «черной мессой».

Да и не мудрено перепутать, потому что принципиальной разницы между ними не существует: и то и другое — дьяволопоклонство. Не приходится удивляться поэтому, что в январе 1860 года Булле отслужил и «черную мессу», на которой был принесен в жертву ребенок. Получив отпущение грехов в Ватикане, он в 1875 году возглавил группу, отколовшуюся от неогностической секты, и основал сатанинскую церковь Кармель. После смерти экзорциста-дьяволопоклонника она стала открыто называться храмом сатаны. Обряды храма включали в себя страшные церемонии, сопровождавшиеся не менее страшной руганью. Дьявольские колдуны приносили на алтарь «идола мистического Содомы» истекающих кровью козлов и баранов, которые незадолго до этого были объектами разнузданной оргии, где сектанты перевоплощались в суккубов, инкубов и прочих сексуальных демонов средневековья.

Английский мистик Алистер Кроули, прозванный зверем Апокалипсиса и стоявший у колыбели современного дьяволопоклонства, не устал повторять: «Сатана не враг человека. Он Жизнь, Любовь, Свет». Так мог говорить о Христе благонамеренный баптистский проповедник. Ныне совершенно легальные объединения сатанистов существуют во многих городах США, Англии, Франции и Италии, хотя не им принадлежит партия первой скрипки в разноголосом и пестром оркестре лож, группировок и сект самого разнообразного толка. Основные центры «Церкви бога Сатаны» — так звучит официальное название — расположены в Манчестере и Сан-Франциско. Примечательно, что в ритуальных отправлениях используются все атрибуты христианства, равно как и расхожие лозунги о милосердии и любви.

Так называемые ортодоксальные дьяволисты, ищущие острых ощущений и особых «психологических наслаждений», продолжают придерживаться регламентаций VI степени ритуалов Кроули, подробно описанных в книге Джона Симондса «Великий зверь». Кроули первым присоединил к священным символам разных эпох переосмысленные фашистами индоарийские и римские эмблемы. Излюбленной «кровлианской иконой» стало изображение креста с распятым на нем отвратительным змеем.

Теория и практика сатанистов остались неизменными. И если вместо живых младенцев они пользуются куклами, то это не значит, что с ритуальными убийствами покончено. Случаи, о которых говорилось вначале, свидетельствуют об обратном. Кстати, заменяющие детей фигурки поставляет современный «черный патер» Сесил Вильямсон. По просьбе оккультного журнала он продемонстрировал все стадии своей работы: добычу воды и земли с кладбища, вдувание духа через трубочку для коктейля, крещение в купели, намагничивание, сожжение и т. д.

Щеголяя нацистскими эмблемами «агрессии и силы», сатанисты наряду с восхвалением дьявола повсюду где только могут сеют плевелы классовой и расовой ненависти. Как это было уже множество раз в далеком и близком прошлом, вокруг Ла Вей — уголовно-мистическая легенда. Его тщатся изобразить новоявленным пророком, сверхчеловеком, воплощенным демоном. Когда в автомобильной аварии погибла вместе с любовником гордость сатанинской церкви эстрадная дива Джин Мэнсфилд, кто-то распустил слух, что дьявольский жрец предостерег ее об этом еще за неделю. Возможно, это и так, хотя репортеры, поспешившие раздуть столь куцую сенсацию, не исключили и личной причастности фюрера сатанистов, которого красотка Джин покинула ради Сэма Броди. Считающий себя, как и всякий фашист, суперменом, Ла Вей, безусловно, был уязвлен этой изменой. Авария дала ему прекрасный повод для рекламных дефиниций о вине и воздаянии.

В прошлом полицейский фотограф, а затем укротитель львов, он «обогастил» деятельность сатанистов своим знанием и жизни и смерти. Не только с рядовыми сектантами, но и с членами «совета девяти», в котором первенствует, Ла Вей ведет себя, как на арене с хищниками, явно предпочитая магическому мечу плетку и бич. Храм, в котором, как в криминалистическом музее, расставлены витрины с высушен-

ными мумиями и всякого рода костями, декорирован в черный и красный цвета. Примерно так были обставлены «адские трюки» в шапито 30—40-х годов.

Дочь Ла Вея Карла тоже пошла по стезе отца. Эффектные кладбищенские номера и фотогеничное личико быстро выдвинули ее в первые ряды жриц ада. Всякая власть, опирающаяся на иерархию, стремится стать наследственной, особенно власть преступная.

Просматривая журналы, могущие иметь хоть какое-то отношение к оккультизму, я натолкнулся на объявление:

«Праздник князя Ямм

Я демоница, я колдунья, я сестра Лилит, первой волшебницы, и чародейка Цирцеи. Я кузина рейнской Лорелеи. Я волшебная женщина всех спектральных сил. Дочь Эльфона и Эльвиры, моей матери, которая передала мне секреты еще в колыбельке. Я также просто женщина. Я могу любить, ненавидеть, плакать и смеяться.

И на эту вашу землю я пришла с любовью и посвятила себя борьбе с силами некроманта дьявола и черной магии волшебниц, которые приходят время от времени из уголков космоса и астральных миров и окружают всех нас. От страшной опасности, которая угрожает нам от этих планет и этих людей...»

Попробуйте угадать, кто она, эта кудесница. Великая жрица новой секты? Окончательно сбрендившая тарелкоманка? Увы, нет. Это всего лишь звезда стриптиза.

Но какова сила моды! Просто на красивое тело уже не заговешь.

Во время демонстрации очередной документальной ленты, запечатлевшей церемонию колдовского посвящения, я записал слова ритуальной песни:

Эко, эко Азарак, эко, эко Зомелак
 Бачабе лача бачабе
 Ламак как ачабаче...

Многие заклинания восходят к древнему Вавилону. Вполне возможно, что и эта бессмыслица, доводящая до экстаза пляшущих вокруг костра нудистов, поминает каких-то халдейских бесов.

Один из последних опросов, проведенных в странах Западной Европы Институтом общественного мнения Гэллапа, показал, что в существование дьявола и ада верят от 17 и, соответственно, 22 процентов опрошенных (Франция), до 38 и 36 (Норвегия). Греция, где на предложенные вопросы утвердительно ответило большинство (67 и 62 процентов), составляет исключение. Несмотря на то, что акции на адской бирже котируются не слишком высоко, массив, откуда черпают inferнальную мощь всевозможные маги и колдуны, к сожалению, достаточно представительен. Миллионы людей все еще отдают дань кошмарным страхам и вымыслам.

Иллюзии здесь были бы неуместны. Демонов, как и богов, питает вера, и пока существует спрос, будет существовать и предложение. «Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы!» — с горечью признал булгаковский Мастер.

Именно этим пользуются обскуранты и человеконенавистники всех мастей. Создавая полную бесперспективность «черного бунта», они обращают свое бешенство на науку и искусство, без которых немислимо познание объективного мира.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. БОЧАРОВ



В ПОЛЬЗУ ГЛУБИНЫ

Заметки о художественной правде

Сколько существует советская литература, столько делятся в ней дискуссии о правде — правде изображения советской действительности, правде изображения советского человека. Уже на нашей памяти вскипали страстные дискуссии о правде факта и правде эпохи, окопной правде и правде армейского НП, полноте правды и главной правде, правде быта и правде бытия.

Спор о художественной правде идет и в академических монографиях, и в критических статьях, и в писательских выступлениях, и, самое главное, в собственно художественном творчестве. Накал и длительность полемики легко объяснимы: и проблема необычайно остра, и содержание самого понятия многосложно, и наши представления о его объеме и составных частях исторически меняются.

Да вот и в нынешних спорах о методе социалистического реализма как исторически открытой эстетической системе правдивого изображения действительности все постепенно сфокусировалось на словах «правдивое изображение». Как трактовать этот фактически единственный ограничительный признак открытой системы?

Дело в том, что известная формула Д. Маркова зафиксировала не просто историческую изменчивость эстетических форм, но прежде всего историческую изменчивость форм правдивого изображения.

Оценивая произведения искусства, невозможно отрешаться от того, что в данное время, в данном жизненном и культурном контексте воспринимается как правдивое и какие формы художественной условности воспринимаются как «формы самой жизни», а какие ощущаются как условные, метафорические, не входящие в круг «естественных» представлений.

Важнейший принцип диалектики — принцип историчности — предполагает не только исторически-конкретное содержание изображенного, но и исторически меняющиеся принципы изображения. Искусство представляет не мир как таковой, а мир «превращенный», мир, который преобразован опытом, мировоззрением, фантазией художника, а ведь и опыт, и мировоззрение, и фантазия тесно связаны с культурой данного общества в данную эпоху. Художественная правда исторически конкретна и, стало быть, исторически изменчива, ибо история и есть не что иное, как движение.

Такого рода изменчивость, историческое движение художественной правды происходит и сегодня, испытывая непосредственное воздействие общественного сознания и в свою очередь воздействуя на него.

1

Но сначала о самой формуле «правдивое изображение», чтобы стала яснее причина дискуссионных баталий вокруг нее.

Сейчас можно сказать, что мы преодолели внешне заманчивое, но глубоко несостоятельное утверждение, будто искусство «отражает жизненную правду», «воссоздает правду жизни в художественных образах». И теоретики и практики сознают, что художественная правда не есть то же самое, что жизненная правда, и не сводится к отражению ее в образах.

Ведь понятие жизненная правда предполагает некую сложившуюся концепцию правды, выжимку правды: слово «жизненная» является в этом случае лишь определением к слову «правда», и выходит, что искусству надлежит воссоздавать концепцию правды, тогда как его назначение — правдиво воссоздавать жизнь. И это

не мелочная игра в слова, а насущная потребность в точном истолковании формулы, которая в силу своей привычности стала казаться непререкаемой. Верность искусства жизни совсем не то, что воссоздание некой эманации жизненной правды, заранее известной писателю. Жизненные закономерности служат критерием художественной правды, ограждая ее от произвольных интерпретаций, но это нисколько не отвергает того факта, что искусство является специфической формой познания действительности, формой, в которой столь велика роль авторской концепции, авторской позиции. Слова Ленина о том, что «искусство не требует призвания его произведений за действительность», дают единственно правильный ориентир.

Подмена понятия художественная правда понятием отражение жизненной правды приводила подчас к немалой путанице.

Сколько спорили о правде НП и окопной правде, а выяснилось, что нет никаких надежных разграничений, годных априорно на все случаи. И впрямь, почему «Судьба человека» или «Пядь земли» — не окопная правда, хотя речь идет о предельно локализованных судьбах и участках фронта? А трилогия В. Соколова «Вторжение», «Крушение», «Избавление», охватившая «всю войну», производит впечатление художественной узости? И почему И. Стаднюк в «Воине», А. Чаковский в «Блокаде», Г. Бакланов в «Июле 41 года», О. Смирнов в «Июне» сосредоточили внимание на боях первого лета войны, хотя многие литераторы безапелляционно и внешне логично возглашали, что правда войны заключена в наших победных сражениях 1943—1945 годов, а не в трагических оборонительных боях первых месяцев, и оттого военной прозе якобы следует незамедлительно переместить свое внимание на заключительный этап войны?

И это достаточно выразительный пример того, что суть художественной правдивости не в некоей заранее определенной формуле жизненной правды — «правды войны», «правды коллективизации», «правды НТР», — а в ракурсе освещения событий, жанровых возможностях, историко-философской концепции произведения и многом ином, из чего складывается позиция художника.

Каждый честный писатель стремится к правде, но поскольку искусство воспроизводит жизнь в художественно освоенном, художественно преображенном мире, то в облике такого преображенного мира непременно сказывается индивидуальность писателя, его понимание правдивости изображен-

ных картин и художественной сверхзадачи их создания.

В «Философских тетрадах» Ленин подчеркивал, что «снятие слежка» с действительности «не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, в к л ю ч а ю щ и й в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, не осознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию...»¹. Увиденное в жизни — толчок для превращения, а не предмет мертвого зеркального отображения!

Платон Каратаев фальшив с точки зрения жизненной правды образа русского крестьянина или образа «Дубины народной войны», но он воплощает авторскую концепцию фатализма и в этом смысле совершенен с точки зрения художественной правды данного произведения. Скажем так: без Платона Каратаева не была бы полна эпопея, но Платон Каратаев необязательно должен быть крестьянином, да и не существует Каратаев обособленно, как вырванная из контекста цитата. В той же мере «Мертвые души» — правдивое изображение жизни, а не воссоздание жизненной правды: в первой книге Гоголь скомпоновал картины жизни на один манер, во второй — иначе: его воля определяла характер художественной правдивости.

Воспроизведение реальной жизни для искусства вообще не самоцель. Оно служит средством воплощения определенных художественных задач, которые невозможно решить вне правдивого изображения жизни.

Итак, говоря о правдивом изображении, мы ведем речь о художественной правде, о гармонии, пропорциях как внутри изображенной картины, так и в ее связях с более общими картинами. Эта гармония непременно соотносится с правдой жизни, но одно дело соотносить изображенную картину с общими жизненными закономерностями, явлениями, фактами, и другое — отображать заранее определенную и выверенную жизненную правду. Действительность настолько многолика, так пронизана взаимопроникающими токами, что формулы, пытающиеся определить жизненную правду, теряют смысл.

Художественная правда — то, что постигается из произведения, а не то, что внелитературным путем определяется как непреломленная данность.

Романтизм тоже обладает своей художественной правдой — в явях, чем реалисти-

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 330.

ческое правдоподобие, способах художественного освоения действительности. Свои законы художественной правды и, следовательно, свои принципы сопоставления с реальным ходом жизни имеют экспрессионизм, символизм и т. д. И эту особенность художественной правды необходимо учитывать. Ведь иногда бывает, что реальное богатство **позитивных** процессов в нашей действительности оборачивается в критике канонизацией одного лишь прямого перенесения фактов жизни в литературу. Мы начинаем утверждать как заклинание: вот они, герои, рядом с нами, ничего не надо выдумывать; вот они, героические свершения, налицо, ничего не надо выдумывать; вот они, ростки будущего, зримо видны, ничего не надо выдумывать... Так привыкли к этому рядом, налицо, зримо, что, случается, уже не хотим видеть никакие иные возможности искусства, настороженно относимся к художественной условности, художественному обобщению, художественной фантазии.

Наиболее емко определил художественную правду Пушкин: истина страстей в предполагаемых обстоятельствах. А истина страстей — это истина характеров и конфликтов, ибо именно через конфликт черты характера выявляют себя как страсти, как побуждение к действию, как объяснение действия.

В дидактико-рассудочной литературе характер представляет собой сумму состояний или страстей, в подлинном же реализме черты характера обнаруживают себя в страстях: вместо статичного накопления здесь динамичное выявление. Оттого в понятие «художественная правда» и входит художественный конфликт: он реализует художественную правду, ибо выявляет взаимодействующие характеры и обстоятельства, раскрывает мотивы поступков, воплощает движение мысли и движение чувств. И конечно же, художественный конфликт не является «зеркально-мертвым» отражением конфликта в жизни. А художественно преобразованный мир и есть не что иное, как пушкинские предполагаемые обстоятельства.

Вот почему в определении метода социалистического реализма и говорится о правдивом изображении жизни.

В этой формуле правдивое относится к художественному итогу, к концепции жизни, оценке тех или иных ее сторон, закономерностей, фактов. Мера соответствия этого итога объективным связям и законам действительности является мерой художественной правдивости, художественно прав-

дивого изображения жизни. Оттого-то марксистское мировоззрение создает более надежные условия для совпадения субъективного и объективного, для успешного преодоления того художественного противоречия, которое присуще в той или иной степени каждому произведению: воззрения, замысел автора и объективно воспроизводимая картина.

Изображение — это не отражение, не констатация некоей жизненной правды, а художественное пересоздание жизненных картин и впечатлений, в том числе и во внешне неправдоподобных (сказочных, мифологических, фантастических) формах. В нем, выражаясь научным языком, сливаются аспект отражения и аспект выражения, правда жизненного факта и правда художественного вымысла. Этим и объясняется возможность разных художественных интерпретаций сходного или близкого жизненного материала, будь то деревенский быт, война или любовный треугольник.

Нельзя сказать, что художник постигает правду жизни и выражает ее в художественных образах — он мыслит образами, и уже результат этого мышления соотносится с правдой жизни.

Правдоподобие — это лишь внешнее подобие правды; все отражено достоверно: до малейших деталей, все подсмотрено в жизни, но не содержит той органичной значительной художественной идеи, которая способна дать внутреннее движение собранному из подлинных осколков миру. В сущности, это и есть мелкотемье: не мелкая тема сама по себе, а мелкая мысль, неспособная возвысить жизненную тему до уровня художественной правды. Мелкотемьем может страдать не только бытовая проза, которую мы привычно и подчас бездумно наделяем этим эпитетом, а и проза деревенская, производственная, военная — в тех случаях, когда незначительно то эстетическое содержание и скудоумно то жизненное знание, которое заключает в себе роман, рассказ, повесть.

Талант тем сильнее, чем глубже, развитее, самобытнее его способность изображать жизнь, а уже объективная глубина и художественное совершенство созданной им картины определяют его место в общественной жизни и истории искусства. Причем именно глубина изображенного, а не просто достоверность, поскольку правдивое изображение включает авторскую концепцию мира. В этом отгадка равноправия эпического и лирического изображения жизни; сосредоточенное на судьбе одного человека произведение может пробуждать больше мыс-

лей и чувств, чем иная эпическая панорама. Да и вообще глубина и широта — категории разные не только в пространстве, но и в искусстве. Конечно, глубокое и широкое лучше, чем мелкое и узкое, а вот что лучше: широкое, но мелкое или глубокое, но узкое? Ответ на этот каверзный вопрос в каждом случае конкретен. Обычно в пользу глубины.

Лирическая деревенская проза не избирает своим объектом жизненную правду. Это были пластичные — «в формах самой жизни», — воображенные писателем картины: как, по мнению автора, вели бы себя деревенские жители в избранной автором ситуации — смерть матери, возвращение дезертира, затопление острова. И это вполне соответствует пушкинской истине страстей в предполагаемых обстоятельствах. Или, как говорил В. Распутин, в его героинях запечатлено его предположение о том, какой была, какой должна быть русская крестьянка.

В историческом движении этой прозы наблюдался любопытный процесс: постепенно происходило критическое и художественное переосмысление одного и того же жизненного и литературного материала. Сначала художественная мысль была вполне конкретна и даже полемически обижена: деревня и город, трудный крестьянский и «легкий» городской хлеб. Потом зазвучала новая осеняющая идея: запечатлеть. В становлении этой идеи тоже были свои этапы: сначала говорилось о желании лишь запечатлеть уходящий в прошлое нравственно-бытовой уклад («лад») русской деревни и только потом зашла речь о грандиозной задаче запечатлеть крестьянскую Атлантиду, зазастываемую волнами энтэзерного половодья. Еще позднее, далеко не сразу, пришло утверждение онтологичности. В деревенской прозе стали уже видеть свою философскую систему, в центре которой стоит натурфилософская идея гармонии и круговращения, заданного природными циклами.

Такая эволюция критической интерпретации деревенской прозы произошла на протяжении нескольких лет даже в работах отдельных критиков. В. Ковский справедливо подметил, что Ф. Кузнецов, неоднократно пользовавшийся термином «деревенская» проза и даже высказавший предположение, что он первым из критиков его употребил, затем усмотрел в нем «явный тормоз на пути правильного понимания и оценки этого живого, зеленого, мощного направления в отечественной словесности... проза эта не столько «деревенская», сколько по

сути своей нравственно-философская, а по жанровому своеобразию — лирико-эпическая».

Сходную эволюцию претерпели воззрения и Е. Стариковой — от статьи «Социологический аспект современной „Деревенской прозы“» (1972) к статье «Жить и помнить» (1977).

Впрочем, подобное происходит нередко с интерпретацией хорошей литературы: чем дальше отходим мы от времени создания произведения, тем обобщеннее становится наш взгляд и тем полнее мы постигаем его художественную правду.

Но литературная ситуация, связанная с деревенской прозой, отразилась не только в изменившейся критической интерпретации отдельных произведений; отчетливо проявилось это движение «от бытового уклада — к онтологии» и в самой прозе. Сошлюсь хотя бы на опубликованный в 1982 году цикл рассказов В. Распутина — событие в литературной жизни заметное, учитывая место Распутина в современной прозе и шестилетний интервал между «Прощанием с Матерой» и этим циклом.

Все четыре рассказа пронизаны напряженным поиском вечных духовных ценностей, поэтизацией природы, в которой человек только ничтожно малая частица, желанием ощутить «что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я ощутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня».

В такого рода «онтологической» тональности звучат, к примеру, в рассказе «Что передать вороне?» размышления о том, что в жизни подчас место неродившихся занимают другие люди, «подменные», призванные «из соседнего порядка». «Подменный человек» живет внешне благополучно — и «никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого». Можно ли было представить приход писателя к идее «подменных людей», читая «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни»?!

А в связи с рассказом «Наташа» невольно возникает некий общий вопрос: почему и отчего стали летать герои?

Странная на первый взгляд ситуация. Герои деревенской прозы, столь прочно привязанные в былые годы к земле, к своей малой родине, к тончайше воссозданным запахам, цвету, звукам леса, поля, подворья, вдруг начали взлетать.

Вполне естественно было парить героям символично-метафорической прозы — к примеру, героям повестей А. Кима. По поводу того, что у него в прозе появляются «летающие люди» — Гурин из «Утопии Гурина», юноша из «Нефритового пояса», — А. Ким обстоятельно разъяснил: «Летать — значит освобождаться от унылости, от плана предрассудков, которые заставляют думать, что человек только таков, каков он есть. Свободное парение — выход к своим высшим возможностям... Ведь не зря человеку снится, что он летает. Каждый из нас должен верить для себя в возможность полета. И я верю». Объяснение вполне в духе того «ирреального реализма», которому привержен А. Ким.

А то еще летал альтист Данилов у В. Орлова. Или с успехом демонстрировался фильм по сценарию В. Мережко «Полеты во сне и наяву». Или в психологическом романе М. Слудкиса «Поездка в горы и обратно» кумир героини неожиданно прилетает из Сибири в Литву и потом столь же таинственно исчезает якобы в летающей тарелке, ведомой посланцами с Ориона. А Вознесенский счел даже нужным иронично обронить в «О»: «Меня удивляет, как далеки от действительности некоторые наши романисты, у которых последнее время все героини стали летать. Их ведьмы летают вверх головой, опустив центр тяжести и другие дела, будто на них еще действует закон притяжения». Не знаю, какую прозу — надеюсь, не булгаковскую — имеет он в виду, но важно: полеты как художественный прием замечены. И добро бы его применение осталось привилегией А. Кима и В. Орлова. А то ведь в июльской за 1982 год книжке «Нашего современника», последовательно утверждавшего традиции «жизнеподобной» пластичной бытовой прозы, было опубликовано сразу два рассказа, где речь идет о полетах — во сне и наяву.

Автор нашумевшего острого «Холоушиного подворья» Б. Екимов опубликовал рассказ «Мальчик на велосипеде» — о мальчике, который в свои десять — одиннадцать лет не только ведет хозяйство, оставшись за старшего с сестренкой трех лет, но еще и мечтает так разогнаться на велосипеде, чтобы взлететь с откоса. Он изготавливает самодельные крылья, разгоняется — и «два белых крыла, такие ясные на синем, утреннем, небесном полотне, вдруг раскрылись, словно вспыхнули, за спиной мальчика, и он взлетел. Хурдин зажмурился и почувал, как сердце его замерло в сладком обмороке, а сам он уже не сидел на твердой земле, а тоже летел над зеленым пшеничным полем,

над Ярыженской горою, над Ильменем. А земля медленно и косо разворачивалась под ним зеленой чашею и уплывала вниз». Так романтично, со сладким обмороком заканчивается, вырываясь на «путь реальности», рассказ на весьма банальную тему — о поездке горожанина Хурдина в родную деревню. Б. Екимову уже оказалось мало погрузить ребенка в чистый деревенский быт — потребовалось в полет отправить!

Но еще, может быть, удивительнее, что о полете написал В. Распутин.

Рассказ «Наташа» — о милой, скромной, робкой медсестре, на которую и большие и персонал смотрели «как на человека немножко не от мира сего, на одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем поживательстве и пожинательстве...»

И в какой-то миг находящемуся на больничной постели рассказчику померещилось, что он эту Наташу уже видел раньше, — и возникает то ли воспоминание о сне, то ли греза, то ли странное соединение сна с явью. На большой поляне на горе («...она, эта поляна, существует, и видеть ее не составляет труда», — добавляет в скобках рассказчик) внезапно возникает девушка и зовет его в полет; они взлетают с этой горы и парят над Ангарой — «на той пограничной высоте, докуда достает нагретый за день, настоящий воздух, на котором можно лежать почти не шевелись», живописует не решающийся окончательно распротиться с реальностью автор. А когда после восхитительного полета они приземляются и девушка уходит, пообещав очарованному воздухоплавателю возвратиться, рассказчик смотрит ей вслед — «...и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски».

Так и этот герой в полете испытывает «истинную меру» — только не меру мечты и восторга, как мальчик у Б. Екимова, а меру тревоги и печали.

Вспомним, что в повести болгарского писателя П. Вежинова «Барьер» девушка Доротея была наделена чудесной способностью летать, парить, а увязший в «поживательстве и пожинательстве» архитектор был лишен такой способности, не верил в нее и лишь потом сумел-таки — во сне или наяву — испытать сладость парения с Доротеей. Так что тенденция к полетам во сне

и наяву проскальзывает не только в нашей прозе.

И не сразу решишь, чего тут больше: нынешней моды на всякого рода паранормальное, или литературной увлеченности снами (редкое произведение нынче обходится без снов героя, позволяющих сместить реальность или намекнуть на что-то сверхреальное), или серьезных поисков общих истин и общечеловеческих чувств, не отягощенных, не замутненных земной суетой — своего рода шиллеризация, где на место чистых страстей вышла свобода чистой рефлексии.

И уже этот пример показывает, как может измениться за короткое время наше представление о художественной правде и о том, какой правды мы зыскуем, какую правду хотим видеть.

2

Одну из характернейших сегодняшних тенденций можно обозначить как интенсивное и ведущееся с разных направлений овладение полифонией правдивого изображения.

Полифония подразумевает не релятивистское множество правд. Это прежде всего равенство объектов изображения, неподвластных категоричному размежеванию на главные и второстепенные без учета авторской позиции. Это, далее, признание правомочности разных способов изображения, выбора разных ракурсов при освещении одних и тех же жизненных процессов, благодаря чему писатель обретает принципиальную возможность направлять на один объект несколько разных по силе лучей, добиваясь стереоскопичности изображения и восприятия. Речь, подчеркиваю, идет о полифонии, которая обоснована жизнью, а не о безбрежности, которая отвергает любые жизненные критерии.

Живая жизнь «слишком разнообразна и многозначна, чтобы входить в нее с единственным решением да еще настаивать на его всеобщности». В данном случае я процитировал А. Битова, но подобное можно услышать едва ли не от всех серьезных прозаиков.

Мы помним недавний успех повестей «нравственного эксперимента», принципиальные завоевания документальной прозы и драматургии 60—70-х годов, торжество речи «точной и нагой». Теперь, несколько охладев к прозе, которая в первую очередь стремится выявить ядро характера, проблемы или ситуации, мы все чаще обращаемся к такой прозе, где лучи, пульсируя о т

ядро, обрисовывают, обозначают все очертания. сколь бы причудливыми и зыбкими они ни были. Или, говоря более определенно, в том соединении типических и индивидуальных черт, которое и составляет художественный характер, все большую роль стало играть выявление неповторимо личного. Проза последнего времени дала нам обилие великолепных характеров и практически не одарила крупными типами. Разве только айтматовский Едигей художественно полномерно ответил на общественную потребность в открытом поданном типе простого человека, обладающего активной жизненной позицией.

Остается несомненным, что сегодняшняя проза тяготеет к индивидуальности характеров, колоритности ситуаций, неординарности проблем. Кто знает, что тому причиной — обострившееся ли внимание к неповторимости каждого человека, ибо уже не только критики, но и философы и социологи согласно фиксируют факт «резко возрастающей автономизации личности и образа жизни людей»? быстрая ли смена вкусов, пристрастий, запросов, кумиров как характерная черта современной жизни? коллективный ли характер любой трудовой деятельности, стимулирующий развитие многих индивидуальностей, но пригасивший роль резко выдающихся лидеров? а может, некоторая художественная растерянность перед громадой социальных проблем и малыми возможностями одного человека? или иные, не столь броские, подспудные движения? Но факт остается фактом: налицо обилие характеров, примечательных для современности, и скудость типов, олицетворяющих время.

Очень заманчиво, хотя я понимаю, насколько рискованно, высказать мысль о том, что обобщенно-нарицательные типы остались в большей мере достоянием XIX века с его верой в классификацию, упорядоченность, социальную детерминированность и возможность исчерпать человека одной ведущей чертой. Типический образ вбирает главное, определяющее, но, будучи правдой о социальной личности, это все-таки еще не вся правда о человеческой индивидуальности.

Отнюдь не предлагая универсального объяснения, полагаю возможным видеть в нашей прозе последнего времени значительно возросший уровень относительности очертаний при несомненной незыблемости опорных, ядерных сил. Сошлюсь хотя бы на фигуры Рамзина и Васильева в «Выборе», По-

¹ В. Толстых, «Космос — в человеке!» («Литературная газета» от 20 июля 1983 года.)

ливанова в «Картине», Ильи Константиновича в «Меньшем среди братьев» Г. Бакланова.

Стремясь теоретически осмыслить новые возможности реалистического изображения, А. Гулыга ввел понятие типологического образа, характерного для интеллектуализованно-философической прозы. А В. Маканин в «Голосах» обосновал понятие *конфузии* ситуации, ссылаясь и на опыт Гоголя (из «Шинели» он взял слово «skonфузился»), и на «Скверный анекдот», и на опыт русской литературы 20-х годов, где возник термин «остранение» с тем же примерно значением: остранить бытовую ситуацию, сдвинуть человека из системы привычных определенностей.

В конфузную ситуацию обычно вовлекается не крушной тип, а, так сказать, обыкновенный характер. При изображении персонажа, в котором сфокусированы одна или несколько определенных черт, уверяет В. Маканин, «вместо конфуза была бы очередная типологическая забавность»: Ноздрев действовал бы как Ноздрев, Хлестаков как Хлестаков. А характеры помогают выскользнуть из системы типажей к системе обыкновенного человека», который начинает вести себя в конфузной ситуации *непредставимо*.

Таким образом, система обыкновенного человека для Маканина — это не противопоставление «маленького человека» крупным личностям, а попытка схватить многосложность живого характера в отличие от сфокусированности литературного типа.

И вот в последнее время заметно возрос интерес к тому, что можно назвать непредсказуемостью психологической реакции, поступка, жеста: если в характере нет типической доминанты, нет ведущей черты, а есть сложное переплетение нитей, то предсказать что-либо трудно. Причем не всегда это связано только со сложностью психологического мира персонажей: сама громада действительности подчас непомерно давит на личность, двигаясь вразрез с ее ожиданиями и расчетами, и тем самым усиливает непредсказуемость.

Прибегая к общепринятым терминам, можно сказать, что литература на своем пути от шиллеризации к шекспиризации стала все больше ориентироваться на многозначность персонажей, полимотивность их поведения. Типологические возможности изображения достаточно широки — и та же шиллеризация является вполне равноправным способом изображения, — но все-таки именно сейчас упрочился уже не азартно отставившийся

многомерный герой, в котором сложно переплелись социальные, нравственные, психологические, физиологические качества, свойства, стремления.

Когда Ю. Трифонов запальчиво писал лет десять назад о том, что человек не частица с положительным или отрицательным зарядом, а многожильный провод, то могло показаться, будто он ломится в открытую дверь. Но для него это было тогда полемическим уяснением своих позиций в повестях городского цикла после «Утоления жажды». И вот появился не до конца разгаданный Антипов в его романе «Время и место». Некоторые даже полагали, что роман не был закончен, ибо посмертная публикация дала обманчивый повод думать о незавершенности. Но это — незавершенность художественная, та, которая и делает характер многозвучным, бездонным, к чему еще не успели привыкнуть многие критики и читатели, когда сталкиваются не с классикой, широкий спектр интерпретации которой уже неоспорим, а с изображением современной жизни.

Никого сегодня не удивляет накал споров, которые и по сию пору взвихриваются вокруг «загадки Мелехова»: в силу чего возникла трагедия Григория, как взаимосвязаны субъективные и объективные причины этой трагедии, каково соотношение самих субъективных причин? Любой однозначный ответ — социологичный, психологичный, сюжетный и т. д. — оказывается неудачным.

Но мы еще не оценили в полной мере, какими плодотворными для общего движения общественной мысли оказались споры, вызванные «относительными очертаниями» характеров Чичкова в «Территории», Поливанова и Уварова в «Картине», Зилова в «Утиной охоте»!

А как многозвучны Настена и Андрей Гуськовы у Распутина. Никак не удается нам поместить их в расчерченные одномерные клеточки. Споры об этой повести шли, идут и будут идти, тем более что ситуация, в которой оказалась Настена, имеет и общечеловеческий и остроактуальный смысл, волнует — как проблема — многих прозаиков (сам В. Распутин в «Наташе» снова вернулся к мысли о невольной вине — на этот раз «подменных людей»). Так что Настена не только образ русской женщины, но и образ человека, избывающего вину без вины. И этот многозначный, «бездонный» образ Настены художественно противостоит тем фигурам и производственной и деревенской прозы, где главенствует прямизна характеров (не прямота, ибо прямота — свойство само:о характера, тогда

как прямизна, выпрямление — качество писательского изображения), где все акценты дотошно, а то и риторически откровенно расставлены, где все одномерно и воспринимается как иллюстрация постулатов, а не как самодвижение неповторимых и неисчерпаемых фигур.

Преобладающий сегодня образ — не разъясненный до конца, а дающий простор читательским ассоциациям, читательскому нравственному суду.

Тяготением к «загадочности», художественной недоговоренности было вызвано замеченное критикой общее ослабление «авторитетного стиля» в пользу различных форм несобственно-прямой речи и повествования от имени условного рассказчика: авторское всеведение, авторская бесспорность уступают место скрытой логике духовных исканий, самопознания. И, очевидно, где-то в художественных глубинах с этим связано усиление индивидуализации, характерности.

Та же идея многоаспектности возобладала и в конфликтах современной прозы. Как только критическая мысль стала видеть в художественном конфликте не прямое отображение, а воплощение творчески преобразованных жизненных противоречий, то яснее открылась образная природа конфликта. И в силу этой природы конфликт в прозе последнего времени воспринимается в его смысловой многозначности, получает различное истолкование, по-разному интерпретируется. Все чаще современная проза обращается к открытым финалам, отмеченным неразрешенностью сюжетного конфликта, сохранением тех или иных противоречий, возникновением новых. В этом тоже проявляется и доверие к читателю, и восприятие жизни как процесса, и желание за житейской эмпирикой разглядеть работу общих законов.

О пьесе Гр. Горина «Дом, который построил Свифт» режиссер М. Захаров писал: «Каждый день я по-разному формулирую то, что вышло из-под его, горинского, пера... Оказывается, это и есть самое радостное в нашем искусстве: творение художника дышит... Серьезный драматургический акт, как правило, перерастает одномерность своего сюжетного построения, обретая полифоническую сложность и даже противоречивость. Серьезное явление в искусстве задевает сразу несколько болевых точек, воздействует на нас по многим параметрам...»

Полифоническую сложность, противоречивость, воздействие сразу на несколько болевых точек — вот что ищет в произве-

дении один из видных наших режиссеров. Пожалуй, в данном конкретном случае это скорее желаемое М. Захаровым, чем исполненное Гр. Гориним, но представляет интерес как свидетельство тех запросов, на которые пытается отозваться литература.

Именно поэтому с такой горячностью выступил за амбивалентность Р. Киреев, один из представителей так называемого поколения сорокалетних. Чтобы понять суть амбивалентности в действии, обратимся к его светопольскому циклу.

Станислав Рябов из «Победителя» был благожелательно принят Л. Аннинским как образ современного делового человека, а журналист Виктор Карманов из «Подготовительной тетради» резко развенчан С. Чуприниным. Между тем герои этих двух романов светопольского цикла едины по авторскому подходу к их изображению, и это знаменательно.

Станислав Рябов и Виктор Карманов — и антиподы и близки друг другу своим иронично-высокомерным отношением к окружающим. Станислав внимательным и холодным взором вглядывается в окружающих и замечает у них преимущественно слабости и недостатки. На такую же склонность Виктора Карманова, наметавный «взгляд которого в каждом встречном человеке выхватывает именно червоточинку, гнильцу, слабое место», обратил внимание С. Чупринин.

Весь роман «Победитель» как бы пропитан мысленным спором Станислава с его старшим братом Андреем, художником. Один — деловой человек, воплощение трезвости в прямом и переносном смысле. Другой — творческая натура, непутевый, пьющий, пробавляющийся случайными заработками. Сходное напряженное противостояние, мысленный спор есть и в «Подготовительной тетради», но там повествование ведет как бы близнец Андрея, «непутевый» Виктор Карманов, несостоявшийся писатель, творческая натура. А роль Станислава выполняет «великий Свечкин» (так назвал Виктор свой очерк об этом «деловом человеке»), которого отличают трезвый ум, сухая, твердая воля, настойчивость и самодисциплина.

Герои-повествователи поменялись местами — Рябов уступил слово Карманову, — но остался саморазоблачающий внутренний монолог с откровенной неприязнью к «оппоненту». Вот фраза Карманова: «Подающий надежды тридцатисемилетний детина не может не восприниматься как явный переросток, как оболтус-второгодник в нор-

мальном классе, в то время как тридцатисемилетний же ректор, профессор и доктор наук являет собой образчик несомненного вундеркинда». Вроде иронизирует над собой, оболтусом: но его выдает это не случайное «образчик» вместо образца, — так в «Победителе» Станислав упорно именовал Андрея братцем, а не братом.

Мы знаем, что обычно сильно проигрывают в авторских — и читательских — глазах холодные люди, хотя они и побеждают в битве за свое жизненное устройство: вот и у Р. Киреева один становится ректором университета, другой — генеральным директором швейного объединения. Но проигрывают у Киреева не только они — проигрывают и их антиподы: ни у Карманова, ни у Андрея Рябова нет ни устойчивости, ни жизненной положительности. Такова амбивалентность в действии.

Можно, конечно, предположить, что эта двунаправленная ирония роднит рассказчиков с автором и свидетельствует о его мизантропии. Словно предвидя подобное допущение, С. Чупринин писал: «Еще немного, и у читателя может возникнуть предположение, что это Руслану Кирееву действительность представляется безотрадно-унылой, что это он отказывает нынешнему человеку в каком-либо доверии и сочувствии. И все-таки не станем спешить». И далее доказывает, что автор полагается на читательское чутье и «верно сделал, предоставив такому герою возможность саморазоблачиться, срезаться на испытании исповедью»: не герой противостоит герою, а авторская позиция — самовосхвалению и самооправданию обоих представленных типов поведения.

Мировая литературная традиция разработала многие приемы нарочитого несоответствия взгляда рассказчика и подлинного масштаба явлений и героев. В основном то были рассказчики-простаки вроде доктора Ватсона. Здесь же иной тип рассказчика — рассказчика-ирониста, — и коррекция этого иронического смещения является сложной, но и благодарной задачей и для писателя и для читателя. Против холодной иронии и Станислава Рябова и Виктора Карманова протестует наше здоровое нравственное чувство, привычно измеряющее ценность человека тем, насколько он открыт, душевен, расположен к людям. Ирония киреевских насмешников превращается в свою противоположность и поражает не объект, а субъект излучения. Это и есть основа авторской коррекции.

И опыт Р. Киреева выводит нас к пониманию сравнительно недавно **народившегося**

эстетического явления — образа антигероя.

В критике последних лет не затихают дискуссии на исключительно важную тему — каким быть положительному герою. Дискуссии актуальные, творческие, способствующие выполнению кардинальных задач, поставленных июньским Пленумом ЦК КПСС перед работниками культуры. Но решая эти задачи, важно не упускать из виду то, что происходит с силами зла, силами противодействия чистоте и свету. Как объяснить их существование, чем мотивировать их художественную значимость, какие грехи, пороки, оплошности могут стать объектом художественного разоблачения?

Вот и вошло в писательский и критический обиход слово антигерой — то в кавычках, то без кавычек. Является ли оно определенным термином, имеющим свое содержание, свое наполнение, или же просто заменяет навязшее определение отрицательный персонаж?

Мне представляется, что антигерой не новая разновидность старого определения, а отражение неких глубинных художественных процессов, своеобразная литературная фигура, появление которой связано с рядом факторов — жизненных, нравственных, эстетических.

Прежде всего усложнились сами жизненные критерии.

Как, скажем, оценить карьериста, который взбирается наверх, не пользуясь подсиживаниями, махинациями, угодничеством, а благодаря честному труду, благодаря тому, что и себя не щадит, и хозяйство прочно совершенствует? С одной стороны, он далеко не бескорыстен, с другой — вроде бы действует в интересах производства. Как подступиться к нему, если брать для оценки лишь максималистское или — или: плюс или минус, положительный или отрицательный?

А то еще — Чешков или анти-Чешков? Сколько раз скрещивались критические шпаги вокруг этой дилеммы, неологизм даже в обиход пустили — анти-Чешков. А ведь грань между Чешковым и анти-Чешковым в искусстве зависит и от нашего собственного нравственного кодекса. Руководителям обычно Чешков больше нравится, подчиненным меньше. Но поскольку почти каждый из нас и руководитель и подчиненный, то следует ли удивляться двойственности — или, точнее, неоднозначности — нашего отношения к тому, что многословно по самой своей жизненной сути?

И вот к сложному жизненному герою все энергичнее подбирается литература. Причем подчас авторы — тот же Р. Киреев в «Победителе» и «Подготовительной тетради» — и сами до конца не определили, каков же он, выхваченный ими из жизни характер, как к нему относиться: и осуждать нужно, и слишком много своего, саднящего в нем проглядывает.

Практически литература и критика уже поняли невозможность ограничиться созданием только отрицательных и положительных персонажей, противопоставленных друг другу. Все чаще мы встречаемся в прозе с тем, что «враг» оказывается не вне персонажа, а в нем самом.

Всячески отстаивая право художника изображать полусных героев — могущих служить образцом для подражания или возбуждать гнев, омерзение, — нельзя не видеть и сегодняшнее влечение литературы к характерам сложным, внутренне противоречивым, не поддающимся однозначной оценке.

Овладение многомерностью характеров вполне логично связано с усложнением не только положительных, но и отрицательных персонажей; все чаще возникает перед нами литературный герой, в котором наряду с плохими, отрицательными качествами есть что-то хорошее, привлекательное, что, собственно, и позволяет ему удерживаться на поверхности, а то и завоевывать сердца женщин, начальников, знакомых. И в этом смысле движение к многомерности, многозвучности литературного героя шло не с одной, а с двух сторон, с двух полюсов.

Для познания этической «подоплеки» уместно обратиться к известному всем примеру — Рыбаку из повести В. Быкова «Сотников». Рыбак изображен как антипод, антагонист героя. Но ведь он был хороший партизан и неплохой человек; не возникли бы такая исключительная, требующая чрезмерного напряжения сил ситуация, он так и остался бы уважаемым партизаном и человеком. Да, его не хватило на исключительное, но ведь для повседневной жизни в нем не было заложено ничего «злодейского», генетически и социально predeterminedного, как мы то привыкли различать в Самгине или Грацианском.

«Феномен Рыбака», пожалуй, яснее иных объясняет некоторые процессы, происходящие в современной литературе. Не будь чрезвычайных обстоятельств, Рыбак честно дослужил бы свою партизанскую службу. Но как же быть литературе с теми, кто работает долгие годы вне чрезвычайных

обстоятельств и роковых дилемм или — или? Впрочем промолчать, кстати поддакнуть, немного уступить — это обычно не ведет к прямому и трагическому ущербу. А уж в семейной жизни от этого чаще бывает только польза, здесь умение тактично промолчать или уступить и впрямь оказывается порой лучше, чем непременно конфликтовать.

Не оттого ли так приковала к себе писательское внимание в последние годы проблема нравственного компромисса героев? Компромисса в семье, потому что есть ребенок или уйти некуда, вот и тянут люди семейную лямку. Компромисса на работе, потому что не всякому под силу изо дня в день бороться с придирчивым начальством, а уходить с этой работы вроде незачем: от дома близко, зарплата приличная, квартиру обещали. Компромисса с жизненными обстоятельствами — малооплачиваемая или непрестижная профессия, плохая квартира в дальнем микрорайоне и т. д., — изменить которые нельзя, значит, надо к ним принаравливаться. Можно, конечно, развестись, уволиться с работы, сменить профессию, уехать в другой город, но каждый раз хлопнуть дверью — не выход.

Бежал из столицы от «престижных» родителей в глухой уральский поселок герой повести А. Курчаткина «Гамлет из поселка Уш», — но что принесло ему это, кроме горького осознания, что от себя не уйдешь, не убежишь?! Бескомпромиссен Андреас Яллак из «Капель дождя» П. Куусберга, но его бескомпромиссность привела к разрыву с женой, к тому, что с видной работы он сполз до должности печника в строительной конторе, и, больной, живет в квартире на третьем этаже, куда приходится таскать из подвала дрова и брикеты. Судьба его горда, но и горька...

Вот и появились герои Трифонова, Битова, Маканина, Киреева — герои компромиссов. С разным, конечно, художественным эффектом, но эти авторы обнаружили, насколько подчас сужается зазор между полусными нравственными зарядами, между тем, чем можно поступиться, и тем, в чем никак нельзя уступить, между компромиссом извинительным и компромиссом непростительным.

Примерно так же и с деловитостью: слишком тонка подчас грань, отделяющая ее от делячества.

И эту расстановку персонажей в современной прозе нельзя не учитывать: ею было в известной степени обусловлено появление таких героев, в действиях которых сказывается не только их вина, но и их бе-

да, поскольку далеко не всегда обстоятельства нам подвластны. И читатель не только оценивает поступок героя, но и осознает его причины. Скоропалательными выводами, наспех наклеенными ярлычками-бирочками типа карьеризм, потребительство, мещанство здесь не отделаешься.

Наконец, следует учесть и немаловажный эстетический процесс.

Антигерой мог, вероятно, возникнуть только благодаря упрочению внутреннего монолога. В традиционном «авторитетном стиле» автор неизбежно дает всему происходящему и всем участникам действия оценки со стороны, сверху, с высот своего всеведения. А во внутреннем монологе существует борение двух начал, диспут, полемика, спор двух вполне равноправных, хотя и корректируемых автором голосов.

Вполне правомерно оказалась так органично связанной с внутренним монологом исповедь, которая всегда представляет собой покаяние, причем исповедующийся взывает не только прощения, но и понимания. Перед нами исповедуетя дурной человек, но он старается вызвать, а то и вызывает сочувствие к себе. Не случайно так часто исповедь — в том числе и исповедь антигероя — изложена в форме дневника, традиционно искреннего жанра, в котором автор не лукавит перед собой и другими: на это психологическое доверие к искренности, интимности дневниковых записей и рассчитывает рассказчик-антигерой.

И наверное, главным отличительным признаком такого персонажа является то, что он безусловно лишен авторской симпатии, но получает полное и безраздельное право на высказывание в разной тональности — самодовольной, самооправдательной или самоосуждающей. И от этой тональности, от меры покаяния тоже зависит мера нашей неприязни к нему. Одно дело — персонажи «Карателей» А. Адамовича: как бы они ни самообелялись в своих монологах, какие бы аргументы ни выискивали для самооправдания или самоутешения, мы чувствуем к ним непреодолимое отвращение, неистребимую ненависть.

Но бывают и иные случаи — когда человек, совершивший ошибку, ищет, где и почему он оступился. Да, он не положительный герой, он ошибался, совершал неблагоприятные поступки, но он и не отрицательный, ибо осуждает себя за былую ошибку, за содеянное. Такова Ольга Васильевна в «Другой жизни» Ю. Трифонова. Она, конечно, была не права в единоборстве со своим мужем Сергеем, как бы ни пыталась оправдать себя в горьких ноч-

ных думах после его преждевременной смерти. Но ведь мы не можем уподобить ее тем «железным мальчикам» из института, где работал Сергей, с их деловой и циничной хваткой!

«А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот?.. — размышляет повествователь из «Безумной Евдокии» А. Алексина. — Это, я думаю, еще не стало болезнью, но стало моей бессонницей, неотступностью». Слово «бессонница» здесь помянуто вскользь, а А. Крон вынес его в заглавие своего романа — и не случайно: в этом слове есть ощущение покаяния, самоосуждения; благополучные и самодовольные не страдают бессонницей.

В «Безумной Евдокии» отец осознал, перестрадал свою ошибку, приведшую к трагедии в семье. Мы не хотим быть такими, как он, не хотим совершать его ошибки. Но нам жаль его. А вот «железные мальчики» у Трифонова лишены нашего сочувствия.

Поэтому такой отклик нашли некоторое время назад «маленькие романы» Э. Ветмаа, одна из первых попыток нашей прозы подступиться к образу антигероя. Они названы маленькими романами отчасти потому, что судьба антигероя не нуждается в эпическом фоне, а должна содержать максимально энергичное развитие ситуации, в которой герой, получив право на самовыражение, раскрывается перед читателем в своей истинной сути. Все герои «маленьких романов» преуспевают, но преуспевают благодаря своему предательству или малодушию. Скульптор Свен Вооре («Монумент») получил выгодный заказ, отгеснив в сторону своего друга Айна. Преуспевает поэт Иллиме, но умирает преданный им учитель Каррик («Усталость»). Отстранился от семьи, от друзей в своем животном страхе смерти Яан («Яйца по-китайски»). Остался жив и даже причислен к героям войны Арне в «Реквиеме для губной гармоники», зато погиб его друг Хейки, вступив в схватку с грозившим выдать их хуторянином. И каждый «маленький роман» написан от первого лица, хотя в одном случае это внутренний монолог, в другом — дневник, в третьем — воспоминания, в четвертом — переплетение в рассказе настоящего с мелькающими в памяти картинами прошлого.

Различна тональность самораскрытия героя в каждом случае: спивается, мучаясь от сознания своей вины, Иллиме, самообеляет себя торжествующий Свен, ничего не извлек из своего испытания Яан, кается Арне, — и оттого по-разному мы к ним относимся. Но даже Свец, преуспев в жиз-

ненной борьбе, мучается, ощущая свою неполноценность, неся в себе неизбежную кару. Таким образом, не внешняя сила карает героя, а его собственное понимание того, что он нарушил общественный нравственный кодекс. Это понимание и составляет эффект эстетического воздействия антигероя: он предостерегает своим опытом. Переживая его муки, следя за его покаянием или самооправданием, читатель утверждается в необходимости соблюдать этот кодекс.

Разумеется, очень трудно разделить в исповеди, где перед нами лишь «грешен человек», а где человек-грешник. Это требует определенной читательской культуры и развитого нравственного самосознания.

Так что появление такого типа героев обусловлено и окрепшей в последнее время способностью литературы изображать сложного, многомерного героя, и доверием к развитому нравственному и эстетическому чувству читателя. Как часто — и охотно — упрекают критики прозаиков за «непроясненность позиции», хотя авторы опираются на развитый нравственный кодекс, не требующий педантичных разъяснений, разжевывания. Ведь разбираемся мы самостоятельно, когда сталкиваемся с подобными ситуациями в жизни, — зачем же требовать указующего перста в литературе?

Итак, почему все-таки не отрицательный персонаж, а антигерой? Он герой потому, что находится в центре повествования, ведет повествование, а «анти» потому, что не пользуется авторской симпатией, находится в разладе с авторским нравственным кодексом. И этим он принципиально отличается от персонажей растерянных, ноющих, не находящихся своего места в жизни: те бывают овеяны авторским пониманием и сочувствием, этот отмечен авторским неприятием.

В таком художническом анализе особенно велика роль мельчайших деталей поведения и психологических побуждений героев — того, что обнаруживается, условно говоря, лишь с помощью микроскопа. Недаром так часто в критических статьях стал появляться этот термин, характеризующий способ видения мира: микроскоп. И. Дедков попробовал скомпрометировать его, поименовав пренебрежительно мелко-скопом, но остается — для меня, во всяком случае, — очевидным, что тончайший психологический анализ можно именовать образно микроскопом с таким же успехом, как контрастно-обобщенное романтическое видение телескопическим зрением.

Конечно, нет никакой надобности непременно расписывать всех героев по жестким дробным амплуа, но природу упрочившегося в нашей литературе ракурса изображения осознать следует: он свидетельствует о новых аспектах художественной правды, постигающей и отражающей реальные противоречия действительности.

3

После того, что говорилось выше о характере героев современной прозы, уже как естественное и закономерное воспринимается еще одно наблюдение: строговеряя жизненную основу, жизненную достоверность изображенных картин, наша проза ведет поиски глубинной духовной правды — той, что залегает под сюжетом, той, которую нужно добывать самому читателю (разумеется, вроде как самому, ибо писатель наносит необходимые блики).

Не случайно Г. Белая со свойственной ей чуткостью к стилевым процессам в современной прозе обратилась к предложенным еще в 30-е годы И. Виноградовым понятиям темы внешней и темы внутренней. Такое разграничение имеет целью обозначить столь необходимое для познания художественной ткани разноречие между избранным материалом и писательской концепцией бытия и в то же время не упустить их слитности, единства, взаимопереходов и способов взаимоосуществления.

Можно скептически молвить, что понятия внешней и внутренней тем произведения перекрываются привычным термином «тема и идея», а понятие «внутренняя тема» равнозначно введенному еще Белинским понятию «тафос», но само толкование внешней и внутренней тем как двух ипостасей одной категории, а не двух разных самостоятельных категорий, само стремление оперировать единой системой категорий весьма симптоматично. Ведь только недавно было зафиксировано и осмыслено критикой бурное развитие параболического повествования, в котором наглядно и вызывающе предстала возможность двойного прочтения одного текста. А теперь Г. Белая распространила эту возможность на обычное реалистическое (и больше того — бытовое) повествование, где подобная двухслойность нелегко создается и не сразу воспринимается. Переключением писательского и читательского внимания от реалий быта к категориям бытия осуществляется труднее, чем переход от символа к обобщению.

Писательское стремление создать все более глубинную правду — ту, что и состав-

ляет внутреннюю тему, — побуждено совокупностью многих причин.

Возрос интерес к концепции мира и к концепции личности, соответственно усилился интерес к таким глобальным общечеловеческим вопросам, как ответственность личности перед обществом, власть человека над техникой и техники над человеком, ориентация корабля современности в потоке истории... Встав перед человечеством, такого рода вопросы, естественно, встали и перед мировой литературой.

Все это придало повествовательной ткани особое напряжение.

Не оттого ли и стал так популярен в последние годы Достоевский? При всем том, что крупные художники прошлого тоже напряженно и мучительно искали ответы на общепсихологические вопросы, именно проза Достоевского дала основание для термина «идеологический роман», а ведь идеология, идеологичность резко выдвинулись на передний край в литературе XX века (недаром мы стали уже говорить не о тенденциозности художника, а о партийности творчества): в романах Достоевского доминировал интерес не столько к диалектике души, ее самодвижению, сколько к диалектике потаенной диалогической мысли, бьющейся во внешнем, «материальном» сюжете.

Слабость многих производственных романов как раз и обусловлена тем, что они обращены к практическим вопросам, не обретая нравственно-философской значительности: душевные волнения персонажа обычно вызваны его отношением к какому-либо конкретному производственному новшеству, принципу и внедрением этого новшества, принципа ограничиваются. Но производственная активность не равнозначна активности душевной, и читатель ждет за благополучно завершившимся делом чего-то более значительного, надеется, что перед ним не просто производственно-бытовой, а и производственно-духовный роман!

В автобиографическом повествовании «Словом не убий» П. Проскурин разделил даже всю современную советскую прозу на литературу фактографическую и литературу «предчувствия», провидческого взлета. К фактографической он категорично и, пожалуй, неосмотрительно отнес любую производственную прозу. Литературу же предчувствия, «прямую наследницу золотого девятнадцатого века», он не определил сколько-нибудь конкретно, но о многом можно догадаться по стику двух фраз после восторженных слов о поэзии Есенина: «...еще долго и долго этот бурный, разру-

шительный для русской деревни, неостановимый натиск урбанизации будет мучить поэтов и писателей, еще много тяжелых проблем встанет в связи с этим и перед государством. Рядом с литературой фактографической, литературой задорного барабанного боя, все свободнее начинал перекатываться через многочисленные валежины и завалы светлый, прохладный ручеек, но ведь и Волга начинается с укромного и незаметного родничка...» Около такого родничка «невольно остановишься, а то и присядешь, задумаешься и, возможно, если тебе не помешают сиюминутные заботы и отвлечения, услышишь душу своей земли, душу народа своего, и станет тебе светло и просторно, как бы ни был ты утомлен».

Сказано, как видим, с задиристым вызовом, хотя и несколько туманно (в отличие от вполне конкретного разноса производственной прозы). Но как же все-таки быть литературе с сиюминутными заботами и отвлечениями? Отвратить от них светлый лик свой? Но так ли завещал «золотой девятнадцатый», век Достоевского, Гоголя, Островского, Тургенева?! Да и сам Проскурин в «Имени твоём» не чурался сиюминутности...

Глядя на литературу вроде бы с горних высей, Проскурин в действительности находится в тенетах приземленности, полагая, будто тема, объект сами по себе предрешают возможность провидеть «необозримый, бессмертный путь твоего народа». Впрочем, даже если считать слова о литературе предчувствия не характеристикой реальных книг, а лишь манифестом, декларацией, благим пожеланием, то и тогда открывается все та же тенденция: тяготение к вечным вопросам, к тому, чтобы глядеть в душу, в потаенный смысл, пробивающийся сквозь прозу быта.

И В. Распутин в рассказе «Наташа» не преминул заметить: «...мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко».

Не случайное совпадение позиций П. Проскурина и В. Распутина обнажило стремление выстраивать некий глубокий, потаенный сюжет, скрытый под внешним, материальным, фактурно-достоверным. Обобщающая мысль не просто извлекается самим читателем из представленной живописной картины, но возникает из сознательной установки авторов на двухслойность повествования, на создание нравственно-философ-

ского подтекста в образе, сюжете, конфликте.

Особенно часто это происходит в исторических произведениях, сошлюсь ли я на «И всякого, кто встретится со мной...» О. Чилладе или «Императорского безумца» Я. Красса. Уже как нечто само собой разумеющееся критики отмечают размежевание нынешней исторической прозы на повествование собственно историческое, авторы которого озабочены прежде всего художественно-беллетристическим воссозданием событий прошлого, и на роман историко-проблемный, «задача которого — на конкретно-историческом материале решить определенно философские, нравственные и этические проблемы, актуальные и сегодня»³. Происходит это не за счет подтягивания прошлого к заботам дня сегодняшнего, а благодаря умению вскрыть те социально-психологические узлы, которые органично сопрягают былое с современным.

И мы уже можем уверенно говорить об укоренившемся качестве художественной правды — когда ее мерилom является не просто верность представленных жизненных картин, а прежде всего верность глубинному смыслу жизни.

Есть эта глубинность правды в повести Ю. Давыдова «Две связки писем». Сам автор так комментирует ее: «...я иду от проблемы, но не от исторической проблемы, которую вычитал в книгах, а от того короткого замыкания, которое происходит от соприкосновения проблемы исторической с проблемой современности. В то же время я не иду аллюзий и не занимаюсь ими. Аллюзия — это дело пустое, пена, проблем ни исторических, ни современных она решить не может».

Нерв его романа — в философском и социально-психологическом аспектах проблемы соотношения цели и средств. Это одна из глобальных проблем XX века, предваренная Достоевским еще в «Преступлении и наказании» и особенно остро зазвучавшая в его «Бесах», основанных в своей сюжетной канве на том же, на чем теперь у Ю. Давыдова («феномен Нечаева»).

С проблемой цели и средств связан в романе Ю. Давыдова вопрос, от нее почти неотделимый, — о правомерности лжи, ибо ложь всегда средство для достижения какой-то цели. Бывает ли святая ложь, ложь во спасение, ложь во благо?

Как во всяком талантливом романическом повествовании, эта идея лжи во спасение, во благо, ради самообмана и т. д.

³ А. С. Горловский. Проза-82. М. «Знание». 1983, стр. 10.

предстает у Давыдова в самых разных плоскостях — от рассуждений героев на политические темы до интимных отношений двух людей — и неизменно влечет общий вывод, не сразу и не просто возникающий: все-таки любая ложь унижает глущего!

Лопатин понимает, что одна ложь автоматически ведет за собой другую, одна легенда требует подкреплять ее другой. А Нечаев убежден, что «без легенды, без мифа ни на волос, ни на вершок не сдвинешь», и в этом сказывается его недоверие к людям.

В сущности, Ю. Давыдов выступает против принципа «все дозволено ради благородной цели». И это движение авторской мысли побудило его обратиться к лирической публицистике, прямому сегодняшнему комментированию: чтобы помочь читателю найти ключ к той художественной правде, что воплощена в романе.

Поисками путей к аккумулярованию авторской мысли в немалой мере вызвано и нынешнее увлечение притчевостью. В. Маканин в одной из бесед разъяснил: «Притчу принято считать искусственным, дополнительным элементом в художественном тексте, порой элементом дидактическим. На мой же взгляд, притча в литературе — явление объективное и органичное. Ведь и в обыденной жизни людям свойственно искать объяснения, обоснования, оправдания своим поступкам и действиям, апеллируя к общим, вечным истинам и закономерностям. Обыденное вроде бы происшествие, какой-то малозначительный случай приобретает вдруг символическую окрашенность и определяет стержневую мысль повествования».

А Анатолий Курчаткин в своих сборниках помещает рядом бытовые и притчевые рассказы и даже вопреки распространенному мнению о силе его бытовых рассказов признавался, что ему дороже притчевые. Дороже, вероятно, потому, что отвечают потребности найти эстетический выход поэтапному смыслу.

На фоне этого стремления создать в глубине сюжетного действия подводное течение уже кажутся облегченными и вторичными многие произведения, не содержащие самобытных поисков глубинного смысла, хотя в них наличествует то, что можно бы именовать жизненной правдой.

На протяжении года в «Дружбе народов» было опубликовано два произведения белорусских прозаиков — роман «Колесом Дорога» В. Козько и повесть «Охота на последнего журавля» А. Жука. Оба вдохновлены единым пафосом — защитить родную природу от бездумного браконьерского от-

ношения к ее богатствам. В обоих произведениях натиску людей, которым не дорога земля, которые живут лишь сегодняшним днем, противопоставлены пожилые колхозники — Тимох Махакей у Козько и Степан Демидчик у Жука, — бывшие фронтовики, партизаны, которые олицетворяют народную трудовую нравственность, верят, что «времена меняются, а правда, честность человеческая не исчезает на земле, не пропадает бесследно». Они проливали кровь за эту землю и бьются теперь против хищнического отношения к ней, бьются тем более решительно, что уже не нуждаются ни в каких благих, которых могли бы лишиться, непослушных, раздосадованные скорожителю. Этим словом удобно определять тех, кто слишком торопится получать блага, продвигаться по служебной лестнице, не оглядываясь в прошлое, не задумываясь о будущем.

У Козько мы читаем о том, как неразумно спрямили реку — и быстрый сток в магистральных каналах пересушил землю. И в повести Жука спрямили реку, и оттого там, где когда-то была славная извилистая речушка, теперь простирается луг, «заболоченный, похожий на пустошь, потому что весной все равно вымокает и ничего на нем не посеешь».

У Козько символом жизни, которой угрожает непоправимый ущерб, служат буслы — аисты, появляющиеся и в основном повествовании, и в лирико-символических отступлениях: это к ним обращено народное напутствие, ставшее заглавием: «Колесом дорога»... У Жука эта роль выпала журавлям, которые перестали гнездиться на лысой осушенной равнине; и последнего журавля, доверчиво приземлившегося на серое осеннее поле, попусту убивает моторизованный браконьер.

Последний журавль у Жука — это еще и прозрачный символ: Степан Демидчик — последний рачительный хозяин в перспективной деревушке, населенной уже одними пенсионерами. И если один моторизованный браконьер подстрелил журавля, то другой застрелил Степана, пытавшегося задержать машину. В финале повести то ли реальный, то ли уже перешедший в легенду последний журавль кружится каждую весну и осень над кладбищем, где похоронен Степан. «...далекая пашня на горизонте вдруг вздымается крылом серого журавля, и кто не скажет тогда, что с неба и вправду слышится вечный журавлиный зов?» Этими словами и завершается роман.

Можно было бы и далее продолжать перечень текстуральных, сюжетных и образ-

ных совпадений из тех, что лежат на поверхности и легко кочуют, как кочует, к примеру, в военной прозе описание веселой суматохи у походной кухни, а в бытовой — описание первого несмелого поцелуя: не заимствовано — и не свое. И нужна большая сила таланта, чтобы преодолеть, взорвать банальность такого рода описаний.

Конечно, романы многим различаются. Художник крупный и трагедийный, В. Козько выдвинул на авансцену повествования Матвея Ровду, фигуру, в сущности, трагическую. Мелиоратор, затем председатель колхоза Матвей Ровда, коренной полешанин, азартно, рьяно, напористо взялся за осушение Полесья. А потом, спохватившись, поняв, какую беду принесла его поспешность, ретивость, пытается так же с маху, навалом удержать процесс эрозии осушенных торфяников, облысение земли. И это придает драматическую диалогичность, амбивалентность его фигуре: в нем словно совместились коренной полешанин, влюбленный в мир своего детства, и человек «со стороны», верящий, что при нынешней технике природные законы как бы недействительны, можно все переделать по своему разумению ради высокой практической цели — хлеб вместо болот!

Важное место в замысле Козько занимает сила болота. Казалось бы, покоренное, оно исподволь растекалось по подземным слоям без отводного водохранилища, на котором решил сэкономить возгордившийся Ровда, и вдруг подтопило всю округу: нечто вроде рока, наступавшего дерзновенных слушников в античной драматургии. И эта грозная сила природы резко обостряет романную коллизию в отличие от незащитной, плачущей и лишь взывающей к снижению природы в «Последней охоте на журавля». Можно сказать, что там, где у Козько трагическое противоборство, у Жука — мелодрама.

Правда, и Козько не удержался на своей вершине. То ли он не сумел преодолеть реальное противоречие между ностальгией по прошлому Полесью, где царил извечное природное равновесие, и признанием несомненной пользы от земель, вводимых в активный хозяйственный оборот. То ли испугался захватывающей дух трагедийной высоты и стал соскальзывать на эпизоды вторичные, хорошо нам известные по ностальгической прозе.

Эти романы-плачи — как бы обратная сторона узко-деловитой производственной прозы: лирически перенасыщенные, они зывают не к прагматике, а к возвышенным мыслям о мудрости природы, о сли-

ности человека с миром, но делается это столь же откровенно, с нажимом. Вся разница в том, что здесь откровенность и нажим ищут поддержку не в публицистической стремительности и напряженности, а в лирико-романтическом многословии.

При всем различии в общем уровне и в отдельных сюжетных решениях романы В. Козько и А. Жука все-таки лишь иллюстрируют общеизвестное, не содержат в себе значительной самобытной художественной правды. Все тут на поверхности. Как бы ни был серьезен, искренен природозащитный пафос авторов и очевидно их живописное мастерство, такие произведения не открывают глубинных жизненных противоречий.

В. Козько сделал шаг, но не смог или побоялся сделать следующие, а А. Жук просто пробороновал уже вспаханное. Правда здесь исторически-конкретная, можно сказать, жизненно достоверная: и старики партизаны такие есть, и Полесье торопливо осушили,— но глубинного, философского смысла недостает.

А мы сегодня наконец-то осознали важнейшую художественную закономерность: подобно тому как аналогии в отдельной метафоре черпаются не из буквального значения используемых в метафоре слов, а из некоего образного подтекста, так и в целом произведении за буквальным — достоверным — значением изображаемого встает иная, новая образная реальность.

Поиск такой реальности осуществляется в широком диапазоне; достаточно сопоставить хотя бы прозу таких мастеров, как Ю. Бондарев, Н. Евдокимов, В. Маканин, А. Кривонос, Б. Можаяев. Но поскольку их творчество достаточно широко интерпретировалось в критике, я попробую обозначить, как происходит творческий поиск глубинного, философского смысла, глубинного художественного напряжения в некоторых произведениях писателей братских литератур.

Интересен в этом смысле опыт латышской писательницы Регины Эзеры. Повесть «Ночь без луны» поименована ею мозаикой. Это мозаика синхронных рассказов о людях, стягивающихся к ночному поезду на маленький полустанок. Мозаика подчеркивала их независимость, отъединенность друг от друга, хотя некоторые и были знакомы между собой. Фрагменты жизни, фрагменты характеров, объединенные лишь тем, что все персонажи встречаются в финале на платформе.

А затем Р. Эзера опубликовала «Невидимый огонь», поставив в подзаголовке «фан-

тасмагория». Есть для такого необычного жанра художественная мотивировка. В прологе рассказывается о том, как писательнице настиг сердечный приступ и она попадает в потустороннее царство, где встречает тени своих знакомых из поселка Мургаля (тот же, в сущности, прием, что и в «Святом колоде» Катаева и «Наташе» В. Распутина, только там в обоих случаях причиной отлета от реальности было состояние тяжелобольного человека, а здесь — творческое сверхнапряжение, своего рода экзотическое состояние). А когда она создала, подобно всевышнему творцу, свой мир, то почувствовала, как боль отпускает ее, как из фантазмагории беспамьятства к ней возвращается сознание, и, стало быть, все изображенное можно расценивать как нечто пригрезившееся.

И если мозаика «Ночи без луны» была своего рода фантазмагорией (ибо что такое фантазмагория, как не причудливо-произвольное объединение случайностей?), то фантазмагория «Невидимого огня» вполне может быть названа мозаикой: шесть глав-эпюдов о нескольких людях, живущих беспешной жизнью в глухом поселке, — ветеринарный врач Феликс Войцеховский, семья директора школы Каспарсона, шофер Ингус, продавщица Ритма...

Таких эпюдов, таких персонажей могло быть больше, могло быть меньше: в романе отсутствует композиционная завершенность действия, перед нами словно модель вселенной, у которой нет ни начала, ни конца. Но в этой художественной вселенной заключено все: и работа, и быт, и любовь, и безвременные смерти. Воссоздать обыкновеннейшую жизнь, взглянуть в обыкновеннейших людей — вот чем побуждены творческие искания, творческие мучения, творческие находки писательницы.

Поступок человека обычно означает торжество одной из сил, воплотившееся в действии. Конечно, иной поступок бывает следствием противоречивости мотивов, неспособности прийти к ясному выводу, но в любом случае поступок более однозначен, чем совокупность и противоборство причин, приведших к нему. Вот до этой совокупности, до этого противоборства социальных, психологических, а то и блуждающих в подсознании причин — этого невидимого огня! — старается добраться Р. Эзера.

Драматизм повествования о повседневной жизни людей возникает у Р. Эзеры и благодаря противоречивости внутреннего мира персонажей (противоречивого в составляющих его элементах и гармоничного в конечном счете), и из-за того, что прошлое дает

неожиданные выбросы в настоящее, и, наконец, благодаря внутреннему накалу текущей, вязкой бытовой повседневности.

Я далек от мысли, будто писательница считает всю жизнь своих героев фантазмагорией: у нее больше умиления, чем ужаса перед действительностью. Ее манеру можно определить как фантазмагорический способ правдивого изображения жизни. Впрочем, в данном случае фантазмагория больше означает не отношение к миру, а способ организации повествования — мозаику. Но вот мозаика — это уже принципиально: в ней для Р. Эзеры, очевидно, заключена определенная философия жизни, коль скоро два произведения композиционно сходны. Мозаичное построение и выявляет подспудно, что персонажи разъединены, разведены; они живут вместе, но как бы параллельно, каждый сам по себе. Каждый вяжет свою нить раздумий, у каждого своя жизнь, своя боль, свои ожоги памяти, своя психологическая реакция на события.

Но такая параллельность рождена отнюдь не варьированием вечного мотива о неволе и свободе каждой личности, а тревогой за такую разъединенность людей и стойким упованием на человеческую гармонию, на взаимопонимание и взаимодействие. И трагическими концовками глав, обычно связанных со смертью одного из персонажей, Р. Эзера как бы предостерегает: вот к каким финалам могут приводить взаимное непонимание, нечуткость.

Сходный принцип композиции использовал, уже не прибегая к фантазмагории, М. Унт в романе «Осенний бал», где перемежаются фрагменты жизни нескольких действующих лиц: парикмахера Каська, швейцара Тео, поэта Ээро, телефонистки Лауры, архитектора Маурера. Только вместо маленького поселка — девятиэтажный дом в Мустамяз, одном из микрорайонов Таллина, а вместо лирической деревенской красавицы зимы — жесткая неуютность асфальтовой тверди. Но очень важно, что у М. Унта городская жизнь предстает правдиво, без предвзятого нажима на «греховность» города или, напротив, интеллектуальное роскошество эпохи НТР.

Образ бала вбирает у М. Унта и хоровод масок, личин, и жизненный праздник, и краткие соприкосновения во время танцевальных фигур, после чего партнеры расходятся; все кружатся, все участвуют в танце, для всех бал — краткий миг, не имеющий продолжения, не завязывающий прочных связей. Каждый персонаж живет своей внутренней жизнью, и эти жизни никак не пересекаются в «большом и непознанном

городе эпохи НТР, со своими социальными и психологическими противоречиями, находящимися в движении на всех уровнях», как выразился один из рецензентов романа, М. Коносов. А другой рецензент, Виктория Шохина, писала о стремлении писателя «проникнуть в суть диалектических связей личности и целого в эпоху крупнопанельного строительства, когда равновесие между человеком и городом кажется безвозвратно нарушенным». Нарушено или кажется нарушенным? И какая застройка способна возродить равновесие между личностью и городом? Вопросы ехидные, но не праздные.

Впрочем, обратился я к этим цитатам по иной причине: по-разному определяя «символ эпохи», оба рецензента согласно подчеркивают диалектическое движение и диалектические противоречия. Эти противоречия и пробует вобрать М. Унт, показывая и тех, кому, как поэту Ээро, кажется «подавляющей» мощь городской застройки, и тех, кто, подобно телефонистке Лауре, вполне доволен тем, что может, уложив спать сына, смотреть в одиночестве бесконечный телесериал, наслаждаясь красивой чужой жизнью, чужими страданиями и увлечениями.

Противоречие между индивидуальным и общим, между запросами и характером их удовлетворения, между потребностью в людской близости и силами разъединения — вот о чем тревожился М. Унт, создавая свою мозаику, свой бал.

В романах Р. Эзеры и М. Унта целостность мира соткана из случайностей: случайно подобрались соседи, случайности сводят людей во внепроизводственном бытии и т. д. Случайность как форма выявления закономерности — общего образа жизни — служит философской предпосылкой такой прозы. Прозы, стремящейся к правдивому изображению отдельной человеческой жизни, проникнутому гуманистическим доверием к силам подлинного единения людей.

Так вновь и вновь подтверждается тезис об исторически открытой системе правдивого изображения, которая чутко реагирует на изменения в культурном и общественном контексте эпохи. Учитывать эту историческую изменчивость необходимо, если мы не хотим догматизировать однажды найденное, удачно исполненное, весомо прозвучавшее.

Арсенал современных художественных средств ощутимо и отрадно пополнился. И эти реальные накопления удостоверяют, сколь настойчиво стремится наша проза осваивать всю полноту жизни в ее взаимо-

перепадениях, противоречиях, перспективных путях развития.

Я обращался преимущественно к роману — жанру, который более других требует того, чтобы жизнь представляла под пером писателя в своей первозданности, самодвижении. Повесть, рассказ допускают — а в последнее время и все энергичнее используют — различные условно-метафорические формы, смещение времен, параболические и иные конструкции. Но и в жанре романа, как видим, происходят весьма существенные перемены, направленные на то, чтобы расширить художественные возможности освоения сложной и быстро меняющейся жизненной реальности. Художественный мир может по-разному корреспондировать с процессами жизни, вбирая разные ее стороны, разные сплетения, — важно лишь, чтобы он обогащал наше познание существенных сторон действительности, органически вписывался в более обширные сферы и закономерности жизни.

Опыт прозы последних лет подтвердил и еще одну истину: новое в искусстве — не всегда новое в жизни, но всегда по-новому увиденная жизнь. Новизна писательского взгляда не означает, конечно же, нарочитого оригинальничанья, желания во что бы то ни стало «быть не как все»; происходит художественное освоение новых аспектов, граней, взаимосвязей, глубинных движений современности, не замеченных, не освоенных искусством прежде, но представляющих общественный интерес, способствующих нашему познанию жизни.

В этом заключается мышление в образax!

Ясное представление о характере, границах и способах художественного мышления позволяет правильно понять роль искусства в сегодняшних условиях, и прежде всего

суть активного вмешательства в жизнь. Искусство не только летописец эпохи, оно и непосредственно создает ее. Отражая общественное самосознание, оно и непосредственно формирует его. Глубоко знаменательно, что в партийных документах последнего времени так настойчиво подчеркивается возрастающая роль искусства в социальной и духовной жизни общества. Быть страстным, глубоким, надежным орудием познания и воспитания — вот что лежит в основе партийных требований к литературе и искусству.

Возрастание роли искусства неотрывно от его активности, а активность, в свою очередь, — от той художественной пронзительности, благодаря которой художественная правда деятельно помогает не только осознать, но и формировать жизненную правду, содействует нравственному воспитанию людей.

Возглашая: «Нравственность есть правда», В. Шукшин как раз имел в виду, что правдивое изображение и является единственно нравственным для писателя и формирует нравственный климат общества. Этот двуединый смысл, обращенный к писателю и читателю, заложен и в формуле об исторически открытой системе правдивого изображения жизни: высшим долгом и высшим достоинством искусства является правдивое изображение жизни во всей ее полноте и противоречивости; такое правдивое изображение помогает нравственному совершенствованию всего общества и каждого человека.

И в конечном счете мои заметки были направлены на выявление той художественской активности, благодаря которой энергия художественной правды преобразуется в действенную энергию совершенствования жизни.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Сергей Чупринин. Равновесие сил. — Константин Щербанов. Хорошо ли меня слышите? — С. Зенкин. Судьба героя и судьба романа.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Елисеева. Воздух тех лет... — В. Левин. Найдена ли Атлантида?

Литература и искусство

РАВНОВЕСИЕ СИЛ

Александр Межиров. Проза в стихах. Новая книга. М. «Советский писатель», 1982. 95 стр.

Поэзия конца 40-х — второй половины 60-х годов без Александра Межирова попросту непредставима. Его стихи читались и цитировались повсеместно. Его именем клялись и защищались. С его опытом и с его примером сверяли свой опыт и свой путь как ровесники — товарищи Межирова по фронтовой плеяде, так и младшие современники от Евтушенко и Куняева до Чухонцева и Шкляревского включительно.

Зато когда наступили 70-е годы и литературная ситуация существенно переменялась, имя Александра Межирова стало как-то незаметно сдвигаться в тень, из активного запаса читательской памяти и речи перемещаясь в запас пассивный, а сам поэт, стихи которого на протяжении доброй четверти века будоражили общественное внимание, в глазах очередного — и читательского, и литературно-критического, и поэтического — поколения занял почетное, но, в общем-то, не самое необходимое место мэтра, законодателя вкуса.

Имя Межирова еще прочнее, чем прежде, закрепилось в литературно-критических «святцах», но характерно, что авторы статей и обзоров обращались к нему по преимуществу тогда, когда речь велась о классике советской эпохи и об ее уроках, а не тогда, когда в «буче, боевой, кипучей», вызревало самоновейшее мнение о само-

новейших обретениях и потерях отечественного лиризма...

Что же касается репутации метра, литературного арбитра, приросшей к поэту, то и в ней, по правде говоря, нельзя было не расслышать тревожный звоночек судьбы; ясно же, что о мастерстве, виртуозности, эталонности того или иного автора у нас начинают охотно рассуждать именно в ту пору, когда отношение к нему определяется уже не живейшим согласием (или несогласием) публики со смыслом стиха, с его социально-нравственным нервом, а диктуется по большей части требованиями литературного этикета.

Предвижу упреки в субъективности восприятия и отвожу их, поскольку на что ж еще опереться критику, кроме личной точки зрения и собственных впечатлений. К тому же и Александр Межиров, замечательно чуткий, как и положено русскому поэту, раньше нас с вами почувствовал отток читательского равнодушия, дав на вопрос: «Отчего же так случилось?» — два принципиально разнящихся меж собою ответа.

Один из них — меланхолически-философский, связанный с трезвым пониманием, что вкусы публики меняются и не дело поэта, следственно, «задрать штаны», приравливаясь к капризам нынестекущей

Благородная серьезность и бесовская ухмылка попеременно определяют нравственную физиономию героя межжировского стиха, причем — и это тоже очень важно — смена масок совершается с неуследимой быстротой... Новизна же здесь только в том, что враждующие «голоса» и начала у Межирова теперь не борются и даже не меряются силою. Они сосуществуют — в пределах каждого отдельно взятого стихотворения, каждой отдельно взятой фразы, мысли, настроения, в пределах всей книги в целом, и отвлекшись на рассуждение об этических парадоксах поэта, мы, как видит читатель, опять возвращаемся к тому месту статьи, где начиналась речь об опорных принципах межжировского мировидения и самоосознания.

Когда-то, едва ли не целую «геологическую эру» назад, Евгений Евтушенко пугал доверчивую публику словами о том, что он, мол, разный — «натруженный и праздный», «целе- и нецелесообразный», «застенчивый и наглый, злой и добрый». Так вот. То, что у Евгения Евтушенко было стихотворной декларацией, лишь отчасти оправдавшейся в последующей творческой практике, Александр Межиров — автор «Прозы в стихах» — положил в фундамент своей литературной и нравственно-философской позиции — без всякой, наверное, оглядки на провоцирующий пример и опыт своего младшего современника.

Он, Александр Межиров, действительно очень разный в своей новой книге. Он думает по-разному — и так и этак, и что «добро унижает» и что спасение человечества в одном лишь инстинктивном тяготении к добру. Он «зол» как никто, быть может, из современных лириков (высокий уровень прозы в сборнике в этом смысле обеспечивается отнюдь не прозаизмами, а обилием раздраженно-конкретных выпадов против конкретных лиц, так что грядущие историки литературного быта последней трети XX века найдут здесь немалый материал для своих «реальных комментариев»). И он же удивительно всепрощающ или по меньшей мере всепонимающ. Он, как и подобает мастеру, высоко ценит культуру, и он же (что твой Юрий Кузнецов с его одами варварству!) гроша ломаного не даст за «свет последней стадии склероза дармовой культуры мировой».

Гётевские Мефистофель и Фауст, стивенсоновские доктор Джекил и мистер Хайд, пушкинские Моцарт и Сальери слились тут в одном психологическом облике, а явления, вещи, события, лица словно бы не-

торопливо поворачиваются перед читателями все новыми и новыми гранями, и то, что на одной грани означает добро и свет, на другой грани выявляет себя как зло и мрак, то, что в одном освещении выглядело (и было!) любовью, в другом освещении оборачивается ненавистью. Ни та, ни другая грань не представляют предмет или процесс в целом, но и та и другая грань неотъемлемы от сути этого предмета и этого процесса.

Прибегнем к метафоре. Вообразим себе улицу с двусторонним движением, по которой мчатся два разнонаправленных жизненных потока. Пойдем дальше и вообразим себе, что этих потоков не два, а великое множество и что лишь белые ограничительные пунктиры не позволяют разнонаправленным потокам завертеться в брουνском движении.

Где же место поэта и какова его роль?

Вот они — и роль и место: «Замри на островке спасенья в резервной зоне, посреди проспекта — и покорно жди, когда спадет поток движенья». Последние строки этой строфы не идут к делу, поскольку и «поток движенья» способен лишь нарастать, а никак не спадать, и «покорство» событиям отнюдь не входит в намерения поэта. А вот сама позиция — «в резервной зоне» посреди многошумной автострады жизни — заслуживает быть отмеченной, поскольку она выявляет беспокойное одиночество лирического героя, его меланхолическую отрешенность и отвоеванную им способность, видя и тех и этих, «почти понимая» и тех и этих, не сочувствовать в итоге ни тем, ни этим, а если и посочувствовать вдруг, то опять же и тем и этим.

Осознанная выделенность из потока жизни дает поэту-философу отличную точку обзора, но она же и обезволивает, лишает права торговаться своим словом в жизненный процесс, вести прямой разговор с окружающими, то есть с читателями. И характерно, что книга «Проза в стихах» структурно и сюжетно организована как вереница лаконичных, непроясненных по своему непосредственному смыслу, а порою как бы даже и бессвязных «реплик в сторону». Причем кажется, что, высказываясь по случайным поводам, поэт сплошь да рядом упускает и соединительные звенья собственной мысли, и возможность рельефно обозначить существенные, определяющие моменты своего кредо.

Вот типично межжировская логика в изложении мысли: «Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу».

А вот и характерная для него оценка им же самим произнесенного: «Все сказанное мной гроша не стоит,— в цене лишь то, о чем я умолчал»,— так что если бы последние межжировские сборники печатать, перемежая лирические фрагменты целыми столбцами и страницами точек, то одни из этих столбцов и страниц заменяли бы стихи, которые со временем увидят свет, а другие справедливо расценивались бы как осознанный прием поэта, как акцентированное типографскими средствами проявление его манеры говорить с читателем «прерывисто», «паузно», «невыпада».

Риску предположить, что именно эта автономность более нежели что-либо другое объясняет переход Межжирова в «теневую зону» литературного процесса последних полутора десятилетий. Эпатирующая «амбивалентность», взаимоисключаемость высказываемых Межжировым суждений могла вызвать лишь замешательство у тех поэтов-современников и читателей-современников, кто в художественном произведении превыше всего ценит нагую прямоту и линейную последовательность авторской мысли.

Межжировская едкость, его привычка расслаивать вещи на бесчисленное множество не согласуемых друг с другом плоскостей вступали в разительный контраст с той тягой к гармоничности и прекрасной ясности, к синтезирующему взгляду на мир, что охватила в 70-е годы подавляющее большинство отечественных лириков. Так что ж, подумаем вместе, удивительного в том, что его стали плохо слышать даже наиболее чуткие? Прибавим сюда и то еще, что вплоть до «Прозы в стихах» поэт словно бы избегал концентрированной подачи своей «новой лирики», непременно разбавляя раствор строками, в которых легко можно было признать прежнего Межжирова — автора книг «Дорога далека» и «Ветровое стекло», стихотворений «Коммунисты, вперед!» и «Станислава», «Десантники» и «Баллада о цирке».

В «Прозе в стихах» раствор «новой лирики» насыщен до такой степени, что каждое вошедшее в сборник стихотворение видится гранулой, винтэссенцией. И делу совершенно не вредит то, что новая книга, коли разбираться, в доброй своей половине тоже составлена из стихов, публиковавшихся в предыдущих сборниках. Меж давними и недавними лирическими фрагментами возникло новое сщеление — оно-то и дало принципиально новое качество стиха и мысли.

Мысль поэта отчаянно бьется «на поро-

ге как бы двойного бытия» (Тютчев), причем и то и другое бытие с неизменной наглядностью выявляет себя в эмпирической практике, «в быту», так что межжировские парадоксы, его взаимоисключающие суждения по тому или иному поводу призваны передать собою прежде всего это бытие, раскату смыслов, служить указанием на амплитуду живых колебаний неспокойного творческого сознания.

Эта амплитуда с рельефной определенностью выражена в «Прощании с Юшиным» — наиболее значительном, быть может, из вошедших в книгу стихотворений. Антиномичность, контраст несовместных по видимости, но великолепно совмещающихся друг с другом начал заявлены уже в характеристике героя, прошедшего свой век «промеж Парнаса и парного мяса»:

Жизнь зиждилась на мяснике

знакомом,

На Юшине, который был поэт,
Идиллий выразитель деревенских
И вырезатель мяса для котлет,—
Предмета вечных вожделий женских.

.....

...Пока из мяса жарились котлеты,
Он сочинял припевы и куплеты,
В них вкладывая пыл и опыт свой,—
Как по деревне, в шелковой рубаше,
Гулял парень и как веет страхи
Над девушкиной бедной головой.

Поэт-мясник! Что же как не этот эффектный оксюморон, излюбленная фигура межжировской речи, вернее передаст чудовищную, трагифарсовую спутанность, многослойность современной личности и той жизни, что, как еще раз «со значением» подчеркнуто в стихах, «зиждилась на том, что был знаком через чужих знакомых с мясником, который был поэт...»?!

К мяснику возможно однозначное отношение. К поэту тоже. Но разве допустима хоть какая-либо определенность в отношении к поэту-мяснику? Остается одна только пресловутая «амбивалентность». Она и в освещении той связи, что существовала между Юшиным и лирическим героем стихотворения. Она и в оценке посмертной судьбы Юшина: с одной стороны, «не отпевали... И неизвестно, кто похоронил, кто мертвые глаза ему закрыл», с другой же — «песенки его поет поныне, в голубоватобелом палантине, своим прекрасным голосом, навзрыд одна из карамзинских Аонид»; так что, обращая к покойному Юшину, и впрямь можно сказать:

...пребывая в безымянной славе,
Ты до сих пор звучишь по всей державе.
Не предъявляя за котлеты счет.

Взгляд поэта свободно, без какой-либо этической заданности скользит с явления на явление, и в стихах про Юшина и про «Националь» — «Метрополь» оживают сперва родные, отечественные «коллеги, второгодники-плейбойи, в джинсовое одеты, в голубое, хотя повзростали из одеж над пропастью во ржи (при чем тут рожь)... И все же эта пропасть — пропасть все ж, засасывающая, как болото. И все они сидят — родные сплошь и в то же время — целиком чужие». Вот это и есть межжировская оксюморонная этика в действии.

Вряд ли есть надобность специально отмечать, что в душе поэта-фронтовика отнюдь не все «перегорело» и «перетлело» за едва ли не сорок лет, прошедших после победы. Он лучше нас с вами знает, кто ему враг, даже при известной общности жизненно-исторического опыта с оставшимся немецким солдатом, а кто свой — опять же при всем различии этого опыта с «второгодниками-плейбойями».

Поэта с головою выдают здесь и та снайперская, прицельно-непрощающая зоркость, с какою обрисована фигура иноземного туриста, и та чуть ли не отеческая жалость, что невольно примешивается к брезгливому разглядыванию «кейфующей неомолдежи». Каждое мгновение психической жизни новым текучим содержанием наполняет контур лирического настроения поэта, и, видя эту текучесть, оценивая ее, важно видеть одновременно, что сам контур сохраняет и прежнюю конфигурацию, и прежнюю идейно-смысловую жесткость. Верное понимание тут, как и всюду у «нового» Межирова, невозможно без учета общего контекста книги, без опоры на основные, лейтмотивные скрепы, удерживающие всякое лирическое высказывание в рамках нравственно-философского и художественного единства.

И говоря здесь о скрепах, нельзя обойти стороной мотив военной памяти — недаром ведь даже в совершенно «штатском» по проблематике «Прощаних с Юшиним» именно эта, окопная, нота вымывает из авторской интонации остатки сарказма, и голос поэта начинает звучать совсем иначе — просветленно, высоко, с хватающей за сердце трагической надсадой.

«Фронтвые» интонации нечасто прорываются в лексико-фразеологический и тематический план «Прозы в стихах». И все же именно память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной, равно как и память о тесно прилегающих к ним околвоенных

десятилетиях, составляет в глазах поэта тот поистине уникальный опыт, который выделяет его сверстников в череде ныне живущих поколений, нравственно обеспечивая поминавшиеся выше этическую «амбивалентность» и смысловую оксюморонность, что воспринимаются по прочтении книги как едва ли не единственно надежный залог подлинной правдивости лирической речи.

Но тут, впрочем, диалектика чисто межжировская. Война раз и навсегда отучила от всякой однозначности и односторонности во взгляде на мир, от привычки с маху, волевым усилием разрубить гордиев узел противоречий. Это верно. Но так же верно и то, что война, совпав с юностью, осталась в памяти как пора безоговорочной ясности и недвусмысленной определенности, когда для обрисовки действительности вполне хватало черной и белой краски, а узлы жизненных противоречий вот именно что обрубались. «...лютая тоска по той войне» есть в этом смысле тоска певца сложностей по простоте и строгому морализму с его строгой иерархией нравственных ценностей, восходящей в итоге к ключевому понятию долга, тоска расщепителя и аналитика по цельности и гармоничности — пусть бедной, пусть аскетической, но все ж таки гармоничности!..

Поэт остро социальный — если уж не по природе лирического дарования, то, во всяком случае, по складу и направленности мышления, — Александр Межиров плохо верит в гармонию, производную от нравственного самосовершенствования одной, отдельно взятой личности. Гармония подобного рода есть в его глазах фикция, самообман. Такой же самообман, как и добровольное, от нравственной лености идущее подчинение человека моде, умственному стандарту, некоему всеобщему поветрию, держащему заменить «то, чего заменить нельзя».

Именно поэтому так резки межжировские парадоксы и оксюмороны, подрывающие веру в возможности персонального самоочищения и самосовершенствования.

Именно поэтому так настойчив поэт в дискредитации моды — будь то мода «богоскательства», слияния с природой или мода на российские древности, равно как и на заморские новации: «Плоды унификации — зловещи: везде стоят одни и те же вещи и кооперативные дома, друг с другом тоже сложные гесьма, и проступает изпод каждой кровли икона византийского письма, Хемингуэй в трусах, на рыбной ловле».

И индивидуализм, даже если он окрашен притязаниями на высоконравственность, и ложный коллективизм толпы — коллективизм моды — с одинаковой безжалостностью испытаны в лирике Александра Межирова. Испытаны и отвергнуты, чтоб уступить место традиционному для русской поэзии гуманистическому идеалу, воспользуемся здесь пастернаковскими словами, на глубоко коллективистских началах «труда со всеми сообща и заодно с миропорядком», а этот идеал неизменно был дорог Межирову и в годы, когда в стихах поэта торжествовала романтическая патетика, и в более позднюю пору — пору зрелости.

Этот идеал с неизменностью восстает «...из равновесья диких сил...» (Е. Баратынский) в природе, обществе и в человеке, находит обеспечение в классическом завете гуманистического мировосприятия, обретает зримую реальность в живой практике и в живом творчестве жизни. Вне постоянного соотношения эмпирики с этим идеалом, так же как и вне постоянной

сверки жизненного курса с путеводною звездой, немислима та подлинная нравственность, которую мы вправе назвать синонимом подлинной человечности.

И здесь — именно в этом высшем пункте лирического раздумья — «странная», парадоксалистская лирика Александра Межирова последних лет поддерживается как современным поэтическим контекстом, так и ствольной традицией русского стиха. Таков нравственно-литературный и нравственно-общественный постулат: всякое искреннее движение к идеалу, если оно подталкивается совестью и честной мыслью, осознается в известный момент как движение к идеалу для всех общему, всех, в конечном итоге, роднящему и возвышающему.

Поздние стихи Александра Межирова в этом смысле не исключение из правила, как могло бы показаться при беглом чтении, а веское и убедительное подтверждение этой великой истины.

Сергей ЧУПРИНИН.



ХОРОШО ЛИ МЕНЯ СЛЫШИТЕ?

Ю лиу Эдлис. Избранное. Диалоги. М. «Искусство». 1983. 453 стр.

Ю лиу Эдлис. Юго-Запад. Повести. М. «Советский писатель». 1983. 344 стр.

Ю лиу Эдлис. Набережная. «Современная драматургия», 1983, № 4.

Юлиу Эдлис более известен как драматург, хотя прозу начал писать с 1965 года — почти одновременно с пьесами. Большая часть его прозы экранизирована, что представляется вполне естественным: повести были драматургичны, четко разбиты на сцены, их держали прежде всего диалоги, а авторская речь, описания давали некую дополнительную осязаемость, плотность, обжитость.

В «Жизнеописании», последней повести Эдлиса, диалогов нет вообще, она как бы демонстрирует полный разрыв с театральным видением мира. Шаг за шагом с объективностью хрониста вводит нас писатель в každодневность не слишком счастливой семьи, неспешно вникая во все перипетии ее существования, малоприметные, если брать реальность в резком свете некоего центрального, основного конфликта, свойственного драматургии по преимуществу.

Пришло ли с годами к писателю понимание, что напор подробностей, частностей в человеческом бытии, концентрируясь и сгущаясь, может создать не меньший драматизм, социальный и духовный, чем острые и

явные столкновения? Потребовалась ли настоятельно возможность свободно оперировать временем и пространством, не втискивая их в сцены и кадры? Или писатель, говоривший обычно устами героев, ощутил в какой-то момент необходимость самому сказать нечто, к чему он пришел, что узнал, взрывая кажущуюся объективность повествования своей любовью и болью?

Давайте, впрочем, вернемся в годы не столь уж давние...

В начале 60-х премьеры, которым сопутствовал самозабвенно-радостный зрительский энтузиазм, были не такой уж редкостью — достаточно вспомнить триумфы молодого «Современника», спектакль «104 страницы про любовь» Эдварда Радзинского и Анатолия Эфроса. Пьесы «Волнолом» и «Аргонавты» Юлиу Эдлиса, поставленные в Театре на Малой Бронной, в этом же ряду.

Гармония настроений сцены и зала была совершенной, герои «Волнолома» и «Аргонавтов» мало чем отличались от тех, кто толпился в проходе, мешая автору предстать перед публикой. Да и он сам, автор, мало от них всех отличался. Позволю себе заметить,

что и молодые критики исключения не составляли, и даже привести собственные тогдашние соображения, навеянные первыми пьесами Эддиса: «Герои вступали в жизнь внутренне очень свободными и раскованными, не признавая слепой веры в авторитеты, но веря в себя и в свое время, которое несомненно поможет реализовать, раскрыть, поставить на пользу обществу все, что есть за душой. Жизненная активность, инициатива били через край, так зачем же говорить громкие слова о предстоящем деле, пусть трудном и даже героическом, когда ироничность, неприятие высокопарности стало одним из определяющих свойств и когда одолевало веселое нетерпение, чесались руки от желания скорее начать это дело делать».

— Вы, я вижу, романтик?

— Это бросается в глаза?

Короткий диалог, как бы определяющий душевный камертон («Волнолома»). Я очень ценю производственную пьесу или социологическую драму (назовите как хотите) 70-х годов, но хочу сказать, что романтики работы, романтики дела из драматургии и прозы начала 60-х имеют самое прямое отношение к инженеру Чешкову и бригадиру Потапову. Многие, конечно, переменялось, Чешкова и Потапова романтиками никак не назовешь, но разве неразрывность понятий совести и дела, за которое ты принял ответственность, — разве это не так же у них в крови, как у Гоги и Вадима из «Аргонатов» или у Романа Самсонова из «Волнолома»?

В «Волноломе» ради того, чтобы автомагистраль к новой пристани прошла кратчайшим путем, должен быть снесен дом, где люди всю жизнь прожили. В «Аргонатах» врач Гога не упускает случая сделать сложную операцию, которую не должен был делать, но которую уступил ему шеф, а жену, собирающуюся вот-вот родить, оставляет на попечение друзей — они не подведут, они надежные... Писатель пока еще проходит мимо этих нюансов — скажем так, — захваченный радостью общей работы и дружеского единения.

Близко к финалу «Аргонатов» в представленной на сцене старой московской квартире перегорели пробки, а потом их починили, люстра вспыхнула вновь, что и дало повод для финальной реплики: «Пожалуйста, нам света не жалко!» Настрой этот, такой победительный, сильный в первых вещах Эддиса, явственно ощутим и в написанной несколько позже пьесе «Серебряный бор». Может быть, только он здесь... менее напористый, что ли. И осложненный мыс-

лю о том, что увлеченности делом, оказывается, могут сопутствовать прагматизм и душевная черствость. И что именно это способно внести в дорогую писателю мелодию праздника человеческого единения диссонансирующую ноту. «Железные парни. Когда такие ходят по земле — все будет в порядке». Кому из нас не были близки тогда эти парни, пришедшие на землю уверенными ее хозяевами и создателями? Но — годы, годы... Все ли будет в порядке, всегда ли хорошо, что — ж е л е з н ы е?

Ловлю себя на том, что задним числом вторгаюсь в отшумевшие дискуссии вокруг пьесы Игнатия Дворецкого «Человек со стороны» и некоторых других близких ей произведений. Но все это к тому только, что когда дискуссии вспыхнут вновь, давайте не начнем, как случалось, с нуля и не забудем, что были и «Человек со стороны», и «104 страницы про любовь», и «Серебряный бор»... Что многое было. Кстати, романтика 60-х Романа Самсонова из «Волнолома» и делового человека 70-х Чешкова в Театре на Малой Бронной играл один и тот же актер, Анатолий Грачев, и никто, если не ошибаюсь, не воспользовался этим поводом, который прямо-таки сам шел в руки, чтобы в контексте времени задуматься о сходствах и различиях, преемственности и общности...

В повести Эддиса «Балок» (1965) человеческое единение, слитность, способность к взаимопониманию подвергаются серьезному испытанию, но испытание это, как бы сказать... одностороннее, возникшее из кратковременных экстремальных обстоятельств, самой природой созданных. Встретились двое, назначенные вместе на гидрологический пост, в балке, маленьком домике, затерянном в тундре. Леша — человек того же склада, той же формации, что и герои «Аргонатов». И Лиза, мятущаяся, ищущая и не находящая душевного пристанища, надежной опоры. Начало их любви написано, как умеет Эддис, поэтично и целомудренно, однако это не есть нечто чистое и возвышенное вообще, а живая любовь живых мужчины и женщины. А потом началось черная пурга, третьи сутки, шестые сутки... «Тундра проклятая!» И Лиза не выдержала.

Но Эддис тех лет не был бы собою, если бы в его повести герой не бросился вслед за любимой, не догнал бы ее.

«Будто почувствовав на себе его взгляд, она повернула голову, и они встретились глазами.

Меж ними все шло по шоссе к въезду на мост машины, дорогу было не перейти.

— «Клавиша», — вспомнила Лиза позывные второго поста, — «Клавиша», я «Клави-

ша-2», я «Клавиша-2», хорошо ли меня слышите?..»

Да нет, пройдут машины, и дорога станет свободной. И позывные, идущие от человека к человеку, слышались хорошо. Мы это знали и были благодарны Юлиу Эдлису за то, что он умел верно и нешумно об этом сказать...

Между тем шли годы, писатель становился старше. Взрослели его герои. Или просто оказывались иными, вместе с писателем совершая движение во времени.

Впрочем, не все — для некоторых время будто остановилось. Комедия «Проездом» и «Соломенная сторожка», повесть «Опровержение» написаны на рубеже 60-х и 70-х годов. Писатель словно хочет удержать своих героев в том душевном состоянии, на том жизненном рубеже, где и ему и им было так легко и свободно, где полнота и гармония если и нарушались, то кратко, нетягостно и все, конечно же, было восстановимо. Настроение оставалось — Эдлис безошибочно дает настроение ремаркой ли, сцеплением ли будто бы нейтральных реплик, он хорошо знает уроки чеховского письма и упорно им следует. Но если уж говорить о высокой традиции, в противоречии с ней оказывалась здесь разреженность социальной атмосферы, недостаточность духовного напряжения.

И вот появляются милые и бойкие пенсионеры из «Соломенной сторожки», столь же реальные, сколь и вневременные. Или рабочие девчонки (Тоня Семенова из «Опровержения», Наташа из той же «Сторожки»), которым «до всего есть дело», не слишком красивые, но вооруженные беспроярленным обаянием восемнадцатилетия и с помощью энергичной своей инфантильности решающие проблемы, над которыми взрослым бы еще биться и биться... В характерах этих обнаруживали себя некая расхожесть, общеупотребительность, что ли.

Можно — и тому не раз мы были свидетелями — сказать самое существенное сначала, сперва, а потом оставаться благополучным беллетристом или вовсе исчезнуть с литературного горизонта. В некоторых вещах — я бы сказал, просветленно-кризисных — Эдлис пытался как бы законсервировать мироощущение героев ранних своих пьес, вычленив его из контекста реальности...

Однако чуть раньше «Опровержения» и «Проездом», одновременно и чуть позже их рождались пьесы «Где твой брат, Авель?», «Мир без меня», повесть «Юго-Запад, экспериментальный квартал», исторические притчи «Месса по Деве» и «Жажда над ручьем».

Курортный городок, жара, ленивая праздность — но с первых же страниц пьесы «Где твой брат, Авель?» веет гнетущей, душной тревогой. «Солнце здорово напекло мне голову, она тихо гудела, а тут еще невеселые запахи с кухни». Столик в прибрежном кафе горячий и липкий, на полу окурки и яблочные огрызки. Некий странный человек не спускает с героя глаз...

В пьесе «Где твой брат, Авель?» Эдлис словно сдирает с себя безоблачную идилличность. Прожаренное солнцем кафе стало местом встречи героя, мужественно и достойно прошедшего через все ужасы фашистского концлагеря, с тем, кто его предал — из слабости, трусости, — сломался, не выдержал, пошел на службу к фашистам, все еще лелея призрачную надежду вернуться, выскользнуть, не замараться. Ситуация, близкая той, что написана Василием Быковым в «Сотнякове». Только если бы Сотников выжил и встретился с Рыбаком по прошествии лет. Старым, истрепанным жизнью Рыбаком, обремененным семьей, ничего не знающей о его прошлом. Мстить этой развалине, представшей в облике человека, за то давнее-давнее? Не вернее ли отвернуться с презрением, будто и не было перед тобой тягостного призрака тягостных лет? Но «если бы Авель — хоть один какой-нибудь Авель из всех! — остался жив и простил своего Каина? Забыл бы ему и простил, и тогда Каин решил бы: раз Авель, мой брат, которого я убил, простил и забыл, значит, предательство и убийство вообще — не предательство и не убийство, и я могу опять убивать и предавать, и опять мне забудется и простится... Я ненавижу фашизм, как бы он себя ни называл, во что бы ни красился... И если я забуду и прощу — он только ухмыльнется и будет дожидаться своего часа, чтобы начать все сначала». Нет забвения и нет прощения Каину, об этом всем надо знать.

Ромка Самсонов из «Волнолома» погиб в штормовом море, зажигая маяк, чтобы суда могли войти в гавань. Горечь утраты окутывала финал пьесы, но это была романтическая гибель романтического героя, озарившего дорогу, показавшего путь. Нам света не жалко! В финале пьесы «Где твой брат, Авель?» герой, потрясенный встречей с призраком прошлого, оказывается на грани жизни и смерти, а ведь ему нужно еще рассказать людям об этой встрече. В повести «Юго-Запад, экспериментальный квартал» нелепо умирает мальчишка злой и испорченный, но ведь не безнадежный же, в сущности, еще не начавший жить.

Писатель все настойчивей думает о цене смерти и цене жизни. Жизни и ее взаимоотношений со временем.

Молодые герои ранних вещей Эддиса были со временем в полном согласии. А вот Николай Меншиков, зрелый человек и крупный ученый из пьесы «Мир без меня», говорит, опять-таки на грани жизни и смерти, когда случайные мысли на ум не идут: «Время — это мы. Наша сопротивляемость ему». Сопротивляемость. Инерция привычного, страху, желанию примириться с тем, с чем мириться нельзя. В окружающем и в себе самом.

«Мир без меня» — пьеса о том, что человек может ошибаться и отступаться, не успеть, опоздать, что обстоятельства могут сложиться благополучно или неблагополучно, счастливо или несчастливо, но в итоге всех запутанностей и сложностей высший смысл существования человека всегда являл собой готовность исполнить долг, как бы ни сопротивлялись этому разные практические и не лишённые логики соображения.

«Месса по Деве» — притча, дающая непривычную версию истории Жанны д'Арк. Обращение к этому жанру было, наверное, не в последнюю очередь продиктовано стремлением поверить трезвым опытом романтизм начала 60-х, увидеть реальность объемнее и полнее, в сложных взаимосвязях прошлого с настоящим, понять со всей отчетливостью, что самые глужие сегодняшние проблемы не целиком сегодня возникли и стремление к разрешению их также сегодняшним днем не замкнется. Это, разумеется, не к тому, что биться над ними без толку. Это к тому, что нужно научиться сознавать свои усилия частицей общей цепи и неустанно трудиться над тем, чтобы твое звено, большое или поменьше, не уступало в прочности тем, что были и будут.

Странный и, в сущности, счастливый изгиб судьбы выбивает написанную Эддисом Жанну д'Арк из колеи, прочно закрепленной за ней благодарной человеческой памятью. Иначе сложилось у этой Жанны. Мученической смерти на костре не было. Она жива, у нее семья, любящий муж. Но нет двух Орлеанских дев, и никому не дано прожить чужую жизнь. Настанет час — и Жанна д'Арк, даже если она не была казнена в Руане, все равно пройдет свой путь до конца, совершит то, к чему предназначена, призвана. Исполнит свой долг..

В повести «Дети как дети», в пьесе «Полнолуние» писатель уходит от явности, открытости драматизма, который не исче-

зает, не слабнет, но растворяется в человеческой каждодневности.

В «Полнолунии» горечь, причудливо соединяясь с беззаботной веселостью, создает то поле духовного напряжения, которого не хватало таким пьесам, как «Проездом» или «Соломенная сторожка». Милые чудачковатые взрослые люди сходятся, и расходятся, и сходятся вновь, прекрасные люди, — но разве не оседают в душе, не дают о себе знать все явственней годы, прожитые порознь, хотя безупречная интеллигентность отношений сохранялась всегда? А в жизни семнадцатилетней Верочки возникает не прекраснотушный интеллигент, какие обычно влюблялись в женщин этой семьи, навсегда пленяясь их взбалмошной эмансипированностью, а холодно-расчетливый, невысокого полета прагматик. Все еще будет, конечно, в жизни Верочки. «Полнолуние, полнолуние...». Но так ли легко забудется первый и такой жестокий удар?..

В повести «Дети как дети» — распавшаяся семья, которая никогда не соединится. Вера, одинокая, уставшая женщина, мечтает о море и тишине, и мечта эта почему-то ассоциируется у нее с островом Пасхи. И вот дочери ее Ане, а также мальчишке, начинающему художнику, и — что очень существенно — сыну другой женщины, к которой ушел Анин отец, приходит идея нарисовать на стене в комнате Веры океан, и пальмы, и парус, бегущий за горизонт, — сделать такой подарок ко дню рождения.. Дети как дети, со своей наивной и бессильной мечтой восстановить оборванные человеческие связи... А может, не такой уж бессильной, наивной? Трудно расставшись с безоглядной романтической радостью, дав в удел своим героям реальную, жесткую, а подчас жестокую повседневность, писатель вдруг начинает ощущать, что никуда ему не деться от этого самого романтизма 60-х. Что, обремененный горьким знанием, не раз побежденный и преображенный до того, что с трудом узнается, он, этот романтизм, продолжает жить.

Ох уж этот парус, бегущий за горизонт... Этот маяк, зажженный Романом Самсоновым и осветивший путь кораблям. Это неистребимое «прикажете поднять паруса, капитан?», звучащее в финале «Аргонатов»...

В последней пьесе Эддиса «Набережная» — пятеро одиноких женщин разного возраста, мертвый сезон в курортном городе. Еще одно лето минуло, с возбужденной пляжной толчеей, таинственными южными закатами, увлечениями, опять показавшими себя любовью..

Конец осени или начало зимы, дождь, слякоть, ветер, наглухо закрыто прибрежное кафе, в которое превращен старый парусник «Эспаньола». «Эспаньола» давно на приколе, но еще будет апрель и снова проблеснет солнце — скорей бы, скорей бы...

Писатель ничего не обещает своим героям. Он знает, как могут опустошить душу обещания невыполненные, даже если давались они в доброй уверенности и от чистого сердца, а потом помимо воли обещавшего все слишком переменялось. Но он зовет своих героинь, прекрасных независимо от того, юны они или прячут за темными очками лица, ибо годы не пощадили их, — зовет не терять надежды и мужества. И он, писатель, которого никак не упрекнешь сегодня в идеализме и прекраснодушии, все-таки знает, что может наступить такой миг, когда — посмотрите, только посмотрите внимательней: «„Эспаньола“, снявшись с якорей, медленно и плавно уходит от берега вдаль, за горизонт».

Пьеса «Набережная» рождалась одновременно с «антидраматургическим» «Жизнеописанием» — тем существенней близость, общность некоторых мотивов. Трудный быт сконцентрирован в «Жизнеописании» как никогда прежде у Эддиса. Парализованный дед много лет прикован к постели. Мать бросил муж, а мужа, в свою очередь, та, другая женщина. Мать пыталась начать новую жизнь, но не смогла, не обрела заново счастья. Будни семьи описаны в подробностях и деталях, порою обнаженных и резких. И, однако, общая атмосфера повести, неторопливо, постепенно складывающаяся, вбирая в себя эти детали, не растворяется в них и не подчиняется им. Потому что сегодняшний быт — это не только и не просто сегодняшний быт. Потому что дед воевал достойно и честно и вообще «прожил долгую и не такую уж бесполезную жизнь». А «бабушку было нетрудно представить себе княгиней Волконской или Трубецкой, едущей за мужем-декабристом в бескрайнюю сибирскую ссылку...». Времена соединились, сошлись, нынешний день семьи, наполненный такими изнуряющими заботами, не сам по себе. Есть нечто, дававшее силы, и «эта маленькая, слабая и тихая женщина, теперь уже старуха, теперь уже не жалец на этом свете, всю свою жизнь не только везла на себе дом, хозяйство, стояние в очередях за хлебом насущным, но была сердцем и душой семьи — и даже тогда,

когда семья эта бесповоротно распалась».

А главный виновник того, что семья распалась, — несобранный, легкомысленный отец, он ведь потом очень нелегко жил, но не пусто, не мелко, вовсе не бесполезно, хотя и считал себя неудачником. Только «будь он настоящим, прирожденным неудачником, он непременно завидовал бы баловням судьбы. Отец им не завидовал». В несложившейся, нерадостной жизни и отец и мать так и не научились завидовать и не разучились любить, понимать и прощать. В «Жизнеописании» Эддис очень жесток и трезв, очень добр и лиричен. Едкая ирония возникает только на тех страницах, где речь идет о подруге матери, энергичной и категоричной Регине, которая понимать и прощать как раз не умеет.

По-разному определялось понятие «интеллигент». А может быть, интеллигент — это человек, которого не обезличивает, не унижает быт, сколь бы он ни был густым и трудным. Человек, который в любой самой обыденной обыденности готов исполнить свой долг перед страной и народом, перед семьей, бывшей ли, нынешней. «Доброта, долг и воля — именно из этих черт складывался сильный, иногда даже трудный для домашних характер матери».

Еще в повести сказано: «Вот это «надо» — надо — было заложено в бабушке от рождения, и она делала все то, что надо, так же естественно, тихо и без аффектации, как дышала, ела, пила...». А в финале писатель произнесет подготовленные всем внутренним движением этой (а оглянувшись, добавим: не только этой) вещи и так давно просившиеся на язык слова: «В том смысле, что надо жить». В разное время и в разных обстоятельствах возвращается наша литература к этой, кажется, такой простой мысли, высказанной Чеховым на заре нашего трудного века. Мысли, наверное, на все времена.

Нынешний день — не сам по себе.

От «Аргонавтов» и «Балка» к «Набережной» и «Жизнеописанию» — прямой путь. Но путь этот надо было преодолеть.

...А повесть «Балок», как помним, написана в 1965 году. «...«Клавиша»... «Клавиша», я «Клавиша-2», я «Клавиша-2», хорошо ли меня слышите?...» Будто оттуда, многое потом узнав и поняв, подает нам сигналы негромко и небезоблачно живущий свою жизнь писатель.

Константин ЦЕРБАКОВ.

СУДЬБА ГЕРОЯ И СУДЬБА РОМАНА

Мишель Бютор. Изменение. Ален Роб-Грийе. В лабиринте. Клод Симон. Дороги Фландрии. Натали Саррот. Вы слышите их? Романы. Перевод с французского. М. «Художественная литература». 1983. 671 стр.

Время заставляет не только уточнять оценки, но подчас и менять угол зрения на литературные явления. Если бы изданные ныне под одной обложкой произведения четырех виднейших представителей французского «нового романа» были у нас переведены во времена расцвета этой школы, в конце 50-х годов, то, вероятно, они удивили и озадачили бы необычностью формы, литературной техники. Примерно так восприняла их тогда и французская публика, и реакция была тем острее, что технические приемы «нового романа» носили по видимости разрушительный характер. Важнейшим признаком школы стало широкое использование монтажа и потока сознания: нарушая хронологический порядок событий, проигрывая один за другим разные варианты одного и того же эпизода, смешивая объективное авторское повествование и стенограмму переживаний героя, «новые романисты» создавали в своих книгах зыбкий, призрачный мир, где стирались вплоть до полного исчезновения границы между реальностью и вымыслом. Мир оказывался обескураживающе развещественным, утратившим свою предметность; казалось — особенно если судить по заявлениям самих участников школы, — что пришел конец и литературному герою, который превращается в пустую фикцию, и самому роману как таковому, из которого изгоняется какое-либо человечески значимое содержание. Однако теперь, четверть века спустя, мы не можем не смотреть на искания «нового романа» иными глазами. Броские технические эффекты этой школы — кстати, по большей части изобретенные задолго до ее возникновения — ныне хорошо знакомы нашему читателю по другим книгам, авторы которых (У. Фолкнер, К. Фуэнтес, Г. Гарсия Маркес, М. Фриш...) используют эти приемы, как правило, вне прямой зависимости от экспериментов Бютора или Роб-Грийе; да и опыт ряда советских писателей, по-своему обращающихся к подобным средствам, лишний раз подтверждает, что литературная техника сама по себе ничего не значит и может применяться в различных целях. С другой стороны, и сам французский «новый роман», как отмечает во вступительной статье к вышедшему ныне сборнику Л. Андреев, «не подтвердил свою собственную заявку на бессодержательность»;

пришло поэтому время задуматься и о конструктивном вкладе этой школы в развитие современной литературы.

Вековая традиция приучила нас искать в истории литературного героя прежде всего нравственное содержание. Однако этический поступок (добрый или злой, нравственный или безнравственный) принципиально невозможен в развещественном, подчеркнуто нереальном мире «нового романа». Для поступка необходимо, чтобы мир обладал некой плотностью, необходимо сопротивление среды; если же и вещи и люди, окружающие героя, явно фиктивны, то герою еще доступны по отношению к ним условные, этикетные жесты, доступны подсознательные влечения и страхи, но подлинное деяние для него закрыто. Оттого и сам герой опасно развеществляется: при отсутствии с его стороны значимых поступков нельзя сделать вывод о том нравственном стержне его личности, который называется характером. В этом состоит наиболее рискованный из эстетических экспериментов «нового романа». Спрашивается: если отнять у литературного героя поступки, характер, останется от него что-нибудь или нет?

Оказывается, останется. При устранении, вынесении за скобки всех сколько-нибудь значительных связей героя с окружающим его миром сохраняется и даже обнажается, делается очевидной та пуповина, которая изначально соединяет его с автором романа, выявляется их взаимное стремление друг к другу.

Проблема эта отнюдь не чисто эстетическая; она рождена, с одной стороны, логикой духовного развития Запада второй половины XX века, а с другой стороны, национальной спецификой французской литературы. «Новый роман» стал одной из форм реакции искусства на феномен массового, одномерного человека, одной из попыток сделать такого человека объектом художественного исследования. Попытка заключала в себе внутреннее противоречие: можно ли выпукло, рельефно изобразить то, что по самой своей сути предельно стерто, лишено личной характеристики и самостоятельности? Для русской литературы в подобной ситуации, видимо, было бы естественно стремление вскрыть глубинную неоднородность героя, показать его неразрывные (или, наоборот, трагически разор-

ванные, но уже тем самым значимые) связи с жизнью своего народа, с движением истории. Во Франции же существует давняя, идущая по крайней мере от Флобера традиция принимать одномерность, ограниченность мелкобуржуазного героя как данность и воссоздавая ее как таковую. Работая с таким героем, писатель вынужден как бы преодолевать его повседневную инертность, искусственно наделять его той духовной энергией, которую не удастся найти в его слишком несамостоятельном бытии. К подобной операции часто прибегают втихомолку посредственные писатели, пытаются придать видимость жизненности надуманному, схематичному герою; но в «новом романе» схематичность и фиктивность героя намеренны, поэтому автор сознательно и прямо заявляет о своем присутствии в книге, открыто и серьезно берет на себя ответственность за судьбу героя.

«Изменение» Мишеля Бютора (1957) — единственный из четырех романов сборника, публиковавшийся ранее в русском переводе (в 1970 году в «Иностранной литературе»). Герой его Леон Дельмон собирается расстаться с женой Анриеттой ради любимой им Сесиль, однако по ходу поездки из Парижа в Рим, которую он должен для этого совершить, он понимает, что подобный поступок ему не по силам. Мешают не конкретные человеческие мотивы: привязанность к старой семье, чувство долга, требования общественной морали, — а какие-то не сразу уловимые причины символического порядка. Сесиль, оказываясь, неотделима от Рима, где она живет, и, переселившись в Париж, она в сознании Дельмона займет место Анриетты и быстро утратит все свое очарование. Символика романа выражает несамостоятельность сознания массового человека, ощущающего себя во власти чуждых сил. В развеществленном мире, где хаотически перемешаны эпизоды разных поездок Дельмона в Рим и обратно — настоящей, прошлых, будущих, несостоявшихся, — само невещественное пространство приобретает кривизну и властно действует на героя: ordinaria поездка в вагоне третьего класса принимает мрачный мифологический смысл путешествия в загробное царство, а сетка железнодорожного расписания становится силовым полем, попав в которое человек не может сделать ни шагу по своей воле. Горестное осознание героем этой невозможности поступка, «изменения» и есть итог романного сюжета.

Но изменение все-таки произошло —

именно благодаря осознанию. В пути герою попадает книжка, он не читает ее, не может даже вспомнить автора и название и, лишь выходя из купе, кладет ее на сиденье в знак того, что место занято. Книга замещает собой человека. Эта знаменательная деталь обретает свой полный смысл в финале, когда Дельмон, отчаявшись что-либо изменить в своей реальной жизни, приходит к мысли написать книгу об этой жизни: безымянная книжка, купленная в вокзальном киоске, в символике романа означает самое историю Леона Дельмона, написанную заранее. В образе книги сам автор заботливо сопровождает героя; это подсказка герою, что ему делать, рука, протянутая ему, чтобы помочь вырваться из-под чуждой власти. Причем это именно рука, протянутая человеку, а не рука кукольника, управляющая марионеткой: ведь марионетка способна возвыситься до осознания своего положения.

Однако и духовному возвышению героя в романе положен свой предел. Оно выливается в чисто символический акт создания книги (то есть превращения героя в автора), но не в прямые жизненные поступки, хотя один поступок, казалось бы, напрашивался по самой логике сюжета: Дельмон мог бы по крайней мере честно объясниться с женщиной, которую любит (действительно любит!) и к которой он в конце концов приехал. Но закон «нового романа» — не допускать нравственного общения героя с другим конкретным человеком; и потому Дельмон, уклоняясь от совсем близкой встречи с Сесиль, запирается в гостинице, чтобы там в одиночестве писать свою Книгу.

Характерный стилистический прием Алена Роб-Грийе (в сборник включен его роман 1959 года «В лабиринте») получил название шозизм — от слова chose (вещь); служит он, однако, для того, чтобы отнять у изображаемого мира всякую вещественность. Роб-Грийе описывает предметы настолько детально и геометрически точно, что становится ясно: это не реальные вещи, всегда воспринимаемые по общему впечатлению, по нескольким ярким признакам, это вещи выдуманные, точнее выдумываемые по ходу их описания. Призрачность мира и персонажей усугубляется игрой замкнутым и открытым пространством: благодаря монтажу сходных, отражающих друг друга «кадров» герой может, например, выглянуть из окна здания и увидеть самого себя, стучащегося в дверь... Но сквозь такую намеренную путаницу достаточно отчетливо проступает сюжетное дви-

жение. Есть два главных лица: во-первых, «я» — автор, который сидит «в безопасности» в плотно закрытой комнате и сочиняет роман; во-вторых, герой книги, солдат, который бродит по лабиринту заснеженных улиц города. Солдат кого-то ищет — он не знает толком кого, — чтобы передать ему какие-то важные личные документы, не ясно какие. Но не потому ли цель поисков солдата так затемнена автором, что цель эта — сам автор, его Комната, единственное «закрытое пространство» романа, куда солдат (это специально оговорено в тексте) не может попасть? Герой, стало быть, стремится воссоединиться, слиться со своим автором, и этого оказывается достаточно, чтобы вызвать сочувствие к его размытой, лишенной индивидуального характера фигуре, чтобы смерть солдата оставила горькое чувство у читателя. Именно такого парадоксального результата и добивался Роб-Грийе — заставить сопереживать подчеркнуто фиктивному герою.

Исторический фон романа Клода Симона «Дороги Фландрии» (1960) — разгром французской армии в 1940 году, во второй мировой войне; война, однако, не является здесь самостоятельным объектом изображения. Обстановка военной катастрофы, так же как и приемы монтажа и потока сознания, с помощью которых она передана в книге, нужна для того, чтобы лишить прочности и определенности окружающий героя мир, лишить героя точки опоры в нем. Но герой романа Жорж по-своему сопротивляется хаосу. Пережив гибель своей части и томясь в немецком плену, он воссоздает целый мир в воображении. По немногим личным впечатлениям и по отрывочным и сомнительным чужим рассказам он сочиняет тщательно разработанные истории о своем командире и дальнем родственнике капитане де Рейшаке, погибшем у него на глазах на Фландрской дороге, о странном самоубийстве их общего предка, генерала Французской революции, и особенно о жене де Рейшака, распутной красавице Коринне. Он создает мир из ничего, из хаоса, соперничая с самим автором романа; но он все-таки герой, а не автор, и поэтому не может ограничиться одним воображением: подобно мифическому Пигмалиону, его физически влечет к женщине, которая, по сути, им вымышлена. Жоржа интересует не реальная Коринна, а лишь условная фигура, порожденная его фантазией; поэтому когда после окончания войны он находит вдову капитана де Рейшака и действительно добивается обладания ею, то в конечном итоге

вызывает у нее гнев и отвращение: она ощутила бесчеловечность его страсти. Герой романа пытается одиночно присвоить себе мир, и крах такой попытки закономерен: нельзя присвоить себе то, что сотворено твоим же воображением, прозрачный предмет желания ускользает из рук, не позволяя себя схватить.

Видимое содержание романа Натали Саррот «Вы слышите их?» (1972) — психологический конфликт в семье: дети-подростки отказываются признавать авторитет отца, изводят его своими выходками. Но книга Саррот не просто роман, а «новый роман» с развещественным миром; здесь регистрируются лишь элементарные психологические реакции (так называемые тропизмы) и без конца повторяются с небольшими вариациями одни и те же эпизоды. Оттого внимание читателя переключается с реальных персонажей и поступков, которых он практически и не видит, на символику, осмысляемую в рамках какого-то странного культа. Отец семейства держит в доме божка, тотем — древнюю звериную статуэтку, и бунтарство детей выражается в систематическом поругании этой святыни. Юные вольнодумцы громко — кощунственно! — смеются, когда отец благоговейно демонстрирует «каменную зверюгу» своему гостю; они напяливают на идола дурацкий ошейник, утаскивают к себе в комнату и оскверняют, используя как подставку для пепельницы. Эта домашняя возня показана, однако, вовсе не комически и заканчивается печально: уступив детям, отец расстаётся со статуэткой, передает ее в музей — и вслед за тем умирает...

Непритязательная «каменная зверюга», как выясняется, таила в себе поистине магическую силу — от нее зависит жизнь и смерть героя романа. Но по реальной своей сути эта сила не имеет отношения к магии или религии. Статуэтка здесь подобна Книге у Бютора или Комнате у Роб-Грийе: это символический питательный элемент романа, ступок энергии, благодаря которой живет герой. (Характерно, что речь идет именно о произведении искусства — скульптуре; точно так же в романе Саррот «Золотые плоды», изданном у нас в 1969 году, подобную роль играла — вполне в духе бюторовского «Изменения» — книга, вокруг которой вращались судьбы всех персонажей.) Главная драма разыгрывается не между отцом и детьми, а как всегда в «новом романе», между автором и героем: герой цепляется за авторскую дотацию, пытается превратить ее в свое постоянное достояние, в недвижимое имуще-

ство. Но автор-то знает, что ничего неподвижного в романе (как, впрочем, и в жизни) нет, что для развития сюжета нужно движение, и это движение может состоять только в отнятии у героя живительной авторской поддержки; этому закону автор следует, хотя и грустит о судьбе героя, грустит даже больше, чем дети-бунтари, достаточно легко пережившие потерю отца. Нравственный итог романа противоречив: теплотой и человечностью наполняются отношения автора с героем, в отношениях же персонажей между собой сохраняется отчужденность и некоммуникабельность.

У Гёте во второй части «Фауста» есть причудливый персонаж — Гомункул. Этот искусственный человек, выращенный в колбе трудолюбивым алхимиком, своего рода меньший брат Фауста, ему тоже присуща неудовлетворенность, стремление к истине и красоте. Но его духовное горение ограничено стенками колбы, и стоит колбе разбиться, как обитатель ее гибнет. Сходная судьба постигает и героя во французском «новом романе»: он смутно стремится к воссоединению со своим создателем — автором, пытается противостоять зыбкости окружающего мира, не догадываясь, что и он сам — эфемерный продукт лабораторного опыта. Важно, однако, что неуспокоенность героя заставляет его сочувствовать, и, отчужденный от мира, он сохраняет родство с автором и читателем романа. В этом отличие школы «нового романа» от ее предшественников на пути развеществления романного мира. Предшественники были, их влияние сказывается и в общей тенденции, и в конкретных художественных приемах. Например, мифологизация быта у Бютора или поток сознания у Симона, несомненно, берут начало в творчестве Джеймса Джойса; в блужданиях героя Роб-Грийе по заснеженному улицам в попытке проникнуть в недостижимую обитель Хозяина можно усмотреть реминисценцию из романа Франца Кафки «Замок»; Натали Саррот не скрывает связь своей теории тропизмов со сверхдетализированным психологизмом Марселя Пруста. Оригинальная и привлекательная черта лучших образцов «нового романа» (а в вышедшей ныне книге собраны, безусловно,

лучшие его образцы) состоит, однако, в том, что хотя мир подчеркнуто фиктивен, а из героя многое вылущено, и именно то, что вызывает сочувствие к человеку в реальной жизни, в романе все же парадоксальным образом сохраняется гуманистическая теплота сопереживания автора своему герою.

Не стоит, конечно, преувеличивать этот момент. Гуманизм «новых романистов» — гуманизм ограниченный, чисто лабораторный; нравственно значимый поступок так и остается для героя недоступным. Оттого и судьба «нового романа» оказалась противоречивой.

С одной стороны, опыт школы получил отклик и за ее пределами. Не случайно эксперименты с «оживлением» подчеркнуто фиктивного героя появились в 60-е годы в творчестве столь далекого от «нового романа» художника, как Луи Арагон; не случайно приемы развеществления мира были подхвачены и рядом французских писателей, выдвинувшихся в 70-е годы, однако у них фиктивность и бесплотность мира полемически опровергается, мир и поступки героя наполняются нравственным (а у Арагона и социально-историческим) смыслом. С другой стороны, в позднем творчестве некоторых из участников школы (например, у Роб-Грийе) и особенно у их последователей из течения так называемого «нового нового романа» оказалась утрачена живая связь автора с героем, сочувственное внимание к нему, и в результате художественная литература стала превращаться в любопытную и даже поучительную, но в целом уже внехудожественную интеллектуальную игру. «Новый роман», сошлемся еще раз на статью Л. Андреева, «дал ответ на один из самых важных и острых вопросов литературы — на вопрос о природе и границах обновления жанра романа». Испытание на прочность героя оказалось и испытанием жанра, и роман оставался (и остается) романом до тех пор, пока сохраняется любовь автора к своему герою — даже в таком предельном случае, как любовь алхимика к человеку из колбы.

С. ЗЕНКИН.



Политика и наука

ВОЗДУХ ТЕХ ЛЕТ...

Революционерки России. Воспоминания и очерки о революционной деятельности российских большевичек. Составители Ц. Зорина, А. Нухрат, А. Харькова. М. «Советская Россия». 1983. 288 стр.

— **В**оздух тех лет!.. Помню даже интонацию, в которую был окрашен этот возглас Мариэтты Сергеевны Шагинян. Мне посчастливилось долгие годы встречаться с ней, быть редактором ее публикаций, в том числе последней, главной книги «Человек и время», и именно на ее страницах вернулась писательница к мысли, столь лапидарно выраженной при разговоре о нравственной атмосфере, окружавшей ветеранов партии.

«Воздух тех лет! Кто дышал им — а их так мало осталось, все меньше и меньше, годы уносят их, а с ними уходит и память, которую нельзя наследовать, нельзя передать в наследство непередаваемую общественную атмосферу для дыхания. Мы научились сохранять энергию Солнца, сохранять энергию падающей воды, но энергию той простоты, чистоты воздуха, которым дышали старые большевики, — как, в каких сложных аппаратах сохранить ее для потомков?»

Многое неуловимое, что не поддается фиксации, разумеется, уйдет, растворится во времени. И все же, все же...

Рассказы очевидцев, воспоминания о прожитом, даже упоминание самих имен соратников Ленина доносят до нас удивительную чистоту и высокую требовательность нравственных законов, по которым жили и боролись большевики, — бесценное наследие, завещанное ими будущим поколениям, продолжателям их дела. Обращаясь к мемуарной литературе, воссоздающей героическое время, почти физически ощущаешь дуновение тех лет, высокую духовность как главное определяющее свойство ленинской гвардии. Величавая душевная самосознанность, свойственная большевикам-подпольщикам, сопутствовала им во всех сферах жизни: в быту, в общении с товарищами, в тюрьмах, перед лицом смертельной опасности.

Десятилетиями формировались в практике революционной борьбы нравственные законы, определявшие сознание коммуниста, смысл, назначение человека, формировалась та поражающая весь мир стойкая убежденность, что позволила кучке революционеров подняться некогда на штурм мощнейшей крепости российского самодер-

жавия и через все адские испытания подполья прийти к победе Октября.

Мемуарной литературы, повествующей об этом явлении — сплавле чуда и исторической закономерности, — немало. Но каждая новая книга с воспоминаниями, ранее не публиковавшимися, привлекает особенно пристальное внимание. Еще бы: новые факты, новые имена, дополняющие летопись Великого Октября! «Революционерки России» органично вписываются в эту летопись.

Сравнивая рецензируемую книгу с другими, посвященными воспоминаниям участниц революционного движения, обнаруживаешь удивительную схожесть их биографий-анкет. Не изначальную, а возникающую лишь на переломном этапе жизни — вступлении на путь революционной борьбы. Краткие сведения (однозначные и вместе с тем удивительно емкие), заключающие, как правило, подобные сборники, позволяют представить не только прошлое авторов воспоминаний, но и, подобно волшебному магическому кристаллу, дают возможность заглянуть в их будущее. Мне кажется, читателю таких сборников надо начинать знакомство с его авторами вот с этих анкеток, вызывающих желание тотчас же узнать подробнее, обстоятельнее, в деталях о пути, пройденном старшим поколением.

Заглянем в завершающие страницы сборника «Революционерки России».

Евгения Николаевна Адамович — участница трех революций, член КПСС с 1898 года. В послужном списке подпольщицы — тюремные заключения, ссылки. Член и секретарь подпольного Екатеринославского комитета РСДРП. Вместе с Марией Ильиничной Ульяновой работала в 1905—1912 годах в Петербурге в Василеостровском райкоме партии...

Прасковья Иннокентьевна Гедымин-Тюдешева. В ссылке и на каторге пробыла девять лет. Участница Октябрьской революции, боролась за установление советской власти в Иркутске. Делегат I и II Всесибирских съездов Советов...

Анна Николаевна Бычкова — участница подполья на Урале. В партию большевиков вступила в 1906 году. Спустя год осужде-

на к ссылке на вечное поселение в Сибирь. Бежала оттуда через четыре года. Участница Октябрьской революции. Герой Социалистического Труда...

Елизавета Алексеевна Васильева. В партию вступила в том же году, что и Бычкова. Схоже и все дальнейшее, хотя работали в разных концах России, — аресты, тюрьмы, ссылка на вечное поселение в Сибирь, побег...

А теперь обратимся к самим воспоминаниям и очеркам, раскрывающим подтекст сухих анкетных данных. Обретя живое дыхание времени, эти рассказы ведут нас к истокам зарождения партии. Сборник — его открывают воспоминания Крупской и Землячки о II съезде РСДРП — погружает читателя в нравственную атмосферу большевистского подполья с его суровыми буднями, безоглядной преданностью делу революции, в атмосферу, сообщающую наиболее высокий и полный смысл таким понятиям, как любовь и ненависть, мужество и честь, долг и совесть. Веками эти понятия связывались прекраснотдушными моралистами лишь с верованиями в силу слова, силу одних проповедей, якобы могущих изменить отношения между людьми. Разрушая бесплодные утопические идеи нравственного усовершенствования, ленинская гвардия вела борьбу за коммунистическую нравственность, неотъемлемую от революционной борьбы за социализм.

Знакомство с судьбами революционеров позволяет читателю осознать некое поразительное явление: стремительный духовный рост тех, кто приходил в революцию буквально из тьмы невежества. Для них срок прозрения был неподвластен обычным временным мерилам, действовала своя методология прохождения университетского курса революционного просвещения. Причем все это в условиях строгой конспирации, неусыпного полицейского надзора, вечных скитаний, арестов, ссылок.

...Тихий городок на Полтавщине. В нем бакалейщица Анютка, худенькая, маленькая, затюканная хозяйками прислуга. Первая случайная встреча ее с революционеркой. Ночная беседа, первая прочитанная книжка, малый проблеск — лучик света, забрезживший в темном сознании, и вдруг подобно потоку хлынувшая жажда знаний, деятельности, борьбы.

Как удавалось подпольным пропагандистам проникать в души людей, далеких от революционного движения, с молодых ногтей верящих в неизбежность каторжного труда, в справедливость деления мира на богатых и бедных, в судьбу-злодейку? Как

удавалось поднимать их до уровня сознательных борцов революции? Воздух тех лет...

Прислуга, прачка, а вскоре активная участница революционного подполья, усваивавшая одновременно и практику и теорию революционной борьбы, Анна Славинская — Анютка — с помощью товарищей по подполью проходит курс лекций по экономике, истории, литературе, изучает труды Маркса, Ленина и становится одним из опытных и образованных пропагандистов-подпольщиков. После 1917 года Славинская — участница гренадерской войны, а в годы мирного строительства — на ответственной партийной работе (об этом в очерке З. Серебрянского «Прачка Анна»).

Другая биография. Деревенская девушка, всего-то образования — церковноприходская школа. Шестнадцатилетней вместе с отцом вышла она, став заводской работницей, на первую рабочую демонстрацию. Знакомство с большевиками, о которых П. Замогиляная напишет в сборнике, вспоминая свой путь в революцию: «Им обязана я всей своей сознательной жизнью; от них узнала я настоящую большевистскую правду; под их влиянием... вступила в ряды партии большевиков». В 30-е годы П. Замогиляная приказом Серго Орджоникидзе была назначена директором «Станкопрома».

Многие из авторов воспоминаний могут повторить слова Анны Славинской, обращенные ею к своим коллегам-рабочим и работницам швейной фабрики: «Мы были малограмотными и неграмотными, но с энергией и отвагой взялись за коренную переделку общества...»

При чтении книги возникает естественное желание обратить внимание читателя и на другие столь же удивительные судьбы революционерок: К. Чудиновой (член КПСС с 1914 года), рассказавшей о встречах с Владимиром Ильичем Лениным; Софьи Гончарской (очерк Г. Вайса) — участницы революционных событий 1905 года, одной из первых женщин-депутаток Петроградского Совета; Августы Бердниковой (очерк Н. Макаровой «Товарищ Елена») — активной участницы большевистского подполья в Сибири при Колчаке, прошедшей боевой путь с 5-й армией от Иркутска до Владивостока. Но это слишком расширило бы рамки журнальной рецензии. Вернусь к подпольным университетам.

Действовали они всюду, в том числе и в самых глухих уголках России, куда забрасывала революционеров неустанно «пекущаяся» о них царская жандармерия. Выпе

я говорила об удивительном свойстве таких вот университетов — стремительном духовном росте их слушателей. А теперь обратимся к учителям. Это была, как правило, наиболее образованная, передовая часть интеллигенции, сменившая без колебаний обеспеченное существование на лишения и опасности, интеллигенция, для которой целью, смыслом жизни становилась борьба за установление на земле мира, братства, равенства, справедливости, борьба за свободу трудового человека.

Само собой предполагалось, что подпольщики-революционеры, за плечами которых были гимназии, университеты, знание теорий классовых битв, обязаны были делиться своим духовным богатством с товарищами по борьбе. Так происходил поразительный по результатам перелив духовной культуры и нравственного сознания.

Занятия велись непрерывно — на этапах, в ссылке, на конспиративных квартирах, всюду... «И в тюрьме мы не теряли ни одной минуты,— пишет в своих воспоминаниях К. Чудинова,— сестры Додоновы читали нам лекции по истории партии и рабочего движения, Маша Черняк — по философии. Старшие товарищи учили нас тактике борьбы. Мы много спорили о партийной морали и партийной этике...»

Задержимся на последней фразе.

Именно в те года глухие в глубоком подполье в ожесточенных дискуссиях, принципиальных спорах рождалась истина, коммунистическая мораль и этика. Надежда Константиновна Крупская в статье «Второй съезд», включенной в рецензируемый сборник, приводит на этот счет выразительный отрывок из ленинской книги «Шаг вперед, два шага назад». «Не могу не вспомнить по этому поводу,— писал Ленин,— одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов «центра». «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде,— жаловался он мне.— Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика, это нетоварищеское отношение...» «Какая прекрасная вещь — наш съезд! — отвечал я ему. — Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы намечались. Ру-

ки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь». Надежда Константиновна заключает диалог восклицанием: «В этой цитате весь Ильич».

Вдумаемся в сказанное: почему в этом немногословном ответе Ленина «товарищу из центра», по мнению Надежды Константиновны, «весь Ильич»? Не потому ли, что в его словах заключен один из важнейших диалектических принципов марксизма, без чего немислимо развитие общества? Напоминать об этом, учить не бояться противоборства мнений в достижении истины Ленин не уставал и в годы борьбы за создание большевистской партии, и в трудный послеоктябрьский период. Причем не только в случаях, касавшихся проблем такого масштаба, как полемика на II съезде, но и по поводу, казалось бы, будничному. Вспомним, какой великолепный предметный урок дал Ленин Осинскому в ответ на его жалобу о невозможности работать из-за склок, споров: «Вы сделали ошибку, настаивая на удалении Муралова, видя «интригу» там, где ее не было ни капли. Но чтобы вести такой наркомат, как Наркомзем, в таких дьявольски трудных условиях, надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей».

Воздух тех лет! Сколько бы десятилетий ни отделяло нас от того времени, неизбежными остаются нравственные законы, по которым жила и боролась ленинская гвардия. И самое дорогое, что доносят до нас рассказы ветеранов революции о былом, что не подвластно времени, не растворится в нем и всегда будет оставаться нормой, точкой отсчета, мерилом для поведения, отношения к жизни, труду, к товарищам,— высокая моральная чистота устремлений, глубокая человечность этических принципов первых большевиков. Именно этим дороги нам воспоминания ветеранов партии, в том числе авторов рецензируемого сборника, показавшего огромную роль женщин в революционном преобразовании России.

В. ЕЛИСЕЕВА.



НАЙДЕНА ЛИ АТЛАНТИДА?

А. Г. Галанопулос, Э. Бэкон. Атлантида. За легендой — истина. Перевод с английского. М. «Наука». 1983. 180 стр.

Атлантиду можно с полным правом назвать «летучим голландцем» истории. Летучим и неуловимым. Где только не ис-

кали ее! В Саргассовом море — предположительно, что водоросли в нем не что иное, как следы растительности якобы существовав-

шего здесь огромного острова. В восточной части Атлантики — после того как была выдвинута гипотеза, согласно которой восточная часть дна Атлантического океана имеет материковую структуру. В Швеции, Палестине, в море между Ирландией и Британией, в северо-западной Франции и Северном Ледовитом океане, в Центральной Азии и Нигерии, в Тунисе, Испании... (Думается, сам этот перечень своим ойкуменическим размахом не может не поразить воображение дилетантов атлантологии, наивно полагающих, что поиски могут вестись только в районе древнейших цивилизаций Южного полушария.) «Все эти теории,— заключают авторы новой книги об Атлантиде сейсмолог А. Галанопулос и археолог Э. Бэкон, давая подробный разбор каждой гипотезы,— страдают одним серьезным недостатком: у них не хватает геологических свидетельств о внезапном погружении суши в избранный ими месте, которое привело к катастрофическим последствиям».

В «отрицающей» части книги авторская позиция весьма убедительна. Это вообще в традициях атлантологии: аргументация ошибочности взглядов противной стороны почти всегда убедительнее новой точки зрения. Правда, на то есть и объективные причины: слишком уж сложны для толкования сами исходные данные — сведения об Атлантиде, заключенные в текстах Платона, которыми так или иначе оперируют все, кто о ней пишет.

Дело в том, что справиться с «вызовом» Платона прямым путем невозможно. Ведь если следовать хронологическим указаниям Платона, то необходимо признать существование высокой цивилизации, умевшей плавить металл, водить морские корабли, воздвигать циклопические крепости и имевшей сложную и тщательно продуманную государственную систему за десять тысячелетий до нашей эры, то есть во времена каменного века. В платоновском описании Атлантиды есть и другие не менее головоломные загадки: остров опустился в пучину вод в результате геологической катастрофы почти мгновенно — «за один день и одну ночь»; размеры метрополии Атлантиды — «Царского города» — достаточно велики (около 500 километров в диаметре), расположена она по ту сторону Геркулесовых столбов (которыми, как традиционно считается, древние греки называли Гибралтар), то есть в Атлантическом океане. Между тем ничего похожего на платоновский остров в Атлантике, несмотря на многолетние поиски энтузиастов, обнаружено не было.

Иными словами, «режиссеры», бравшиеся вынести на подмостки истории «пьесу» древнего мудреца об исчезнувшей цивилизации, не смогли справиться с классическим триединством места, времени и действия, заложенным в первооснову сюжета.

Авторы рецензируемой книги, если продолжить театральную аналогию, применили принцип современного прочтения старинной пьесы, и прочтение это оказалось настолько остроумным и убеждающим, что его, пожалуй, следует считать наиболее удачным в длинном ряду предшествующих трактовок. «Решение загадки оказалось таким же простым, как и ошибка, создавшая ее. История Атлантиды,— делают вывод авторы,— в изложении Платона совершенно правильна со всех точек зрения за исключением даты погружения в море Древней метрополии, которое произошло за 900, а не за 9000 лет до Солона («мудрейший из семи мудрецов»), сообщение которого об Атлантиде, собственно, и пересказал Платон в своих диалогах «Тимей» и «Критий». — В. А.), и размеров равнины Царского города, которые равнялись 300×200 стадий, а не 3000×2000, как сказано у Платона. Напрашивается вывод, что ошибочный фактор десятикратного увеличения вкрался при переписке египетских источников».

Вторая поправка авторов — по месту действия. Галанопулос и Бэкон пересматривают традицию считать Геркулесовыми столбами Гибралтар, приводя доказательства правоты другого взгляда: по мнению авторов, во времена Платона Геркулесовыми столбами обозначали место к югу от Пелопоннеса, то есть в Эгейском море. Именно там на острове Санторин (другое название — Стронги-ле) более двадцати лет назад под слоем вулканического пепла и пемзы, достигавшим двадцатиметровой толщины, были обнаружены остатки погибшего в результате вулканического извержения города бронзового века. «Около 1500 года до нашей эры,— пишут Галанопулос и Бэкон,— круглый остров в Эгейском море, тесно связанный, как теперь известно, с минойской цивилизацией, а именно Стронгиале-Санторин, опустился в море после гигантского извержения, вызвавшего колоссальные волны, которые опустошили минойский Крит, господствующую морскую державу, имевшую связи с Египтом и Афинами, после чего Минойская империя уже не смогла оправиться». Следы неожиданной природной катастрофы, разрушившей легендарный Лабиринт на Крите, неоспоримы. Первоначальные размеры Санторина точно совпадают с десятикратно уменьшенными размерами платоновской Ат-

ландиды. Время извержения санторинского вулкана согласно геологическим исследованиям — это время «за 900 лет до Солона», то есть десятикратная поправка текста Платона верна и в хронологии. Еще один факт-совпадение: по описанию Платона остров атлантов был идеально круглых очертаний — Санторин до извержения, по данным Галанопулоса, собранным им еще до раскопок города, имел столь же правильную форму. Словом, утверждают авторы, именно платоновская, а не мифическая Атлантида существовала и найдена.

Санторинская гипотеза оказалась настолько убедительной почти с самого начала ее разработки, что в 1960 году после официального доклада А. Галанопулоса Афинская академия объявила о «закрытии» темы Атлантиды. В последующие десятилетия появились новые, уточненные данные по Санторияну, многие из которых — результат труда авторов рецензируемой книги.

А теперь вслед за авторами предположим, что все их доказательства безупречны и могут считаться истиной в последней инстанции. Но... зачем нам такая понятная и отнюдь не сенсационная Атлантида? Она как бы перестает быть Атлантидой. Возникает чувство некоего сожаления, неудовлетворенности, что вполне объяснимо психологически. С другой стороны, разве так незначительно открытие на Санторине само по себе, чтобы ставить его на котурны легенд?

Авторы отвечают и на эти вопросы. «Воображение восторженных энтузиастов, — пишут они, — наделило обитателей Атлантиды исключительными телесными и духов-

ными качествами, а их государство — необычайным политическим могуществом. Атланты для них — славный зенит, с которого мы скатились в надир нашего сегодняшнего ничтожества... Век атлантов был золотым веком человечества. И под грузом всех этих теорий Атлантида погрузилась в пучину легенд еще глубже, чем якобы мифическая Атлантида Платона в море». В этом одна из главных идей книги; авторы по-своему убедительно доказывают, что сообщение Платона основывалось на реальном факте, легендарным же оно стало именно благодаря восторженным энтузиастам, по милости которых историческое событие как бы перестало быть таковым в глазах серьезной науки.

С верой авторов можно спорить, как и с приводимыми ими доказательствами. И это великолепно продемонстрировано послесловием к книге, написанным советским исследователем древних культур Г. Кошеленко. (Кстати, на мой взгляд, оно представляет самостоятельный интерес и достойно развертывания в полновесную популярную книгу.) Но то же послесловие говорит и другое: «...видимо, следует признать, что у нас, историков, есть основания рассматривать рассказ Платона об Атлантиде (разумеется, в «очищенном виде») как еще один источник по истории Греции таинственного II тысячелетия. Мне кажется, что самое ценное в работе Э. Бэкона и А. Галанопулоса именно это».

Не согласиться с этим выводом трудно. Иногда мечту надо спасать от мечтателей, а мечтателей — от одержимости мечтой.

В. ЛЕВИН.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ. Только две недели. Повести. М. «Советский писатель». 1982. 296 стр.

Атмосфера этой книги заставляет вспомнить статьи Леонида Жуховицкого — публициста, а также его роман «Остановиться, оглянуться...». Как и в ранних вещах, в новой книге писатель обнаруживает остро чувство социального чутья, верно улавливая социально-нравственные тенденции сегодняшней жизни.

Он говорит о духовном начале в каждом из нас, о душевной щедрости, доброте, моральной ответственности людей за свои поступки. Наиболее полно сегодняшние нравственные искания автора выразились в повести «Чужой вагон». Ее читатель знакомится с интересным характером нашей современницы.

Многолетнее дружеское общение, заинтересованное внимание связывают повествователя с Леной, героиней повести. Именно это общение позволяет ему как бы слой за слоем выявить уровни характера героини, который отбрасывает свет и на исторические обстоятельства, сформировавшие его. Лена — натура сильная, творческая. Она создает себя как личность, оказываясь на нравственном перепутье, в целом характерном для сегодняшней женщины. С одной стороны, ей важно сохранить внутреннюю независимость, с другой — обрести домашний очаг, те крепкие семейные связи, что как раз и чреватые зависимостью.

Многолетняя дружба с Еленой, отсутствие «лирической заинтересованности» помогают герою-повествователю увидеть в ней черты, я бы даже сказала, мужские: твердость духа, упорство, обостренное чувство ответственности за собственные поступки и судьбу окружающих.

По контрасту с этими качествами героини особенно заметны нравственная трусость, беспринципность тех мужчин, с которыми ее связывали любовные отношения. В таком противопоставлении виден социологический интерес Жуховицкого-прозаика к комплексу проблем и процессов, обозначаемых обычно как эмансипация женщин или мужская феминизация.

Лена в большей степени, чем героини остальных повестей, обнаруживает себя через радикальный поступок. И уход из театра, и разрыв с человеком, унижившим ее достоинство, и упорство в овладении новой профессией — во всем этом проявляется

стремление к духовной свободе, нравственной самостоятельности. Но при таком стремлении (оно отличает и других героинь писателя) Лена изначально добра и как раз добротой привязывает к себе окружающих. Соприкасаясь с Леной, и герой-повествователь становится добрее, терпимее, отказывается от слишком категоричных суждений.

Несмотря на отсутствие в «Чужом вагоне» собственно любовной интриги, здесь воплощен сюжетный принцип, общий для собранных в книге повестей, — женщина нравственно главенствует в дуэте с мужчиной.

Героини Жуховицкого активно «вяжут структуру» собственной жизни. Для Зои из повести, давшей название книге, главным нравственным испытанием стала ее любовь к Федору. Поняв, что любимый не способен оценить ее чувство, а главное, не готов к ответственности за двоих, она расстается с ним. И читатель не может не почувствовать внутреннюю цельность героини, ее нежелание идти на нравственные компромиссы.

В повести «Колький ключ» героиня другая. Но роднит ее с Леной и Зоей ощущение независимости, душевная щедрость, искренность. И в мечтах Раисы построить дом «для тех, кто стар и одинок», и в отношении к Николаю Пермякову, человеку со сложным, изломанным характером, видится широта души, умение понимать и поддерживать других.

Размышлениями о судьбе и характере современной женщины, разумеется, не ограничивается круг проблем книги. Но именно они, переходя из повести в повесть, с наибольшей полнотой позволяют судить о том, как преломляются в прозе писателя социально-нравственные тенденции сегодняшней жизни.

Три из четырех повестей книги имеют открытый финал. Здесь можно усмотреть прием, с помощью которого автор стремится вовлечь читателя в круг своих размышлений, приобщить к духовному миру героев. Такая сюжетно-психологическая особенность вместе с естественной, раскованной интонацией и точно увиденными деталями сегодняшнего быта создает ощущение неподдельной современности прозы Леонида Жуховицкого.

Н. Беккерман.



М. М. МОРОЗОВ. Стихи разных лет. М. «Советский писатель». 1983. 87 стр.

Вспомните портрет Мики Морозова, написанный В. Серовым в 1901 году: в большом кресле сидит мальчик семи-восьми лет, старинное кресло ему велико, он положил руки на высокие подлокотники и вот-вот сорвется, побежит... Прекрасное детское лицо привлекает нас уже не детской одухотворенностью, и глаза, огромные, глубокие, так широко распахнуты, что можно с большой долей уверенности сказать — этот мальчик будет поэтом...

Мика Морозов, а точнее Михаил Михайлович Морозов, действительно всю свою жизнь посвятил поэзии. Но не только и не столько своей, сколько поэзии великого Шекспира. Он станет профессором, крупнейшим исследователем творчества английского гения и при этом будет втайне писать стихи, страстно, но неторопливо стремиться к филигранной строке, добиваться от слова изящества и мелодичности.

Чувственный, возвышенный слог, душевное волнение, чистота и одновременно стремление к сдержанной речи отличают его лирику. Даже когда бурное чувство — попытка сдержанности: «О, прославить бы бурной хвалой... голубиное нежное имя». Возможно, эта сдержанность — от любимого Блока, дыхание которого чувствуется особенно в ранних стихах.

Поэтически, как ни парадоксально, М. Морозов — поэт не шекспировского склада, а именно блоковского по движению души, по мелодике строк. Культура русского слова, с детства его окружающая, оказалась стойкой и никакое проникновение английских влияний не допустила. Воспитание, среда сформировали взгляды, словарь русского интеллигента начала века, обеспокоенного судьбой родины:

В какую ночь глухая осень
Глухую родину ведет?

Это из ранних стихов.

Поздние вещи М. Морозова поэтически мало отличаются от ранних, несмотря на то, что было долгое молчание, перерыв, когда не писалось. Не изменился стиль, словарь, но проявилось философское начало в стихах о природе ли, искусстве, о любви.

На фоне сегодняшней, остросовременной и словарно раскованной поэзии некоторым читателям эти стихи могут показаться или слишком камерными, или даже архаичными. Вероятно, если бы Шекспир не отобрал столько сил, М. Морозов сумел бы сделать больше — трудно предполагать развитие судьбы поэта. Но вне сомнения главное — долгое, честное служение слову и верность российской поэзии, так четко запечатленные на страницах небольшой, к сожалению, вышедшей уже после смерти М. М. Морозова книги.

Петр Вегн.



КОНСТАНТИН ТРОФИМОВ. Так закалялась сталь. М. «Молодая гвардия». 1982. 128 стр.

Книга К. Трофимова о Николае Островском привлекает внимание читателей не только предметом исследования — кого не заинтересует новая работа о создателе образа Павла Корчагина! Привлекает она и тем, что ее автор был одним из друзей писателя.

Будучи в свое время главным редактором издательства ЦК ЛКСМУ «Молодой большевик», К. Трофимов сыграл большую роль в издании «Как закалялась сталь» на украинском языке. Рассказывая о рождении романа на украинской земле, Р. П. Островская теплым словом вспоминает К. Трофимова, который «много сил и души вложил в это издание».

Работа привлекает еще и стремлением автора взглянуть на жизнь писателя и его роман как-то по-новому. Не случайно его книга имеет подзаголовок «Новые страницы жизни и творчества Н. А. Островского».

Итак, новое о Николае Островском.

Исследователь приводит отдельные интересные сведения о творческой истории «Как закалялась сталь», о первых изданиях романа на Украине. Убедительна его полемика с теми, кто бездоказательно утверждал, что Н. Островский начал писать «Как закалялась сталь» по-украински. (Когда издательство «Молодой большевик» обратилось к нему с просьбой написать «Рожденных бурей» по-украински, он ответил: «Восемь лет я пишу на русском языке, и будет трудно снова переключаться».)

Перспективна мысль исследователя, что в стиле романа «Как закалялась сталь» чувствуется, что его «написал человек, который жил и работал на Украине, учился в украинской школе... В романе использованы украинизмы, в некоторых случаях синтаксическое построение фразы свойственно украинской речи». Жаль, что эта интересная мысль прозвучала декларативно. А она действительно могла бы стать новой страницей в изучении Н. Островского.

Переписка писателя с К. Трофимовым наряду с известными письмами представлена и несколькими письмами, публикуемыми впервые. (Правда, невольно возникает вопрос: почему эти письма не включались ни в одно собрание сочинений Н. Островского, в том числе и 1974—1975 годов, в издании которого К. Трофимов принимал участие?) Эти письма, как и вся переписка, еще раз демонстрируют, с какой обостренной ответственностью подходил писатель к своей литературной работе. Несмотря на то, что его первый роман уже в журнальной публикации имел необычный успех, он с напряжением продолжал совершенствовать свое детище. Впервые печатаются письма К. Трофимова Н. Островскому.

Все это, конечно, очень интересно и дает новые штрихи к портрету Н. Островского. И тем обиднее та небрежность, которую то там, то тут ощущаешь в этой книге. Так, на странице 7 читаем, что Алексей Иванович отдал Николая в 1915 году в двухклассное училище, а на следующей

странице говорится, что он в этом же году окончил три класса высшего начального училища. Болезнь приковала писателя к постели не в 1928 году, как пишет К. Трофимов, а в 1926-м.

В книге, озаглавленной «Так закалялась сталь», хотелось бы больше прочесть о путях становления характера Н. Островского, ожидаешь найти в ней новые страницы именно об этом. Но этого-то в книге очень и очень мало.

В известных письмах Н. Островского неоднократно говорится о «хождении по мукам» романа в различных редакциях, о том, что националисты, засев в некоторых украинских издательствах, саботировали выпуск его книги в свет. Писатель не без гордости говорил об этом: «Она петлюровцам пришлась не по душе». Однако в работе К. Трофимова об этой стороне дела нет даже и намека.

Серьезное возражение вызывает утверждение автора, что второе украинское издание Н. Островский считал каноническим. На странице 14 Трофимов пишет, что автор «третье издание (на русском языке), повторяющее второе (на украинском), считал каноническим и обязательным для всех последующих изданий романа в будущем». На странице 15 Трофимов цитирует письмо Н. Островского от 2 июля 1935 года: «Большинство же дополнений, внесенных мной... имеются в украинском издании, и их не придется вводить... Это последние поправки. В будущих изданиях мне их делать не придется». Трофимов приводит цитату не полностью, поскольку у Островского в письме дважды повторяется одна и та же фраза, которую Трофимов почему-то опускает: «Надо будет сделать так, чтобы третье украинское издание набиралось по исправленному, наиболее отработанному третьему русскому изданию», — затем еще раз в конце письма повторяет: «Итак, третье украинское издание будет печататься с третьего русского». В этом же письме Н. Островский подробно объясняет отличие третьего русского от остальных изданий, в том числе и от второго украинского: «Исправления и добавления там небольшие, но очень важные политические». (Далее он перечисляет, что именно изменено им в этом издании.) Непонятно, зачем нужна К. Трофимову такая натяжка, противоречащая ясно выраженной воле автора.

Р. П. Островская вспоминает в своей книге, что писатель продолжал работать над романом до конца жизни: «Последняя правка была им внесена в последнее прижизненное издание, которое вышло в московском издательстве «Молодая гвардия» в 1936 году. Думаю, что текст этого издания и надо считать каноническим».

Небрежность дает себя знать во многих случаях. Я имею в виду и публикацию двух почти идентичных писем Н. Островского К. Трофимову без авторского комментария по поводу схожести этих писем (см. страницы 45 и 53), и такой факт: к фразе из письма К. Трофимова Н. Островскому «Тебе тоже придется принять участие в работе украинского и всесоюзного съездов» (страница 112) делается сноска. Ожидаешь уточнения, о каких съездах идет речь, а читаешь следующее: «Д. К. Вишневецкий —

редактор первого издания романа «Как закалялась сталь» на украинском языке, вышедшем в издательстве «Молодой большевик». Вот уж действительно в огороде бузина, а в Киеве дядька... Жигирева в книге Трофимова превращена в Жигареву (страница 8), а Валерия Герасимова — даже в особу мужского пола (страница 25). Правда, в примечаниях восстанавливается ее женское первородство, но от этого, как говорится, не легче.

Валерий Тимофеев.

г. Октябрьский,
Башкирская АССР.



В. ВУЛЬФ. От Бродвея немного в сторону. 70-е годы. Очерки о театральной жизни США, и не только о ней. М. «Искусство». 1982. 264 стр.

Американский театр — это огромное количество театральных коллективов, как правило не очень долговременных и не имеющих постоянного помещения. Отсутствие государственного театра отчасти компенсируется так называемым бродвейским театром. Если бродвейский театр принимается за некий усредненный официальный канон, то офф-бродвейский (off — вне) театр предполагает большую драматургическую и сценическую свободу, большую независимость духа. Возникший на гребне «критического десятилетия» офф-офф-бродвейский театр (или политический) оказывается в оппозиции как первому, так и второму. Однако это не означает, что все три слоя театрального пространства находятся в абсолютной изоляции друг от друга: напротив, для них характерно постоянное взаимодействие. В. Вульф как раз и задается целью показать, что представляет собой динамика театральной жизни США.

В импрессионистичной манере, естественной, впрочем, для книги очерков, В. Вульф рассказывает о неоднозначной театральной жизни Бродвея: о его истории и топографии; сезонах, ритуалах и фетишах; о моде, то скоротечной, то довольно устойчивой; о самых разных постановках — от рок-оперы «Волосы» до «Дяди Вани» Чехова. Неизменно — и вполне справедливо — подчеркивая ориентацию американского театра на прибыль и успех, В. Вульф при этом не отказывает ему в прорывах к истинному искусству.

Личные авторские предпочтения видны в выборе двух не похожих друг на друга героев для монографических глав книги. Сторонник «поэтического реализма» Теннесси Уильямс и развивающий традиции социально-психологической драмы и «театра абсурда» Эдвард Олби представляют два поколения американских драматургов на сцене 70-х годов и заслуживают внимания исследователя. При помощи непосредственных впечатлений, цитат из рецензий театральных критиков, анализа различных режиссерских и актерских прочтений пьес В. Вульф создает довольно объемные портреты этих художников.

Собранные им свидетельства об американских постановках и спорах вокруг пьес

Чехова, Горького, А. Толстого, пьес, которые «вынуждают ныне американцев воспринимать далекое русское прошлое в его близости к событиям времени», важны, на наш взгляд, с точки зрения восприятия русской культуры в США и в прошлом и сегодня.

Автору, безусловно, удалось найти и использовать интересный фактический материал, в результате чего рассказ об американском театре должен был бы опираться не только на занимательность изложенного, но одновременно на позицию серьезного творческого исследования. Поэтому удивление и досаду вызывает то, сколь легко и произвольно обращается В. Вульф с фактами и реалиями культуры, о которой пишет.

На протяжении всей книги В. Вульф использует такие идеологически значимые понятия, как «новые консерваторы», «либерально-консервативное сознание», «радикально-романтическое сознание», в качестве броских ярлыков, не вдумываясь в их смысл. Он вполне серьезно утверждает, что «историческими чертами американской культуры» являются «поиски «чистого» переживания, замена мышления чувством, уклонение от дисциплины». Но ведь протестантская этика, питавшая эту культуру, известна противоположными чертами: культуром трудолюбия, трезвости, бережливости и разумности (другой вопрос, во что эти черты превращались в различных исторических условиях).

Для подтверждения, в общем-то, верных мыслей В. Вульф производит односторонний подбор фактов, что приводит иногда к недоразумениям. Так, символическое погребение атрибутов хиппи в Сан-Франциско в 1968 году он называет иллюстрацией «распада культуры хиппи» после Вудстока (но Вудсток — это 1969 год). Встречаются в книге и другие странные вещи. Например, перевод названия романа Джойса «Поминок по Финнегану» в виде «Пробуждения Финнигана», три варианта перевода выражения *new sensibility* («новый способ чувствования», «новый способ чувствований» и «новая чувствительность») или, скажем, употребление слов «рок-опера» и «мюзикл» в качестве синонимов.

Обладея известной монополией на информацию, критик-зарубежник находится, безусловно, в более выгодном положении, чем его коллега, изучающий отечественную культуру, — первого труднее проверить. Но тем большей должна быть ответственность такого критика перед читателем.

В. Шохина.



В. И. КРАСОВ. Сочинения. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 1982. 187 стр.

Полтора века назад в аудитории Московского университета входили юные Виссарион Белинский и Михаил Лермонтов, Иван Тургенев и Иван Гончаров, Александр Герцен и Николай Огарев, Николай Станкевич и Константин Аксаков. Этим студентам было суждено стать гордостью русской лите-

ратуры. И в ореоле их заслуженной славы потомкам трудно различить имя Василия Красова, верного друга многих из них. А ведь когда-то такой строгий ценитель, как Белинский, называл некоторые его стихи чудом и восторженно отзывался о его «грациозно-поэтическом даровании». А впоследствии не менее требовательный судья Чернышевский горестно заметил: «...напрасно мы забываем об этом замечательном поэте».

Не слишком счастливо сложилась и жизнь Красова и его посмертная судьба. Нищенское, полуголодное существование, чухотка, которая рано свела поэта в могилу, не позволили развернуться несомненно большому таланту. Сам Красов очень выразительно об этом сказал:

Какая-то разгневанная сила
От юности меня страданию обречла;
Огнем страстей мне сердце воспалила.
А сердцу счастья не дала!

Красову так и не удалось увидеть свои стихи собранными в книгу. После его смерти такая книга наконец появилась, но весь ее тираж сгорел, не дойдя до читателя. Только в недавнее время широкому читателю стало известно наследие поэта. Литературовед Виктор Гура бережно собрал его сочинения и издал со своими комментариями и предисловием. Теперь благодаря заботам В. Гуры произведения В. Красова изданы в Архангельске. На этот раз, кроме стихотворений, в книгу вошли проза и избранные письма поэта.

Представляя Красова современным читателям, В. Гура не пытается искусственно возвысить своего земляка. Во вступительной статье он справедливо пишет, что «по своим основным мотивам поэзия Красова пассивно романтична», а следовательно, достаточно далека от социальной активности и реалистической конкретности — важнейших признаков поэзии нашего времени. Холодная патетика и привычно нарочитая сентиментальная взвинченность, скользкая мимика читательского сознания, у Красова встречаются достаточно часто.

Вчитываясь в стихи Красова, часто спотыкаешься о «безжизненные трупы», «могильные венки», «любовь бесконечную» и т. п. И все же в тех строках Красова, которые высоко ценили его друзья по кружку Станкевича, есть и поныне сохранившаяся сила непосредственного чувства. И прав В. Гура, когда отмечает в предисловии, что Красов «добивался живой конкретности поэтических образов, искал в народной песенной традиции искренние, задушевные интонации, мелодические формы выражения человеческих чувств и настроений».

Я так хотел любить людей,
Хотел назвать их братьями моими,
Хотел я жить для них, как для друзей!

Это признание — своеобразный манифест поэта. Неосуществившись возвышенного идеала — основного психологического мотив Красова. Отсюда характерные для него темы — ожидание смерти, быстротечность любви. Отсюда и господствующая в стихах элегическая интонация. Но от многих строк Красова веет и энергией молодости, и жизнелюбием, и выстраданной надеждой на будущее. В его поэзии возникают энергичные

ритмы, она становится музыкальной. В письмах, тщательно отобранных В. Гурой, мы наблюдаем те же, что и в стихах, переходы от отчаяния к надежде на то, что для поэта еще возможно счастье «деятельности на пользу ближних». А когда книга прочитана и ее значение осмыслено, остается только поблагодарить Северо-западное издательство, открывшее еще одну страницу нашей литературной истории.

Л. Финк.

Куйбышев.



ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Неподведенные итоги. М. «Искусство». 1983. 367 стр.

В новой книге известного кинорежиссера и сценариста Эльдара Рязанова «Неподведенные итоги» автор размышляет о творчестве, рассказывает о своих фильмах, об актерах, с которыми ему пришлось работать на съемочной площадке. «Я очень люблю актеров, и это чувство не случайно, — пишет в начале книги Рязанов. — Просто мне интереснее всего в искусстве — человек, его поведение, извивы его психологии, процессы, показывающие изменения чувств, мышления, настроения. Самое неожиданное, непознанное и интересное существо на земле — это человек. Движение души героя можно выразить главным образом и лучше всего через артиста».

Структурно книга построена как цикл автономных рассказов об Игоре Ильинском, Андрее Мягкове, Алисе Фрейндлих, Лии Ахеджаковой, Георгии Буркове, Людмиле Гурченко... Эти новеллы сюжетно не связаны. Но их объединяет еще один, и, наверное, главный, герой книги — сам автор. И дело не только в том, что повествование ведется от первого лица и преимущественно о тех событиях, свидетелем и участником которых Рязанов был сам. Важнее другое. Книга о творчестве талантливых художников полна рассуждений автора о важнейших проблемах актерской профессии и творчества вообще, тонких и метких наблюдений, раскрывающих личность актеров — наших современников. Ибо, даже говоря о каких-то забавных ситуациях, Рязанов верен главной мысли — в творчестве проявляется личность человека. Он пишет: «Профессиональному умению, владению ремеслом, знанию актерских тайн грош цена, если за душой исполнителя не стоит внутреннее богатство. Актер, как и любой художник, обязан быть личностью, то есть обладать таким соединением неповторимых самобытных качеств, которые делают его явление на сценической или съемочной площадке интересным и значительным для многих людей. Даже при незаурядном мастерстве не выйдет, не получится крупного артиста, если он пуст и ничтожен духовно...» Отчетливо проявляется в «Неподведенных итогах» и личность автора — Рязанова.

Все его герои очень популярны, о них написано и сказано немало, но, читая книгу, мы как бы заново знакомимся, нет, не с актерами, а с людьми, посвятившими свою жизнь одной из труднейших творческих про-

фессий — актерству, или лицедейству, как не раз говорит сам автор, бережно и, я бы сказала, с нежностью рисуя своеобразные портреты — очерки своих друзей по искусству.

Одно из самых привлекательных качеств новой книги — добрый такт и уважительность общей интонации повествования, что особенно ощущается в случаях, когда речь идет о творческих срывах. Рязанов не обходит молчанием эти «больные точки», пытаясь понять и объяснить причины неудач в искусстве.

Книга написана с той мерой простоты и доверительности, которая обусловлена, с одной стороны, правом автора, досконально, изнутри знающего предмет разговора, с другой — его верой в читателя как эрудированного, доброжелательного собеседника, с которым можно делиться личным, сокровенным, тайнами профессии. Даже в таких сложных вопросах искусства, как природа комического или методология работы актера в театре и в кино. И, думается, «Неподведенные итоги» будут с интересом встречены широкой аудиторией.

Людмила Касьянова,
кандидат искусствоведения.



В. И. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ. Плачу долги, даю займы. Актуальные проблемы демографии. М. «Советская Россия». 1983. 143 стр.

Название книги напоминает читателю известную притчу о семье: плачу долги — кормлю родителей, даю займы — ращу собственных детей, которые станут мне опорой в старости. Вечная нить взаимной заботы связует поколения и служит залогом непрерывности человеческого рода. Так было всегда. А ныне? Наше насыщенное переменами время все чаще заставляет задумываться над вопросом: не стали ли мы прижимистее по части займа? Нет, никто не упрекнет нас в том, что мы мало даем нашим детям. Речь о другом: о самом числе детей. Их, скажем прямо, в современных семьях становится все меньше, особенно в некоторых республиках нашей страны. А так как в этих республиках живет большинство населения СССР, то в целом оно, как пишет автор, «вплотную подошло к той черте, за которой начинается суженное воспроизводство».

В. Переведенцев, ученый и публицист, не первый раз берется за перо, чтобы привлечь внимание к важнейшей проблеме замещения поколений. Сегодня мы экономим на займе, завтра некому будет возвращать нам долг, предупреждает автор и показывает, как народное хозяйство уже сейчас начинает ощущать последствия демографических перемен. Главное здесь — замедление прироста трудовых ресурсов и старение населения. Наша экономика долгое время не знала нехватки рабочих рук. Но вот в 70-е годы все чаще стали говорить о дефиците трудовых ресурсов, нередко объясняя его особенностями демографической ситуации. Постепенно, однако, разобрались в том, что этот дефицит — проблема не столько демографическая, сколько экономическая

и решать ее надо прежде всего за счет увеличения производительности труда. Ведь особенно ощутимым пресловутый дефицит стал во второй половине 70-х годов, когда прирост трудовых ресурсов отнюдь не был маленьким. По данным, приводимым в книге, возрастная группа от 20 до 60 лет в этот период пополнилась на 13,8 миллиона человек, а в предыдущее пятилетие — всего на 8,5 миллиона. Но все же нельзя сбрасывать со счетов и демографические тенденции — в нынешнем пятилетии прирост населения, работающего в народном хозяйстве, действительно резко упал, а в 90-е годы он будет еще меньше, чем в 80-е.

Из-за снижения рождаемости население стареет, в том числе и трудоспособная его часть. Так, среди людей в возрасте от 20 до 60 лет доля старшей ветви — от 40 до 60 лет — с 1939 по 1975 год увеличилась с 32 до 43 процентов. Иными словами, замедляется приток молодежи в производство, обновление его кадров, снижается мобильность трудовых ресурсов — профессиональная, квалификационная, территориальная, что, в свою очередь, не может не сказаться на производительности труда. К тому же от снижения рождаемости зависят не только чисто экономические показатели, оно затрагивает самые разные области человеческой жизни: влияет на социальные перемещения, организацию семейной жизни, воспитание детей и многое другое. Тем важнее понять причины этого явления, чтобы по возможности избежать нарастания его нежелательных последствий.

В книге В. Переведенцева показано, что корни снижения рождаемости неразрывно связаны с важнейшими и в целом прогрессивными сдвигами в жизни советского общества — с изменением положения женщины, увеличением доли городского населения, заметным ростом образованности и мобильности людей, глубокими позитивными переменами в строе семейной жизни.

Но, как это часто бывает, самые положительные перемены имеют оборотную сторону: разрешая одни проблемы, они порождают другие, которые обществу и предстоит решать на новом этапе развития. Уменьшение числа детей в семьях — одна из таких проблем. О ее масштабах можно судить по приводимым в книге цифрам: при уровне рождаемости конца 30-х годов у тысячи женщин, достигших 50 лет, могло быть в среднем 4350 детей, конца 50-х годов — 2810, конца 70-х — 2284 ребенка. Причины снижения рождаемости много. Среди главнейших автор называет снижение смертности, особенно детской; изменение экономической функции детей и рост затрат на их воспитание; переориентацию системы ценностей («...третий, а в городе часто и второй ребенок «оттесняется» ценностями иного рода: интересами профессии, возможностями для отдыха и т. д.»); высокую занятость женщины в общественном производстве и ее двойную нагрузку — на работе и дома; ослабление прочности семьи.

«Эпицентр демографических проблем, — считает В. Переведенцев, — это молодая семья». В ней с особой силой отзываются многие глубинные процессы, протекающие в экономической и социальной областях, здесь они выходят на поверхность. Страни-

цы, посвященные возникновению и жизни молодой семьи, принадлежат, на мой взгляд, к числу наиболее удачных в книге, они естественно подводят к анализу возможных мер помощи семье в рамках проводимой Советским государством демографической политики, эффективности такой политики. С точки зрения замещения поколений надо бы, пишет автор, чтобы по крайней мере у 60 из каждых 100 семей было по трое детей, а у 40 — по двое. Если меры помощи семье приблизят нас к такому статистическому распределению, это будет лучшим показателем их эффективности.

Тема рождаемости (надеюсь, такое выражение допустимо) — главная, но не единственная в книге. В ней анализируются миграция, смертность, сложности укоренения вчерашнего крестьянина в городе — обо всем этом В. Переведенцев пишет с большим знанием дела, просто и, что очень важно, с искренней заинтересованностью. Потому, думаю, путь его книги к читателю будет коротким.

А. Вишневский,
доктор экономических наук.



РЕДЬЯРД КИПЛИНГ. От моря до моря.
Перевод с английского В. Н. Кондракова.
М. «Мысль». 1983. 239 стр.

Если бы материалы, помещаемые в разделе «Коротко о книгах», имели право на название, я озаглавил бы свою рецензию «Путешествие дилетанта, или Поверхностные заметки проницательного наблюдателя». «От моря до моря» — путевые очерки Редьярда Киплинга, который, возвращаясь в Англию после семи лет, проведенных в Индии, побывал в Бирме, Сингапуре, Гонконге, Японии, Канаде, пересек с запада на восток Соединенные Штаты Америки. Очерки красочны, изысканы, остроумны. Внимательный читатель, правда, отдавая должное ярким киплинговским описаниям природы, искусства, быта и нравов различных стран и народов, заметит, что суждения автора о жизни в целом нередко оказываются довольно таки поверхностными, так сказать, туристскими. Сам Киплинг с таким мнением, вероятно, не согласился бы — многие его замечания и оценки звучат как окончательные и обжалованию не подлежащие. Отчасти это можно объяснить категоричностью молодости (в ту пору автору было всего двадцать четыре года), главным же образом — осознанной принадлежностью к ведущей мировой державе того времени, что заставляло Киплинга смотреть на весь мир как на возможное поле деятельности империи.

Так или иначе, но для нас даже самонадеянность сентенций Киплинга любопытна, поскольку в них отразились и его личность и его эпоха. С другой стороны, тот же имперский взгляд сделал Киплинга особенно внимательным, когда он присматривался к социальным, политическим и экономическим процессам, происходившим в краях, о которых он писал. К тому же интуиция талантливого писателя подчас успешно восполняла недостаток времени, необходимого для дотошного изучения незнакомого бытия.

Так что киплингские заметки, возможно, и лишены особой глубины, но весьма пронаительны.

Впрочем, сегодняшний читатель, обогащенный историческим опытом без малого сотни лет, прошедших со времен вояжа Киплинга, сам легко отличит существенное от несущественного в его наблюдениях, точное от неточного в его прогнозах. Мне же хочется остановиться на том, что неординарно делает «От моря до моря» остроактуальной именно сегодня, в 80-е годы нашего века. Речь идет об очерках, посвященных Соединенным Штатам и составивших почти половину книги.

Нет, наверное, ныне автора, который, задумываясь о современной Америке, не отмечал бы, что для тех, кто сегодня управляет этой страной, будущее — в прошлом. Оттуда, из времен минувших, они черпают свои представления и идеалы, в них видят образцы для подражания. Какое же оно, это «идеальное» прошлое? Заметки Киплинга вполне могут послужить кратким путеводителем по «золотому веку» Америки. Предоставим же слово Маленькому Пилигриму — так называл себя сам автор.

По пути из Японии в Сан-Франциско Киплинг знакомится с несколькими добропорядочными американцами. Вот их рассуждения, приводимые писателем: «Чем больше прав у народа, тем больше неприятностей он доставит... Теперь смекайте, почему мы стреляем по толпе без проволочек».

«Что же делать Америке с неграми? — вопрошает Киплинг, увидев жизнь чернокожих. — Юг не желает общаться с ними. В некоторых штатах смешение крови — уголовное преступление. С каждым годом Север нуждается в услугах негров все меньше и меньше. Но они не собираются исчезать. Они становятся проблемой... Не очень-то приятно быть негром в „стране свободы и дома жрабрых“».

Об «эталонных» американцах, тех, кто достиг успеха, Киплинг пишет так: «...человек с тремя-четырьмя миллионами еще может оказаться приятным собеседником, умницей, остроумцем, то есть быть светским человеком. Того, кто удвоил сумму, следует избегать, а человек с двадцатью миллионами — просто двадцать миллионов... И все же первое, что я узнал, — деньги в Америке — это все!»

Не обойдена вниманием и религия — один из оплотов американского образа жизни. Киплинг слушает популярного проповедника: «...мой восхищенный слух поймал такую фразу (ἀ-πρὸς Судного дня): „Нет! Говорю вам, Господь делает бизнес иначе“. Комментарий, на мой взгляд, излишни».

И еще одна черта американцев, буквально потрясшая Киплинга до глубины души: «Президент (собрания. — А. П.) поднялся во весь рост и сказал, что они — самый великий, самый свободный, гордый, рыцарский и самый богатый народ на земле, а собравшиеся ответили: „Аминь!“... „Возможно ли, чтобы белый человек, санб нашей крови, мог вот так запросто встать и расточать похвалу собственной стране? Он волен мыслить так высоко, как ему вздумается, но это неистовое славословие (во весь рот) поразило меня нескромностью».

Однако довольно цитат. Думается, уже

вполне ясно, насколько по-сегодняшнему звучат строки, написанные почти сто лет назад. Правда, в них не вся Америка Киплинга, а Америка Киплинга — не вся Америка ни тогда, ни тем более сейчас. И все же очевидно, что в «славных прошедших денечках», как иногда говаривают за океаном, более чем достаточно вещей, которых следует скорее стыдиться, чем выставлять как универсальные образцы. Что ж, поскольку по идеалам можно судить о тех, кто их исповедует, постольку записки Киплинга содержат немало ценного для уяснения психологии нынешних американских консерваторов. Таким парадоксальным образом и получилось, что книга «От моря до моря», написанная талантливым автором с весьма реакционными взглядами, многие страницы которой окрашены имперской идеологией, сослужила добрую службу советским читателям в понимании страны, сменившей Англию на месте ведущей державы капиталистического мира.

А. Панкин.



Ю. К. МАЛОВ. Критика буржуазных фальсификаторов марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социалистическом обществе. М. Политиздат. 1983. 310 стр.

В своих широкомасштабных идеологических кампаниях, направленных против Советского Союза и других социалистических стран, буржуазная пропаганда опирается на исследования сотрудников многочисленных антикоммунистических центров. Только в США и ФРГ более 300 учреждений специализируется в настоящее время на изучении социализма. Одно из центральных мест в их деятельности занимает фальсификация марксистско-ленинского учения о руководящей роли коммунистической партии в социалистическом обществе.

Стремясь всеми способами принизить значение ленинизма, буржуазные и ревизионистские теоретики пытаются доказать, что ленинизм — вовсе не марксизм нынешней эпохи, как утверждают коммунисты, а одно из региональных течений общественной мысли, осуществимое на практике лишь в отдельных странах, да и то на стадии их «модернизации». На первый взгляд это может показаться парадоксальным, но своим главным союзником в борьбе с Лениным и ленинизмом апологеты капитализма стремятся сделать марксизм, разумеется «современенный» и «гуманизированный» на буржуазный лад.

Как тут не вспомнить слова Ленина, написанные им шестидесят с лишним лет назад и тем не менее звучащие сегодня весьма актуально: «С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение... После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание револю-

ционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. На такой «обработке» марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения».

Наиболее тонкие фальсификаторы научного коммунизма пытаются придать своим теориям внешнее наукообразие и выдвинуть некоторые общесторические концепции. Согласно одной из них руководящая роль компартии имеет некоторое оправдание лишь на стадии захвата власти рабочим классом и его союзниками, а дальше, в процессе строительства социализма, партия должна самоустраниться от решения социально-экономических задач. Другие западные ученые готовы «оправдать» ее и в период индустриализации. Однако практически все буржуазные и ревизионистские идеологи считают руководящую роль партии в эпоху НТР анахронизмом и, более того, фактором, тормозящим прогресс социалистических стран.

Опираясь на труды классиков марксизма-ленинизма, Ю. Малов в рецензируемой книге последовательно и аргументированно показывает читателям необоснованность утверждений западных обществоведов, противопоставляющих ленинизм и марксизм, извращающих их положения о руководящей роли коммунистических партий в социалистическом обществе. Ее возрастание во всех сферах общественной жизни, отмечает автор, обусловлено объективными причинами. Только политический авангард общества, вооруженный научной теорией, глубоким знанием законов общественного развития, может обеспечить осуществление сложнейшей программы строительства социализма.

Говоря об СССР, автор подчеркивает, что в нашей стране возрастание руководящей роли КПСС в условиях зрелого социализма определяется небывалой масштабностью практических задач, решаемых советским народом, их качественно новым содержанием.

В монографии Ю. Малова справедливо отмечается, что невозможность подалию научной оценки значения коммунистической партии буржуазными исследователями связана с порочностью их методологических позиций: с отрицанием объективных закономерностей общественного развития, объяснением глубинных причин социально-экономических и политических процессов игрой случая, действиями отдельных исторических личностей, стремлением механически перенести явления капиталистического общества на качественно иное, социалистическое, и т. д.

Ныне труды наших идеологических оппонентов все больше захлестывает волна антисоветизма и антикоммунизма, поднятая администрацией Рейгана, однако в западных исследованиях еще можно встретить и объективную характеристику правящих коммунистических партий и их позитивной роли в создании нового общества. Ю. Малов, дифференцированно подходу к работам советологов, использует эти позитивные оценки в полемике с оголтелыми антикоммунистами. В рецензируемой книге приводятся, к примеру, высказывания буржуазных ученых-объективистов (Ф. Корриган, Г. Рэмсэй,

А. Кассоф), которые признают, что в капиталистических странах основная часть населения не может и мечтать о многих социальных достижениях советского народа и народов других стран социализма. Красноречивое признание. К сожалению, оно является редким исключением из общего стремления западных обществоведов фальсифицировать успехи социалистических государств, развивающихся под руководством коммунистических партий.

Е. Виттенберг,
кандидат исторических наук.



А. Т. ГАГАРИНА. Слово о сыне. Воспоминания Анны Тимофеевны Гагариной, записанные с ее слов Татьяной Копыловой. М. «Молодая гвардия». 1983. 160 стр.

Деревенька на Смоленщине. Тридцатые годы. Новорожденный колхоз. Молодая семья. А детей уже четверо.

В три часа утра будит Анну Тимофеевну не будильник (о них тогда и слыхом не слыхивали), не петух, а забота: надо успеть печь истопить, еду для детей приготовить, домашнюю живность обиходить, на приусадебном участке самое необходимое сделать. А с рассветом на колхозное поле. Дотемна.

Вечером — второй круг домашних работ, да еще нужно портяжничать и сапожничать. Трое сыновей — один другого шустрей: все на них будто горит. А штаны и ботинки долго служить должны: от одного сына к другому переходят. Хорошо хозяин — Алексей Иванович — на все руки мастер. В доме и кровати им сделаны, и качка, и даже диванчик да буфет.

Год от года легче. Старший сын Валентин отцу помогает, дочка Зоя рано научилась стирать и за двумя младшими братьями ухаживать. Но тут война: голод, бомбежки, обстрелы, оккупация...

Потехи ради один из оккупантов повесил на шарфике младшего сына Анны Тимофеевны Бориса. Чудом ей и восьмилетнему Юре удалось спасти, выходить Бориса. Потом угнали в фашистскую неволю старшего сына Валентина и дочь Зою.

И все же не согнулась семья, не сломалась, не сдалась. Алексей Иванович помогал чем мог советским воинам. Юра и Борис разбрасывали по дорогам гвозди, битое стекло, затыкали камнями, землей выхлопные трубы немецких автомашин. А Анна Тимофеевна поддерживала своих домашних во всем. «Было ощущение, — вспоминает она, — что ты должен что-то сделать еще, кроме того чтобы остаться в живых, сохранить детшек... нужно объединяться, надо противостоять, надо бороться...» А выдержать борьбу могут только сильные и гордые люди.

Гагарины, фамилия этой семьи известна жителям планеты.

О подвиге космонавта-1 написаны сотни книг. Научно-популярных, документальных, художественных. К этой многокрасочной

картине очень трудно добавить какие-то новые тона, очень трудно освежить и без того богатую ее палитру. Однако нужная краска нашлась. Нашлась потому, что ее не искали преднамеренно.

Анна Тимофеевна рассказывает только о том, что видела и что хорошо помнит. Ее книга — это литература факта, освещенного болью и радостью материнского сердца. В этом и особенность, и главное достоинство, и воспитательная сила ее воспоминаний. Они требуют от автора полной открытости, доверия к читателю. И требование это случайно совпало с особенностями характера, мировосприятия А. Т. Гагариной.

Вот одно из доказательств тому. В 1957 году курсант авиационного училища Юра Гагарин присылает матери письмо из Оренбурга. В нем есть такие строки: «Мы все потрясены полетом спутника. Не буду пересказывать статьи, знаю, читаете. Но как же здорово! Победа!» Анна Тимофеевна замечает: «Конечно, сейчас можно приписать, что это его выражение обозначало особую заинтересованность, предопределение судьбы. Нет! Тогда все мы, вся наша страна, весь мир были потрясены этим событием. Не мог его не отметить и Юра».

Это решительное и однозначное «нет» с восклицательным знаком — камертон правдивости книги. То есть достоверности фактов и — что не менее важно — их нравственной, воспитательной направленности. Ибо, еще по мысли Л. Толстого, степень правдивости человека есть указатель степени его нравственного совершенства.

Убежден в воспоминаниям Анны Тимофеевны обеспечено признание самой широкой аудитории и долгая жизнь. Потому что они сопоставимы с опытом любой советской семьи, с мироощущением каждого читателя, с его поступками, потребностями души. Гагаринский опыт земной, но не заземленный; в то же время, поднимаясь на космическую высоту, Гагарин не вознесся над людьми, а показал огромные возможности, данные каждому в нашем государстве.

9 марта Юрию Алексеевичу исполнилось бы пятьдесят лет...

В канун этой даты издательство «Молодая гвардия» и подготовило «Слово о сыне». Книга эта, впрочем, в не меньшей степени и слово о матери, об Анне Тимофеевне Гагариной. За активное участие в патриотическом, интернациональном воспитании молодежи и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения она награждена орденом Дружбы народов.

Ю. Алексеев.



А. Б. ДИХТЯРЬ. Степь любит мужество. М. Политиздат. 1983. 270 стр.

В книге Адольфа Дихтяря, посвященной освоению целины, написано: «Первая борозда... Потом рядом с первой пролегла вторая, десятая, сотая, тысячная. Это легко написать, а ведь в действительности те

многокилометровые борозды ложились совсем не так легко, как строчки на бумагу». Автор повести видел эти первые борозды, а прокладывая их герой его новой повести бригадир одного из первых целинных совхозов Михаил Довжик. Тот самый знаменитый ныне на всю страну целинный бригадир, палатка которого стала экспонатом Музея Революции, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии Казахстана. Был Михаил Егорович делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, второй созыв избирается в Верховный Совет Казахской ССР. Переходил в отстающие бригады, учил молодежь, боролся и победил в борьбе за почвозащитную систему земледелия, спасшую распахнутую целину от черных бурь и бесплодия.

Обо всем этом можно узнать, прочитав повесть А. Дихтяря. Повесть о людях, покоривших степь, и о степи, воспитавшей их мужество. «Целина — это самая высшая школа, — говорит Михаил Довжик. — Институт можно закончить и все равно не иметь о жизни ни малейшего представления. А если ты прошел целину, значит, ты человек, на которого можно положиться». Прошел целину и автор книги «Степь любит мужество».

В марте этого года исполняется тридцать лет с начала освоения целины. В Целинограде в ту пору была основана газета «Молодой целинник». Командировочное удостоверение № 1 получил корреспондент Адольф Дихтярь, и материал его был опубликован в первом номере газеты. Я в те годы тоже работал в «Молодом целиннике» и хорошо помню публикации моего товарища. Помню также, что юный еще Дихтярь носил тогда тельняшку. Ну, подумалось мне, когда я теперь начал читать его книжку о Довжике, понятно. В первую свою командировку на целине Дихтярь ездил небось в совхоз «Ярославский», и там парни из бригады Довжика подарили ему тельняшку, поскольку носить ее в бригаде Довжика было традицией, идущей, как мне представлялось, от некоего рода моря и степи.

Все оказалось проще, прозаичнее. И первый материал Дихтяря был не из «Ярославского», а из «Кантемировского», и тельняшки — подарок Политуправления Балтийского флота — выдавались в бригаде Довжика, свидетельствует автор книги, вместе с тракторами, просто как удобная одежда, хорошо защищающая от злых степных ветров. И если ты дезертируешь из бригады — так было у довжиковцев заведено, — будь добр, сдай и тельняшку. Ее наденет достойный.

Это лишь одна из деталей, показывающих специфику и своеобразие традиций, родившихся в бригаде Довжика — в одной из многих целинных бригад. Обилие подмеченных наблюдательным глазом деталей — важная особенность повести «Степь любит мужество».

Почему именно такое название дал А. Дихтярь своей книге? Какой вложил в него смысл? «Труд, ставший делом совести, — пишет автор, — незаметно для самого человека перерастает в подвиг.

И мерится такой труд той же меркой, что и подвиг, — самоотверженностью». И далее: «Люди из первых целинных эшелонов... уловили в словах «целина» и «цель» не просто случайное созвучие. Они постигли внутреннюю взаимосвязь этих слов. И тогда-то древнее слово «целина» заискрилось новыми гранями. Не утратив своего географического и утилитарно-земледельческого значения... оно в то же время стало одним из критериев гражданственности».

Книга А. Дихтяря — о самоотверженности, гражданственности, о мужестве людей, находящихся на переднем крае жизни.

Адольф Дихтярь — поэт. Но его книга написана, так сказать, «непоэтически», с нарочитой сдержанностью, скупа на отступ-

ления, документальна в самом прямом смысле этого слова. Где же, можно спросить, лирический герой, где автор, который, на мой, к примеру, взгляд, всегда является главным героем любого удавшегося произведения? Но такие вопросы возникали только поначалу. Поэт написал «деловую» документальную повесть. И, видимо, в данном случае поступил совершенно правильно. Жанр точно соответствует теме и характеру героев. Думаю, если бы теперь в бригаде Довжика носили тельняшки, Дихтярю бы тоже выдали таковую как полноправному члену коллектива. Как одному из тех целинников, которых полюбила степь.

Новомир Лямонов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

П. Алексеев. Наука и мировоззрение. 367 стр. Цена 90 к.

Аргументы. 144 стр. Цена 25 к.

За мир, разоружение и безопасность народов. Летопись внешней политики СССР. 432 стр. Цена 90 к.

И. Минутко. Восхождение. Повесть о Розе Люксембург. («Пламенные революционеры») 426 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Стоун. Происхождение. Роман-биография Ч. Дарвина. Перевод с английского. 478 стр. Цена 3 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В мире Лескова. Сборник статей. Составитель В. Богданов. 367 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. Михальский. Тайные милости. Романы. 432 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Фомичев. Колея. Рассказы, повести. 304 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Чиковани. Стихотворения и поэмы. Перевод с грузинского. Вступительная статья Г. Асатнани, Г. Маргвелашвили. Составитель Э. Квиташвили. («Библиотека поэта». Большая серия) 367 стр. Цена 2 р. 10 к.

Л. Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. 319 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Аль-Куайид. Происшествие на хуторе аль-Миниси. Перевод с арабского. 304 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Дёблин. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу. Роман. Перевод с немецкого. 574 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Доризо. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 1. Стихотворения. 430 стр. Цена 2 р. 40 к.

Овидий. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. Перевод с латинского. 511 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Фет. Стихотворения. 181 стр. Цена 4 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Алексеев. Козероги и прочие. Повести и рассказы. 336 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Найманбаев. Прощаться не хочу. Повесть. Перевод с казахского. 334 стр. Цена 95 к.

Человек и его тень. Сборник повестей. Перевод с китайского. 319 стр. Цена 2 р. 10 к.

Г. Чохели. Послание к елям. Рассказы. Перевод с грузинского. 189 стр. Цена 55 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Есенин. Избранное. Стихотворения и поэмы. Составитель Ю. Прокушев. 238 стр. Цена 55 к.

М. Ефетов. Земля Новгородская. Документальная повесть. 127 стр. Цена 35 к.

С. Маршак. Сказки, песни, загадки. Стихотворения. В начале жизни. Страницы воспоминаний. 639 стр. Цена 1 р. 80 к.

Несерьезные дети. Рассказы молодых писателей. Составитель Н. Соломко. 256 стр. Цена 65 к.

К. Чуковский. Сказки. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

ВОЕНИЗДАТ

С. Борзунов. Знамя над городом. Повести и рассказы. 270 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Буртынский. Огненный рубеж. Повести, рассказы. 302 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Гончаров. Рубежи. Стихи. 80 стр. Цена 40 к.

А. Збых. Ставка больше, чем жизнь. Повесть. Перевод с польского. 312 стр. Цена 2 р. 10 к.

А. Стомба. Подвига полет бессмертный. Стихи. 45 стр. Цена 20 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Викулов. Поэмы. 238 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Попов. Живая защита. Роман. 320 стр. Цена 1 р. 40 к.

Русский сонет. Сонеты русских поэтов XVIII—начала XX века. Составитель Б. Романов. 511 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ю. Сбитнев. Одна любовь. Повести. 284 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Богатырев. У отца с матерью. Рассказы и повести. 205 стр. Цена 1 р.

М. Ганна. Сто жизней моих. Роман, повесть. 416 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Димчевский. Можжевельный корень. Стихи. 63 стр. Цена 25 к.

И. Золотусский. Очная ставка с памятью. 288 стр. Цена 85 к.

В. Каверин. Верлюка. Сказочная повесть. 215 стр. Цена 85 к.

«РАДУГА»

Из современной малагасийской поэзии. Перевод с малагасийского. 205 стр. Цена 1 р. 40 к.

Э. Иллеш. Карьеристы. Однокрылые птицы. Лжецы. Негерпеливые влюбленные. Пьесы. Перевод с венгерского. 299 стр. Цена 1 р. 30 к.

«Промых» и другие повести. Перевод с греческого. 688 стр. Цена 4 р. 10 к.

Трудные сычуаньские тропы. Из китайской поэзии 50-х и 80-х годов. Перевод с китайского. 199 стр. Цена 1 р.

«ИСКУССТВО»

Г. Вздорнов. Феофан Грек. Творческое наследие. 339 стр. Цена 19 р. 50 к.

Ч. Добрев. Лирическая драма. Перевод с болгарского. 325 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Чхайдзе. С трех до шести. Ветряная мельница. Пьесы. 158 стр. Цена 40 к.

«НАУКА»

Е. Вольф. Формирование романских литературных языков. 211 стр. Цена 1 р. 20 к.

История русской советской поэзии, 1917—1941. Ответственный редактор В. Бузник. 416 стр. Цена 2 р.

Е. Прохоров. Текстология художественных произведений М. Горького. 279 стр. Цена 2 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Дегун Угай. Крылатое счастье. Стихи, поэмы, басни, сказки. Перевод с корейского. Ташкент. Издательство литературы и искусства. 143 стр. Цена 60 к.

М. Каноат. Колыбель Авиценны. Душанбе. «Ирфон». 232 стр. Цена 1 р. 10 к. На таджикском и русском языках.

Низами Гянджеви. Искандер-наме. Поэма. Перевод с фарси. Научная редакция, вступительная статья Р. Алиева. Баку. «Язычы». 998 стр. Цена 4 р. 90 к.

С. Славич. Конфликт. Рассказы и повесть. Симферополь. «Таврия». 336 стр. Цена 1 р. 10 к.

О. Фокина. Памятка. Стихи и поэма. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 125 стр. Цена 85 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Выдрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахиин**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 23.12.83 г. Подписано к печати 17.02.84 г. А 02435.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. печ. л.)
27,06 уч.-изд. л. Тираж 380.000 экз. Зак. 4354.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0800.

Цена 1 р. 20 к

70636

Новый мир, 1984, № 3, 1—288